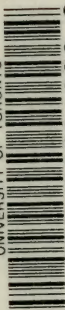


UNIVERSITY OF TORONTO



3 1761 00301383 6





























ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ  
СОЧИНЕНІЙ  
Д. А. ГОНЧАРОВА.

Съ портретомъ автора, гравированнымъ академикомъ  
И. П. Пожалостинымъ и факсимиле.

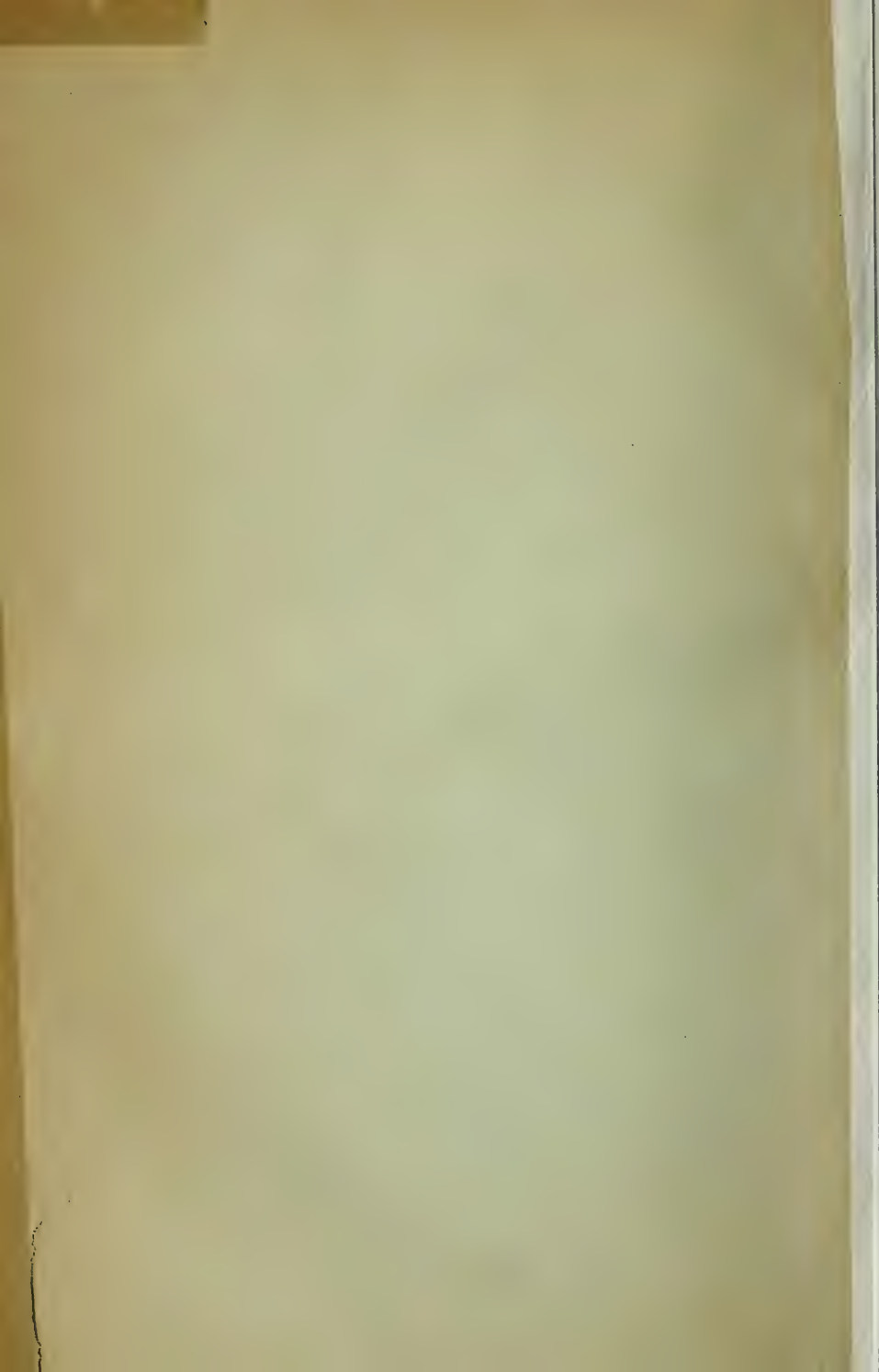
ТОМЪ ЧЕТВЕРТЫЙ.

ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ.



САНКТПЕТЕРБУРГЪ.

—  
1886





И. А. ГОНЧАРОВЪ. •



ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ  
СОЧИНЕНІЙ

И. А. ГОНЧАРОВА.

Съ портретомъ автора, гравированнымъ академикомъ  
И. П. Пожалостинымъ и факсимиле.

ТОМЪ ЧЕТВЕРТЫЙ.

ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ.



САНКТПЕТЕРБУРГЪ.

—  
1886.





*Собственность Глазунова.*

PG

3337

G<sub>6</sub>

1887

т. 4

~~~~~  
ВЪ ТИПОГРАФИИ ГЛАЗУНОВА, КАЗАНСКАЯ. 8.

# ОБРЫВЪ

РОМАНЪ

ВЪ ПЯТИ ЧАСТЯХЪ.





# ОГЛАВЛЕНІЕ.

---

## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ:

|                   | СТР. |
|-------------------|------|
| ГЛАВА I. . . . .  | 3    |
| » II . . . . .    | 14   |
| » III . . . . .   | 21   |
| » IV . . . . .    | 25   |
| » V . . . . .     | 43   |
| » VI . . . . .    | 48   |
| » VII. . . . .    | 71   |
| » VIII. . . . .   | 79   |
| » IX. . . . .     | 84   |
| » X . . . . .     | 88   |
| » XI . . . . .    | 98   |
| » XII. . . . .    | 106  |
| » XIII . . . . .  | 111  |
| » XIV . . . . .   | 119  |
| » XV. . . . .     | 134  |
| » XVI . . . . .   | 152  |
| » XVII. . . . .   | 158  |
| » XVIII . . . . . | 169  |

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ:

|                  | СТР. |
|------------------|------|
| ГЛАВА I. . . . . | 195  |
| » II . . . . .   | 205  |
| » III . . . . .  | 223  |
| » IV . . . . .   | 233  |
| » V. . . . .     | 240  |
| » VI . . . . .   | 246  |
| » VII. . . . .   | 255  |
| » VIII . . . . . | 265  |

|                    | СТР. |
|--------------------|------|
| ГЛАВА IX . . . . . | 272  |
| » X . . . . .      | 284  |
| » XI . . . . .     | 295  |
| » XII . . . . .    | 300  |
| » XIII . . . . .   | 315  |
| » XIV . . . . .    | 336  |
| » XV . . . . .     | 347  |
| » XVI . . . . .    | 363  |
| » XVII . . . . .   | 385  |
| » XVIII . . . . .  | 400  |
| » XIX . . . . .    | 412  |
| » XX . . . . .     | 421  |
| » XXI . . . . .    | 438  |
| » XXII . . . . .   | 451  |

# ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.





## I.

Два господина сидѣли въ небрежно-убранной квартирѣ въ Петербургѣ, на одной изъ большихъ улицъ. Одному было около тридцати-пяти, а другому около сорока-пяти лѣтъ.

Первый былъ Борисъ Павловичъ Райскій, второй — Иванъ Ивановичъ Аяновъ.

У Бориса Павловича была живая, чрезвычайно подвижная фizioномія. Съ перваго взгляда онъ казался моложе своихъ лѣтъ: большой бѣлый лобъ блисталъ свѣжестью, глаза мѣнялись, то загорались мыслию, чувствомъ, веселостью, то задумывались мечтательно, и тогда казались молодыми, почти юношескими. Иногда же смотрѣли они зрѣло, устало, скучно и обличали возрастъ своего хозяина. Около глазъ собирались даже три легкія морщины, эти неизгладимые знаки времени и опыта. Гладкіе черные волосы падали на затылокъ и на уши, а въ вискахъ серебрилось нѣсколько бѣлыхъ волосъ. Щеки также, какъ и лобъ, около глазъ и рта, сохранили еще молодые цвѣта, но у висковъ и около подбородка цвѣтъ былъ изъ желта-смугловатый.

Вообще легко можно было угадать по лицу ту пору жизни, когда совершилась уже борьба молодости со зрѣлостью, когда человѣкъ перешелъ на вторую половину жизни, когда каждый прожитой опытъ, чувство, болѣзнь, оставляютъ слѣдъ. Только ротъ его сохранялъ, въ неувимой игрѣ

тонкихъ губъ и въ улыбкѣ, молодое, свѣжее иногда почти дѣтское выраженіе.

Райскій одѣтъ былъ въ домашнее сѣренькое пальто, сидѣлъ съ ногами на диванѣ.

Иванъ Ивановичъ былъ напротивъ въ черномъ фракѣ. Бѣлыя перчатки и шляпа лежали около него на столѣ. У него лицо отличалось спокойствіемъ, или скорѣе равнодушнымъ ожиданіемъ ко всему, что можетъ около него происходить.

Смышленный взглядъ, неглупыя губы, смугло-желтоватый цвѣтъ лица, красиво подстриженные, съ сильной просѣдою, волосы на головѣ и бакенбардахъ, умѣренные движенія, сдержанная рѣчь и безукоризненный костюмъ—вотъ его наружный портретъ.

На лицѣ его можно было прочесть покойную увѣренность въ себѣ и пониманіе другихъ, выглядывавшія изъ глазъ.—Пожилъ человѣкъ, знаетъ жизнь и людей, скажетъ о немъ наблюдатель, и если не отнесетъ его къ разряду особенныхъ, вышихъ натуръ, то еще менѣе къ разряду натуръ наивныхъ.

Это былъ представитель большинства уроженцовъ универсальнаго Петербурга, и вмѣстѣ то, что называютъ свѣтскимъ человѣкомъ. Онъ принадлежалъ Петербургу и свѣту, и его трудно было бы представить себѣ гдѣ-нибудь въ другомъ городѣ, кромѣ Петербурга, и въ другой сферѣ, кромѣ свѣта, т. е. извѣстнаго высшаго слоя петербургскаго населенія, хотя у него есть и служба, и свои дѣла, но его чаще всего встрѣчаешь въ бѣльшей части гостиныхъ, утроемъ—съ визитами, на обѣдахъ, на вечерахъ: на послѣднихъ всегда за картами. Онъ—такъ себѣ: ни характеръ, ни безхарактерность, ни знаніе, ни невѣжество, ни убѣжденіе, ни скептизмъ.

Незнаніе или отсутствіе убѣжденія облечено у него въ форму какого-то легкаго, поверхностнаго всеотрицанія: онъ



относился ко всему небрежно, ни передъ чѣмъ искренне не склоняясь, ни чему глубоко не вѣря и ни къ чему особенно не пристращаясь. Немного насмѣшливъ, скептиченъ, равнодушенъ и ровенъ въ сношеніяхъ со всѣми, не даря никого постоянной и глубокой дружбой, но и не преслѣдуя никого настойчивой враждой.

Онъ родился, учился, выросъ и дожилъ до старости въ Петербургѣ, не выѣзжая далѣе Лахты и Ораніенбаума съ одной, Токсова и Средней-Рогатки съ другой стороны. Отъ этого въ немъ отражались, какъ солнце въ каплѣ, весь петербургскій міръ, вся петербургская практичность, нравы, тонъ, природа, служба, — эта вторая петербургская природа, и болѣе ничего.

На всякую другую жизнь у него не было никакого взгляда, никакихъ понятій кромѣ тѣхъ, какія даютъ свои и иностранныя газеты. Петербургскія страсти, петербургскій-взглядъ, петербургскій годовой обиходъ пороковъ и добродѣтелей, мыслей, дѣлъ, политики, и даже, пожалуй, поэзіи, — вотъ гдѣ вращалась жизнь его, и онъ не порывался изъ этого круга, находя въ немъ полное до роскоши удовлетвореніе своей натурѣ.

Онъ равнодушно смотрѣлъ сорокъ лѣтъ сряду, какъ съ каждой весной отплывали за границу биткомъ-набитые пароходы, уѣзжали внутрь Россіи дилижансы, вполѣдствіи вагоны, — какъ двигались толпы людей „съ наивнымъ настроеніемъ“ дышать другимъ воздухомъ, освѣжаться, искать впечатлѣній и развлеченій.

Никогда ни чувствовалъ онъ подобной потребности, да и въ другихъ не признавалъ ее, а глядѣлъ на нихъ, на этихъ другихъ, покойно, равнодушно, съ весьма приличнымъ выраженіемъ въ лицѣ и взглядомъ говорившимъ: — Пусть-де ихъ себѣ, а я не поѣду.

Онъ говорилъ просто, свободно переходя отъ предмета

къ предмету, всегда зналъ обо всемъ, что дѣлается въ мірѣ въ свѣтѣ и въ городѣ; слѣдилъ за подробностями войны, если была война, узнавалъ равнодушно о перемѣнѣ англійскаго или французскаго министерства, читалъ послѣднюю рѣчь въ парламентѣ и во французской палатѣ депутатовъ, всегда зналъ о новой піесѣ, и о томъ, кого зарѣзали ночью на Выборгской сторонѣ. Зналъ генеологію, состояніе дѣлъ и имѣній и скандалезную хронику каждаго большого дома столицы; — зналъ всякую минуту, что дѣлается въ администраціи, о перемѣнахъ, повышеніяхъ, наградахъ, — зналъ и сплетни городскія: словомъ, зналъ хорошо свой міръ.

Утро уходило у него на мыканье по свѣту, т. е. по гостинымъ, отчасти на дѣла и службу, — вечеръ нерѣдко онъ начиналъ спектаклемъ, а кончалъ всегда картами въ англійскомъ клубѣ, или у знакомыхъ, а знакомы ему были всѣ.

Въ карты игралъ онъ безъ ошибки и имѣлъ репутацію пріятнаго игрока, потому что былъ снисходителенъ къ ошибкамъ другихъ, никогда не сердился, а глядѣлъ на ошибку съ такимъ же приличіемъ, какъ на отличный ходъ. Потомъ онъ игралъ и по большой, и по маленькой, и съ крупными игроками, и съ капризными дамами.

Строевую службу онъ прошелъ хорошо, протерши лямку около пятнадцати лѣтъ въ канцеляріяхъ, въ должностяхъ исполнителя чужихъ проектовъ. Онъ тонко угадывалъ мысль начальника, раздѣлялъ его взглядъ на дѣло и ловко излагалъ на бумагѣ разные проекты. Мѣнялся начальникъ, а съ нимъ и взглядъ, и проектъ: Аяновъ работалъ также умно и ловко и съ новымъ начальникомъ, надъ новымъ проектомъ — и докладныя записки его нравились всѣмъ министрамъ, при которыхъ онъ служилъ.

Теперь онъ состоялъ при одномъ изъ нихъ по особымъ порученіямъ. По утрамъ являлся къ нему въ кабинетъ, потомъ къ женѣ его въ гостиную, и дѣйствительно исполнялъ

нѣкоторыя ея порученія, а по вечерамъ въ положенные дни непременно составлялъ партію, съ кѣмъ попросить. У него былъ довольно крупный чинъ и окладъ — и никакого дѣла.

Если позволено проникать въ чужую душу, то въ душѣ Ивана Ивановича не было никакого мрака, никакихъ тайнъ, ничего загадочнаго впереди, и сами макбетовскія вѣдьмы затруднились бы обольстить его какимъ-нибудь болѣе блестящимъ жребіемъ, или отнять у него тотъ, къ которому онъ шествовалъ такъ сознательно и достойно. Повыситься изъ статскихъ въ дѣйствительные статскіе, а подъ конецъ, за долговременную и полезную службу и „неусыпные труды“, какъ по службѣ, такъ и въ картахъ — въ тайные со- вѣтники, и бросить якорь въ портѣ, въ какой-нибудь неотлѣнной комиссіи или въ комитетѣ, съ сохраненіемъ окладовъ,—а тамъ, волнуясь себѣ человѣческій океанъ, мѣняйся вѣкъ, лети въ пучину судьба народовъ, царствъ,—все пролетитъ мимо его, пока апоплексическій или другой ударъ не остановить теченіе его жизни.

Аяновъ былъ женатъ, овдовѣлъ и имѣлъ двѣнадцати лѣтъ дочь, воспитывавшуюся на казенный счетъ въ институтѣ, а онъ, устроивъ свои дѣлишки, велъ покойную и беззаботную жизнь стараго холостяка.

Одно только нарушало его спокойствіе:—это геморрой отъ сидячей жизни; въ перспективѣ представлялось для него тревожное событіе—прервать на время эту жизнь и побывать гдѣ-нибудь на водахъ. Такъ грозилъ ему докторъ.

— Не пора ли одѣваться: четверть пятаго! — сказали Аяновъ.

— Да, пора, отвѣчалъ Райскій, очнувшись отъ задумчивости.

— О чемъ ты задумался! спросилъ Аяновъ.

— О комъ? поправиль Райскій: — Да о ней все... о Софьѣ...

— Опять! Ну! замѣтилъ Аяновъ.

Райскій сталъ одѣваться.

— Ты не скучаешь, что я тебя туда таскаю? спросилъ Райскій.

— Нимало: не все равно играть, что тамъ, что у Плевыхъ? Оно, правда, совѣстно немного обыгрывать старухъ: Анна Васильевна бьетъ карты своего партнёра со-слѣва, а Надежда Васильевна вслухъ говорить, съ чего поидеть.

— Не безпокойся, не оберешь по пяти копѣекъ. У обѣихъ старухъ до шестидесяти тысячъ дохода.

— Знаю, и это все Софьѣ Николаевнѣ достанется?

— Ей: она родная племянница. Да когда еще достанется! Онѣ скупы, переживуть ее.

— У отца вѣдь, кажется, немного...

— Нѣтъ, все спустилъ.

— Да куда онъ тратить? Въ карты почти не играетъ.

— Какъ, куда? А женщины? А эта бѣготня, *petits soupers*, весь этотъ *train*? Зимой въ пять тысячъ сервизъ подарилъ на вечеръ Агмансе, а она его-то и забыла пригласить къ ужину...

— Да, да, слышалъ. За что? Что онъ у ней тамъ дѣлаетъ?..

Оба засмѣялись.

— Отъ мужа у Софьи Николаевны, кажется, тоже, немного осталось!

— Нѣтъ, тысячъ семь дохода; это ея карманный деньги. А то все отъ тѣтокъ. Но пора! сказалъ Райскій. — Мнѣ хочется до обѣда еще по Невскому пройтись.

Аяновъ и Райскій пошли по улицѣ, кивая, раскланиваясь и пожимая руки на право и на лѣво.

— Долго ты нынче просидишь у Бѣловодовой?



— Пока не выгонять — какъ обыкновенно. А что, скучно?

— Нѣтъ, я думалъ, поспѣю ли я къ Ивлевымъ? Мнѣ скучно не бываетъ...

— Счастливый человѣкъ! съ завистью сказалъ Райскій. — Еслибъ не было на свѣтѣ скуки! Можетъ ли быть люте бича?

— Молчи, пожалуйста! съ суевѣрнымъ страхомъ остановилъ его Аяновъ: еще накличешь что-нибудь! А у меня одинъ геморрой чего-нибудь да стоитъ! Доктора только и знаютъ, что вонъ отсюда шлютъ: далась имъ эта сидячая жизнь—всѣ бѣды въ ней видятъ! Да воздухъ еще: чего лучше этого воздуха?—Онъ съ удовольствіемъ нюхнулъ воздухъ.—Я теперь выбралъ подобрѣе эскулапа: тотъ хочетъ лѣтомъ кислымъ молокомъ лечить меня: у меня вѣдь закрытый... ты знаешь? Такъ ты отъ скуки ходишь къ своей кузинѣ?

— Какой вопросъ: разумѣется! Развѣ ты не отъ скуки сядишься за карты? Всѣ отъ скуки спасаются, какъ отъ чумы.

— Какое же ты жалкое лекарство выбралъ отъ скуки—переливать изъ пустого въ порожнее съ женщиной: каждый день одно и тоже!

— А въ картахъ развѣ не одно и тоже? А вотъ ты прячешься въ нихъ отъ скуки...

— Ну, нѣтъ, не одно и тоже: какой-то англичанинъ вывелъ комбинацію, что одна и таже сдача картъ можетъ повториться лѣтъ въ тысячу только... А шансы? А характеры игроковъ, манера каждого, ошибки?.. Не одно и тоже! А вотъ съ женщиной биться зиму и весну! Сегодня, завтра... вотъ этого я не понимаю!

— Ты не понимаешь красоты: что же дѣлать съ этимъ? Другой не понимаетъ музыки, третій живописи: это неразвитость своего рода...



— Да, именно—своего рода. Вонъ у меня въ отдѣленіи служилъ помощникомъ Иванъ Петровичъ: тотъ ни одной чиновницѣ, ни одной горничной проходу не даетъ, т. е. красивой конечно. Всѣмъ говорить любезности, подносить конфеты, букеты: онъ развить что-ли?

— Оставимъ этотъ разговоръ, сказалъ Райскій: — а то опять оба на стѣну полѣземъ, чуть не до драки. Я не понимаю твоихъ картъ, и ты вправѣ назвать меня невѣждой. Не суйся же и ты судить и рядить о красотѣ. Всякій по своему наслаждается и картиной, и статуей, и живой красотой женщины: твой Иванъ Петровичъ такъ, я иначе, а ты никакъ,—ну, и при тебѣ!

— Ты играешь съ женщинами, какъ я вижу, сказалъ Аяновъ...

— Ну, играю, и что же?—Ты тоже играешь и обыгрываешь почти всегда, а я всегда проигрываю... Что же тутъ дурного?

— Да, Софья Николаевна красавица, да еще богатая невѣста: женись и конецъ всему.

— Да —и конецъ всему, и начало скукѣ! задумчиво повторилъ Райскій:—А я не хочу конца! Успокойся, за меня бы ее и не отдали!

— Тогда, по моему, и ходить не-зачѣмъ. Ты просто — донъ-Жуанъ!

— Да, донъ-Жуанъ, пустой человѣкъ: такъ что ли по вашему?

— А какъ же: что-жъ онъ по твоему?

— Ну, такъ и Байронъ, и Гёте, и куча живописцевъ, скульпторовъ—все были пустые люди...

— Да ты—Байронъ или Гёте, что ли?..

Райскій съ досадой отвернулся отъ него.

— Донъ-жуанизмъ—тоже въ людскомъ родѣ, что донъ-кихотство: еще глубже; эта потребность еще прирожденнѣе... сказалъ онъ.

— Коли потребность—такъ женись... я тебѣ говорю...

— Ахъ! почти съ отчаяніемъ произнесъ Райскій:—Вѣдь жениться можно одинъ, два, три раза: ужели я не могу наслаждаться красотой такъ, какъ бы наслаждался красотой въ статуѣ? Донъ-Жуанъ наслаждался прежде всего эстетически этой потребностью, но грубо; сынъ своего вѣка, воспитанія, нравовъ онъ увлекался за предѣлы этого поклоненія—вотъ и все. Да что толковать съ тобой!

— Коли не жениться, такъ не зачѣмъ и ходить, апатично повторилъ Аяновъ.

— А знаешь—ты отчасти правъ. Прежде всего скажу, что мои увлеченія всегда искренни и не умышленны:—это не волокитство — знай однажды на всегда. И когда мой идолъ хоть одной чертой подходитъ къ идеалу, который фантазія сейчасъ создаетъ мнѣ изъ него — у меня само собою додѣляется остальное, и тогда возникаетъ идеаль счастья, семейнаго...

— Вотъ видишь; ну такъ и женись... замѣтилъ Аяновъ.

— Погоди, погоди: никогда ни одинъ идеаль не доживалъ до срока свадьбы: блѣднѣлъ, падалъ, и я уходилъ охлажденный... Что фантазія создаетъ, то анализъ разрушаетъ, какъ картонный домикъ. Или самъ идеаль, не дождавшись охлажденія, уходитъ отъ меня...

— А все-таки каждый день сидѣть съ женщиной и болтать!.. упрямо твердилъ Аяновъ, покачивая головой.—Ну о чемъ, напримѣръ, ты будешь говорить, хоть сегодня? Чего ты хочешь отъ нея, если ее за тебя не выдадутъ?

— И я тебя спрошу: чего ты хочешь отъ ея тѣтокъ? Какія карты къ тебѣ придутъ? Выиграешь ты, или проиграешь? Развѣ ты ходишь съ тѣмъ туда, чтобъ выиграть всѣ шестьдесятъ тысячъ дохода? Ходишь проиграть — и выиграть что-нибудь...

— У меня никакихъ расчетовъ нѣтъ: я дѣлаю это отъ... отъ... для удовольствія.

— Отъ... отъ скуки—видишь, и я для удовольствія—и тоже безъ расчетовъ. А какъ я наслаждаюсь красотой, ты и твой Иванъ Петровичъ этого не поймете, не во гнѣвъ тебѣ и ему — вотъ и все. Вѣдь есть же одни, которые мѣлятся страстно, а другіе не знаютъ этой потребности, и...

— Страстно! Страсти мѣшаютъ жить. Трудъ — вотъ одно лекарство отъ пустоты: дѣло, сказалъ Аяновъ внушительно.

— Райскій остановился, остановилъ Аянова, ядовито улыбнулся и спросилъ: — Какое дѣло, скажи пожалуйста: это любопытно!

— Какъ какое? Служи.

— Развѣ это дѣло? Укажи ты мнѣ въ службѣ, за многими исключеніями, дѣло, безъ котораго бы нельзя было обойтись?

Аяновъ засвисталъ отъ удивленія.

— Вотъ тебѣ разъ! — сказалъ онъ и поглядѣлъ около себя. Да вотъ!—Онъ указалъ на полицейскаго чиновника, который упорно глядѣлъ въ одну сторону.

— А спроси его,—сказалъ Райскій,—зачѣмъ онъ тутъ стоитъ, и кого такъ пристально высматриваетъ и выжидаешь? Генерала! А насъ съ тобой не видитъ, такъ что любой прохожій можетъ вытащить у насъ платокъ изъ кармана. Ужели ты считаешь дѣломъ твои бумаги? Не будемъ распространяться объ этомъ, а скажу тебѣ, что я, право, больше дѣлаю, когда мажу свои картины, брянчу на роялѣ и даже когда поклоняюсь красотѣ...

— И чтò особеннаго, кромѣ красоты, нашелъ ты въ своей кузинѣ?

— Кромѣ красоты! Да это все! Впрочемъ, я мало знаю ее: это-то, вмѣстѣ съ красотой, и влечетъ меня къ ней...

— Какъ, каждый день вмѣстѣ и мало знаешь?..

— Мало. Не знаю, что у нея кроется подъ этимъ спокойствіемъ, не знаюея прошлаго и неугадываю ея будущаго. Женщина она, или кукла, живетъ или поддѣляется подъ жизнь? И это мучить меня... Вонъ, смотри, продолжалъ Райскій—видишь эту женщину?

— Ту толстую, что лѣзетъ съ узломъ на извозчика?

— Да, и вотъ эту, что глядитъ изъ окна кареты? И вонъ ту, что заворачиваетъ изъ за угла на встрѣчу намъ?

— Ну, такъ что же?

— Ты на ихъ лицахъ мелькомъ прочтешь какую-нибудь заботу, или тоску, или радость, или мысль, признакъ воли: ну словомъ,—движеніе, жизнь. Немного нужно, чтобъ подобрать ключъ и сказать, что тутъ семья и дѣти, значить было прошлое, а тамъ глядитъ страсть или живой слѣдъ симпатіи, — значить есть настоящее, а здѣсь на молодомъ лицѣ играютъ надежды, просятся наружу желанія и пророчать безпокойное будущее...

— Ну?

— Ну, вездѣ что-то живое, подвижное, требующее жизни и отзывающееся на нее... А тамъ ничего этого нѣтъ, ничего, хоть шаромъ покати! Даже нѣтъ апатіи, скуки, чтобъ можно было сказать: была жизнь и убита — ничего! Сіяетъ и блеститъ, ничего не просить и ничего не отдавать! И я ничего не знаю! А ты удивляешься, что я бьюсь?

— Давно бы сказалъ мнѣ это, и я удивляться пересталъ бы, потому что я самъ такой, — сказалъ Аяновъ, вдругъ останавливаясь.—Ходи ко мнѣ, вмѣсто нея...

— Ты?

— Да—я!

— Что же ты, красотой блистаешь?..

— Блистаю спокойствіемъ и наслаждаюсь этимъ; и она тоже... Что тебѣ за дѣло?..



— До тебя—никакого, а она—красота, красота!

— Женись, а не хочешь или нельзя, такъ оставь, займись дѣломъ...

— Ты прежде заведи дѣло, въ которое могъ бы броситься живой умъ, гнушающійся мертвечины, и страстная душа, и укажи, какъ положить силы во что нибудь, что стоитъ борьбы—а съ своими картами, визитами, раутами и службой—убирайся къ чорту!

— У тебя беспокойная натура, — сказалъ Аяновъ; не было строгой руки и тяжелой школы — вотъ ты и куралѣсишь... Помнишь, ты рассказывалъ, когда твоя Наташа была жива...

Райскій вдругъ остановился и, съ грустью на лицѣ, схватилъ своего спутника за руку.

— Наташа! повторилъ онъ тихо:—это единственный, тяжелый камень у меня на душѣ—не мѣшай память о ней въ эти мои впечатлѣнія и мимолетныя увлеченія...

Онъ вздохнулъ, и они молча дошли до Владимірской церкви, свернули въ переулокъ и вошли въ подъѣздъ барскаго дома.

## II.

Райскій съ годъ только передъ этимъ познакомился съ Софьей Николаевной Бѣловодовой, вдовой на двадцать-пять-томъ году, послѣ недолгаго замужества съ Бѣловодовымъ, служившимъ по дипломатической части.

Она была изъ стариннаго богатаго дома Пахотиныхъ. Матери она лишилась еще до замужества, и батюшка ея, состоявшій въ полномъ распоряженіи супруги, почувствовавъ себя на свободѣ, вдругъ спохватился, что молодость его рано захвачена была женитьбой, и что онъ не успѣлъ пожить и пожурить.



Онъ повелъ-было жизнь холостяка, пересиливалъ годы и природу, но не пересилилъ, и только смотрѣлъ, какъ ѣли и пили другіе, а у него желудокъ не варилъ. Но онъ уже успѣлъ нанести смертельный ударъ своему состоянію.

У него, въ замѣнъ наслажденій, которыми онъ пользоваться не могъ, явилось старческое тщеславіе имѣть видъ шалуна, и онъ сталъ вознаграждать себя за вѣрность въ супружествѣ сумасбродными связями, на которыя быстро ушли всѣ наличныя деньги, брильянты жены, наконецъ и большая часть приданаго дочери. На недвижимое имѣніе, и безъ того заложенное имъ еще до женитьбы, росли значительныя долги.

Когда источники изсякли, онъ изрѣдка, въ годъ разъ, иногда два, сдѣлаетъ дорогую шалость, купить брильянты какой-нибудь Arganсе, экипажъ, сервизъ, ѣздить къ ней недѣли три, провожаетъ въ театръ, дѣлаетъ ей ужины, сзываетъ молодежь, а потомъ опять смолкнетъ до слѣдующихъ денегъ.

Николай Васильевичъ Пѣхотинъ былъ очень красивый сановитый старикъ, съ мягкими, почтенными сѣдинами. По виду, его примешь за какого-нибудь Пальмерстона.

Особенно красивъ онъ былъ, когда съ гордостью вель подъ руку Софью Николаевну куда-нибудь на балъ, на общественное гулянье. Незнавшіе его почтительно сторонились, а знакомые, завидя шалуна, начинали уже улыбаться и потомъ фамиллярно и шутливо трясти его за руку, звали устроить веселый обѣдъ, рассказывали на ухо пріятную исторію...

Старикъ шутилъ, рассказывалъ самъ направо и налѣво анекдоты, говорилъ каламбуры, особенно любилъ съ сверстниками жить воспоминаніями минувшей молодости и своего времени. Они съ восторгомъ припоминали, какъ графъ Борисъ или Денисъ проигрывалъ кучи золота; терзались

тѣмъ, что сами тратили такъ мало, жили такъ мизерно; поучали внимательную молодежь великому искусству жить.

Но особенно любилъ Пáхотинъ уноситься воспоминаніями въ Парижъ, когда въ четырнадцатомъ году русскіе явились великодушными побѣдителями, перещеголявшими любезностью тогдашнихъ французовъ, уже попорченныхъ въ этомъ отношеніи революціей, и превосходившими безумнымъ мотовствомъ широкую щедрость англичанъ.

Старикъ, шутя, проживалъ жизнь, всегда смѣялся, рассказывалъ только веселое, даже на драму въ театрѣ смотрѣлъ съ улыбкой, любуясь ножкой или лорнируя la gorge актрисы.

Когда же наставало не веселое событіе, не обѣдъ, не соблазнительная, закулисная драма, а затрогивались нервы жизни, слышался въ ней громовой раскатъ, когда около него возникалъ важный вопросъ, требовавшій мысли или волн, старикъ тупо недоумѣвалъ, впадалъ въ безпокойное молчаніе и только учащенно жевалъ губами.

У него былъ живой, игривый умъ, наблюдательность и нѣкогда смѣлые порывы въ характерѣ. Но шестнадцати лѣтъ онъ поступилъ въ гвардію, выучась отлично говорить, писать и пѣть по-французски и почти не зная русской грамоты. Ему дали отличную квартиру, лошадей, экипажъ и тысячъ двадцать дохода.

Никто лучше его не былъ одѣтъ, и теперь еще, въ старости, онъ даетъ законы вкуса портному; все на немъ сидитъ отлично, ходитъ онъ бодро, благородно, говоритъ съ увѣренностію и никогда не выходитъ изъ себя. Судитъ обо всемъ часто на перекорь логикѣ, но владѣетъ софизмомъ съ необыкновенною ловкостью.

Съ нимъ можно не согласиться, но сбить его трудно. Свѣтъ, опытъ, вся жизнь его не дали ему никакого содержанія, и оттого онъ боится серьезнаго, какъ огня. Но тотъ

же опытъ, жизнь всегда въ кучѣ людей, множество встрѣчь и способность знакомиться со всѣми, образовывали ему какой-то очень пріятный, мелкій умокъ, и незнающій его съ перваго раза даже положится на его совѣтъ, сужденіе, и потомъ уже, жестоко обманувшись, разглядитъ, что это за человѣкъ.

Онъ не успѣлъ еще окунуться въ омутъ опасной, при праздности и деньгахъ, жизни, какъ на двадцать-пятомъ году его женили на дѣвушкѣ красивой, стараго рода, но холодной, съ деспотическимъ характеромъ, съ разу угадавшей слабость мужа и прибравшей его къ рукамъ.

Теперь Николай Васильевичъ Пахотинъ застѣдаетъ въ какомъ-то совѣтѣ разъ въ недѣлю, имѣетъ важный чинъ, двѣ звѣзды, и томительно ожидаетъ третьей. Это его общественное значеніе.

Было у него другое ожиданіе — поѣхать за границу, то-есть въ Парижъ, уже не съ оружіемъ въ рукахъ, а съ золотомъ, и тамъ пожить, какъ жилали въ старину.

Онъ съ наслажденіемъ и завистью припоминалъ анекдоты времени революціи, какъ одинъ знатный повѣса разбилъ тамъ чашку въ магазинѣ и въ отвѣтъ на упреки купца перебилъ и переломалъ еще множество вещей и заплатилъ за весь магазинъ; какъ другой перекупилъ у короля дачу и подарилъ танцовщицѣ. Оканчивалъ онъ рассказы вздохомъ сожалѣнія о прошломъ.

Вскорѣ послѣ смерти жены онъ, было, попросился туда, но образъ его жизни, нравы и его затѣи такъ были извѣстны въ обществѣ, что ему, въ отвѣтъ на просьбу, коротко отвѣчено было: — Не вачѣмъ. Онъ пожевалъ губами, похандрилъ, потомъ сдѣлалъ какое-то громадное, дорогое сумасбродство и успокоился. Послѣ того, уже промотавшись окончательно, онъ въ Парижъ не порывался.

Кромѣ томительнаго ожиданія третьей звѣзды, у него было еще постоянное дѣло, постоянное стремленіе, забота, куда уходили его напряженное вниманіе, соображенія, вся его тактика, съ тѣхъ поръ, какъ онъ промотался — это извлекать изъ обѣихъ своихъ старшихъ сестеръ, пожилыхъ дѣвушекъ, тѣтокъ Софьи, денежные средства на шалости.

Надежда Васильевна и Анна Васильевна Пáхотины, хотя были скупы и не ставили собственно личность своего брата въ грошъ, но дорожили именемъ, которое онъ носилъ, репутаціей и важностью дома, преданіями, и потому, сверхъ опредѣленныхъ ему пяти тысячъ карманныхъ денегъ, въ разное время выдавали ему субсидіи около такой же суммы, и потомъ еще, съ выговорами, съ наставленіями, чуть не съ плачемъ, всегда къ концу года платили почти столько же по счетамъ портныхъ, мебельщиковъ и другихъ купцовъ.

Онѣ знали, на какое употребленіе уходятъ у него деньги, но на это онѣ смотрѣли снисходительно, помня нестрогіе нравы повѣсь своего времени и находя это въ мужчинѣ естественнымъ. Только онѣ, какъ нравственныя женщины, затыкали уши, когда онъ захочетъ похвастаться передъ ними своими шалостями, или когда кто другой вздумаетъ довести до ихъ свѣдѣнія о какомъ-нибудь его сумасбродствѣ.

Онъ былъ въ ихъ глазахъ пустой, никуда негодный, ни на какое дѣло, ни для совѣта — старикъ и плохой отецъ, но онъ былъ Пáхотинъ, а родъ Пáхотиныхъ уходитъ въ древность, портреты предковъ занимаютъ всю залу, а родословная не укладывается на большомъ столѣ, и въ родѣ ихъ было много лицъ съ громкимъ значеніемъ.

Онѣ гордились этимъ и прощали брату все, за то только, что онъ Пáхотинъ.

Сами онѣ блистали нѣкогда въ свѣтѣ, и по какимъ-то, кромѣ ихъ всѣми забытымъ причинамъ, остались дѣвами.



Онѣ уединились въ родовомъ домѣ, и тамъ, въ семействѣ женатаго брата, доживали старость, окруживъ строгимъ вниманіемъ, попеченіями и заботами единственную дочь Пáхотина, Софью. Замужество послѣдней разстроило, было, ихъ жизнь, но она овдовѣла, лишилась матери и снова, какъ въ монастырь, поступила подъ авторитетъ и опеку тѣтокъ.

Онѣ были двѣ высокія, сѣдыя, чинныя старушки, ходившія дома въ тяжелыхъ, шелковыхъ темныхъ платьяхъ, большихъ чепцахъ, на рукахъ со многими перстнями.

Надежда Васильевна страдала тикомъ и носила подъ чепцомъ бархатную шапочку, на плечахъ бархатную, подбитую горностаемъ кацавейку, а Анна Васильевна сырцовыя букли и большую шаль.

У обѣихъ было по редикюлю, а у Надежды Васильевны высокая, золотая табакерка. около нея нѣсколько носовыхъ платковъ и моська, старая, всегда заспанная, хрипящая, и отъ старости не узнающая никого изъ домашнихъ, кромѣ своей хозяйки.

Домъ у нихъ былъ старый, длинный, въ два этажа, съ гербомъ на фронтонѣ, съ толстыми, массивными стѣнами, съ глубокими окошками и длинными простѣнками.

Въ домѣ тянулась безконечная анфилада обитыхъ штофомъ комнатъ; темные, тяжелые рѣзные шкафы, съ старымъ фарфоромъ и серебромъ, какъ саркофаги, стояли по стѣнамъ съ тяжелыми же диванами и стульями рококо, богатыми, но жесткими, безъ комфорта. Швейцаръ походилъ на Нептуна; лакеи, пожилые и молчаливые, женщины, въ темныхъ платьяхъ и чепцахъ. Экипажъ высокій, съ шелковой бахромой, лошади старыя, породистыя, съ длинными шеями и спинами, съ побѣлѣвшими отъ старости губами, при ѣздѣ крупно кивающія головой.

Комната Софьи смотрѣла нѣсколько веселѣе прочихъ,



особенно когда присутствовала въ ней сама хозяйка: тамъ были цвѣты, ноты, множество современныхъ бездѣлокъ.

Еще бы немного побольше свободы, беспорядка, свѣта и шуму — тогда это былъ бы свѣжій, веселый и розовый пріютъ, гдѣ бы можно замечтаться, зачитаться, заиграться, и пожалуй залюбиться.

Но цвѣты стояли въ тяжелыхъ, старинныхъ вазахъ, точно надгробныхъ урнахъ, горка массивнаго стараго серебра придавала еще больше античности комнатѣ. Да и тѣтки не могли видѣть беспорядка: чуть цвѣты раскинутся въ вазѣ прихотливо, входила Анна Васильевна, звонила дѣвушку въ чепцѣ и приказывала собрать ихъ въ симметрію.

Если оказывалась книга въ богатомъ переплетѣ лежащею на диванѣ, на стулѣ, — Надежда Васильевна ставила ее на полку; если западалъ слишкомъ вольный лучъ солнца и игралъ на хрусталѣ, на зеркалѣ, на серебрѣ, — Анна Васильевна находила, что глазамъ больно, молча указывала человѣку пальцемъ на портьеру, и тяжелая, негнущаяся шелковая завѣса мѣрно падала съ петли и закрывала свѣтъ.

За то внизу, у Николая Васильевича былъ полный безпорядокъ. Старыя преданія мѣшались тамъ съ слѣдами современнаго комфорта. Подлѣ тяжелаго буля стояла откидная кушетка отъ Гамбса, высокій, готическій каминъ прикрывался ширмами съ картинами фоблазовскихъ нравовъ, на столахъ часто утро заставало остатки ужина, на диванѣ можно было найдти иногда женскую перчатку, ботинку, въ уборной его — цѣлый магазинъ косметическихъ снадобьевъ.

Какъ тихо и молчаливо было наверху, такъ внизу слышались часто звонкіе голоса, смѣхъ, всегда было тамъ живо, беспорядочно. Камердинеръ былъ у него французъ, съ почтительной рѣчью и наглымъ взглядомъ.

### III.

Много комнатъ прошли Райскій и Ляновъ, прежде нежели добрались до жилья, то-есть до комнатъ, гдѣ сидѣли обѣ старухи и Софья Николаевна.

Когда они вошли въ гостиную, на нихъ захрипѣла моська, но не смогла полаять и, повертѣвшись около себя, опять улеглась.

Анна Васильевна кивнула имъ, а Надежда Васильевна, въ отвѣтъ на поклоны ласково поглядѣла на нихъ, съ удовольствіемъ высморкалась и сейчасъ же понюхала табакъ, зная, что у ней будетъ партія.

— *Ma cousine!* сказалъ Райскій, протянувъ руку Бѣловодовой.

Она поклонилась съ улыбкой и подала ему руку.

— Позвони, *Sophie*, чтобы кушать давали, сказала старшая тѣтка, когда гости усѣлись около стола.

Софья Николаевна поднялась-было съ мѣста, но Райскій предупредилъ ее и дернулъ шнурокъ.

— Скажи Николаю Васильевичу, что мы садимся обѣдать, съ холоднымъ достоинствомъ обратилась старуха къ челоуѣку. — Да кушать давать! Ты что, Борисъ, опоздалъ сегодня: четверть шестого! упрекнула она Райскаго.

Онъ былъ двоюроднымъ племянникомъ старухъ и троюроднымъ братомъ Софьи. Домъ его, тоже старый и когда-то богатый, былъ связанъ родствомъ съ домомъ Пахотиныхъ. Но познакомился онъ съ своей родней не больше года тому назадъ.

Въ этомъ онъ виноватъ былъ самъ. Старухи давно уже, услышавъ его фамилію, освѣдомлялись, изъ тѣхъ ли онъ Райскихъ, которые происходили тогда-то, отъ тѣхъ-то, и жили тамъ-то?

Онъ зналъ объ этомъ, но притаился и пропустилъ этотъ вопросъ безъ вниманія, не находя ничего занимательнаго знакомиться съ скучнымъ, строгимъ, богатымъ домомъ.

Самъ онъ былъ не скученъ, не строгъ и не богатъ. Старику своего рода онъ не ставилъ ни во что, даже никогда объ этомъ не помнилъ и не думалъ.

Остался онъ еще въ дѣтствѣ сиротой, на рукахъ равнодушнаго, холостого опекуна, а тотъ отдалъ его сначала на воспитаніе родственницѣ, приходившейся двоюродной бабушкой Райскому.

Она была отличнѣйшая женщина по сердцу, но далѣе своего уголка ничего знать не хотѣла, и тамъ въ тиши, среди садовъ и рощъ, среди семейныхъ и хозяйственныхъ хлопотъ маленькаго размѣра, провелъ Райскій нѣсколько лѣтъ, а чуть подросъ, опекунъ помѣстилъ его въ гимназію, гдѣ окончательно изгладились изъ памяти мальчика всѣ родовыя преданія фамиліи о прежнемъ богатствѣ и родствѣ съ другими старыми домами.

Дальнѣйшее развитіе, занятія и направленіе еще болѣе отвели Райскаго отъ всѣхъ преданій старины.

И онъ не спѣшилъ сблизиться съ своими петербургскими родными, которые о немъ знали тоже по слуху. Но какъ-то зимой, Райскій однажды на балу увидѣлъ Софью, раза два говорилъ съ нею и потомъ уже сталъ искать знакомства съ ея домомъ. Это было всего легче сдѣлать черезъ отца ея: такъ Райскій и сдѣлалъ.

Онъ зналъ одну хорошенькую актрису и на вечерѣ у нея ловко поддѣлался къ старику, потомъ подарилъ ему портретъ этой актрисы своей работы, напомнилъ ему о своей фамиліи, о старыхъ связяхъ и скоро былъ представленъ старухамъ и дочери.

Онъ такъ обворожилъ старухъ, являясь то робкимъ, почтительнымъ мудрой старости, то живымъ, веселымъ собесѣд-

никомъ, что онѣ скоро перешли на *ты* и стали звать его *мон* невен, а онѣ стали звать Софью Николаевну кузиной и приобрѣль степень короткости и нѣкоторыя права въ домѣ, какихъ постороннему не приобрѣсти во сто лѣтъ.

Но все-таки онѣ еще были недовольны тѣмъ, что могъ являться по два раза въ день, приносить книги, ноты, приходить обѣдать за-просто. Онѣ привыкъ къ обществу новыхъ современныхъ нравовъ и къ непринужденному обхожденію съ женщинами.

А Софья мало оставалась одна съ нимъ: всегда присутствовала то одна, то другая старуха; рѣдко разговоръ выходилъ изъ предѣловъ текущей жизни или родовыхъ воспоминаній.

А если затрогивались вопросы живые, глубокіе, то старухи тономъ и сентенціями сейчасъ клали на всякій разговоръ свою патентованную печать.

Райскій между тѣмъ сгоралъ желаніемъ узнать не Софью Николаевну Бѣловодову—тамъ нечего было узнавать, кромѣ того, что она была прекрасная собой, прекрасно воспитанная, хорошаго рода и тона женщина—онѣ хотѣлъ отыскать въ ней просто женщину, наблюсти и опредѣлить, что кроется подъ этой покойной, неподвижной оболочкой красоты, сіяющей ровно, одинаково, никогда не бросавшей ни на что быстрого, жаждущаго, огненного, или наконецъ скучнаго, утомленнаго взгляда, никогда не обмолвившейся нетерпчивымъ, неосторожнымъ или порывистымъ словомъ?

Но она въ самомъ дѣлѣ прекрасна. Нужды нѣтъ, что она уже вдова, женщина; но на открытомъ, будто молочной бѣлизны бѣломъ лбу ея и благородныхъ, нѣсколько крупныхъ чертахъ лица, лежитъ дѣвическое, почти дѣтское невѣдѣніе жизни.

Она, кажется, не слыхала, что есть на свѣтѣ страсти,



тревоги, дикая игра событий и чувствъ, доводящія до проклятій, стирающія это сіяніе съ лица.

Большіе сѣро-голубые глаза полны ровнаго, не мерцающаго горѣнія. Но въ нихъ теплится будто и чувство; кажется, она не безсердечная женщина.

Но какое это чувство? Какого-то всеобщаго благоволенія, доброты ко всему на свѣтѣ, — такое чувство, если только это чувство, какимъ свѣтятся глаза у людей сытыхъ, беззаботныхъ, всѣмъ удовлетворенныхъ и не вѣдающихъ горя и нужды.

Волоса у нея были темные, почти черные, и густая коса едва сдерживалась большими булавками на затылкѣ. Плечи и грудь поражали пышностью.

Цвѣтъ лица, плечъ, рукъ — былъ цѣльный, свѣжій цвѣтъ, блистающій здоровьемъ, ничѣмъ нетронутымъ — ни болѣзнью, ни бѣдами.

Одѣвалась она просто, если разглядѣть подробно все, что на ней было надѣто, но казалась великолѣпно одѣтой. И матерія ея платья какъ будто была особенная, и ботинки не такъ сидятъ на ней, какъ на другихъ.

Великолѣпной картиной, видѣніемъ явилась она Райскому гдѣ-то на вечерѣ въ первый разъ.

Въ другой вечеръ онъ увидѣлъ ее далеко, въ театрѣ, въ третій разъ опять на вечерѣ, потомъ на улицѣ — и всякій разъ картина оставалась вѣрна себѣ, въ блескѣ и краскахъ.

Напрасно онъ настойчивымъ взглядомъ хотѣлъ прочесть ея мысль, душу, все, что крылось подъ этой оболочкой: кроме глубокаго спокойствія онъ ничего не прочелъ. Она казалась ему все той же картиной или отличной статуей музея.

Всѣ находили, что она образецъ достоинства строгихъ понятій, *comme il faut*, жалѣли, что она лишена семейнаго счастья и ждали, когда новый гименей наложитъ на нее цѣпи.



Въ семействѣ, тётки и близкіе старики и старухи часто при ней гадали ей, въ томъ или другомъ искателѣ, мужа: то посланникъ являлся чаще другихъ въ домъ, то недавно отличившійся генераль, а однажды серьезно поговаривали объ одномъ старикѣ, иностранцѣ, потомкѣ королевскаго, угасшаго рода. Она молчитъ и смотритъ беззаботно, какъ будто дѣло идетъ не о ней.

Другіе находили это натуральнымъ, даже высокимъ, sublime, только Райскій — Богъ знаетъ изъ-чего, бился истребить это въ ней и хотѣлъ видѣть другое.

Она на его старанія смотрѣла ласково, съ улыбкой. Ни въ одной чертѣ никогда не было никакой тревоги, желанія, порыва.

Напрасно онъ, слыша раздирающій вопль на сценѣ, быстро глядѣлъ на нее—что она? Она смотрѣла на это безъ томительнаго, поглотившаго всю публику напряженія, безъ наивнаго состраданія.

И карриатура на жизнь, комическая сцена, вызвавшая всеобщій продолжительный хохотъ, вызвала у ней только легкую улыбку и молчаливый, обмѣненный съ бывшей съ ней въ ложѣ женщиной, взглядъ.

— И она была за-мужемъ! думалъ Райскій въ недоумѣніи.

Онъ познакомился съ ней и потомъ познакомилъ съ домомъ ея бывшаго своего сослуживца Аянова, чтобы два раза въ недѣлю дѣлать партію тёткамъ, а самъ, пользуясь этимъ скуднымъ средствомъ, сближался сколько возможно съ кузиной, урывками вслушивался, взглядывался въ нее, не зная, зачѣмъ, для чего?

#### IV.

Уже сѣли за столъ, когда пришелъ Николай Васильевичъ, одѣтый въ коротенькій сюртукъ, съ безукоризненно

завязаннымъ галстухомъ, обрѣтый, сіяющій бѣлизной жилета, моложавымъ видомъ и красивыми, душистыми сѣдинами.

— *Bonjour, bonjour!* отвѣчалъ онъ, кивая всѣмъ. — Я не обѣдаю съ вами, не беспокойтесь, *ne vous dérangez pas*, говорилъ онъ, когда ему предлагали сѣсть. — Я за городомъ сегодня.

— Помилуй, *Nicolas*, за городомъ! сказала Анна Васильевна. — Вѣдь тамъ еще не растаяло... Или давно ревматизмъ не мучилъ?

Пахотинъ пожалъ плечами.

— Чтò, дѣлать! *Se que femme veut, Dieu le veut!* Вчера *la petite Nini* заказала Виктору обѣдъ на фермѣ: „хочу, говорить, подышать свѣжимъ воздухомъ“... Вотъ и я хочу!...

— Пожалуйста, пожалуйста! замахала рукой Надежда Васильевна: — поберегите подробности для этой *petite Nini*.

— Вы напрасно рискуете, сказалъ Аяновъ: — я въ тепломъ пальто озябъ.

— Э! *mon cher* Иванъ Ивановичъ: а еслибъ вы шубу надѣли, такъ и не озябли бы!...

— *Parti de plaisir* за городомъ — въ шубахъ! сказалъ Райскій.

— За городомъ! — Ты уже представляешь себѣ, съ понятіемъ „за городомъ“, — и зелень, и ручьи, и пастушковъ, а можетъ быть и пастушку... Ты, артистъ! А ты представь себѣ загородное удовольствіе, безъ зелени, безъ цвѣтовъ...

— Безъ тепла, безъ воды... перебилъ Райскій.

— И только съ воздухомъ... А воздухомъ можно дышать и въ комнатѣ. Итакъ, я ѣду въ шубѣ... Надѣну кстати бархатную ермолку подъ шляпу, потому что вчера и сегодня чувствую шумъ въ головѣ: все слышится, будто колокола звонятъ; вчера въ клубѣ около меня понѣмецки болтають, а мнѣ кажется грызутъ грецкіе орѣхи... А все же поѣду. О женщины!

— Это тоже—донъ-Жуанъ? спросилъ тихонько Аяновъ у Райскаго.

— Да, въ своемъ родѣ. Повторяю тебѣ, донъ-Жуаны, какъ донъ-Кихоты, разнообразны до безконечности. У этого погасла артистическое, тонкое чувство поклоненія красотѣ. Онъ поклоняется грубо, чувственно...

— Ну, братъ, какую ты метафизику устроилъ изъ красоты!

— Женщины, продолжалъ Пáхотинъ, теперь только и находятъ развлеченіе съ людьми нашихъ лѣтъ. (Онъ никогда не называлъ себя старикомъ). И какъ онѣ любезны: напри-мѣръ, Pauline сказала мнѣ...

— Пожалуйста, пожалуйста! заговорила съ нетерпѣніемъ Надежда Васильевна. — Уѣзжайте, если не хотите обѣдать...

— Ахъ, ma soeur! два слова: обратился онъ къ старшей сестрѣ и нагнувшись, тихо, съ умоляющимъ видомъ, что-то говорилъ ей.

— Опять! съ холоднымъ изумленіемъ перебила Надежда Васильевна.—Нѣту! упрямо сказала потомъ.

— Quinze cents! умолялъ онъ.

— Нѣту, нѣту, mon frère: къ святой недѣлѣ вы получили три тысячи, и ужъ нѣтъ... Это ни на что не похоже...

— Eh bien, mille roubles! Графу отдать: я у него на той недѣлѣ занялъ: совѣстно въ глаза смотрѣть.

— Нѣту и нѣту: а на меня вамъ не совѣстно смотрѣть?

Онъ отошелъ отъ нея и въ раздумьи пожевалъ губами.

— Вамъ сказывали люди, папá, что графъ сегодня заѣзжалъ къ вамъ? спросила Софья, услыхавъ имя графа.

— Да; жаль, что не засталъ. Я завтра буду у него.

— Онъ завтра рано уѣзжаетъ въ Царское Село.

— Онъ сказалъ?

— Да, онъ заходилъ сюда. Онъ говорить, что ему нужно бы видѣть васъ, дѣло какое-то...

Пѣхотинъ опять пожевалъ губами.

— Знаю, знаю, зачѣмъ! вдругъ догадался онъ: — бумаги разбирать — merci, а къ святой опять обошелъ меня, а Ильѣ дали! Qu'il aille se promener! Ты не была въ Лѣтнемъ-Саду? спросилъ онъ у дочери. — Виновать, я не поспѣлъ...

— Нѣтъ я завтра поѣду съ Catherine: она общала захватъ за мной.

Онъ поцѣловалъ дочь въ лобъ и уѣхалъ. Обѣдъ кончился; Аяновъ и старухи усѣлись за карты.

— Ну, Иванъ Ивановичъ, не сердитесь, сказала Анна Васильевна, — если опять забуду, да свою трефовую даму побью. Она мнѣ даже сегодня во снѣ приснилась. И какъ это я ее забыла! Кладу девятку на чужого валета, а дама на рукахъ...

— Случается! сказалъ любезно Аяновъ.

Райскій и Софья сидѣли сначала въ гостиной, потомъ перешли въ кабинетъ Софьи.

— Чтѣ вы дѣлали сегодня утромъ? спросилъ Райскій.

— Ъздила въ институтъ, къ Лидіи.

— А! къ кузинѣ. Что она, мила? Скоро выйдетъ?

— Къ осени; а на лѣто мы ее возьмемъ на дачу. Да: она очень мила, похорошѣла, только еще смѣшна... и всѣ онѣ пресмѣшныя...

— А чтѣ?

— Окружили меня со всѣхъ сторонъ; отъ всего приходятъ въ восторгъ: отъ кружева, отъ платья, отъ серегъ; даже просили показать ботинки... Софья улыбнулась.

— Что-жъ, вы показали?

— Нѣтъ. Надо лѣтомъ отучить Лидію отъ этихъ наивностей...

— Зачѣмъ же отучить? Наивныя дѣвочки, которыхъ все занимаетъ, веселить, и слава Богу, что занимають ботинки, потомъ займутъ ихъ деревья и цвѣты на вашей дачѣ... Вы и тамъ будете мѣшать имъ?

— О нѣтъ, цвѣты, деревья — кто-жъ имъ будетъ мѣшать въ этомъ? Я только помѣшала имъ видѣть мои ботинки: это не нужно, лишнее.

— Развѣ можно жить безъ лишняго, безъ ненужнаго?

— Кажется, вы сегодня опять намѣрены воевать со мной? замѣтила она:—Только пожалуйста не громко, а то тѣтушки поймають какое-нибудь слово, и захотятъ знать подробности: скучно повторять.

— Если все свести на нужное и серьезное, продолжалъ Райскій:—куда-какъ жизнь будетъ бѣдна, скучна! Только что человѣкъ выдумалъ, прибавилъ къ ней—то и красить ее. Въ отступленіяхъ отъ порядка, отъ формы, отъ вашихъ скучныхъ правилъ только и есть отрады...

— Еслибъ *ma tante* услышала васъ на этомъ словѣ... „отступленія отъ правилъ“... замѣтила Софья.

— Сейчасъ бы сказала:—пожалуйста, пожалуйста! — досказалъ Райскій. — А вы что скажете? спросилъ онъ: — Обойдитесь хоть однажды безъ „*ma tante*!“ Или это вашъ собственный взглядъ на отступленія отъ правилъ, проведенный только черезъ авторитетъ *ma tante*?

— Вы, по обыкновенію, хотите изъ желанія дѣвочекъ посмотрѣть ботинки сдѣлать важное дѣло, разбранить меня и потомъ заставить согласиться съ вами... да?

— Да, сказалъ Райскій.

— Что у васъ за страсть преслѣдовать мои бѣдныя правила?

— Потому что они не ваши.

— Чьи же?

— Тѣтушкины, бабушкины, дѣдушкины, прабабушки-



ны, прадѣдушкины, вонъ всѣхъ этихъ полинявшихъ господъ и госпожъ, въ робронахъ, манжетахъ...

Онъ указалъ на портреты.

— Вотъ видите, какъ много за мои правила, сказала она шутливо:—А за ваши?..

— Еще больше!—возразилъ Райскій и открылъ портьеру у окна.

— Посмотрите, всѣ эти идущіе, ѣдущіе, снующіе взадъ и впередъ, всѣ эти живые, не полинявшіе люди—всѣ за меня! Идите же къ нимъ, кузина, а не отъ нихъ назадъ! Тамъ жизнь... Онъ опустилъ портьеру:—А здѣсь—кладбище.

— По крайней мѣрѣ, можете ли вы, cousin, однажды навсегда сдѣлать *résumé*: какія это *ихъ* правила—она указала на улицу:—въ чемъ они состоятъ, и отчего тѣ, чѣмъ жило такъ много людей и такъ долго, вдругъ нужно мѣнять на другое, которымъ живутъ...

— Въ вашемъ вопросѣ есть и отвѣтъ:—„жило“,—сказали вы, и—отжило, прибавлю я. А эти — онъ указалъ на улицу—живутъ! Какъ живутъ — рассказать этого нельзя, кузина. Это значитъ рассказать вамъ жизнь вообще, и современную въ особенности. Я вотъ сколько времени рассказываю вамъ всячески: въ спорахъ, въ примѣрахъ, читаю... а все не расскажу.

— Кто-жъ виновать,—я?

— Вы, кузина; чего другого, а рассказывать я умѣю. Но вы непоколебимы, невозмутимы, не выходите изъ своего укрѣпленія... и я вамъ низко кланяюсь.

Онъ низко поклонился ей. Она смотрѣла на него съ улыбкой.

— Будемъ оба непоколебимы: не выходить изъ правилъ, кажется, это все... сказала она.

— Не выходить изъ слѣпоты — не Богъ знаетъ, какой подвигъ!.. Міръ идетъ къ счастью, къ успѣху, къ совершенству...

— Но вѣдь я... совершенство, cousin? Вы мнѣ третьяго дня сказали, и даже собрались доказать, еслибъ я только захотѣла слушать...

— Да, вы совершенны, кузина; но вѣдь Венера Милоская, головки Грѣза, женщины Рубенса — еще совершеннѣе васъ. За то... ваша жизнь, ваши правила... куда какъ несовершенны!

— Чтѣ же надо дѣлать, чтобъ понять эту жизнь и ваши мудренныя правила? — спросила она покойнымъ голосомъ, показывавшимъ, что она не намѣрена была сдѣлать шагу, чтобъ понять ихъ, и говорила только потому, что объ этомъ зашла рѣчь.

— Чтѣ дѣлать? повторилъ онъ:—Во-первыхъ, снять эту портьеру съ окна, и съ жизни тоже, и смотрѣть на все открытыми глазами, тогда поймете, вы, отчего тѣ старики по-линяли и лгутъ вамъ, обманываютъ васъ безсовѣстно изъ своихъ позолоченныхъ рамокъ...

— Cousin!—съ улыбкой за рѣзкость выраженія вступилась Софья за предковъ.

— Да, да, задорно продолжалъ Райскій: — они лгутъ. Вотъ посмотрите, этотъ напудренный старикъ съ стальнымъ взглядомъ, говорилъ онъ, указывая на портретъ, висѣвшій въ простѣнкѣ: — онъ былъ, говорятъ, строгъ даже къ семейству, люди боялись его взгляда... Онъ такъ и говорить со стѣны:—„держи себя достойно“,—чего: человѣка, женщины, что ли? нѣтъ, — „достойно рода, фамиліи“, и если, Боже сохрани, явится человѣкъ съ вчерашнимъ именемъ, съ добытымъ собственной головой и руками значеніемъ—„не возводи на него глазъ, помни, ты носишь имя Пахотиныхъ!...“ Ни лишняго взгляда, ни смѣлой, естественной симпатіи... Боже сохрани отъ mésalliance! А самъ — кого удостоивалъ или кого не удостоивалъ сближенія съ собой? „Il faut bien placer ses affections!“ говорить онъ на

своемъ нечеловѣческомъ нарѣчіи, высказывающемъ нечеловѣческія понятія. А на какія affections разбросалъ самъ свою жизнь, здоровье? Положилъ ли эти affections на эту сухую старушку, съ востренькимъ носикомъ, жену свою?.. Райскій указалъ на другой женскій портретъ:—Нѣтъ, она смотреть что-то невесело, глаза далеко ушли во впадины: это такая же жертва хорошаго тона, рода и приличій... какъ и вы, бѣдная, несчастная кузина...

— Cousin, cousin! съ усмѣшкой останавливала его Софья.

— Да, кузина: вы обмануты, и ваши тѣтки прожили жизнь въ страшномъ обманѣ и принесли себя въ жертву призраку, мечтѣ, пыльному воспоминанію... Онъ велѣлъ!— говорилъ онъ, глядя почти съ яростью на портретъ:—самъ жилъ обманомъ, лукавствомъ, или силою, моталъ, творилъ ужасы, а другимъ велѣлъ не любить, не наслаждаться!

— Cousin! пойдемте въ гостиную: я не съумѣю ничего отвѣчать на этотъ прекрасный монологъ... Жаль, что онъ пропадетъ даромъ! чуть-чуть насмѣшливо замѣтила она.

— Да,—отвѣчалъ онъ,—предокъ торжествуетъ. Завѣщанныя имъ правила крѣпки. Онъ любитъ васъ кузина: спокойствіе, безукоризненная чистота и сіяніе окружаютъ васъ, какъ ореолъ...

Онъ вздохнулъ.

— Все это лишнее, ненужное, cousin! сказала она: — ничего этого нѣтъ. Предокъ не любитъ на меня, и ореола нѣтъ, а я люблюсь на васъ и долго не поѣду въ драму: я вижу сцену здѣсь, не трогаясь съ мѣста... И знаете, кого вы напоминаете мнѣ? Чацкаго...

Онъ задумался, и самъ мысленно глядѣлъ на себя и улыбулся.

— Это правда, я глупъ, смѣшонъ, — сказалъ онъ, — подходя къ ней и улыбаясь весело и добродушно:—можетъ

быть я тоже съ корабля попалъ на балъ... Но и Фамусовы въ юбки! — онъ указалъ на тѣтокъ: — Ужели лѣтъ черезъ пять, черезъ десять...

Онъ не досказалъ своей мысли, сдѣлалъ нетерпѣливый жестъ рукой и сѣлъ на диванъ.

— О какомъ обманѣ, силѣ, лукавствѣ, говорите вы? — спросила она:—Ничего этого нѣтъ. Никто мнѣ ни въ чемъ не мѣшаетъ... Чѣмъ же виновать предокъ? Тѣмъ, что вы не можете разсказать своихъ правилъ? Вы много разъ принимались за это, и все напрасно...

— Да, съ вами напрасно, это правда, кухня! Предки ваши...

— И ваши тоже: у васъ тоже есть они.

— Предки наши были умные, ловкіе люди, — продолжалъ онъ:—гдѣ нельзя было брать силой и волей, они создали систему, она обратилась въ преданіе — и вы гибнете систематически, по преданію, какъ индіянка, сожигающаяся съ трупомъ мужа...

— Послушайте, М-г Чацкій,—остановила она:— скажите мнѣ, по крайней мѣрѣ, отъ чего я гибну? Отъ того, что не понимаю новой жизни, не... не поддаюсь... какъ вы это называете... развитію? Это ваше любимое слово. Но вы достигли этого развитія, да? а я всякій день слышу, что вы скучаете... вы иногда наводите на всѣхъ скуку...

— И на васъ тоже?

— Нѣтъ, не шутя, мнѣ жаль васъ...

— Говоря о себѣ, не ставьте себя на ряду со мной, кухня: я уродъ, я... я... не знаю, что я такое, и никто этого не знаетъ. Я больной, ненормальный человѣкъ, и притомъ я отжилъ, испортилъ, исказилъ... или нѣтъ, не понять своей жизни. Но вы цѣльны, опредѣленны, ваша судьба такъ ясна и между тѣмъ я мучаюсь за васъ. Меня терзаетъ, что даромъ уходитъ жизнь, какъ рѣка, текущая въ пу-



стынѣ... А то ли суждено вамъ природой? Посмотрите на себя...

— Что же мнѣ дѣлать, cousin: я не понимаю? Вы сейчасъ сказали, что для того, чтобы понять жизнь, нужно, во-первыхъ, снять портьеру съ нея. Положимъ, она снята, и я не слушаюсь предковъ: я знаю, зачѣмъ, куда бѣгутъ всѣ эти люди, — она указала на улицу, — что ихъ занимаетъ, тревожитъ: что же нужно, во-вторыхъ?

— Во-вторыхъ, нужно...

Онъ всталъ, заглянулъ въ гостиную, подошелъ тихо къ ней и тихо, но внятно сказалъ:

— Любить!

— Voilà le grand mot! насмѣшливо замѣтила она.

Оба молчали.

— Вы, кажется, и ихъ упрекали, зачѣмъ онѣ не любить: съ улыбкой прибавила она, показавъ головой къ гостиной на тѣтокъ.

Райскій махнулъ съ досадой на тѣтокъ рукой.

— Вы будто лучше тѣтокъ, кузина?—возразилъ онъ.— Только онѣ стары, больны, а вы прекрасны, блистательны, ослѣпительны...

— Merci, merci, нетерпѣливо перебила она, съ своей обыкновенной, какъ-будто застывшей улыбкой.

— Что же вы не спросите меня, кузина, что значитъ любить, какъ я понимаю любовь?

— Зачѣмъ? Мнѣ не нужно это знать.

— Нѣтъ, вы не смѣете спросить!

— Почему?

— Они слышатъ. Райскій указалъ на портреты предковъ: — Онѣ не велятъ... Онъ указалъ въ гостиную на тѣтокъ.

— Нѣтъ, онъ услышитъ! сказала она, указывая на



портретъ своего мужа во весь ростъ, стоявшій надъ диваномъ, въ готической золоченой рамѣ.

Она встала, подошла къ зеркалу и задумчиво расправляла кружево на шеѣ.

Райскій между тѣмъ изучалъ портретъ мужа: тамъ видѣлъ онъ сѣрые глаза, острый, небольшой носъ, проницески сжатые губы и коротко-остриженные волосы, рыжеватыя бакенбарды. Потомъ взглянулъ на ея роскошную фигуру, полную красоты, и мысленно рисовалъ того счастливецъ, который могъ бы, по праву сердца, велѣть или не велѣть этой богинѣ.

„Нѣтъ, нѣтъ, не этотъ!“ думалъ онъ, глядя на портретъ: „это тоже предокъ, неуспѣвшій еще поиняты; не ему, а принципу своему покорна ты...“

— Вы такъ часто обращаетесь къ своему любимому предмету, къ любви, а посмотрите, cousin, вѣдь мы ужь стары, пора перестать думать объ этомъ! говорила она, кокетливо глядя въ зеркало.

— Значить, пора перестать жить... Я — положимъ, а вы, кузина?

— Какъ же живутъ другіе, почти всѣ?

— Никто! съ увѣренностью перебилъ онъ.

— Какъ? По вашему, князь Пьеръ, Анна Борисовна, Левъ Петровичъ... всѣ они...

— Живутъ — или воспоминаніями любви, или любятъ, да притворяются...

Она засмѣялась и стала собирать въ симметрію цвѣты, потомъ опять подошла къ зеркалу.

— Да, любили или любятъ, конечно, про себя, и не дѣлають изъ этого никакихъ исторій, досказала она и пошла, было, къ гостиной.

— Одно слово, кузина! остановилъ онъ ее.

— О любви? спросила она, останавливаясь.

— Нѣтъ, не бойтесь, по крайней мѣрѣ теперь я не расположенъ къ этому. Я хотѣлъ сказать другое.

— Говорите, мягко сказала она, садясь.

— Я пойду прямо къ дѣлу: скажите мнѣ, откуда вы берете это спокойствіе, какъ удастся вамъ сохранить тишину, достоинство, эту свѣжесть въ лицѣ, мягкую увѣренность и скромность въ каждомъ мѣрномъ движеніи вашей жизни? Какъ вы обходитесь безъ борьбы, безъ увлеченій, безъ паденій и безъ побѣдъ? Что вы дѣлаете для этого?

— Ничего! съ удивленіемъ сказала она. — Зачѣмъ вы хотите, чтобъ со мной дѣлались какія-то конвульсіи?

— Но вѣдь вы видите другихъ людей около себя, не такихъ, какъ вы, а съ тревогой на лицѣ, съ жалобами.

— Да, вижу и жалѣю: *ma tante*, Надежда Васильевна, постоянно жалуется на тикъ, а папѣ на приливы...

— А другіе, а всѣ? перебилъ онъ, — развѣ такъ живутъ? Спрашивали ли вы себя, отчего они терзаются, плачутъ, томятся, а вы нѣтъ? Отчего другимъ по три раза въ день приходится тошно жить на свѣтѣ, а вамъ нѣтъ? Отчего они мечутся, любятъ и ненавидятъ, а вы нѣтъ...

— Вы про тѣхъ говорите, спросила она, указывая головой на улицу, — кто тамъ бѣгаетъ, суетится? Но вы сами сказали, что я не понимаю ихъ жизни. Да, я не знаю этихъ людей и не понимаю ихъ жизни. Мнѣ дѣла нѣтъ...

— Дѣла нѣтъ! Вѣдь это значить дѣла нѣтъ до жизни! почти закричалъ Райскій, такъ что одна изъ тѣтокъ очнулась на минуту отъ игры и сказала имъ громко: — Что вы все тамъ спорите: не подеритесь!.. И о чемъ это они?

— Опять „жизни“: вы только и твердите это слово, какъ-будто я мертвая! Я предвижу, что будетъ дальше, сказала она, засмѣявшись, такъ что показались прекрасные зубы. — Сейчасъ дойдемъ до правилъ и потомъ... до любви.

— Нѣтъ, не отжилъ еще Олимпъ! сказалъ онъ. — Вы, ку-

зина, просто олимпійская богиня—вотъ и конецъ объясненію, прибавилъ, какъ-будто съ отчаяніемъ, что не удастся ему всколебать это море.—Пойдемте въ гостиную!

Онъ всталъ. Но она сидѣла.

— Вы не удостоиваете смертныхъ снизойти до нихъ, взглянуть на ихъ жизнь, живете олимпійскимъ неподвижнымъ блаженствомъ, вкушаете нектаръ и амброзію — и благо вамъ!

— Чего же еще: у меня все есть, и ничего мнѣ не надо...

Она не успѣла кончить, какъ Райскій вскочилъ.

— Вы высказали свой приговоръ сами, кузина, напаль онъ бурно на нее: „у меня все есть, и ничего мнѣ не надо!“ А спросили ли вы себя хоть разъ о томъ: сколько есть на свѣтѣ людей, у которыхъ ничего нѣтъ и которымъ все надо? Осмотритесь около себя: около васъ шелкъ, бархаты, бронза, фарфоръ. Вы не знаете, какъ и откуда является готовый обѣдъ, у крыльца ждетъ экипажъ и везетъ васъ на балъ и въ оперу. Десять слугъ не дадутъ вамъ пожелать и исполняютъ почти ваши мысли... Не дѣлайте знаковъ нетерпѣнія: я знаю, что все это общія мѣста... А думаете ли вы иногда, откуда это все берется и къмъ доставляется вамъ? Конечно, не думаете. Изъ деревни приходятъ отъ управляющаго въ контору деньги, а вамъ приносятъ на серебряномъ подносѣ, и вы, не считая, прячете въ туалетъ...

— Тѣтушка десять разъ сочтетъ и спрячетъ къ себѣ,—сказала она, — а я, какъ институтка, выпрашиваю свою долю, и она выдаетъ мнѣ, вы знаете, съ какими наставленіями.

— Да, но выдаетъ. Вы выслушаете наставленія и потомъ тратите деньги. А еслибъ вы знали, что тамъ, въ зной, жнетъ беременная баба...

— Cousin! съ ужасомъ попробовала она остановить его, но это было не легко, когда Райскій входилъ въ паѳосъ.

— Да, а ребятишекъ бросила дома—они ползаютъ съ курами, поросятами, и если нѣтъ какой-нибудь дряхлой бабушки дома, то жизнь ихъ каждую минуту виситъ на волоскѣ: отъ злой собаки, отъ проѣзжей телѣги, отъ дождевой лужи... А мужъ ея бьется тутъ же, въ бороздахъ на пашнѣ, или тянется съ обозомъ въ трескучій морозъ, чтобъ добыть хлѣба, буквально хлѣба—утолить голодъ съ семьей, и между прочимъ внести въ контору пять или десять рублей, которые потомъ приносятъ вамъ на подносѣ... Вы этого не знаете: „вамъ дѣла нѣтъ“, говорите вы...

На ея лицо легла тѣнь непривычнаго беспокойства, недоумѣнія.

— Чѣмъ же я тутъ виновата, и чтó я могу сдѣлать? тихо сказала она, смиренно и безъ ироніи.

— Я не проповѣдую коммунизма, кузина, будьте покойны. Я только отвѣчаю на вашъ вопросъ: „чтó дѣлать“, и хочу доказать, что никто не имѣетъ права не знать жизни. Жизнь сама тронетъ, коснется, пробудитъ отъ этого блаженнаго усненія—и иногда очень грубо. Научить „что дѣлать“ — я тоже не могу, не умѣю. Другіе научатъ. Мнѣ хотѣлось бы разбудить васъ: вы спите, а не живете. Чтó изъ этого выйдетъ, я не знаю—но не могу оставаться и равнодушнымъ къ вашему сну.

— А вы сами, cousin, чтó дѣлаете съ этими несчастными: вѣдь у васъ есть тоже мужики и эти... бабы? спросила она съ любопытствомъ.

— Мало дѣлаю, или почти ничего, къ стыду моему, или тѣхъ, кто меня воспитывалъ. Я давно вышла изъ опеки, а управляетъ все тотъ же опекунъ—и я не знаю, какъ. Есть у меня еще бабушка, въ другомъ уголкѣ — тамъ какой-то клочекъ земли есть: въ ихъ рукахъ все же лучше, нежели



въ моихъ. Но я, по крайней мѣрѣ, не считаю себя виноватымъ отговариваться невѣдѣніемъ жизни—знаю кое-что, говорю объ этомъ, вотъ хоть бы и теперь, иногда пишу, спорю—и все же дѣлаю. Но кромѣ того, я выбралъ себѣ дѣло: я люблю искусство и... немного занимаюсь... живописью, музыкой... пишу... досказалъ онъ тихо, и смотрѣлъ на конецъ своего сапога.

— Это очень серьезно, что вы мнѣ сказали! произнесла она задумчиво.—Если вы не разбудили меня, то напугали. Я буду дурно спать. Ни тѣтушки, ни Paul, мужъ мой, никогда мнѣ не говорили этого—и никто. Иванъ Петровичъ, управляющій, привозилъ бумаги, счета, я слышала, говорили иногда о хлѣбѣ, о неурожаѣ. А... о бабахъ этихъ... и о ребятишкахъ... никогда.

— Да, это mauvais genre! Вѣдь при васъ даже неловко сказать „мужикъ“, или „баба“, да еще беременная... Вѣдь „хорошій тонъ“ не велитъ человѣку быть самимъ собой... Надо стереть съ себя все свое и походить на всѣхъ!

— Когда-нибудь... мы проведемъ лѣто въ деревнѣ, cousin, сказала она живѣе обыкновеннаго:—пріѣзжайте туда и... и мы не велимъ пускать ребятишекъ ползать съ собаками — это прежде всего. Потомъ попросимъ Ивана Петровича не посылать... этихъ бабъ работать... Наконецъ, я не буду брать своихъ карманныхъ денегъ...

— Ну, ихъ положить въ свой карманъ Иванъ Петровичъ. Оставимъ это, кузина. Мы дошли до политической и всякой экономіи, до социализма и коммунизма—я въ этомъ не силенъ. Довольно того, что я потревожилъ ваше спокойствіе. Вы говорите, что дурно уснете — вотъ это и нужно: завтра не будетъ, можетъ быть, этого сіянія на лицѣ, но зато оно засіяетъ другой, не ангельской, а человѣческой красотой. А современемъ вы постараетесь узнать, нѣтъ ли и за вами какого-нибудь дѣла, кромѣ визитовъ и празднаго спо-



койствія, и будете уже съ другими мыслями глядѣть и туда, на улицу. Представьте только себя тамъ, хоть изрѣдка: на-примѣръ, еслибъ вамъ пришлось идти пѣшкомъ въ зимній вечеръ, одной взбираться въ пятый этажъ, давать уроки? Еслибъ вы не знали, будетъ ли у васъ топлена комната, и выработаете ли вы себѣ, на башмаки и на салопъ,—да еще не себѣ, а дѣтямъ? И потомъ убиваться неотступною мыслью, что вы сдѣлаете съ ними, когда упадутъ силы?.. И жить подъ этой мыслью, какъ подъ тучей, десять, двадцать лѣтъ...

— *C'est assez, cousin!* нетерпѣливо сказала она.—Возьмите деньги и дайте туда...

Она указала на улицу.

— Сами учитесь давать, кузина; но прежде надо по-нять эти тревоги, повѣрить имъ, тогда выучитесь и давать деньги.

Оба замолчали.

— Такъ вотъ тѣ *principes*... А что дальше? спросила она.

— Дальше... любить... и быть любимой...

— И чтожь потомъ?

— Потомъ... „плодиться, множиться и населять землю“: а вы не исполняете этого завѣта...

Она покраснѣла, и какъ ни крѣпилась, но засмѣялась, и онъ тоже, довольный тѣмъ, что она сама помогла ему такъ опредѣлительно высказаться о конечной цѣли любви.

— А если я любила? отозвалась она.

— Вы? спросилъ онъ, вглядываясь въ ея безстрастное лицо—*Вы* любили и... страдали?

— Я была счастлива. Зачѣмъ непременно страдать?

— Вы отъ того и не знаете жизни, не вѣдаете чужихъ скорбей: кому что нужно, зачѣмъ мужикъ обливается по-томъ, баба жнетъ въ нестерпимый зной—все отъ того, что вы не любили! А любить, не страдая — нельзя. Нѣтъ! —

сказать онъ: — еслибъ лгалъ вашъ языкъ, не солгали бы глаза, измѣнились бы хоть на минуту эти краски. А глаза ваши говорятъ, что вы какъ будто вчера родились...

— Вы поэтъ, артистъ, cousin, вамъ, можетъ быть, необходимы драмы, раны, стоны, и я не знаю, что еще! Вы не понимаете покойной, счастливой жизни, я не понимаю вашей...

— Это я вижу, кузина; но поймете ли? — вотъ что хотѣлъ бы я знать! Любили и никогда не выходили изъ вашего олимпійскаго спокойствія?

Она отрицательно покачала головой.

— Какъ это вы дѣлали, расскажите! Также сидѣли, глядѣли на все покойно, также, съ помощью вашихъ двухъ фей, медленно одѣвались, покойно ждали кареты, чтобъ ѣхать туда, куда рвалось сердце? не вышли ни разу изъ себя, тысячу разъ не спросили себя мысленно, тамъ ли онъ, ждетъ ли, думаетъ ли? не изнемогли ни разу, не покраснѣли отъ напрасно-потерянной минуты, или отъ счастья, увидя, что онъ тамъ? И не сбѣжала краска съ лица, не являлся ни испугъ, ни удивленіе, что его нѣтъ?

Она отрицательно покачала головой.

— Не приходилось вамъ обрадоваться, броситься къ нему, не найти словъ, когда онъ войдетъ вотъ сюда...

— Нѣтъ, сказала она съ прежней усмѣшкой.

— А когда вы ложились спать...

Въ лицѣ у ней появилось безпокойство.

— Не стоялъ онъ тутъ?... продолжалъ онъ.

— Что вы, cousin! почти съ ужасомъ сказала она.

— Не стоялъ онъ хоть въ воображеніи у васъ, не наклонялся къ вамъ?..

— Нѣтъ, нѣтъ... отвергала она, качая головой.

— Не бралъ за руку, не раздавался поцѣлуй?..

Краска разлилась по ея щекамъ.

— Cousin, я была замужемъ, вы знаете... assez, assez, de grâce...

— Еслибъ вы любили, кузина, продолжалъ онъ, не слушая ее: — вы должны помнить, какъ дорого вамъ было проснуться послѣ такой ночи, какъ радостно знать, что вы существуете, что есть міръ, люди и *онъ*...

Она опустила длинныя рѣсницы и дослушивала съ нетерпѣніемъ, шевеля концемъ ботинки.

— Если этого не было, какъ же вы любили, кузина? заключилъ онъ вопросомъ.

— Иначе.

— Расскажите: зачѣмъ таить *возвышенную* любовь?..

— Не таю: въ ней не было ничего ни таинственнаго, ни возвышеннаго, а такъ какъ у всѣхъ...

— Ахъ, только не у всѣхъ, нѣтъ, нѣтъ? И если вы не любили и еще полюбите когда-нибудь, тогда чтó будетъ съ вами, съ этой скучной комнатою? Цвѣты не будутъ стоять такъ симметрично въ вазахъ, и все здѣсь заговорить о любви.

— Довольно, довольно! остановила она съ полу-улыбкой, не отъ скуки нетерпѣнія, а подъ вліяніемъ какъ-будто утомленія отъ раздражительнаго спора.

— Я воображаю себѣ обѣихъ тѣтушекъ, еслибъ въ комнатѣ поселился безпорядокъ, сказала она, смѣясь:—разбросанныя книги, цвѣты — и вся улица смотритъ свободно сюда!..

— Опять тѣтушки! упрекнулъ онъ: — Ни шагу безъ нихъ! И всю жизнь такъ?

— Да... конечно, задумавшись сказала она!—Какъ же?

— А сами чтó? Ужели ни одного свободного побужденія, собственнаго шага, каприза, шалости, хоть глупости?..

Она думала, казалось, припоминала чтó-то, потомъ вдругъ улыбнулась и слегка покрасѣла.

— А! кузина, вы краснѣете? значитъ, тѣтушки не всегда сидѣли тутъ, не все видѣли и знали! Скажите мнѣ, чтó такое! умолять онъ.

— Я вспомнила въ самомъ дѣлѣ одну глупость и когда-нибудь расскажу вамъ. Я была еще дѣвочкой. Вы увидите, что и у меня были, и слезы, и трепетъ, и краска... *et tout ce que vous aimez tant!* Но расскажу съ тѣмъ, чтобы вы больше о любви, о страстяхъ, о стонахъ и вопляхъ не говорили. А теперь пойдемте къ тетушкамъ.

Онъ вышелъ въ гостиную, а она подошла къ горкѣ, взяла флаконъ, налила нѣсколько капель одеколона на руку и задумчиво понюхала, потомъ оправилась у зеркала и вышла въ гостиную.

Она сѣла подлѣ тѣтокъ и стала пристально слѣдить за игрою, а Райскій за нею.

Она была покойна, свѣжа. А ему втѣснилось въ душу напротивъ безпокойство, желаніе узнать, чтó у ней теперь на умѣ, что въ сердцѣ, хотѣлось прочитать въ глазахъ, затронулъ ли онъ хоть нервы ея; но она ни разу не подняла на него глазъ. И потомъ уже, когда послѣ игры подняла, заговорила съ нимъ — все тоже въ лицѣ, какъ вчера, какъ третьяго дня, какъ полгода назадъ.

— Чѣмъ и какъ живетъ эта женщина! Если не гложетъ ее мука, если не волнуютъ надежды, не терзаютъ заботы, — если она въ самомъ дѣлѣ „выше міра и страстей“, отчего она не скучаетъ, не томится жизнью... какъ скучаю и томлюсь я? Любопытно узнать!

## V.

— Ну, чтó ты сдѣлалъ? спросилъ Райскій Лянова, когда они вышли на улицу.

— Сорокъ пять рублей выиграть: а ты?

Райскій пожалъ плечами и передалъ содержаніе разговора съ Софьей.

— Что-жь: и это дѣло отъ бездѣлья. Ну, и весело?

— Глупое слово: весело! Только дѣти и французы ухитряются веселиться: *s'amuser*.

— Какъ же назвать то, что ты дѣлаешь—и зачѣмъ?

— Я ужъ сказалъ тебѣ зачѣмъ, сердито отозвался Райскій.—Затѣмъ, что красота ея увлекаетъ, раздражаетъ—и скуки нѣтъ—я наслаждаюсь—понимаешь? Вотъ у меня теперь шевелится мысль писать ея портретъ. Это займетъ мѣсяцъ, потомъ буду изучать ее...

— Смотри, не влюбись, замѣтилъ Аяновъ. — Жениться нельзя, говоришь ты, — а играть въ страсти съ ней тоже нельзя. Когда-нибудь такъ обожжешься...

— Кому ты это говоришь! перебилъ Райскій: — Какъ будто я не знаю! А я только и во снѣ, и на яву вижу, какъ бы обжечься. И еслибъ когда-нибудь обжегся неизлечимою страстью, тогда бы и женился на той... Да нѣтъ: страсти—или излечиваются, или, если неизлечимы, кончаются не свадьбой. Нѣтъ для меня мирной пристани: или горѣніе, или—сонъ и скука!

— И чѣмъ ты сегодня не являлся передъ кузиной! Она тебя Чацкимъ назвала... А ты былъ и донъ-Жуанъ, и донъ-Кихоть вмѣстѣ. Вотъ умудрился! Я не удивлюсь, если ты надѣнешь рясу и начнешь вдругъ проповѣдывать...

— И я не удивлюсь, сказалъ Райскій, — хоть рясы и не надѣну, а проповѣдывать могу—и искренно, всюду, гдѣ замѣчу ложь, притворство, злость—словомъ, отсутствіе красоты, нужды нѣтъ, что самъ бываю безобразенъ... Натура моя отзывается на все, только разбуди нервы — и пойдетъ играть!.. Знаешь что, Аяновъ: у меня давно засѣла серьезная мысль—писать романъ. И я хочу теперь посвятить все свое время на это.



Ляновъ засмѣялся.

— Серьёзная мысль!—повторилъ онъ: — ты говоришь о романѣ, какъ о серьёзномъ дѣлѣ! А вправду: пиши, тебѣ больше нечего дѣлать, какъ писать романы...

— Ты не смѣйся и не шути: въ романъ все уходитъ—это не то, что драма или комедія—это, какъ океанъ: береговъ нѣтъ, или не видать; не тѣсно, все умѣстится тамъ. И знаешь, кто навелъ меня на мысль о романѣ: наша общая знакомая, помнишь Анну Петровну?

— Актрису?

— Да, это очень смѣшно. Она милая женщина и хитрая, и себѣ на умѣ въ своихъ дѣлахъ, какъ всѣ женщины, когда онѣ, какъ рыбы, не лѣзутъ, изъ воды на берегъ, а остаются въ водѣ, т. е. въ своей сферѣ...

— Ну, что же она?

— Ну, она рассказала—вотъ что про себя. Подходилъ ей бенефисъ, а пьесы не было: драматурговъ у насъ не много: что у кого было, тѣ обѣщали другимъ, а переводную ей давать не хотѣлось. Она и вздумала сочинить сама...

— Не боги горшки обжигаютъ! пришло видно ей въ голову, сказалъ Ляновъ.

— Именно. И съ какой милой наивностью повѣряла она мнѣ свои соображенія.—Напримѣръ, говорить, въ „Горѣ отъ ума“—*excusez du peu*—всѣ лица самые обыкновенные люди, говорятъ о самыхъ простыхъ предметахъ, и случай взять простой: влюбился Чацкій, за него не выдали, полюбили другого, онъ узналъ, разсердился и уѣхалъ. Отецъ разсердился на обоихъ, она на Молчалина—и все!... И у Мольера, говорить, скупой—скупъ, Тартюфъ—подлый лицемеръ. Можно даже, говорить, придумать похитрѣе, поинтереснѣе интригу. Словомъ, комедія ей казалась также мало серьёзнымъ дѣломъ, какъ тебѣ кажется романъ. За трагедію она не бралась: тутъ она скромно сознавалась въ

своей несостоятельности. А за комедію взялась и въ недѣлю написала листовъ десять: я просилъ показать — ни за что! „Что же, кончили?“ спросилъ я. — „Какъ ни билась, не доходить до конца“, говорить:—„лица все разговариваютъ и не могутъ перестать, такъ и бросила“. Бѣдняжка! Жаль, что ей понадобилась комедія, въ которой нужны и начало и конецъ, и завязка и развязка, а еслибъ она писала романъ, то можетъ быть и не бросила бы. И лица у ней не все разговаривали бы до сихъ поръ. Я буду писать романъ, Аяновъ. Въ романѣ укладывается вся жизнь, и цѣликомъ, и по частямъ.

— Своя, или чужая? спросилъ Аяновъ. Ты этакъ, пожалуй, всѣхъ насъ вставишь...

— Не безпокойся. Чтò хорошо подъ кистью, въ другомъ искусствѣ не годится. Все зависить отъ красокъ и немногихъ соображеній ума, яркости воображенія и своеобразія во взглядѣ. Немного юмора, да чувства, и искренности, да воздержности, да... поэзіи...

Онъ замолчалъ и шелъ задумчиво.

— Excusez du peu! повторилъ и Аяновъ. — Пиши, чтò взбрело на умъ, что нибудь да выйдетъ.

Райскій вздохнулъ.

— Нѣтъ, сказалъ онъ:—нужно еще одно, я не упомянулъ: это... талантъ.

— Конечно, безграмотный не напишетъ...

— Ты грамотный, чтожъ ты не пишешь? перебилъ Райскій.

— Зачѣмъ? У меня есть чтò писать. Я дѣло пишу...

— Опять ты хвастаешься „дѣломъ!“ Я думаю, если ты перестанешь писать—вотъ тогда и будетъ дѣло.

— А романъ твой дастъ мнѣ окладъ въ пять тысячъ, да квартиру съ отопленіемъ, да чинъ, да?..

— И ты не стыдишься говорить это! Когда мы очеловѣчимся?

— Я сталъ очеловѣчиваться съ тѣхъ поръ, какъ началъ получать по двѣ тысячи, и теперь вотъ понимаю, что вопросы о гуманности неразрывны съ экономическими...

— Знаю, знаю: но зачѣмъ ты такъ храбришься этимъ циническимъ эгоизмомъ?

Аяновъ собрался-было запальчиво отвѣчать, но въ эту минуту наѣзжала карета, кучеръ закричалъ имъ, и споръ не пошелъ дальше.

— Такъ живопись—прощай! сказалъ Аяновъ.

— Какъ прощай: а портретъ Софьи?... На дняхъ начну. Я забросилъ академію и не видался ни съ кѣмъ. Завтра пойду къ Кирилову: ты его знаешь?

— Не помню, кажется, видѣлъ: нечесаный такой...

— Да, но глубокій, истинный художникъ, какихъ нѣтъ теперь:—последній Могиканъ!.. Напишу только портретъ Софьи и покажу ему, а тамъ попробую силы на романъ. Я записывалъ и прежде кое-что: у меня есть отрывки, а теперь примусь серьезно. Это новый для меня родъ творчества; не удастся ли тамъ?

— Послушай, Райскій, сколько я тутъ понимаю, надо тебѣ бросить прежде не живопись, а Софью, и не дѣлать романовъ, если хочешь писать ихъ... Лучше пиши по утрамъ романъ, а вечеромъ играй въ карты: по маленькой, въ коммерческую... это не раздражаетъ...

— А это-то и нужно для романа, т. е. раздраженіе. Да — тронь я карты, такъ я стащу и съ тебя пальто и проиграю. Есть своя бездна и тамъ: слава Богу, я никогда не заглядывался въ нее, а если загляну—такъ ужъ выйдетъ не романъ, а трагедія. Впрочемъ, ты дѣло говоришь: двумъ господамъ служить нельзя! Дай мнѣ кончить какъ-нибудь эту исторію съ Софьей, написать ея портретъ, и тогда, подѣ

вліяніемъ впечатлѣнія ея красоты, я, я... Вотъ пусть эта звѣзда, какъ ее... ты не знаешь? и я не знаю, ну да все равно,—пусть она будетъ свидѣтельницей, что я наконецъ слажу съ чѣмъ-нибудь: или съ живописью, или съ романомъ. Романъ—да! Смѣшать свою жизнь съ чужою, занести эту массу наблюдений, мыслей, опытовъ, портретовъ, картинъ, ощущений, чувствъ... *une mer à boire!*

Они молча шли. Аяновъ насвистывалъ, а Райскій шелъ, склоня голову, думая, то о Софѣѣ, то о романѣ. На перекресткѣ, гдѣ предстояло расходиться, Райскій вдругъ спросилъ:

— Когда же опять туда?

— Куда туда?

— А къ Софѣѣ.

— Ты опять? а я думалъ, что ты ужъ работаешь надъ романомъ, и не мѣшалъ тебѣ.

— Я тебѣ сказалъ: жизнь—романъ, и романъ—жизнь.

— Чья жизнь?

— Всякая, даже твоя!

— Въ среду тѣтки звали играть.

— Долго, но нечего дѣлать—до среды!

## VI.

Райскій лѣтъ десять живетъ въ Петербургѣ, т. е. у него тамъ есть пріютъ, три порядочныя комнаты, которыя онъ нанимаетъ у нѣмки и постоянно оставляетъ квартиру за собой, а самъ рѣдко полгода выживалъ въ Петербургѣ, съ тѣхъ поръ, какъ оставилъ службу.

А оставилъ онъ ее давно, какъ только вступилъ. Поглядѣвши вокругъ себя, онъ вывелъ свое оригинальное заключеніе, что служба не есть сама цѣль, а только средство куда-нибудь дѣвать кучу люда, которому безъ нея



не зачѣмъ бы родиться на свѣтъ. И еслибъ не было этихъ людей, то не нужно было бы и той службы, которую они несутъ.

Его опредѣлили, сначала въ военную, потомъ въ статскую службу, опекуны, онъ же и двоюродный дядя, зачѣмъ прежде всего, чтобъ сбыть всякую отвѣтственность и упрекъ за небрежность въ этомъ отношеніи, потомъ зачѣмъ, зачѣмъ всѣ посылаютъ молодыхъ людей въ Петербургъ: чтобъ не сидѣли праздно дома, „не баловались, не били баклушъ“ и т. п.,—это цѣль отрицательная.

Въ Петербургѣ есть и выправка, и надзоръ, и работа; въ Петербургѣ можно получить мѣсто прокурора, потомъ современемъ, и губернатора, — это цѣль положительная.

Потомъ уже, поживъ въ Петербургѣ, Райскій самъ рѣшилъ, что въ немъ живутъ взрослые люди, а во всей остальной Россіи—недоросли.

Но вотъ Райскому за тридцать лѣтъ, а онъ еще ничего не посѣялъ, не пожалъ и не шелъ ни по одной колѣѣ, по какимъ ходятъ приѣзжающіе изнутри Россіи.

Онъ ни офицеръ, ни чиновникъ, не пробиваетъ себѣ никакого пути трудомъ, связями, будто нарочно наперекоръ всѣмъ, одинъ остается недорослемъ въ Петербургѣ. Въ кварталѣ прописанъ онъ отставнымъ коллежскимъ секретаремъ.

Физиономисту трудно бы было опредѣлить по лицу его свойства, склонности и характеръ, потому что лицо это было неуволимо измѣнчиво.

Иногда онъ кажется такъ счастливъ, глаза горятъ, и наблюдатель только что предположить въ немъ открытый характеръ, общительность, и даже болтливость, какъ черезъ часъ, черезъ два, взглянувъ на него, поразится блѣдностью



его лица, какимъ-то внутреннимъ и, кажется, неисцѣлимымъ страданіемъ, какъ будто онъ отъ роду не улыбнулся.

Онъ въ эти минуты казался некрасивъ: въ чертахъ лица разладъ, живыя краски лба и щекъ замѣнялись болѣзненнымъ колоритомъ.

Но если покойный духъ жизни тихо опять вѣялъ надъ нимъ, или по-просту „находилъ на него счастливый стихъ“, лицо его отражало запасъ силы воли, внутренней гармоніи и самообладанія, а иногда какой-то задумчивой свободы, какого-то идущаго къ этому лицу мечтательнаго оттѣнка, лежавшаго, не то въ этомъ темномъ зрачкѣ, не то въ легкомъ дрожаніи губъ.

Нравственное лицо его было еще неуловимѣе. Бывали какіе-то періоды, когда онъ „обнималъ, по его выраженію, весь міръ“, когда чарующею мягкостью открывалъ доступъ къ сердцу, и тѣ, кому случалось попадать на эти минуты, говорили, что добръе, любезнѣе его нѣтъ.

Другимъ случалось попадать въ несчастную пору, когда у него на лицѣ выступали желтыя пятна, губы кривились отъ нервной дрожи, и онъ тупымъ, холоднымъ взглядомъ и рѣзкой рѣчью платилъ за ласку, за симпатію. Тѣ отходили отъ него, унося горечь и вражду, иногда навсегда.

Какіе это періоды, какіе дни—ни другіе, ни самъ онъ не зналъ.

— Злой, холодный эгоистъ и гордецъ! говорили появившіе въ злую минуту.

— Помилуйте, онъ очарователенъ: онъ всѣхъ насъ обворожилъ вчера, всѣ безъ ума отъ него! говорили другіе.

— Актеръ! твердили нѣкоторые.

— Фальшивый человѣкъ! возражали иные:—Когда чего-нибудь захочетъ достигнуть, откуда берутся рѣчи, взгляды, какъ играетъ лицо!

— Помилуйте! это чести́йшее сердце, благородная натура, но первая, страстная, огненная и раздражительная! защищали его два-три дружескіе голоса.

И такъ, въ кругѣ даже близкихъ знакомыхъ его не сложилось о немъ никакого опредѣленнаго понятія, и еще меньше образа.

И въ раннемъ дѣтствѣ, когда онъ воспитывался у бабушки, до поступленія въ школу, и въ самой школѣ, въ немъ проявлялись тѣ же загадочныя черты также неровность и неопредѣленность наклонностей.

Когда опекуны привезъ его въ школу и посадили его на лавку: во время класса, кажется, первымъ бы дѣломъ новичка было вслушаться что спрашиваетъ учитель, что отвѣчаютъ ученики.

А онъ прежде всего воззрися въ учителя: какой онъ, какъ говорить, какъ нюхаетъ табакъ, какіе у него брови, бакенбарды; потомъ сталъ изучать болтающуюся на животѣ его сердоликовую печатку, потомъ замѣтилъ, что у него большой палецъ правой руки раздвоенъ по срединѣ и представляетъ подобіе двойного орѣха.

Потомъ осмотрѣлъ каждого ученика и замѣтилъ всѣ особенности: у одного лобъ и виски вогнуты внутрь головы, у другого мордастое лицо далеко выпятилось впередъ, тамъ вонъ у двоихъ, у одного справа, у другого слѣва, на лбу волосы растутъ вихоркомъ и т. д., всѣхъ замѣтилъ и изучилъ, какъ кто смотреть.

Одинъ съ увѣренностью глядитъ на учителя, просить глазами спросить себя, почешетъ колѣни отъ нетерпѣнія, потомъ голову. А у другого на лицѣ, то выступаетъ, то прячется краска — онъ сомнѣвается, колеблется. Третій упрямо смотритъ внизъ, пораженный боязнью, чтобъ его не спросили. Иной ковыряетъ въ носу и ничего не слушаетъ. Тотъ долженъ быть ужасный силачъ, а этотъ чер-

ненькій—плуть. И доску, на которой пишутъ задачи, замѣтили, даже мѣль и тряпку, которою стирають съ доски. Кстати тутъ же представилъ и себя, какъ онъ сидитъ, какое у него должно быть лицо, что другимъ приходитъ на умъ, когда они глядятъ на него, какимъ онъ имъ представляется?

— О чемъ я говорилъ сейчасъ? вдругъ спросилъ его учитель, замѣтивъ, что онъ разсѣянно бродитъ глазами по всей комнатѣ.

Къ удивленію его, Райскій сказалъ ему отъ слова до слова что онъ говорилъ.

— Что же это значить? дальше спросилъ учитель.

Райскій не зналъ: онъ также машинально слушалъ, какъ и смотрѣлъ, и ловилъ ухомъ только слова.

Учитель повторилъ объясненіе. Борисъ опять слушалъ, какъ раздавались слова: иное учитель скажетъ коротко и густо, точно оборветъ, другое растянетъ, будто пропоетъ, вдругъ словъ десять посыплются, какъ орѣхи.

— Ну? спросилъ учитель.

Райскій покраснѣлъ, даже вспотѣлъ немного отъ страха, что не знаетъ въ чемъ дѣло, и молчалъ.

Это былъ учитель математики. Онъ пошелъ къ доскѣ, написалъ задачу, началъ толковать.

Райскій только глядѣлъ, какъ проворно и крѣпко пишутъ онъ цифры, какъ потомъ идетъ къ нему прежде брюхо учителя съ сердоликовой печаткой, потомъ грудь съ засыпанной табакомъ манишкой. Ничего не ускользнуло отъ Райскаго, только ускользнуло рѣшеніе задачи.

Кое-какъ онъ достигъ дробей, достигъ и до четырехъ правилъ изъ алгебры, когда же дѣло дошло до уравненій, Райскій утомился напряженіемъ ума и дальше не пошелъ, оставшись совершенно равнодушнымъ къ тому, зачѣмъ и откуда извлекають квадратный корень.

Учитель часто бился съ нимъ и почти всякій разъ со вздохомъ прибавлялъ:

— Садись на свое мѣсто, ты пустой малый!

Но когда на учителя находили игривыя минуты, и онъ, въ видѣ забавы, выдумывалъ, а не изъ книги говорилъ свои задачи, не прибѣгая ни къ доскѣ, ни къ грифелю, ни къ правиламъ, ни къ пинкамъ, — скорѣе всѣхъ, путемъ сверкающей въ головѣ догадки, доходилъ до результата Райскій.

У него въ головѣ было свое царство цифръ въ образахъ: онѣ по-своему строились у него тамъ, какъ солдаты. Онъ придумалъ имъ какіе-то свои знаки или фізіономіи, по которымъ онѣ становились въ ряды, слагались, множились и дѣлились; всѣ фигуры ихъ рисовались, то знакомыми людьми, то походили на разныхъ животныхъ.

— Ну, не пустой-ли малый! восклицалъ учитель:— Не умѣеть сдѣлать задачи указаннымъ, слѣдовательно, облегченнымъ путемъ, а безъ правилъ на-обумъ говорить. Глупѣ насъ съ тобой выдумывали правила!

Между тѣмъ, писать выучился Райскій быстро, читалъ со страстью исторію, эпопею, романъ, басню, выпрашивалъ, гдѣ могъ, книги, но съ фактами, а умозрѣній не любилъ, какъ вообще всего, что увлекало его изъ міра фантазіи въ міръ дѣйствительный.

Изъ географіи, въ порядкѣ, по книгѣ, какъ проходили въ классѣ, по климатамъ, по народамъ, никакъ и ничего онъ не могъ рассказать, особенно, когда учитель спросить:

— А ну-ка, перескажи всѣ горы въ Европѣ! или:— всѣ порты Средиземнаго моря.

Между тѣмъ внѣ класса начнетъ рассказывать о какой-нибудь странѣ или объ океанѣ, о городѣ — откуда что берется у него! Ни въ книгѣ этого нѣтъ, ни учитель не раз-



сказывалъ, а онъ рисуеъ картину, какъ будто былъ тамъ, все видѣлъ самъ.

— Да ты все врешь! скажетъ иногда слушатель-скептикъ:—Василій Никитичъ этого не говорилъ!

Директоръ подслушалъ однажды, когда онъ рассказывалъ, какъ дикіе ловятъ и ѣдятъ людей, какіе у нихъ лѣса, жилища, какое оружіе, какъ они сидятъ на деревьяхъ, охотятся за звѣрями, даже началъ представлять, какъ они говорятъ горломъ.

— Пустяки молотъ мастеръ, сказалъ ему директоръ:— а на экзаменѣ не могъ рассказать системы рѣкъ! Вотъ я тебя выѣку, погоди! Ничѣмъ не хочеть серьёзно заняться: пустой мальчишка!—И дернулъ его за ухо.

Райскій смотрѣлъ, какъ стоялъ директоръ, какъ говорилъ, какіе злые и холодные у него были глаза, разбиралъ, отчего ему стало холодно, когда директоръ тронулъ его за ухо, представилъ себѣ, какъ поведутъ его сѣчь, какъ у Севастьянова отъ испуга вдругъ побѣлѣетъ носъ, и онъ весь будто похудѣетъ немного, какъ Боровиковъ задрожитъ, запрыгаетъ и захихикаетъ отъ волненія, какъ добрый Мясниковъ, съ плачущимъ лицомъ, бросится обнимать его и прощаться съ нимъ, точно съ осужденнымъ на казнь. Потомъ, какъ его будутъ раздѣвать и у него похолодѣетъ, сначала у сердца, потомъ руки и ноги, какъ онъ не сможетъ самъ лечь, а положить его тихонько сторожъ Сидорычъ...

Онъ слышалъ мысленно свой визгъ, видѣлъ болтающіяся ноги и вздрогнулъ...

У него упали нервы: онъ пересталъ ѣсть, худо спать. Онъ чувствовалъ оскорбленіе отъ одной угрозы, и ему казалось, что если она исполнится, то это унесетъ у него все хорошее, и вся его жизнь будетъ гадка, бѣдна и страшна,



и самъ онъ станетъ, точно нищій, всѣми брошенный, презрѣнный.

Въ это время, какъ будто нарочно пришлось, священникъ толковалъ исторію Іова, всѣми оставленнаго на кучѣ навоза, страждущаго...

Райскій расплакался, его прозвали „нюней“. Онъ приунылъ, три дня ходилъ мрачный, такъ что узнать нельзя было: онъ-ли это? ничего не рассказывалъ товарищамъ, какъ они ни приставали къ нему.

Такъ было до воскресенья. А въ воскресенье Райскій поѣхалъ домой, нашелъ въ шкафѣ „Освобожденный Іерусалимъ“ въ переводѣ Москотильникова, и забылъ объ угрозахъ, и не тронулся съ дивана, на-скоро пообѣдалъ, опять легъ читать до темноты. А въ понедѣльникъ утромъ унесъ книгу въ училище и тайкомъ, торопливо и съ жадностью, дочитывалъ и, дочитавши, недѣли двѣ рассказывалъ читанное, то тому, то другому.

Снились ему такіе горячіе сны о далекихъ странахъ, о необыкновенныхъ людяхъ въ латахъ, и каменистыя пустыни Палестины блистали передъ нимъ своею сухой, страшною красотою: эти пески и зной, эти люди, которые умѣли жить такой крѣпкой и трудной жизнью и умирать такъ легко!

Онъ содрагался отъ желанія посидѣть на камняхъ пустыни, разрубить Сарацина, томиться жаждой и умереть безъ нужды, для того только, чтобъ видѣли, что онъ умѣетъ умирать. Онъ не спалъ ночей, читая объ Армидѣ, какъ она увлекла рыцарей и самаго Ринальда.

Какая она? думалось ему—и то казалась она ему тѣткою Варварой Николаевной, которая ходила, покачивая головою, какъ игрушечные коты, и прищуривала глаза, то въ видѣ жены директора, у которой были такія бѣлыя руки и острый, пропительный взглядъ, то тринадцатилѣтней, при-

прыгивающей, хорошенькой дѣвочкой въ кружевныхъ панталончикахъ, дочерью полиціймейстера.

Онъ сжимался въ комокъ и читалъ жадно, почти не переводя духа, но внутренно разрываясь отъ волненія, и вдругъ въ неистовствѣ бросалъ книгу и бѣгалъ, какъ потерянный, когда храбрый Ринальдъ, или въ романѣ мадамъ Коттень, Малекъ-Адель, изнывали у ногъ волшебницы.

То вдругъ случайно воображеніе унесетъ его въ другую сторону, съ какимъ-нибудь Оссіаномъ: тамъ другая жизнь, другія картины, еще величавѣе, хотя и суровѣе тѣхъ, и еще необыкновеннѣе.

И все это, не похожее на текущую жизнь около него, захватывало его въ свою чудесную сферу, отъ которой онъ отрезвлялся, какъ отъ хмѣля.

Послѣ долго ходилъ онъ блѣденъ и скученъ, пока опять чужая жизнь и чужія радости не вспыренутъ его, какъ живой водой.

Дядя давалъ ему исторіи четырехъ Генриховъ, Людовиковъ до XVIII и Карловъ до XII включительно, но все это уже было для него, какъ прѣсная вода послѣ рома. На минуту только разбудили его Іоанны III-й и IV, да Петръ.

Онъ бросался къ Плутарху, чтобъ только дальше уйти отъ современной жизни, но и тотъ казался ему сухъ, не представлялъ рисунка, картинъ, какъ тѣ книги, потомъ какъ Телемакъ, а еще потомъ—какъ Иліада.

Между товарищами онъ былъ очень страненъ: они тоже не знали, какъ понимать его. Симпатіи его такъ часто мѣнялись, что у него не было ни постоянныхъ друзей, ни враговъ.

Эту недѣлю онъ привяжется къ одному, ищетъ его вездѣ, сидитъ съ нимъ, читаетъ, рассказываетъ ему, шепчетъ. Потомъ ни съ того, ни съ сего, вдругъ броситъ его и всматривается въ другого и, всмотрѣвшись, опять забываетъ.

Разсердить ли его какой-нибудь товарищъ, не кстати скажетъ ему что-нибудь, онъ надуется, дастъ разыгаться злымъ чувствамъ во всѣ формы упорной вражды, хотя самая обида поблѣднѣетъ, забудется причина, а онъ длить вражду, за которой слѣдитъ весь классъ, и больше всѣхъ онъ самъ.

Потомъ онъ отыскивалъ въ себѣ кротость, великодушіе и вздрагивалъ отъ живого удовольствія проявить его; устроивалась сцена примиренія, съ достоинствомъ и благородствомъ, и занимала всѣхъ, пуще всѣхъ его самого.

Онъ какъ будто смотрѣлъ на все это со стороны и наслаждался, видя и себя, и другого, и всю картину передъ собой.

А когда все кончалось, когда шумъ, чадъ, вся трескотня выходили изъ него, онъ вдругъ очнется, окинетъ все удивленными глазами и внутренній голосъ спроситъ его: — зачѣмъ это? Онъ пожметъ плечами, не зная самъ зачѣмъ.

Иногда, напротивъ, онъ придетъ отъ пустяковъ въ восторгъ: какой-нибудь сытый ученикъ отдастъ свою булку нищему, какъ дѣлаютъ добродѣтельные дѣти въ хрестоматіяхъ и прописяхъ, или приметъ на себя чужую шалость, или покажется, ему что насупившійся ученикъ думаетъ глубокую думу, и онъ вдругъ возгорится участіемъ къ нему, говорить о немъ со слезами, отыскиваетъ въ немъ что-то таинственное, необычайное, окружить его уваженіемъ: и другіе разятся неисповѣдимымъ почтеніемъ.

Но черезъ недѣлю товарищи встанутъ въ одно прекрасное утро, съ восторженными рѣчами о фениксѣ подойдутъ къ Райскому, а онъ расхохочется.

— Этакую дрянь нашли, да и нянчатся! Пошелъ ты прочь, жалкое созданіе! скажетъ онъ.

Всѣ и рты разинутъ, и онъ стыдится своего восторга. Лучъ, который надалъ на „чудо“, уже померкъ, краски

пронали, форма изнасилась, и онъ бросалъ и искалъ жадными глазами другого явленія, другого чувства, зрѣлица, и если не было—скупалъ, былъ желченъ, нетерпѣливъ, или задумчивъ.

По выходѣ изъ училища, дѣйствительная жизнь мало увлекала его въ свой потокъ, и своей веселой стороною, и суровой дѣятельностью. Позоветь ли его опекунъ посмотреть, какъ молотятъ рожь, или какъ валяютъ сукно на фабрикѣ, какъ бѣлятъ полотна,—онъ увертывался и забирался на бельведеръ смотрѣть оттуда въ лѣсъ, или шель на рѣку, въ кусты, въ чащу, смотрѣлъ, какъ возятся насѣкомыя, остро глядѣлъ, куда порхнула птичка, какая она, куда сѣла, какъ почесала носикъ; — поймаетъ ежа и возится съ нимъ; — съ мальчишками удить рыбу цѣлый день, или слушаетъ полоумнаго старика, который живетъ въ землянкѣ у околицы, какъ онъ рассказываетъ про „Пугача“,—жадно слушаетъ подробности жестокихъ мукъ, казней, и смотритъ прямо ему въ ротъ безъ зубовъ, и въ глубокія впадины потухающихъ глазъ.

По цѣлымъ часамъ, съ болѣзненнымъ любопытствомъ, слѣдитъ онъ за лепетомъ „испорченной Оеклушки“. Дома читаетъ всякіе пустяки. „Саксонскій разбойникъ“ попадетъ—онъ прочтетъ его; вытащить Эккартсгаузена и фантазіей допросится, сквозь туманъ, ясныхъ выводовъ; десять разъ прочелъ попавшійся экземпляръ „Тристрама Шенди“; найдетъ какія-нибудь „Тайны восточной магіи“,—читаетъ и ихъ; тамъ русскія сказки и былины, потомъ вдругъ опять бросится къ Оссіану, къ Тассу и Гомеру, или уплыветъ съ Кукомъ въ чудесныя страны.

А если нѣтъ ничего, такъ лежитъ, неподвижно по цѣлымъ днямъ, но лежитъ, какъ будто трудную работу дѣлаетъ: фантазія мчитъ его дальше Оссіана, Тасса, и даже Кука—или бьетъ лихорадкой какого-нибудь встрѣчнаго ошу-



щенія, мгновеннаго впечатлѣнія, и онъ встанетъ усталый, блѣдный, и долго не придетъ въ нормальное положеніе.

— Лѣнтяй, лежебока! говорятъ кругомъ его.

Онъ пугался этихъ приговоровъ, плакалъ втихомолку и думалъ иногда съ отчаяніемъ, отчего онъ лѣнтяй и лежебока?— „Что я такое? что изъ меня будетъ?“ думалъ онъ и слышалъ суровое: — „Учись, вонъ какъ учатся Саврасовъ, Ковригинъ, Малюевъ, Чудинъ,—первые ученики!“

Они равно хорошо учатся и изъ математики, и изъ исторіи, сочиняютъ, чертятъ, рисуютъ и языки знаютъ, и все: — счастливы! Ихъ всѣ уважаютъ, они такъ гордо смотрятъ, такъ покойно спятъ, всегда одинаковы.

А онъ сегодня блѣденъ, молчитъ, какъ убитый,—завтра скачетъ и поетъ, Богъ знаетъ отъ чего.

Всего пуще пугало его и томило обидное состраданіе сторожа Сидорыча, и вмѣстѣ трогало своей простотой. Однажды онъ не выучилъ два урока сряду и завтра долженъ былъ остаться безъ обѣда, если не выучитъ ихъ къ утру, а выучить было некогда, всѣ легли спать.

Сидорычъ тихонько всталъ, вздулъ свѣчу и принесъ Райскому изъ класса книгу.

— Учи, батюшка, сказалъ онъ,—пока они спятъ. Никто не увидитъ, а завтра будешь знать лучше ихъ: что они въ самомъ дѣлѣ обожаютъ тебя, сироту!

У Райскаго брызнули слезы и отъ этой обиды, и отъ доброты Сидорыча. Онъ взглянулъ, какъ хранятъ первые ученики, и не выучилъ урока—отъ гордости.

За то, если задѣто его самолюбіе, затронуты нервы, тогда онъ однимъ взглядомъ въ книгу какъ будто сниметъ фотографію съ урока, запомнитъ столбцы цифръ, отгадаетъ задачу—и вдругъ блеснетъ, какъ фейерверкъ и изумитъ весь классъ, иногда и учителя.



„Притворяется!“—думают ученики.— „Какія способности у этого лѣнтяя!“ подумаетъ учитель.

Онъ чувствовалъ и понималъ, что онъ не лежебока и не лѣнтяй, а что-то другое, но чувствовалъ и понималъ онъ одинъ, и больше никто, — но не понималъ, что же онъ такое именно, и некому было растолковать ему это, и разъяснить, нужно ли ему учить математику, или что-нибудь другое.

Въ службѣ названіе пустого человѣка привинтилось къ нему еще крѣпче. Отъ него не добились ни одной докладной записки, никогда не прочелъ онъ ни одного дѣла, между тѣмъ вносилъ веселье, смѣхъ и анекдоты въ ту комнату, гдѣ сидѣлъ. Около него всегда куча народу.

Но мысль о дѣлѣ, если только она не проходила черезъ докладъ, какъ бывало русскій языкъ черезъ грамматику, а сказанная среди шутокъ и бездѣлья, для него какъ-то ясна, лишь бы не доходило дѣло до бумагъ.

Онъ озадачивалъ новизной взгляда чиновниковъ. Столоначальникъ, слушая его, съ усмѣшкой отбиралъ у него какую-нибудь заданную ему бумагу и отдавалъ другому.

— Напишите пожалуйста вотъ это предписаніе, говоритъ онъ,—пока Борисъ Павловичъ рисуетъ свой проектъ!

Столоначальникъ былъ правъ: Райскій рисовалъ и дѣло, какъ картину, или оно такъ рисовалось у него въ головѣ.

Воображеніе его вспыхивало, и онъ путемъ сверкнувшей догадки схватывалъ тѣнь, верхушку истины, дорисовывалъ остальное и уже не шелъ долгимъ опытомъ и трудомъ завоевывать прочную побѣду.

Онъ уже былъ утомленъ, онъ шелъ дальше, глаза и воображеніе искали другого, и онъ летѣлъ на крыльяхъ фантазіи, черезъ пронасти, горы, океаны, переходимые и переппываемые толпой мужественно и терпѣливо.

Онъ и знаніе — не зналъ, а какъ будто видѣлъ его у себя въ воображеніи, какъ въ зеркалѣ, готовымъ, чувствовалъ его и этимъ довольствовался; а узнавать ему было скучно, онъ отталкивалъ наскучившій предметъ прочь, отыскивая вокругъ новаго, живого, поразительнаго, чтобъ въ немъ самомъ все играло, билось, трепетало и отзывалось жизнью на жизнь.

Вокругъ его не было никого, кто направилъ бы эти жадные порывы любознательности въ опредѣленную колею.

Въ одномъ мѣстѣ опекунъ, а въ другомъ бабушка смотрѣли только,—первый, чтобъ къ нему въ положенные часы ходили учителя, или чтобъ онъ не пропускалъ уроковъ въ школѣ; а вторая, чтобъ онъ былъ здоровъ, имѣлъ аппетитъ и сонъ, да чтобъ одѣтъ онъ былъ чисто, держалъ себя опрятно, и чтобъ, какъ слѣдуетъ благовоспитанному мальчику, „не связывался со всякой дрянью“.

А что онъ читалъ тамъ, какія книги, въ это не входили, и бабушка отдала ему ключи отъ отцовской библіотеки въ старомъ домѣ, куда онъ запирался, читая попеременно то Спинозу, то романъ Коттенъ, то св. Августина, а завтра вытащить Вольтера, или Парни, даже Боккаччіо.

Искусства дались ему лучше наукъ. Правда, онъ и тутъ затѣялъ пустяки: учитель недѣли на двѣ посадилъ весь классъ рисовать зрочки, а онъ не утерпѣлъ, придѣлать къ зрочку носъ, и даже началъ было тушевать усы, но учитель засталъ его, и сначала дернулъ за вихорь, потомъ, взглянувъ на него, сказалъ:

— Гдѣ ты учился?

— Нигдѣ,—былъ отвѣтъ.

— А хорошо, братъ, только видишь, что значить вперёдъ забѣгать: лобъ и носъ—хоть куда, а ухо вонъ гдѣ посадилъ, да и волосы точно мочала вышли.

Но Райскій торжествовалъ: — „хорошо, братъ: любь и нось, хоть куда!“—было для него лавровымъ вѣнкомъ.

Онъ гордо ходилъ одинъ по двору, въ сознаніи, что онъ лучше всѣхъ, до тѣхъ поръ, пока на другой день публично не осрамился въ „серьезныхъ предметахъ“.

Но къ рисованью онъ пристрастился, и черезъ мѣсяць послѣ „зрачковъ“, копировалъ кудряваго мальчика, потомъ голову Фингала.

Завѣтной мечтой его была женская головка, висѣвшая на квартирѣ учителя. Она поникла немного къ плечу и смотрѣла томно, задумчиво вдаль.

— Позвольте мнѣ вотъ съ этой нарисовать копію!—робко, нѣжно звучащимъ голосомъ дѣвочки и съ нервной дрожью верхней губы просилъ онъ учителя.

— А если стекло разобьешь?—сказалъ учитель, однако далъ ему головку.

Борисъ былъ счастливъ. Когда онъ приходилъ къ учителю, у него всякій разъ юкало сердце при взглядѣ на головку. И вотъ она у него, онъ рисуетъ съ нея.

Въ эту недѣлю ни одинъ серьезный учитель ничего отъ него не добился. Онъ сидитъ въ своемъ углу, рисуетъ, стираетъ, тушуетъ, опять стираетъ, или молча задумается; въ зрачкѣ ляжетъ синева, и глаза покроются будто туманомъ, только губы едва, едва замѣтно шевелятся, и въ нихъ переливается розовая влага.

На ночь онъ уносилъ рисунокъ въ дортуаръ, и однажды, вглядываясь въ эти нѣжные глаза, слѣдя за линіей наклоненной шеи, онъ вздрогнулъ, у него сдѣлалось такое замиранье въ груди, такъ захватило ему дыханье, что онъ въ забытѣ, съ закрытыми глазами и невольнымъ, чуть сдержаннымъ стономъ, прижалъ рисунокъ обѣими руками къ тому мѣсту, гдѣ было такъ тяжело дышать. Стекло хрустнуло и со звономъ полетѣло на полъ...

Нарисовавъ эту головку, онъ уже не зналъ предѣла гордости. Рисунокъ его выставленъ съ рисунками старшаго класса на публичномъ экзаменѣ, и учитель мало поправлялъ, только кое-гдѣ слабыя мѣста покрылъ крупными, крѣпкими штрихами, точно желѣзной рѣшеткой, да въ волосахъ прибавилъ три, четыре черныя полосы, сдѣлалъ по точкѣ въ каждомъ глазу — и глаза вдругъ стали смотрѣть точно живые.

„Какъ это онъ? и отчего такъ у него вышло живо, смѣло, прочно?“ — думалъ Райскій, зорко вглядываясь и въ штрихи и въ точки, особенно въ двѣ точки, отъ которыхъ глаза вдругъ ожили. И много ставилъ онъ потомъ штриховъ и точекъ, все хотѣлъ схватить эту жизнь, огонь и силу какая была въ штрихахъ и полосахъ, такъ крѣпко и увѣренно начерченныхъ учителемъ. Иногда онъ будто и ловилъ эту тайну, и опять ускользала она у него.

Но чертить зрачки, носы, линіи лба, ушей и рукъ по сту разъ—ему было до смерти скучно.

Онъ рисуеъ глаза кое-какъ, но заботится лишь о томъ, чтобы въ нихъ повторились учительскія точки, чтобы они смотрѣли точно живые. А не удастся, онъ броситъ все, уныло облокотится на столъ, склонить на локоть голову и осѣдлаетъ своего любимаго коня, фантазію, или конь осѣдлаетъ его, и мчится онъ въ пространствѣ, среди своихъ міровъ и образовъ.

Упиваясь легкимъ успѣхомъ, онъ гордо ходилъ:— „Талантъ, талантъ!“ звучало у него въ ушахъ. Но вскорѣ все уже знали, какъ онъ рисуеъ, перестали ахать, и онъ прिवыкъ къ успѣху.

Въ деревнѣ онъ опять приистрастился—было къ рисованію, дѣлалъ портреты съ горничныхъ, съ кучера, потомъ съ деревенскихъ мужиковъ.



Полоумную Оеклушку нарисоваль въ пещерѣ, очень удачно освѣтивъ одно лицо и разбросанные волосы, корпусъ же скрывался во мракѣ: ни терпѣнья, ни умѣнья не хватило у него додѣлывать руки, ноги и корпусъ. И какъ цѣлое утро высидѣть, когда солнце такъ весело и щедро льетъ лучи на лугъ и рѣку...

Вонъ, никакъ, отъ сосѣдей скачетъ человѣкъ, вѣрно танцовать будутъ...

Дня черезъ три картина блѣднѣла, и въ воображеніи тѣснился уже другая. Хотѣлось бы нарисовать хороводъ, тутъ же пьянаго старика и проѣзжую тройку. Опять дня два носится онъ съ картиной: она какъ живая у него. Онъ бы нарисоваль мужика и бабъ, да тройку не съумѣеть: лошадей „не проходили въ классѣ“.

Черезъ недѣлю и эта картина забывалась и снова замѣнялась другою...

Музыку онъ любилъ до опьянѣнія. Въ училищѣ, тупой, презираемый первыми учениками мальчикъ Васюковъ былъ предметомъ постоянной нѣжности Райскаго.

Всѣ бывало дергають за уши Васюкова:—Пошелъ прочь, дуракъ, дубина! только и слышитъ онъ. Лишь Райскій глядитъ на него съ умиленіемъ, потому только, что Васюковъ, ни къ чему невнимательный, сонный, вялый, даже у всѣми любимаго русскаго учителя не выучившій никогда ни одного урока, — каждый день послѣ обѣда бралъ свою скрипку и, положивъ на нее подбородокъ, водилъ смычкомъ, забывая школу, учителей, щелчки.

Глаза его ничего не видали передъ собой, а смотрѣли куда-то въ другое мѣсто, далеко, и тамъ онъ будто видѣлъ что-то особенное, таинственное. Глаза его становились дикими, суровыми, а иногда точно плакали.

Противъ него садился Райскій и съ удивленіемъ глядѣлъ на лицо Васюкова, слѣдилъ какъ, пока еще съ тупымъ



взглядомъ, достаетъ онъ скрипку, вяло беретъ смычекъ, намажетъ его конифолью, потомъ сначала пальцемъ тронетъ струны, повинтитъ винты, опять тронетъ, потомъ поведетъ смычкомъ — и все еще глядитъ сонно. Но вотъ заигралъ—и проснулся, и улетѣлъ куда-то.

Васюкова нѣтъ, явился кто-то другой. Зрачки у него расширяются, глаза не мигаютъ больше, а все дѣлаются прозрачнѣ свѣтлѣе, глубже, и смотрятъ гордо, умно, грудь дышетъ медленно и тяжело. По лицу бродитъ нѣга, счастье, кожа становится нѣжнѣе, глаза синѣютъ и льютъ лучи:— онъ сталъ прекрасенъ.

Райскій началъ мысленно глядѣть, куда глядитъ Васюковъ, и видѣть чтó онъ видитъ. Ни стало никого вокругъ: ни учениковъ, ни скамей, ни шкафовъ. Все это закрылось точно туманомъ.

Послѣ нѣсколькихъ звуковъ, открывалось глубокое пространство, тамъ являлся движущійся міръ, какіе-то волны, корабли, люди, лѣса, облака, — все будто плыло и несло мимо его въ воздушномъ пространствѣ. И онъ, казалось ему, все росъ выше, у него занимало духъ, его будто щекотали, или купался онъ...

И сонъ этотъ длился, пока длились звуки.

Вдругъ стукъ, крикъ, толчекъ какой-нибудь будиль его, будиль Васюкова. Звуковъ нѣтъ, міры пропали, онъ просыпался: кругомъ — ученики, скамьи, столы — и Васюковъ укладываетъ скрипку, кто-нибудь дергаетъ его ужъ за ухо, Райскій съ яростью бросается бить забіяку, а потомъ долго ходить задумчивый.

Первы поютъ ему какіе-то гимны, въ немъ плещется жизнь, какъ море, и мысли, чувства, какъ волны перебиваются, сталкиваются, и несутся куда-то, бросаютъ кругомъ брызги, пѣну.

Въ звукахъ этихъ онъ слышитъ что-то знакомое; носит-ся передъ нимъ какое-то воспоминаніе, будто тѣнь женщины, которая держала его у себя на колѣняхъ.

Онъ роется въ памяти и смутно дорывается, что держала его когда-то мать, и онъ, прижавшись щекой къ ея груди, слѣдитъ, какъ она перебирала пальцами клавиши, какъ носились плачущіе или рѣзвые звуки, слышалъ, какъ билось у ней въ груди сердце.

Фигура женщины яснѣе и яснѣе оживала въ памяти, какъ будто она вставала въ эти минуты изъ могилы и являлась точно живая.

Онъ помнитъ, какъ, послѣ музыки, она всю дрожь наслажденія сосредоточивала въ горячемъ поцѣлѣ ему. Помнитъ, какъ она толковала ему картины: кто этотъ старикъ съ лирой, котораго, нѣмѣя, слушаетъ гордый царь, боясь пошевелиться, — кто эта женщина, которую кладутъ на плаху.

Потомъ помнитъ онъ, какъ она водила его на Волгу, какъ по цѣлымъ часамъ сидѣла, глядя вдаль, или указывала ему на гору, освѣщенную солнцемъ, на кучу темной зелени, на плывущія суда.

Онъ смотритъ, какъ она неподвижно глядѣла, какъ у ней тогда глаза были прозрачны, глубоки, хороши... „точно у Васюкова“, думалъ онъ.

Стало быть, и она видѣла въ этой зелени, въ теченіи рѣки, въ синемъ небѣ тоже, что Васюковъ видитъ, когда играетъ на скрипкѣ... Какія-то горы, моря облака... „И я вижу ихъ!“ ...

Заиграетъ ли женщина на фортепіано, гувернантка у сосѣдей, Райскій бѣжалъ-было передъ этимъ удить рыбу, — но раздалися звуки, и онъ замиралъ на мѣстѣ, разинувъ ротъ, и прятался за стуломъ играющей.

Его не стало, онъ куда-то пропалъ, опять его несетъ

кто-то по воздуху, опять онъ растеть, въ него льется сила, онъ въ состояніи поднять и поддержать сводъ, какъ тотъ, котораго Геркулесъ смѣнилъ.

Звуки почти до боли ударяють его по груди, проникають до мозга—у него уже мокрые волосы, глаза...

Вдругъ звуки умолкли, онъ очнется, застыдится и убѣжитъ.

Онъ сталь-бы учиться, сначала на скрипкѣ у Васюкова,—но вотъ уже недѣлю водить смычкомъ взадъ и впередъ: *a, c, g*, тянетъ за нимъ Васюковъ, а смычекъ деретъ ему уши. То захватить онъ двѣ струны разомъ, то рука дрожить отъ слабости: — нѣтъ! Когда же Васюковъ играетъ—точно по маслу рука ходить.

Двѣ недѣли прошло, а онъ забудетъ то тотъ, то другой палецъ. Ученики бранятся.

— Ну, васъ къ чорту! говоритъ первый ученикъ.—Тутъ серьезнымъ дѣломъ заниматься надо, а они пилятъ!

Райскій бросилъ скрипку и сталъ просить опекуна учить его на фортепіано.

„На фортепіано легче, скорѣй,“ думалъ онъ.

Тотъ нанялъ ему нѣмца, но однакожь рѣшился поговорить съ нимъ серьезно.

— Послушай, Борисъ—началъ онъ—къ чему ты готовишь себя, я давно хотѣлъ спросить тебя?

Райскій не понялъ вопроса и молчалъ.

— Тебѣ шестнадцатый годъ, продолжалъ опекунъ,—пора о дѣлѣ подумать, а ты до сихъ поръ, какъ я вижу, еще не подумалъ, по какой части пойдешь въ университетъ и въ службѣ. По военной трудно: у тебя небольшое состояніе, а служить ты по своей фамиліи долженъ въ гвардіи.

Райскій молчалъ и смотрѣлъ въ окно, какъ пѣтухи дерутся, какъ свинья роется въ навозѣ, какъ кошка подкрадывается къ голубю.

— Я тебѣ о дѣлѣ, а ты вонъ куда глядишь! Къ чему ты готовишься?

— Я, дядюшка, готовлюсь въ артисты.

— Что-о?

— Художникомъ быть хочу, подтвердилъ Райскій.

— Чортъ знаетъ, что выдумалъ! Кто-жь тебя пустить? Ты знаешь ли, что такое артистъ? спросилъ онъ.

Райскій молчалъ.

— Артистъ—это такой человѣкъ, который, или денегъ у тебя займетъ, или навретъ такой чепухи, что на недѣлю тумана наведетъ... Въ артисты!.. Вѣдь это, продолжалъ онъ,—значить безпутное, цыганское житье, адская бѣдность въ деньгахъ, платьѣ, въ обуви, и только богатство мечты! Витаютъ артисты, какъ птицы небесныя, на чердакахъ. Видалъ я ихъ въ Петербургѣ: это тѣ хватаютъ, что въ какихъ-то фантастическихъ костюмахъ собираются по вечерамъ лежать на диванахъ, курятъ трубки, несутъ чепуху, читаютъ стихи и пьютъ много водки, а потомъ объявляютъ, что они артисты. Они нечесаны, неопрятны....

— Я слыхалъ, дядюшка, что художники теперь въ большомъ уваженіи. Вы, можетъ быть, старое время вспоминаете. Изъ академіи выходятъ знаменитые люди...

— Я не очень старъ и видѣлъ свѣтъ, возразилъ дядя:—ты слыхалъ, что звонятъ, да не знаешь на какой колокольнѣ. Знаменитые люди! Есть артисты, и лекаря есть тоже знаменитые люди: а когда они знаменитыми дѣлаются, спроси-ка? Когда въ службѣ состоятъ и дойдутъ до тайнаго совѣтника! Соборъ выстроить, или монументъ на площади поставить—вотъ его и пожалуютъ! А начинаютъ они отъ бѣдности, изъ куска хлѣба — спроси: все большею частью вольноотпущенные, мѣщане, или иностранцы, даже жида. Ихъ неволя гонитъ въ художники, вотъ они и напираютъ на искусство. А ты—Райскій! У тебя земля и готовый хлѣбъ.



Конечно, для общества почему не имѣть пріятныхъ талантовъ: сыграть на фортепіано, нарисовать что нибудь въ альбомѣ, спѣть романсъ?.. Вотъ я тебѣ и нѣмца нанялъ. Но быть артистомъ по профессіи — что за блажь! Слыхалъ ли ты когда-нибудь, чтобъ нарисовалъ картину какой-нибудь князь, графъ, или статую слѣпилъ старый дворянинъ... нѣтъ: отъ чего это?...

— А Рубенсъ? вдругъ перебилъ Райскій: — онъ былъ придворный, посланникъ...

— Куда хватилъ: это лѣтъ двѣсти назадъ! сказалъ опекунъ: тамъ, у нѣмцевъ... А ты поступишь въ университетъ, въ юридическій факультетъ, потомъ служи въ Петербургѣ, учись дѣлу, добивайся прокурорскаго мѣста, а родня выведетъ тебя въ камеръ-юнкеры. И если не будешь дремать, то съ твоимъ именемъ и родствомъ тридцати лѣтъ будешь губернаторомъ. Вотъ твоя карьера! Но вотъ бѣда, я не вижу, чтобъ у тебя было что-нибудь серьезное на умѣ: удишь съ мальчишками рыбу, вонъ болото нарисовалъ, пьянаго мужика у кабака... Ходишь по полямъ и въ лѣсъ, а хоть бы разъ спросилъ мужика, какой хлѣбъ, когда сѣютъ, почему продаютъ?.. ничего! И хозяина не общаешь!

Дядя вздохнулъ, и Райскій пріунылъ: дядино поученье безотрадно подѣйствовало только на его нервы.

Учитель нѣмецъ, какъ Васюковъ, прежде всего исковеркалъ ему руки и началъ притопывать ногой и напѣвать, слѣдя за каждымъ ударомъ по клавишу: а-а-у-у-о-о.

Только совѣстясь опекуна, не бросалъ Райскій этой пытки и кое-какъ въ нѣсколько мѣсяцевъ удалось ему сладить съ первыми шагами. И то онъ все капризничалъ: то игралъ не тѣмъ пальцемъ, которымъ требовалъ учитель, а какимъ казалось ему ловчѣе, не хотѣлъ играть гаммъ, а ловить ухомъ мотивы, какіе западутъ въ голову, и бы-



валъ счастливъ, когда удавалось ему уловить ту же экспрессию или силу, какую слышалъ у кого-нибудь и поразила его, какъ прежде поразила штрихами и точками учителя.

А съ нотами не дружилъ, не проходилъ постепенно одну за другою запыленные, пожелтѣвшія, приносимыя учителемъ тетради музыкальной школы. Но часто онъ задумывался, слушая свою игру, и мурашки бѣгали у него по спинѣ.

Вдалекѣ видѣлась уже ему наполненная зала, и онъ своей игрой потрясалъ стѣны и сердца знатоковъ. Женщины съ горящими щеками слушали его, и его лицо горѣло стыдливомъ торжествомъ...

Онъ тихонько утиралъ слезы, катившіяся по щекамъ, горѣлъ, млѣлъ отъ своей мечты.

Когда наконецъ онъ одолѣлъ, съ грѣхомъ пополамъ, первые шаги, пальцы играли уже что-то свое, играли они ему эту, кажется, залу, этихъ женщинъ, и трепетъ похвалы,—а трудной школы не играли.

Скоро онъ перегналъ розовенькихъ уѣздныхъ барышень и изумлялъ ихъ силою и смѣlostью игры, пальцы бѣгали свободно и одушевленно. Онѣ еще сидятъ на какомъ-то допотопномъ рондо, да на сонатахъ въ четыре руки, а онъ перескочилъ черезъ школу и черезъ сонаты, сначала на кадрили, на марши, а потомъ на оперы, проходя курсъ по своей программѣ, продиктованной воображеніемъ и слухомъ.

Онъ услышитъ оркестръ, затвердитъ то, что увлекло его, и повторяетъ мотивы, упиваясь удивленіемъ барышень: онъ былъ первый, лучше всѣхъ; нѣмецъ говорить, что способности у него быстрыя, удивительныя, но лѣнь еще удивительнѣе.

Но это не бѣда: лѣнь, небрежность какъ-то къ лицу

артистамъ. Да еще кто-то сказалъ ему, что при талантѣ не нужно много и работать, что работаютъ только бездарные, чтобы вымучить себѣ кропотливо жалкое подобіе могучаго и всепобѣднаго дара природы—таланта.

## VII.

Райскій вышелъ изъ гимназіи, вступилъ въ университетъ и въ одно лѣто поѣхалъ на каникулы къ своей двоюродной бабушкѣ, Татьянѣ Марковнѣ Бережковой.

Бабушка эта жила въ родовомъ маленькомъ имѣніи, доставшемся Борису отъ матери. Оно все состояло изъ небольшой земли, лежащей вплоть у города, отъ котораго отдѣлялось полемъ и слободой близъ Волги, изъ пятидесяти душъ крестьянъ, да изъ двухъ домовъ—одного каменнаго, оставленнаго и запущеннаго, и другого деревяннаго домика, выстроеннаго его отцомъ, и въ этомъ-то домикѣ и жила Татьяна Марковна, съ двумя, тоже двоюродными, внучками-сиротами, дѣвочками по седьмому и шестому году, оставленными ей двоюродной племянницей, которую она любила какъ дочь.

У бабушки былъ свой капиталъ, выдѣленный ей изъ семьи, своя родовая деревенька; она осталась дѣвушкой, и послѣ смерти отца и матери Райскаго, ея племянника и племянницы, поселилась въ этомъ маленькомъ имѣніицѣ.

Она управляла имъ, какъ маленькимъ царствомъ, мудро, экономично, кропотливо, но деспотически и на феодалныхъ началахъ. Опекуну она не давала сунуть носа въ ея дѣла и, не признавая никакихъ документовъ, бумагъ, записей и актовъ, поддерживала порядокъ, бывшій при послѣднихъ владѣльцахъ, и отзывалась въ отвѣтъ на письма опекуна, что всѣ акты, записи и документы записаны у ней на совѣсти, и она отдастъ отчетъ внуку, когда онъ вырос-

теть, а до тѣхъ поръ, по словесному завѣщанію отца и матери его, она полная хозяйка.

Тотъ пожалъ плечами и махнулъ рукой, потому-что имѣніе небольшое, да и въ рукахъ такой хозяйки, какъ бабушка, лучше сбережется.

Къ ней-то пріѣхалъ Райскій, вступивъ въ университетъ — побывать и проститься, можетъ быть, надолго.

Какой эдемъ распахнулся ему въ этомъ уголкѣ, откуда его увезли въ дѣтствѣ, и гдѣ потомъ онъ гостилъ мальчикомъ иногда, въ лѣтніе каникулы. Какіе виды кругомъ — каждое окно въ домѣ было рамой своей особенной картины!

Съ одной стороны Волга съ крутыми берегами и Заволжьемъ; съ другой — широкія поля, обработанныя и пущья, овраги, и все это замыкалось далью синѣвшихъ горъ. Съ третьей стороны видны села, деревни и часть города. Воздухъ свѣжій, прохладный, отъ котораго, какъ отъ лѣтняго купанья, пробѣгаетъ по тѣлу дрожь бодрости.

Домъ весь былъ окруженъ, этими видами, этимъ воздухомъ, да полями, да садомъ. Садъ обширный около обоихъ домовъ, содержавшійся въ порядкѣ, съ темными аллеями, бесѣдкой и скамьями. Чѣмъ далѣе отъ домовъ, тѣмъ садъ былъ запущеннѣе.

Подлѣ огромнаго развѣсистаго вяза, съ сгнившей скамьею, толпились вишни и яблони; тамъ рябина; тамъ шла кучка липъ, хотѣла-было образовать аллею, да вдругъ ушла въ лѣсъ и братски перепуталась съ ельникомъ, березнякомъ. И вдругъ все кончалось обрывомъ, поросшимъ кустами, идущими почти на полверсты берегомъ до Волги.

Подлѣ сада, ближе къ дому лежали огороды. Тамъ капуста, рѣпа, морковь, петрушка, огурцы, потомъ громадные тыквы, а въ парникѣ арбузы и дыни. Подсолнечники и макъ, въ этой массѣ зелени, дѣлали яркія, бросав-

шіяся въ глаза, пятна; около тычинокъ вились турецкіе бобы.

Передъ окнами маленькаго домика пестрѣль на солнцѣ большой цвѣтникъ, изъ котораго вела дверь во дворъ, а другая, стеклянная дверь, съ большимъ балкономъ, въ родѣ веранды, въ деревянный жилой домъ.

Татьяна Марковна любила видѣть открытое мѣсто передъ глазами, чтобъ не походило на трущобу, чтобъ было солнышко, да пахло цвѣтами.

Съ другой стороны дома, обращенной къ дворамъ, ей было видно все, что дѣлается на большомъ дворѣ, въ людской, въ кухнѣ, на сѣновалѣ, въ конюшнѣ, въ погребахъ. Все это было у ней передъ глазами, какъ на ладони.

Одинъ только старый домъ стоялъ въ глубинѣ двора, какъ бѣльмо въ глазу, мрачный, почти всегда въ тѣни, сѣрый, полинявшій, мѣстами съ забитыми окнами, съ поросшимъ травой крыльцомъ, съ тяжелыми дверьми, замкнутыми тяжелыми же задвижками, но прочно и массивно выстроенный. За то на маленькій домикъ съ утра до вечера жарко лились лучи солнца, деревья отступили отъ него, чтобъ дать ему простора и воздуха. Только цвѣтникъ, какъ гирлянда, обвивалъ его со стороны сада, и махровыя розы, далѣи, и другіе цвѣты такъ и просились въ окна.

Около дома вились ласточки, свившія гнѣзда на кровлѣ; въ саду и роцѣ водились малиновки, иволги, чижи и щеглы, а по ночамъ щолкали соловьи.

Дворъ былъ полонъ всякой домашней птицы, разнообразныхъ собакъ. Утромъ уходили въ поле и возвращались къ вечеру коровы и козель съ двумя подругами. Нѣсколько лошадей стояли почти праздно въ конюшняхъ.

Надъ цвѣтами около дома рѣяли пчелы, шмели, стрекозы, трепетали на солнышкѣ крыльями бабочки, по уголкамъ жались, грѣясь на солнышкѣ, кошки, котята.



Въ домѣ какая радость и миръ жили! Чего тамъ не было? Комнатки маленькія, но уютныя, съ старинной, взятой изъ большого дома мебелью дѣдовъ, дядей, и съ улыбающимися портретами отца и матери Райскаго, и также родителей двухъ оставшихся на рукахъ у Бережковой дѣвочекъ-малютокъ.

Полы были выкрашены, натерты воскомъ и устланы клеенками; печи обложены пестрыми, старинными, тоже взятыми изъ большого дома, изразцами. Шкапы биткомъ набиты старой, дрожавшей отъ шаговъ, посудой и звенѣвшимъ серебромъ.

На виду красовались старинныя саксонскія чашки, па-стушки, маркизы, китайскіе уродцы, бочкообразные чайники, сахарницы, тяжелыя ложки. Кругленькіе стулья, съ мѣдными ободочками и съ деревянной мозаикой столы, століки, жались по уютнымъ уголкамъ.

Въ кабинетѣ Татьяны Марковны стояло старинное, тоже окованное бронзой и украшенное рѣзбой, бюро съ зеркаломъ, съ урнами, съ пирами, съ геніями.

Но бабушка завѣсила зеркало:—Мѣшаетъ писать, когда видишь свою рожу напротивъ, говорила она.

Еще тамъ былъ круглый столъ, на которомъ она обѣдала, пила чай и кофе, да довольно-жесткое, обитое кожей старинное же кресло, съ высокой спинкой рококо.

Бабушка, по воспитанію, была стараго вѣка и разваливаться не любила, а держала себя прямо, съ свободной простотой, но и съ сдержаннымъ приличіемъ въ манерахъ, и ногъ подъ себя, какъ дѣлаютъ нынѣшнія барыни, не поджимала:—Это стыдно женщинѣ, говорила она.

Какой она красавицей показалась Борису, и въ самомъ дѣлѣ была красавица.

Высокая, не полная и не сухощавая, но живая старушка... даже не старушка, а лѣтъ около пятидесяти женщина,



съ черными, живыми глазами и такой доброй и граціозной улыбкой, что когда и разсердится и засверкаетъ гроза въ глазахъ, такъ за этой грозой опять видно чистое небо.

Надъ губами маленькіе усики; на лѣвой щекѣ, ближе къ подбородку, родимое пятно съ густымъ кустикомъ волосъ. Это придавало лицу ея еще какой-то штрихъ доброты.

Она стригла сѣдые волосы и ходила дома по двору и по саду съ открытой головой, а въ праздникъ и при гостяхъ надѣвала чепецъ; но чепецъ держался чуть-чуть на маковкѣ, не шель ей и какъ-будто готовъ былъ каждую минуту слетѣть съ головы. Она и сама, просидѣвъ пять минутъ съ гостемъ, извинится и сниметъ.

До полудня она ходила въ широкой бѣлой блузѣ, съ поясомъ и большими карманами, а послѣ полудня надѣвала коричневое, по большимъ праздникамъ свѣтлое, точно серебрянное, едва-гнувшееся и шумящее платье, а на плечи накидывала старинную шаль, которая вынималась и выкладывалась одной только Василисой.

— Дядя Иванъ Кузьмичъ съ Востока вывезъ, триста червонныхъ заплатилъ: теперь этакой ни за какія деньги не отъищешь! хвасталась она.

На поясѣ и въ карманахъ висѣло и лежало множество ключей, такъ что бабушку, какъ гремучую змѣю, можно было слышать издали, когда она идетъ по двору или по саду.

Кучера при этомъ звукѣ быстро прятали трубки за сапоги, потому-что она больше всего на свѣтѣ боялась пожара, и куренье табаку относила—по этой причинѣ—къ большимъ порокамъ.

Повара и кухарки, тоже заслышавъ звонъ ключей, принимались—за пожъ, за уполовникъ или за метлу, а Кирюша быстро отскакивалъ отъ Матрены къ воротамъ, а Матрена шла уже въ хлѣвъ, будто черезъ силу тащила корытцо, прежде нежели бабушка появилась.

Въ домѣ, слышавъ звонъ ключей возвращавшейся со двора барыни, Машутка проворно сдерживала съ себя грязный фартукъ, утирала чѣмъ попало, иногда барскимъ платкомъ, а иногда тряпкой, руки. Поплевавъ на нихъ, она крѣпко приглаживала сухія, непокорныя косички, потомъ постилала тончайшую, чистую скатерть на круглый столъ, и Василиса, молчаливая, серьезная женщина, ровесница барыни, не то что полная, а рыхлая и выцвѣтшая тѣломъ женщина, отъ вѣчнаго сидѣнья въ комнатѣ, несла кипящій серебрянный кофейный сервизъ.

Машутка становилась въ уголъ, подальше, всегда прятаясь отъ барыни въ тѣни и стараясь притвориться опрятной. Барыня требовала этого, а Машуткѣ какъ-то неловко было держать себя въ чистотѣ. Чисто вымытыми руками она не такъ цѣпко беретъ вещь въ руки и того-гляди уронить; самоваръ или чашки скользять изъ рукъ; въ чистомъ платьѣ тоже несвободно ходить.

Когда ей велятъ причесаться, вымыться и одѣться въ воскресенье, такъ она, по словамъ ея, точно въ мѣшокъ зашита цѣлый день.

Она, кажется, только тогда и была счастлива, когда вся вымажется, растреплется отъ натиранья половъ, мытья оконъ, посуды, дверей, когда лицо, голова сдѣлаются неузнаваемы; а руки до того выпачканы, что если понадобится почесать носъ или бровь, такъ она прибѣгаетъ къ локтю.

Василиса, напротивъ, была чопорная, важная, вѣчно шепчущая, и одна во всей дворѣ, только опрятная женщина. Она съ ранней юности поступила на службу къ барынѣ, въ качествѣ горничной, не разставалась съ ней, знаетъ всю ея жизнь и теперь живетъ у нея, какъ экономка и доверенная женщина.

Онѣ говорили между собой односложными словами. Бабушкѣ почти не нужно было отдавать приказаній Васили-

сѣ: она сама знала все, что надо дѣлать. А если надобилось что-нибудь экстренное, бабушка не требовала, а какъ-будто совѣтовала сдѣлать то или другое.

Просить бабушка не могла своихъ подчиненныхъ: это было не въ ея феодальной натурѣ. Человѣкъ, лакей, слуга, дѣвка—все это навсегда, не смотря ни на что, оставалось для нея человѣкомъ, лакеемъ, слугой и дѣвкой.

Личнымъ приказомъ она удостоивала немногихъ: по домашнему хозяйству Василисѣ отдавала ихъ, а по деревенскому—прикащику или старостѣ. Кромѣ Василисы, никого она не называла полнымъ именемъ, развѣ уже встрѣтится такое имя, что его никакъ не сожмешь и не обрѣжешь; на-примѣръ, мужики: Оерапонтъ и Пантелеймонъ такъ и назывались Оерапонтомъ и Пантелеймономъ, да старосту звала она Степанъ Васильевъ, а прочіе всѣ были: Матрѣшка, Машутка, Егорка и т. д.

Если же кого-нибудь называла по имени и по отчеству, такъ тотъ зналъ, что надъ нимъ собралась гроза:

— Поди-ка сюда, Егоръ Прохорычъ, ты куда это вчера пропадалъ цѣлый день? или: — Семень Васильичъ, ты, кажется, вчера изволилъ трубочку покуривать на сѣновалѣ? Смотри у меня!

Она грозила пальцемъ, и иногда ночью вставала посмотреть въ окно, не вспыхиваетъ ли огонекъ въ трубкѣ, не ходитъ ли кто съ фонаремъ по двору или въ сараѣ?

Различія между „людьми“ и господами никогда и ничто не могло истребить. Она была въ мѣру строга, въ мѣру снисходительна, человѣколюбива, но все въ размѣрахъ барскихъ понятій. Даже когда являлся у Ирины, Матрены, или другой дворовой дѣвки, непривилегированный ребенокъ, она выслушаетъ донесеніе объ этомъ, молча, съ видомъ оскорбленнаго достоинства; потомъ велитъ Василисѣ дать чего тамъ нужно, съ презрѣніемъ глядя въ сторону, и только скажетъ:

—Чтобъ я ее не видала, негодяйку? Матрена и Ирина, оправившись, съ мѣсяць прятались отъ барыни, а потомъ опять ничего, а ребенокъ отправлялся „на село“.

Заболѣть ли кто-нибудь изъ людей—Татьяна Марковна вставала даже ночью, посылала ему спирту, мази, но отсылала на другой день въ больницу, а больше къ Меланхолихѣ, доктора же не звала. Между-тѣмъ, чуть у которой-нибудь внучки язычекъ зачешется или брюшко немного вспучить, Кирюшка или Власъ скакали, болтая локтями и ногами, на неосѣдланной лошади, въ городъ, за докторомъ.

„Меланхолихой“ звали какую-то бабу въ городской слободѣ, которая простыми средствами лечила „людей“ и снимала недуги какъ рукой. Бывало, послѣ ея леченья, иного скоробить на весь вѣкъ въ три погибели, или другой перестанетъ говорить своимъ голосомъ, а только кряхтитъ потомъ всю жизнь; кто-нибудь воротится отъ нея безъ глаза или безъ челюсти—а все же боль проходила, и мужикъ или баба работали опять.

Этого было довольно и больнымъ, и лекаркѣ, а помѣщику и подавно. Такъ какъ Меланхолиха практиковала только надъ крѣпостными людьми и мѣщанами, то врачебное управленіе не обращало на нее вниманія.

Кормила Татьяна Марковна людей сытно, плотно, до отвала, щами, кашей, по праздникамъ пирогами и бараниной; въ Рождество жарили гусей и свиней; но нѣжностей въ ихъ столѣ и платьѣ не допускала, а давала, въ видѣ милости, остатки отъ своего стола то той, то другой женщинѣ.

Чай и кофе пила, непосредственно послѣ барыни, Василиса, потомъ горничныя и пожилой Яковъ. Кучерамъ, дворовымъ мужикамъ и старостѣ въ праздники подносили по стакану вина, ради ихъ тяжелой работы.

Когда утромъ убирали со стола кофе, въ комнату вваливалась здоровая баба, съ необъятными, красными щеками и



вѣчно-смѣющимся — хотѣ бей ее — ртомъ: это нянька внучекъ, Вѣрочки и Марѣиньки. За ней входила лѣтъ двѣнадцати дѣвчонка, ея помощница. Приводили дѣтей завтракать въ комнату къ бабушкѣ.

— Ну, птички мои, ну, что? говорила бабушка, всегда затрудняясь, которую прежде поцѣловать: — Ну, что, Вѣрочка? вотъ умница: причесалась.

— И я, бабенка, и я! кричала Марѣинька.

— Что это у Марѣиньки глазки красны? не плакала ли во снѣ? заботливо спрашивала она у няни: — Не солнышко ли нажгло? Закрыты ли у тебя занавѣски? Смотри вѣдь, ты розиня! Я уже посмотрю.

Еще въ дѣвичьей сидѣли три-четыре молодые горничныя, которыя цѣлый день, не разгибаясь, что-нибудь шили, или плели кружева, потому что бабушка не могла видѣть чело-вѣка безъ дѣла — да въ передней празднo сидѣлъ, вмѣстѣ съ мальчишкой лѣтъ шестнадцати, Егоркой-зубоскаломъ, задумчивый Яковъ и еще два-три лакея, на помощь ему, ничего недѣлавшіе и часто мѣнявшіеся.

И самъ Яковъ только служилъ за столомъ, лѣнливо обмахивалъ вѣткой мухъ, лѣнливо и задумчиво мѣнялъ тарелки и неохотникъ былъ говорить. Когда и барыня спроситъ его, такъ онъ еле отвѣтитъ, какъ будто ему было Богъ-знаетъ какъ тяжело жить на свѣтѣ, будто гнѣтъ какой-нибудь лежалъ на душѣ, хотя ничего этого у него не было. Барыня назначила его дворецкимъ за то только, что онъ смиренъ, пьетъ умѣренно, т. е. мертвецки не напивается, и не курить; притомъ онъ усерденъ къ церкви.

## VIII.

Райскій засталъ бабушку за дѣтскимъ завтракомъ. Бабушка такъ и всплеснула руками, такъ и прыгнула; чуть не попадали тарелки со стола.

— Проказникъ ты, Бóрюшка! и не написалъ, нагрязнулъ: вѣдь ты перепугалъ меня, какъ вошелъ.

Она взяла его за голову, поглядѣла съ минуту ему въ лицо, хотѣла будто заплакать, но только сжала голову, видно раздумала, быстро взглянула на портретъ матери Райскаго и подавила вздохъ.

— Ну, ну, ну... хотѣла она сказать, спросить—и ничего не сказала, не спросила, а только засмѣялась и проворно отерла глаза платкомъ.—Маменькинъ сынокъ: весь, весь въ нее! Посмотри, какая она красавица была. Посмотри, Василиса... Помнишь? Вѣдь похожъ!

Кофе, чай, булки, завтракъ, обѣдъ—все это опрокинулось на студента, еще стыдливаго, робкаго, нѣжнаго юношу, съ аппетитомъ ранней молодости; и всему онъ сдѣлалъ честь. А бабушка почти не сводила глазъ съ него.

— Позови людей, старостѣ скажи, всѣмъ, всѣмъ: хозяйнѣ моль, пріѣхалъ, настоящій хозяйнѣ, баринъ! Милости просимъ, батюшка! милости просимъ въ родовое гнѣздо! съ шутливо-ироническимъ смиреніемъ говорила она, поддѣływаясь подъ мужицкій ладъ: — Не оставьте насъ своей милостью: Татьяна Марковна насъ обижаетъ, разоряетъ, заступитесь!... Ха-ха-ха. — На тебѣ ключи, на вотъ счета, изволь командовать, требуй отчета отъ старухи: куда все растратжирила, отчего избы развалились?... Поди-ка, въ городѣ все Малиновскіе мужики подъ окошками побираются... Ха-ха-ха! А у дядюшки-опекуна тамъ, въ новомъ имѣніи, я чаю, мужики въ смазныхъ сапогахъ ходятъ, да въ красныхъ рубашкахъ; избы въ два этажа... Да чтó жъ ты, хозяйнѣ, молчишь? Чтó не спрашиваешь отчета? Позавтракай, а потомъ я тебѣ все покажу.

Послѣ завтрака, бабушка взяла большой зонтикъ, надѣла ботинки съ толстой подошвой, голову прикрыла полотнянымъ капоромъ и пошла показывать Борису хозяйство.

— Ну, хозяинъ, смотри же, замѣчай, и чуть что неисправно, не давай потачки бабушкѣ. Вотъ садикъ-то, что у окошекъ, я, видишь, недавно разбила, говорила она, проходя чрезъ цвѣтникъ и направляясь къ двору:—Вѣрочка съ Мароинькой тутъ у меня все на глазахъ играютъ, роются въ песокъ. На няньку надѣяться нельзя: я и вижу изъ окошка, что онѣ дѣлають. Вотъ подрастуть, цвѣтовъ не надо покупать: свои есть.

Они вошли на дворъ.

— Кирюшка, Ерѣмка, Матрѣшка? Куда это все спрятались? взывала бабушка, стоя посреди двора:—Жарко что-ли? Выдьте сюда кто-нибудь!

Вышла Матрѣшка и доложила, что Кирюшка и Ерѣмка посланы въ село за мужиками.

— Вотъ Матрѣшка: помнишь ли ты ее? говорила бабушка.—А ты, подойди, дура что стоишь? Поцѣлуй ручку у барина: вѣдь это внучекъ.

— Оробѣла, барыня, не смѣю! сказала Матрѣна, подходя къ барину.

Онъ стыдливо обнялъ ее.

— Это новый флигель, бабушка: его не было, сказалъ Борисъ.

— Замѣтилъ! Дá, дá, помнишь старый? Весь сгниль, щели въ полу въ ладонь, чернота, копоть, а теперь вотъ посмотри!

Они вошли въ новый флигель. Бабушка показала ему передѣлки въ конюшняхъ, показала и лошадей, и особое отдѣленіе для птицъ, и прачешную, даже хлѣвы.

— Старой кухни тоже нѣтъ; вотъ новая, нарочно строила отдѣльно, чтобъ въ дому огня не разводите, и чтобъ людямъ не тѣсно было. Теперь у всякаго и у всякой свой уголь есть хоть маленькій, да особый. Вотъ здѣсь хлѣбъ,

провізія; вотъ тутъ погребъ новый, подвалы тоже заново передѣланы.

— Ты что тутъ стоишь? оборотилась она къ Матрѣнѣ: —поди скажи Егоркѣ, чтобъ онъ бѣжалъ въ село и сказалъ старостѣ, что мы сами идемъ туда.

Въ саду Татьяна Марковна отрекомендовала ему каждое дерево и кустъ, провела по аллеямъ, заглянула съ нимъ въ рощу съ горы, и наконецъ они вышли съ село. Было тепло и озимая рожь плавно волновалась отъ тихаго, полуденнаго вѣтерка.

— Вотъ внукъ мой, Борисъ Павлычъ! сказала она старостѣ: —Что, убираютъ ли сѣно, пока горячо на дворѣ? Пожалуй, дожди послѣ жары дойдутъ. Вотъ баринъ, настоящій баринъ пріѣхалъ, внукъ мой! говорила она мужикамъ. — Ты видалъ ли его, Гараська? Смотри же, какой онъ! А это твой, что-ли, теленокъ во ржи, Илюшка? спрашивала при этомъ, потомъ мимоходомъ заглянула на прудъ.

— Опять на деревья бѣлье вѣшаютъ! гнѣвно замѣтила она, обратясь къ старостѣ:—Я велѣла веревку протянуть. Скажи слѣпой Агашкѣ: это она все любитъ на иву рубашки вѣшать! сокровище! Обломаешь вѣтки!..

— Веревки такой длинной нѣтъ, сонно отозвался староста:—ужо надо въ городѣ купить...

— Что-жъ не скажешь Василисѣ: она доложила бы мнѣ. Я всякую недѣлю ѣзжу: давно бы купила.

— Я сказывалъ; да забывается—или говорить, не стоитъ барыню тревожить.

Бабушка завязала на платкѣ узелокъ. Она любила говорить, что безъ нея ничего не сдѣлается, хотя напримѣръ, веревку могъ купить всякій. Но Боже сохрани, чтобъ она повѣрила кому нибудь деньги.



Хотя она была не скупа, но обращалась съ деньгами съ бережливостью; передъ издержкой задумывалась, была безпокойна, даже сердита немного; но, выдавъ разъ деньги, тотчасъ же забывала о нихъ, и даже не любила записывать; а если записывала, такъ только для того, по ея словамъ, чтобъ потомъ не забыть, куда деньги дѣла, и не испугаться. Пуще всего она не любила платить вдругъ много, большіе куши.

Кромѣ крупныхъ распоряженій, у ней жизнь кипила маленькими заботами и дѣлами. То она заставитъ дѣвокъ кроить, шить, то чинить что нибудь, то варить, чистить. „Дѣлать все самой“ она называла смотрѣть, чтобъ все при ней дѣлали.

Она собственно не дотронется ни до чего, а старчески-граціозно подопретъ одной рукой бокъ, а пальцемъ другой повелительно указываетъ, что какъ сдѣлать, куда поставить, убрать.

Звенѣвшіе ключи были отъ домашнихъ шкаповъ, сундуковъ, ларцовъ и шкатулокъ, гдѣ хранились старинное богатое бѣлье, полотна, пожелтѣвшія драгоцѣнныя кружева, брильянты, назначавшіеся внучкамъ въ приданое, а главное—деньги. Отъ чая, сахара, кофе и прочей провизіи ключи были у Василисы.

Распорядившись утромъ по хозяйству, бабушка, послѣ кофе, стоя сводила у бюро счеты, потомъ садилась у оконъ и глядѣла въ поле, слѣдила за работами, смотрѣла, что дѣлалось на дворѣ и посылала Якова или Василису, если на дворѣ дѣлалось что нибудь не такъ, какъ ей хотѣлось.

Потомъ, если нужно, ѣхала въ ряды и заѣзжала съ визитами въ городъ, но никогда не засиживалась, а только заглянетъ минутъ на пять и сейчасъ къ другому, къ третьему, и къ обѣду домой.

Не, то, такъ принимала сама визиты, любила пуще всего угощать завтраками и обѣдами гостей. Еще ни одного человѣка не выпустила отъ себя, сколько ни живетъ бабушка, не напичкавъ его чѣмъ нибудь во всякую пору, утромъ и вечеромъ.

Послѣ обѣда, бабушка, зимой, сидя у камина, часто задумчиво молчала, когда была одна. Она сидѣла безпечной барыней, въ красивой позѣ, съ средоточенной будто бы мыслью или какимъ-то глубокимъ воспоминаніемъ и—любила тогда около себя тишину, оставаясь долго въ сумеркахъ одна. Лѣто проводила въ огородѣ и саду: здѣсь она позволяла себѣ, надѣвъ замшевыя перчатки, брать лопатку, или грабельки, или лейку въ руки, и, для здоровья, вскопаетъ грядку, полетѣть цвѣты, обчистить какой-нибудь кустъ отъ гусеницы, сниметъ паутину съ смородины и, усталая, кончитъ вечеръ за чаемъ, въ обществѣ Тита Никоныча Ватутина, ея стариннаго и лучшаго друга, собесѣдника и совѣтника.

## IX.

Титъ Никонычъ былъ джентльменъ по своей природѣ. У него было тутъ же, въ губерніи, душъ двѣсти-пятьдесятъ или триста — онъ хорошенько не зналъ, никогда въ имѣніе не заглядывалъ и предоставлялъ крестьянамъ дѣлать, что хотятъ, и платить ему оброку, сколько имъ заблагоразсудится. Никогда онъ ихъ не повѣрялъ. Возьметъ стыдливо привезенныя деньги, не считая, положить въ бюро, а мужикамъ махнетъ рукой, чтобъ ѣхали куда хотятъ.

Служилъ онъ прежде въ военной службѣ. Старики помнятъ его очень красивымъ, молодымъ офицеромъ, скромнымъ, благовоспитаннымъ человѣкомъ, но съ смѣлымъ, открытымъ характеромъ.

Въ юности онъ прїѣзжалъ не разъ къ матери, въ свое имѣніе, проводилъ время отпуска и уѣзжалъ опять, и наконецъ вышелъ въ отставку, потомъ прїѣхалъ въ городъ, купилъ маленькій сѣренькій домикъ, съ тремя окнами на улицу, и свилъ себѣ тутъ вѣчное гнѣздо.

Хотя онъ получилъ довольно слабое образованіе въ какомъ-то корпусѣ, но любилъ читать, а особенно по части политики и естественныхъ наукъ. Слова его, манеры, поступъ, были проникнуты какою-то мягкою стыдливостью, скрывалась увѣренность въ своемъ достоинствѣ и никогда не высказывалась, а какъ-то видимо присутствовала въ немъ, какъ будто готовая обнаружиться, когда дойдетъ до этого необходимость.

Онъ сохранялъ всегда учтивость и сдержанность въ словахъ и жестахъ, какъ бы съ кѣмъ близокъ ни былъ. И губернатору, и пріятелю, и новому лицу онъ всегда одинаково поклонится, шаркнетъ ногой и приподниметъ ее немного назадъ, соблюдая старинные фасыны вѣжливости. Передъ дамой никогда не сядетъ, и даже на улицѣ говоритъ безъ шапки, прежде всѣхъ подниметъ платокъ и подвинетъ скамеечку. Если въ домѣ есть дѣвицы, то принесетъ фунтъ конфектъ, букетъ цвѣтовъ, и старается подладить тонъ разговора подъ ихъ лѣта, занятія, склонности, сохраняя утонченнѣйшую учтивость, смѣшанную съ неизмѣнною почтительностью рыцарей стараго времени, не позволяя себѣ нескромной мысли, не только намѣка въ рѣчи, не являясь передъ ними иначе, какъ во фракѣ.

Онъ не курилъ табаку, но не душился, не молодился, а былъ какъ-то опрятенъ, изящно-чистъ и благороденъ видомъ, манерами, обхожденіемъ. Одѣвался всегда чисто, особенно любилъ бѣлье и блисталъ, не вышивками какими-нибудь, не фасонами, а бѣлизной.

Все просто на немъ, но все какъ-будто сіяетъ. Нанко-

вые пантолоны выглажены, чисты; синій фракъ, какъ съ иголки. Ему было лѣтъ пятьдесятъ, а онъ имѣлъ видъ сорока-лѣтняго свѣжаго, румянаго человѣка, благодаря парикъ и всегда гладко-обритому подбородку.

Взглядъ и улыбка у него были такъ привѣтливы, что съ разу располагали въ его пользу. Не смотря на свои ограниченные средства, онъ имѣлъ видъ щедраго барина: такъ легко и радушно бросалъ онъ сто рублей, какъ будто бросалъ тысячи.

Къ бабушкѣ онъ питалъ какую-то почтительную, почти благоговѣйную дружбу, но пропитанную такой теплотой, что по тому только, какъ онъ входилъ къ ней, садился, смотрѣлъ на нее, можно было заключить, что онъ любилъ ее безъ памяти. Никогда, ни въ отношеніи къ ней, ни при ней, онъ не обнаружилъ, по своему обыкновенію, признака короткости, хотя былъ ежедневнымъ ея гостемъ.

Она платила ему такой же дружбой, но въ тонѣ ея было больше живости и короткости. Она даже брала надъ нимъ верхъ, чѣмъ, конечно, была обязана бойкому своему праву.

Помнившіе ее молодою, говорятъ, что она была живая, очень красивая, стройная, немного чопорная дѣвушка, и что возня съ хозяйствомъ обратила ее въ вѣчно-движущуюся и бойкую на слова женщину. Но слѣды молодости и иныхъ манеръ остались въ ней.

Накинувъ шаль и задумавшись, она походила на одинъ старый женскій портретъ, бывшій въ старомъ домѣ, въ галлерей предковъ.

Иногда вдругъ появлялось въ ней что-то сильное, властное, гордое: она выпрямлялась, лицо озарялось какою-то внезапною строгою или важною мыслию, какъ будто уносившею ее далеко отъ этой мелкой жизни, въ какую-то другую жизнь.



Сидя одна, она иногда улыбалась такъ граціозно и мечтательно, что походила на беззаботную, богатую, избалованную барыню. Или когда, подперевъ бокъ рукою или, сложивъ руки крестомъ на груди, смотреть на Волгу и забудетъ о хозяйствѣ, то въ лицѣ носится что-то грустное.

Не проходило почти дня, чтобъ Титъ Никонычъ не принесъ какого-нибудь подарка бабушкѣ, или внучкамъ. Въ мартѣ, когда еще о зелени не слыхать нигдѣ, онъ принесетъ свѣжій огурецъ, или корзиночку земляники, въ апрѣлѣ горсточку свѣжихъ грибовъ — „первую новинку“. Привезутъ въ городъ апельсины, появятся персики—они первые подаются у Татьяны Марковны.

Въ городѣ прежде былъ, а потомъ замолкъ, за давностию, слухъ о томъ, какъ Титъ Никонычъ, въ молодости, пріѣхалъ въ городъ, влюбился въ Татьяну Марковну, и Татьяна Марковна въ него. Но родители не согласились на бракъ, а назначили ей въ женихи кого-то другого.

Она, въ свою очередь, не согласилась и осталась дѣвушкой.

Правда-ли это, нѣтъ-ли — знали только они сами. Но правда то, что онъ ежедневно являлся къ ней, или къ обѣду, или вечеромъ, и тамъ кончалъ свой день. Къ этому всѣ привыкли, и дальнѣйшихъ догадокъ на этотъ счетъ никакихъ не дѣлали.

Титъ Никонычъ любилъ бесѣдовать съ нею о томъ, что дѣлается въ свѣтѣ, кто съ кѣмъ воюетъ, за что; зналъ, отчего у насъ хлѣбъ дешевъ, и что бы было, еслибъ его можно было возить отсюда за границу. Зналъ онъ еще наизусть всѣ старинныя дворянскіе дома, всѣхъ полководцевъ, министровъ, ихъ біографіи; рассказывалъ, какъ одно море лежитъ выше другого; первый увѣдомить, что выдумали англичане или французы, и рѣшить, полезно-ли это, или нѣтъ.

Онъ же сообщалъ Татьянѣ Марковнѣ, что сахаръ подешевѣлъ въ Нижнемѣ, чтобы не обманули купцы, или что чай скоро вздорожаетъ, чтобъ она заблаговременно запаслась.

Въ присутственномъ мѣстѣ понадобится что-нибудь — Титъ Никонъ все сдѣлаетъ, исправить, иногда даже утаить лишнюю издержку, развѣ нечаянно откроется, черезъ другихъ, и она пожуритъ его, а онъ сконфузится, попросить прощенія, расшаркается и поцалуетъ у нея ручку.

Она была всегда въ оппозиціи съ мѣстными властями: постоя ли къ ней назначать, или велятъ дороги чинить, взыскивають ли подати: она считала всякое подобное распоряженіе начальства насиліемъ, бранилась, ссорилась, отказывалась платить, и объ общемъ благѣ слышать не хотѣла:—Знай всякій себя, говорила, она, и не любила полиціи, особенно одного полиціймейстера, видя въ немъ почти разбойника. Титъ Никонъ, попытавшись нѣсколько разъ, но тщетно, примирить ее съ идеей объ общемъ благѣ, ограничился тѣмъ, что мирилъ ее съ мѣстными властями и полиціей.

Вотъ въ какое лоно патріархальной тишины попалъ юноша Райскій. У сироты, вдругъ какъ будто явилось семейство, мать и сестры, въ Титѣ Никонѣ—идеаль доброго дяди.

## Х.

Бабушка только было-расположилась объяснять ему, чѣмъ засѣвается у нея земля, и что выгоднѣе всего воздѣлывать по нынѣшнему времени, какъ внучекъ сталъ зѣвать.

— А ты послушай: вѣдь это все твое; я твой староста..., говорила она. Но онъ зѣвалъ, смотрѣлъ, какія это птицы прячутся въ рожь, какъ летаютъ стрекозы, срываетъ василь-

ки и пристально разглядывалъ мужиковъ, еще пристальнѣе слушалъ деревенскую тишину, смотрѣлъ на синее небо, какимъ оно далекимъ кажется здѣсь.

Бабушка что-то затолковалась съ мужиками, а онъ прибѣжалъ въ садъ, сбѣжалъ съ обрыва внизъ, продрался сквозь чащу на берегъ, къ самой Волгѣ, и онѣмѣлъ передъ лежавшимъ пейзажемъ.

„Нѣтъ, молодъ, еще дитя: не разумѣть дѣла“, думала бабушка, провожая его глазами. „Вонъ какъ подраль! что-то выйдетъ изъ него?“

Волга задумчиво текла къ берегамъ, заросшая островами, кустами, покрытая мелями. Вдали желтѣли песчаные бока горъ, а на нихъ синѣлъ лѣсъ; кое-гдѣ бѣлѣлъ парусъ, да чайки, плавно махая крыльями, опускаясь на воду, едва касались ея и кругами поднимались опять въ верхъ, а надъ садами высоко и медленно плавалъ коршунъ.

Борисъ уже не смотрѣлъ передъ собой, а чутко замѣчалъ, какъ картина эта повторяется у него въ головѣ; какъ тамъ расположились горы, попала-ли туда вонъ избушка, изъ которой валилъ дымъ; повѣрялъ и видѣлъ, что и мели тамъ, и паруса бѣлѣютъ.

Онъ долго стоялъ и, закрывъ глаза, переносился въ дѣтство, помнилъ, что подлѣ него сиживала мать, вспоминалъ ея лицо и задумчивое сіяніе глазъ, когда она глядѣла на картину...

Онъ пошелъ тихонько домой, сталъ карабкаться на обрывъ, и картина какъ будто зашла впередъ его и легла передъ глазами.

Объ этомъ обрывѣ осталось печальное преданіе въ Малиновкѣ и во всемъ околodкѣ. Тамъ, на днѣ его, среди кустовъ, еще при жизни отца и матери Райскаго, убили за невѣрность жену и соперника, и тутъ же самъ зарѣзался,

одинъ ревнивый мужъ, портной изъ города. Самоубійцу тутъ и зарыли, на мѣстѣ преступленія.

Вся Малиновка, слобода и домъ Райскихъ, и городъ были поражены ужасомъ. Въ народѣ, какъ всегда въ такихъ случаяхъ, возникли слухи, что самоубійца, весь въ бѣломъ, блуждаетъ по лѣсу, взбирается иногда на обрывъ, смотритъ на жилия мѣста и исчезаетъ. Отъ суевѣрнаго страха, ту часть сада, которая шла съ обрыва по горѣ и отдѣлялась плетнемъ отъ ельника и кустовъ шиповника, забросили.

Никто изъ дворни уже не сходилъ въ этотъ обрывъ, мужики изъ слободы и Малиновки обходили его, предпочитая спускаться съ горы къ Волгѣ по другимъ скатамъ, и обрывамъ, или по проѣзжей, хотя и крутой дорогѣ, между двухъ плетней.

Плетень, отдѣлявшій садъ Райскихъ отъ лѣса, давно унать и исчезъ. Деревья изъ сада смѣшались съ ельникомъ и кустами шиповника и жимолости, переплелись между собою и образовали глухое, дикое мѣсто, въ которомъ пряталась заброшенная, полуразвалившаяся бесѣдка.

Отецъ Райскаго велѣлъ даже въ верхнемъ саду выкопать ровъ, который и составлялъ границу сада, недалеко отъ того мѣста, гдѣ начинался обрывъ.

Райскій вспомнилъ это печальное преданіе и у него плечи немного холодѣли отъ дрожи, когда онъ спускался съ обрыва, въ чащу кустовъ.

Ему живо представлялась картина, какъ ревнивый мужъ, трясясь отъ волненія, пробирался между кустовъ, какъ бросился къ своему сопернику, ударилъ его ножомъ; какъ, можетъ быть, жена билась у ногъ его, умоляя о прощеніи. Но онъ, съ пѣной у рта, наносилъ ей рану за раной, и потомъ, надъ обоими трупами, перерѣзаль горло и себѣ.

Райскій вздрогнулъ и, взволнованный, грустный, воро-



тился домой отъ проклятаго мѣста. А между тѣмъ эта дичь лѣса манила его къ себѣ, въ таинственную темноту, къ обрыву, съ котораго видъ былъ хорошъ на Волгу и оба ея берега.

Борисъ былъ весь въ картинѣ; задумчивость лежала на лицѣ, ему было такъ хорошо—вѣкъ бы тутъ стоять.

Онъ закроетъ глаза и хочетъ поймать, о чемъ онъ думаетъ, но не поймаешь; мысли являются и утекаютъ, какъ волжскія струи: только въ немъ точно поетъ ему какой-то голосъ, и въ головѣ, какъ въ какомъ-то зеркалѣ, стоитъ та же картина, что передъ глазами.

Вѣрочка и Марейнка развлекли его. Онѣ не отставали отъ него, заставляли рисовать куръ, лошадей, дома, бабуску и себя, и не отпускали его ни на шагъ.

Вѣрочка была съ черными, острыми глазами, смугленькая дѣвочка, и ужъ начинала немного важничать, стыдиться шалостей: она скакнетъ два-три шага по-дѣтски и вдругъ остановится и стыдливо поглядитъ вокругъ себя, и пойдетъ плавно, потомъ побѣжитъ, и тайкомъ, быстро, какъ птичка клонетъ, сорветъ вѣтку смородины, проворно спрячетъ въ ротъ и сдѣлаетъ губы смирно.

Если Борисъ тронетъ ее за голову, она сейчасъ поправитъ волосы, если поцѣлуетъ, она тихонько оботрется. Схватитъ мячикъ, броситъ его раза два, а если онъ ука-тился, она не пойдетъ поднять его, а прыгнетъ, сорветъ листокъ и старается щелкнуть.

Она упряма: если скажутъ, пойдѣмъ туда, она не пойдетъ, или пойдетъ не съ разу, а прежде покачаетъ отрицательно головой, потомъ не пойдетъ, а побѣжитъ, и все въ припрыжку.

Она не проситъ рисовать: а если Марейнка попроситъ, она пристальнѣе Марейнки смотритъ, какъ рисуютъ, и ничего не скажетъ. Рисунковъ и карандашей, какъ Мар-

оинька, тоже не просить. Ей было лѣтъ шесть съ небольшимъ.

Марейка, напротивъ, бѣленькая, красенькая и пухленькая дѣвочка по пятому году. Она часто капризничаетъ и плачетъ, но не долго: сейчасъ же, съ невысохшими глазами, уже визжитъ и смѣется.

Вѣрочка плачетъ рѣдко и потихоньку, и если огорчать ее чѣмъ нибудь, она дѣлается молчалива и не скоро приходитъ въ себя, не любитъ чтобъ ее заставляли просить прощенья.

Она молчитъ, молчитъ, потомъ вдругъ неожиданно придетъ въ себя и станетъ опять бѣгать въ припрыжку и тихонько срывать смородину, а еще чаще вороняшки, черную, приторно-сладкую ягоду, растущую въ канавахъ и строго запрещенную бабушкой, потому что отъ нея будто бы тошнить.

„О чемъ это онъ все думаетъ? пыталась отгадать бабушка, глядя на внука, какъ онъ внезапно задумывался послѣ веселости, часто также внезапной, — „и что это онъ все тамъ у себя дѣлаетъ?“

Но Борисъ не заставилъ ждать долго отвѣта: онъ показать бабушкѣ свой портфель съ рисунками, потомъ переигралъ ей всѣ кадрили, мазурки и мотивы изъ оперъ, наконецъ свои фантазіи.

Бабушка такъ и ахнула.

— Весь, весь въ мать! говорила она: — Та тоже все, бывало, тоскуетъ, ничего не надо, все о чемъ-то вздыхаетъ, какъ будто ждетъ чего нибудь, да вдругъ заиграетъ и развеселится, или отъ книжки не оттащишь. Смотри, Василиса: и тебя, и меня сдѣлалъ, да вѣдь, какъ вылитыя! Вотъ постой, Титъ Никонъчъ придетъ, а ты пританься, да и срисуй его, а завтра тихонько пошлемъ къ нему въ кабинетъ на стѣну приклеить! Каковъ внучекъ? Какъ играетъ!

не хуже француз-эмигранта, что у тётки жилъ... И молчать, не скажешь! Завтра же въ городъ повезу, къ княгинѣ, къ предводителю! Вотъ только никакъ не заставишь его о хозяйствѣ слушать: молодъ!

Борисъ успѣлъ пересказать бабушкѣ и „Освобожденный Иерусалимъ“, и „Оссіяна“, и даже изъ Гомера, и изъ лекцій кое-что, рисовалъ портреты съ нея, съ дѣтей, съ Василисы; опять игралъ на фортепіано.

Потомъ бѣжалъ на Волгу, садился на обрывъ, или сбѣгалъ къ рѣкѣ, ложился на песокъ, смотрѣлъ за каждой птичкой, за ящерицей, за букашкой въ кустахъ, и глядѣлъ въ себя, наблюдая, отражается ли въ немъ картина, все ли въ ней такъ же вѣрно и ярко, и черезъ недѣлю сталъ замѣчать, что картина пропадаетъ, блѣднѣетъ, и что ему какъ-будто уже... скучно.

А бабушка все хотѣла показывать ему счета, объясняла, сколько она откладываетъ въ приказъ, сколько идетъ на ремонтъ хозяйства, чего стоили передѣлки.

— Вѣрочкины и Марѣинькины счета особо: вотъ смотри, говорила она: — не думай, что на нихъ хоть копѣйка твоя пошла. Ты послушай...

Но онъ не слушалъ, а смотрѣлъ, какъ писала бабушка счета, какъ она глядитъ на него черезъ очки, какія у нея морщины, родимое пятнышко, и лишь доходилъ до глазъ и до улыбки, вдругъ засмѣется и бросится цѣловать ее.

— Ты ему о дѣлѣ, а онъ шалить: пустота какая—мальчикъ! говорила однажды бабушка. — Прыгай да рисуй, а ужъ спасибо скажешь, какъ подъ старость будетъ уголокъ. Еще то имѣніе-то, Богъ знаетъ, что будетъ, какъ опекунъ управится съ нимъ! а это ужъ старое, прижилось въ немъ...

Онъ сталъ проситься посмотрѣть старый домъ.

Неохотно дала ему ключи отъ него бабушка, но отказать не могла, и онъ отправился смотрѣть комнаты, въ ко-

торыхъ родился, жить, и о которыхъ осталось у него смутное воспоминаніе.

— Василиса, ты бы пошла за нимъ, сказала бабушка.

Василиса тронулась-было съ мѣста.

— Не надо, не надо; я одинъ, упрямо сказалъ Борисъ и отправился, разглядывая тяжелый ключъ, въ которомъ пустяя мѣста между зубцами заросли ржавчиной.

Егорка, прозванный зубоскаломъ,—потому что сидѣлъ все въ дѣвичьей и немилосердо издѣвался надъ горничными,—отперъ ему двери.

— И я, и я, пойду съ дядей, попросилась было Марѣинька.

— Куда ты, милая? тамъ страшно—у! сказала бабушка.

Марѣинька испугалась. Вѣрочка ничего не сказала; но когда Борисъ пришелъ къ двери дома, она ужъ стояла, крѣпко прижавшись къ ней, боясь, чтобъ ее не оттащили прочь, и ухватясь за ручку замка.

Со страхомъ и замираніемъ въ груди вошелъ Райскій въ прихожую и боязливо заглянулъ въ слѣдующую комнату: это была зала съ колоннами, въ два свѣта, но до того съ затянутыми пылью и плѣсенью окнами; что въ ней было, вмѣсто двухъ свѣтовъ, двой сумерекъ.

Вѣрочка только-что ворвалась въ переднюю, какъ бросилась въ припрыжку впередъ и исчезла изъ глазъ, вскидывая далеко пятки и едва глядя по сторонамъ, на портреты.

— Куда ты, Вѣра, Вѣра? кричалъ онъ.

Она остановилась и глядѣла на него молча, положивъ руку на замокъ слѣдующей двери. Онъ не успѣлъ дойти до нея, а она уже скрылась за дверью.

За залой шли мрачныя, закомптѣвшія гостиныя; въ одной были закутанныя въ чохлы двѣ статуи, какъ два привидѣнія, и старыя, тоже закрытыя люстры.



Вездѣ почернѣвшія, массивныя, дубовыя и изъ чернаго дерева кресла, столы, съ бронзовой отдѣлкой, и деревянной мозаикой; большія китайскія вазы; часы — Вакхъ, ѣдущій на бочкѣ; большія овальныя, въ золоченыхъ, въ видѣ вѣтокъ, рамахъ зеркала; громадная кровать въ спальнѣ стояла, какъ пышный гробъ, покрытый глазетомъ.

Райскій съ трудомъ представлялъ себѣ, какъ спали на этихъ катафалкахъ: казалось ему, не уснуть живому человеку тутъ. Подъ балдахиномъ вызолоченный висящій купидонъ, весь въ пятнахъ, полинявшій, натягивалъ стрѣлу въ постель; по угламъ рѣзные шкапы, съ насѣчкой изъ кости и перламутра.

Вѣрочка отворила одинъ шкафъ и сунула туда личико, потомъ отворила, одинъ за другимъ, ящики и также сунула личико: изъ шкаповъ понесло сыростью и пылью отъ старинныхъ кафтановъ и шитыхъ мундировъ съ большими пуговицами.

По стѣнамъ портреты: отъ нихъ не уйдешь никуда — они провожаютъ всюду глазами.

Весь домъ пропитанъ пылью и пустотой. По угламъ какъ-будто раздается шорохъ. Райскій ступилъ шагъ и въ углу какъ-будто кто-то ступилъ.

Отъ сотрясенія пола подъ шагами, съ колоннъ и потолковъ тихо сыпалась давнишняя пыль; кое-гдѣ на полу валялись куски и крошки отвалившейся штукатурки; въ окнѣ жалобно жужжить и просится въ запыленное стекло наружу муха.

— Да, бабушка правду говорить: здѣсь страшно! говоришь, вздрагивая, Райскій.

Но Вѣрочка обѣгала всѣ углы и уже возвращалась сверху, изъ внутреннихъ комнатъ, которыя, въ противоположность большимъ нижнимъ заламъ и гостиннымъ, по-

ходили на кельи, отличались сжатостью, уютностью, и смотрѣли окнами на всѣ стороны.

Въ комнатѣ сумрачно, мертво, все—подобіе смерти, а взглянешь въ окно—и отдохнешь: тамъ кайма синяго неба, зелень мелькаетъ, люди шевелятся.

Вѣрочка походила на молодую птичку среди этой ветоши и не смущалась, ни преслѣдующими взглядами портретовъ, ни сыростью, ни пылью, всѣмъ этимъ печальнымъ запыстѣніемъ.

— Здѣсь хорошо, мѣста много! сказала она, оглядываясь. — Какъ тамъ хорошо вверху! Какія большія картины, книги!

— Картины, книги: гдѣ? Какъ это я не вспомнилъ о нихъ! Ай-да-Вѣрочка!

Онъ поймалъ и поцѣловалъ ее. Она отерла губы и побѣждала показывать книги.

Райскій нашелъ тысячи двѣ томовъ и углубился въ чтеніе заглавій. Тутъ были всѣ энциклопедисты и Расинъ съ Корнелемъ, Монтескьё, Маккиавелли, Вольтеръ, древніе классики во французскомъ переводѣ, и „Неистовый Орландъ“, и Сумароковъ съ Державинимъ, и Вальтеръ-Скотъ, и знакомый „Освобожденный Іерусалимъ“ и „Иліада“ по-французски, и „Оссіянтъ“ въ переводѣ Карамзина, Мармонтель и Шатобріанъ, и безчисленные мемуары. Многіе еще не разрѣзаны: какъ видно, владѣтели, т. е. отецъ и дѣдъ Бориса, не успѣли прочесть ихъ.

Съ тѣхъ-поръ не стало слышно Райскаго въ домѣ; онъ даже не ходилъ на Волгу, пожирая жадно волюмы за волюмами.

Онъ читалъ, рисовалъ, игралъ на фортепіано, и бабушка заслушивалась; Вѣрочка, не сморгнувъ, глядѣла на него во всѣ глаза, положивъ подбородокъ на фортепіано.

То писалъ онъ стихи и читалъ громко, упиваясь музыкой ихъ, то рисовалъ опять берегъ и плавалъ въ трепетѣ, въ нѣгѣ: чего-то ждалъ впереди—не зналъ чего, но вздрагивалъ страстно, какъ-будто предчувствуя какія-то исполнскія, роскошныя наслажденія, видя тотъ міръ, гдѣ все слышатся звуки, гдѣ все носятся картины, гдѣ плещеть, играетъ, бьется другая, заманчивая жизнь, какъ въ тѣхъ книгахъ, а не та, которая окружаетъ его...

— Послушай, чтò я хотѣла тебя спросить, сказала однажды бабушка:—зачѣмъ ты опять въ школу поступилъ?

— Въ университетъ, бабушка, а не въ школу.

— Все равно: вѣдь ты учишься тамъ. Чему? У опекуна учился, въ гимназіи учился: рисуешь, играешь на клавино-кордахъ—что еще? А студенты выучатъ тебя только трубку курить, да пожалуй—Боже сохрани—вино пить. Ты бы въ военную службу поступилъ, въ гвардію.

— Дядя говорить, что средствъ нѣтъ...

— Какъ нѣтъ: а это чтò?

Она указала на поля и деревушку.

— Да чтò-жь это?... Чѣмъ тутъ?..

— Какъ чѣмъ! — И начала высчитывать сотни и тысячи...

Она не жила въ столицѣ, никогда не служила въ военной службѣ, и потому не знала, чего и сколько нужно для этого.

— Средствъ нѣтъ! Да я тебѣ одной провизіи на весь полкъ пришлю! Чтò ты... средствъ нѣтъ! А дядюшка куда доходы дѣваетъ?

— Я, бабушка, хочу быть артистомъ.

— Какъ артистомъ?

— Художникомъ... Послѣ университета въ академію пойду...

— Чтò ты, Бóрюшка, перекрестись! сказала бабушка, едва понявъ, что онъ хочетъ сказать.—Это ты хочешь учителемъ быть?

— Нѣтъ, бабушка, не всѣ артисты—учители, есть знаменитые таланты: они въ большой славѣ и деньги большія получаютъ за картины или за музыку...

— Такъ ты за свои картины будешь деньги получать, или играть по вечерамъ за деньги?... Какой срамъ!

— Нѣтъ бабушка, артистъ...

— Нѣтъ, Бóрюшка, ты не огорчай бабушку: дай дожить ей до такой радости, чтобъ увидѣть тебя въ гвардейскомъ мундирѣ: молодцомъ приѣзжай сюда...

— А дядюшка говорить, чтобъ я шель въ статскую...

— Въ приказные! Писать согнувшись, купаться въ чернилахъ, бѣгать въ палату: кто потомъ за тебя пойдетъ? Нѣтъ, нѣтъ, приѣзжай офицеромъ, да женись на богатой!

— Хотя Райскій не раздѣлялъ мнѣнія, ни дяди, ни бабушки, но въ перспективѣ у него мелькала собственная его фигура, то въ гусарскомъ, то въ камеръ-юнкерскомъ мундирѣ. Онъ смотрѣлъ, хорошо ли онъ сидитъ на лошади, ловко ли танцуетъ. Въ тотъ день онъ нарисовалъ себя небрежно-опершагося на сѣдло, съ буркой на плечахъ.

## XI.

Однажды бабушка велѣла заложить свою старую, высокую карету, надѣла чепчикъ, серебристое платье, турецкую шаль, лакею велѣла надѣть ливрею и поѣхала въ городъ съ визитами, показывать внучка, и въ лавки, дѣлать покупки.

Ихъ везла пара сытыхъ лошадей, ѣхавшихъ медленной рысью; въ груди у нихъ что-то отдавалось, точно икота. Кучеръ держалъ кнутъ въ кулакѣ, возжи лежали у него на колѣняхъ, и онъ изрѣдка подергивалъ ими, съ лѣнливымъ



любопытствомъ и зѣвотой поглядывая на знакомые предметы по сторонамъ.

Это было болѣе торжественное шествіе бабушки по городу. Не было человѣка, который бы не поклонился ей. Съ иными она останавливалась поговорить. Она называла внуку всякаго встрѣчнаго, объясняла, проѣзжая мимо домовъ, кто живетъ, и какъ,—все это бѣгло, на ходу.

Доѣхали они до деревянныхъ рядовъ. Купецъ встрѣтилъ ее съ поклонами и съ улыбкой, держа шляпу на отлетѣ и голову наклонивъ немного въ сторону.

— Татьянѣ Марковнѣ!.. говорилъ онъ съ улыбкой, показывая рядъ блестящихъ бѣлыхъ зубовъ.

— Здравствуйте. Вотъ вамъ внука привезла, настоящаго хозяина имѣнія. Его капиталъ мотаю я у васъ въ лавкѣ. Какъ рисуетъ, играетъ на фортепіано!..

Райскій дернулъ бабушку за рукавъ.

Кузьма Ѳедотычъ отвѣсилъ и Райскому такой же поклонъ.

— Хорошо ли торгуете? спросила бабушка.

— Грѣхъ пожаловаться, сударыня. Только вы рѣдко стали жаловать, отвѣчалъ онъ, смахивая пыль съ кресла и почтительно подвигая ей, а Райскому поставилъ стулъ.

Въ лавкѣ были сукна и матеріи, въ другой комнатѣ — сыръ и леденцы, и пряности, и даже бронза.

Бабушка пересмотрѣла всѣ матеріи, прицѣпилась и къ сыру, и къ карандашамъ, поговорила о цѣнѣ на хлѣбъ и перешла въ другую, потомъ въ третью лавку, наконецъ, проѣхала черезъ базаръ и купила только веревку, чтобъ не вѣшали бабы бѣлье на дерево, и отдала Прохору.

Онъ долго ее разсматривалъ, все потягивая въ рукахъ каждый вершокъ, потомъ осмотрѣлъ оба конца и спряталъ въ шапку.

— Ну, теперь пора съ визитами, сказала она. Поѣдемъ къ Нилу Андреевичу.

— Кто это Нилъ Андреевичъ? спросилъ Борисъ.

— Развѣ я тебѣ не говорила? Это предсѣдатель палаты, важный человѣкъ: солидный, умный, молчить все; а если скажетъ, даромъ словъ не тратить. Его все боятся въ городѣ: что онъ сказалъ, то и свято. Ты приласкайся къ нему: онъ любить пожурить...

— Что-жь, бабушка, толку, что журить? Я не хочу...

— Молодѣ, молодѣ ты; послѣ самъ спасибо скажешь.

Слава Богу, что не вывелись такіе люди, что уму-разуму учать! За то какъ лестно, когда кого похвалить! Набожный такой! Одного франта такъ отдѣлалъ, узнавъ, что онъ въ Троицу не былъ въ церкви, что тотъ и языкъ прикусилъ. „Я, говоритъ, донесу на васъ: это вольнодумство!“ И вѣдь донесетъ, съ нимъ шутить нельзя. Двухъ помѣщиковъ подъ опеку подвелъ. Его боятся, какъ огня. А такъ — онъ добрый: ребенка встрѣтитъ — по головѣ погладить, букашку на дорогѣ никогда не раздавить, а отодвинетъ тростью въ сторону: „Когда не можешь, говоритъ, дать жизни, и не лишай“. И съ вида важный; лобъ, какъ у твоего дѣдушки, лицо строгое, брови срослись. Какъ хорошо говорить — слушаешься! Ты приласкайся къ нему. И богатъ. Говорятъ, что въ карманѣ у себя онъ тоже казенную палату завелъ, да будто родную племянницу обобралъ и въ сумасшедшій домъ заперъ. Есть грѣхъ, есть грѣхъ...

Но Нила Андреевича они не застали дома: онъ былъ въ палатѣ.

Проѣзжая мимо дома губернатора, бабушка горделиво отвернулась.

— Тутъ живетъ губернаторъ Васильевъ... или Поповъ какой-то. (Бабушка очень хорошо знала, что онъ Поповъ, а не Васильевъ). Онъ воображаетъ, что я явлюсь къ нему

первая съ визитомъ, и не заглянуть ко мнѣ: Татьяна Марковна Бережкова поѣдетъ къ какому-то Попову или Васильеву!

Губернаторъ ничего „не воображалъ“, но Бережковой было досадно, что онъ не оказалъ ей вниманія.

— Нилъ Андреичъ поважнѣе, постарше и посолиднѣе его, а въ новый годъ и на пасху всегда заѣдетъ съ визитомъ, и кушать иногда жалуетъ!

Заѣхали потомъ къ старой княгинѣ, жившей въ большомъ темномъ домѣ.

Тамъ жилимъ пахло только въ одномъ уголкѣ, гдѣ она гнѣздилась, а другія двадцать комнатъ походили на покои въ старомъ бабушкиномъ домѣ.

Княгиня была востроносая, худенькая старушка, въ темномъ платьѣ, въ кружевахъ, въ большемъ чепцѣ, съ сухими костлявыми, маленькими руками, переплетенными синими жилами, и со множествомъ старинныхъ перстней на пальцахъ.

— Княгиня матушка!...

— Татьяна Марковна!... воскликнули старушки.

Болонка яростно лаяла изъ-подъ канапе.

— Вотъ внука привезла показать—настоящаго хозяина: какъ играетъ, рисуется!

Онъ долженъ былъ поиграть на фортепіано. Потомъ ему принесли тарелку земляники. Бабушка съ княгиней пила кофе, Райскій смотрѣлъ на комнаты, на портреты, на мебель и на весело-глядѣвшую въ комнаты изъ сада зелень; видѣлъ расчищенную дорожку, вездѣ чистоту, чопорность, порядокъ; слушалъ какъ во всѣхъ комнатахъ попеременно пробили съ полдюжины столовыхъ, стѣнныхъ, бронзовыхъ и малахитовыхъ часовъ; разматривалъ портретъ косоного князя, въ красной лентѣ, самой княгини, съ бѣлой розой въ волосахъ, съ румянцемъ, живыми глазами, и срав-

нивалъ съ оригиналомъ. И все это точно складывалъ въ голову, слѣдилъ, какъ тамъ, гдѣ-то, отражался домъ, княгиня, болонка, пожилой слуга съ просѣдью, въ ливрейномъ фракѣ, слышался бой часовъ...

Заѣхали они еще къ одной молодой барынѣ, мѣстной львицѣ, Полинѣ Карповнѣ Крицкой, которая смотрѣла на жизнь, какъ на рядъ побѣдъ, считая потеряннымъ день, когда на нее никто не взглянетъ нѣжно или не шепнетъ ей хоть намѣка на нѣжность.

Нравственныя женщины, строгіе судьи, и между прочимъ Нилъ Андреевичъ, вслухъ порицали ее, Татьяна Марковна просто не любила, считала пустой вертушкой, но принимала, какъ всѣхъ, дурныхъ и хорошихъ. За то молодежь гонялась за Крицкой.

У Полины Карповны Крицкой бабушка пробыла всего минутъ десять, но хозяйка успѣла надѣть блузу съ кружевами, плохо-сходившуюся спереди.

Она обливала взглядами Райскаго; нужды ей нѣтъ, что онъ былъ ранній юноша, успѣла ему сказать, что у него глаза и ротъ обворожительны, и что онъ много побѣдъ сдѣлаетъ, начиная съ нея...

— Чтó вы это ему говорите: онъ еще дитя! полугнѣвно замѣтила бабушка и стала прощаться. Полина Карповна извинялась что мужъ въ палатѣ, общала пріѣхать сама, а въ заключеніе взяла руками Райскаго за обѣ щеки и поцѣловала въ лобъ.

— Безстыдница, безпутная! и ребенка не пропустила! ворчала бабушка дорогой.

А Райскій былъ смущенъ. Молодая женщина, бѣлая шея, свобода въ рѣчахъ и обдаванье смѣлыми взглядами вскипятили воображеніе мальчика. Она ему казалась какой-то свѣтлой богиней, королевой...



— Армида! вслухъ, забывшись сказалъ онъ, внезапно вспомнивъ объ „Освобожденномъ Іерусалимѣ“.

— Безстыжая! ворчала бабушка, подѣзжая къ крыльцу предводителя.—Узнаетъ Нилъ Андреичъ, что онъ скажетъ? Будетъ тебѣ, вертушка!

Какой обширный домъ, какой видъ у предводителя изъ дома! Впрочемъ въ провинціи изъ рѣдкаго дома нѣтъ прекраснаго вида: пейзажи, вода и чистый воздухъ — тамъ дешевыя и всѣмъ дающіяся блага. Обширный дворъ, обширные сады, господскія службы, конюшни.

Домъ вытянулся въ длину, въ одинъ этажъ, съ мезониномъ. Во всемъ благословенное обиліе: гость пріѣдетъ какъ Одиссей въ гости къ царю.

Многочисленное семейство то и дѣло сидитъ за столомъ, а въ семействѣ человѣкъ восемнадцать: то чай кушаютъ, то кофе кушаютъ въ бесѣдкѣ, кушаютъ на лужку, кушаютъ на балконѣ.

Экономка весь день гремитъ ключами; буфетъ не затворяется. По двору поминутно несутъ полныя блюда изъ кухни въ домъ, а обратно человѣкъ тихимъ шагомъ несетъ пустое блюдо, пальцемъ или языкомъ очищая остатки. То барынѣ бульонъ, то тѣтенькѣ постное, то барченку каши, барину чего-нибудь посолиднѣе.

Гостей вѣчный рой, слугъ человѣкъ сорокъ, изъ которыхъ иные, пообѣдавъ прежде господъ, лѣниво отмахиваютъ мухъ вѣтвями, а другой, задремавъ, покроетъ вѣтвью лысую голову барина или величавый чепецъ барыни.

За обѣдомъ подаютъ по два супа, по два холодныхъ блюда, по четыре соуса и по пяти пирожныхъ. Вина — одно кислѣе другого—все какъ слѣдуетъ въ открытомъ домѣ въ провинціи.

На конюшнѣ двадцать лошадей: однѣ въ карету барыни, другія въ коляску барину: то для парныхъ дрожекъ, то въ

одиночку: то для большой коляски—дѣтей катать, то воду возить; верховыя для старшаго сына, клепшерь для младшихъ, и наконецъ лошачекъ для четырехлѣтняго.

Комнатъ въ домѣ сколько! учителей, мамзелей, гувернантокъ, приживалокъ, горничныхъ... и долговъ на домѣ сколько!

Татьяну Марковну и Райскаго всѣ встрѣтили шумно, громко, человѣческими голосами, собачьимъ лаемъ, поцѣлуями, двиганьемъ стульевъ, и сейчасъ начали кормить завтракомъ, поить кофе, подчивать ягодами.

Побѣжали въ кухню и изъ кухни, лакеи, дѣвки,—какъ бабушка ни отбивалась отъ угощенья!

Райскаго окружили сверстники, заставили его играть, играли сами, заставили рисовать, рисовали сами, привели француза-учителя.

— Vous avez du talent, monsieur, vraiment! сказалъ тотъ, посмотрѣвъ его рисунокъ.

Райскій былъ на седьмомъ небѣ.

Потомъ повели въ конюшню, осѣдлали лошадей, ѣздили въ манежѣ и по двору, и Райскій ѣздилъ. Двѣ дочери, одна черненькая, другая бѣленькая, еще съ красненькими, длинными, не по росту, кистями рукъ, какъ бываетъ у подрастающихъ дѣвицъ, но уже затянутыя въ корсетъ и бойко говорящія французскія фразы, обворожили юношу.

Съ пріятнымъ волненіемъ и задумчиво ѣхалъ оттуда Райскій. Ему бы хотѣлось домой; но бабушка велѣла еще повернуть въ какой-то переулокъ.

— Куда, бабушка? Пора домой, сказалъ Райскій.

— Вотъ еще къ старичкамъ Молочковымъ заѣдемъ, да и домой.

— Чѣмъ же они замѣчательны?

— Да тѣмъ, что они... старички.

— Ну, вотъ старички! съ неудовольствіемъ прогово-

рилъ Райскій, подъ впечатлѣніемъ отъ живой картины предводительскаго дома и поцѣлуя Полины Карповны.

— Почтенные такіе, сказала бабушка:—лѣтъ по восьмидесяти мужу и женѣ. И не слышать ихъ въ городѣ: тихо у нихъ, и мухи не летаютъ. Сидятъ да шепчутся, да угрожаютъ другъ другу. Вотъ примѣръ всякому: прожили вѣкъ, какъ-будто проспали. Ни дѣтей у нихъ, ни родныхъ! Дремлютъ да живутъ!

— Старички! съ неудовольствіемъ говорилъ Райскій.

— Что морщишься: надо уважать старость!

Въ самомъ дѣлѣ, мужъ и жена, къ которымъ они прѣхали, были только старички, и больше ничего. Но какіе бодрые, тихіе, задумчивые, хорошенькіе старички!

Оба такіе чистенькіе, такъ свѣжо одѣты; онъ выбрить, она въ сѣдыхъ букляхъ, такъ тихо говорятъ, такъ любовно смотрятъ другъ на друга, и такъ имъ хорошо въ темныхъ, прохладныхъ комнатахъ, съ опущенными сторонами. И въ жизни, должно быть, хорошо!

Бабушка съ почтеніемъ и съ завистью, а Райскій съ любопытствомъ глядѣлъ на стариковъ, слушалъ, какъ они припоминали молодость, не вѣрилъ ихъ словамъ, что она была первая красавица въ губерніи, а онъ — молодецъ, и сводилъ, будто, женщинъ съ ума.

Онъ поигралъ и имъ, по настоящію бабушки, и унесъ какое-то тихое воспоминаніе, дремлющую картину въ головѣ объ этой, давно и медленно-ползущей жизни.

Но Армида и двѣ дочки предводителя царствовали наперекоръ всему. Онъ попеременно ставилъ на пьедесталь то одну, то другую, мысленно становился на колѣни передъ ними, пѣлъ, рисовалъ ихъ, или грустно задумывался, или мурашки бѣгали по немъ, и онъ ходилъ, поднявъ голову высоко, пѣлъ на весь домъ, на весь садъ, плавалъ въ безум-

номъ восторгѣ. Нѣсколько сутокъ онъ безпокойно спалъ, метался...

Передъ нимъ носится какая-то картина; онъ стыдливо и лукаво смѣется, кого-то ловить руками, будто обнимаетъ, и хохочетъ въ дикомъ опьянѣніи...

## ХП.

Въ университетѣ Райскій дѣлитъ время, по утрамъ, между лекціями и Кремлевскимъ садомъ, въ воскресенье ходитъ въ Никитскій монастырь къ обѣднѣ, заглядываетъ на разводъ и посѣщаетъ кандитеровъ Пеэра и Педотти. По вечерамъ сидитъ въ „своемъ кружкѣ“, т. е. избранныхъ товарищей, горячихъ головъ, великодушныхъ сердецъ.

Все это кипитъ, шумитъ и гордо ожидаетъ великой будущности.

Вглядѣвшись пытливо въ каждого профессора, въ каждого товарища, какъ въ школѣ, Райскій, отъ скуки, для развлеченія, сталъ прислушиваться къ тому, что говорятъ на лекціи.

Какъ въ школѣ у русскаго учителя, онъ не слушалъ законовъ строенія языка, а разсматривалъ все, какъ говоритъ профессоръ, какъ падаютъ у него слова, какъ кто слушаетъ.

Но лишь коснется рѣчь самой жизни, являются на сцену лица, событія, заговарятъ въ исторіи, въ поэмѣ или романѣ, греки, римляне, германцы, русскіе — но живыя лица, — у Райскаго ухо невольно открывается: онъ весь тутъ и видитъ этихъ людей, эту жизнь.

Одинъ онъ, даже съ помощію профессоровъ, не сладилъ бы съ классиками: въ русскомъ переводѣ ихъ не было, въ деревнѣ у бабушки, въ отцовской библіотекѣ, хотя и были нѣкоторые во французскомъ переводѣ, но тогда еще онъ, безъ руководства, не понималъ значенія и обѣгалъ ихъ. Они казались ему строги и сухи.



Только на второмъ курсѣ, съ двухъ или трехъ кафедръ, заговорили о нихъ, и у „первыхъ учениковъ“ явились въ рукахъ оригиналы. Тогда Райскій сблизился съ однимъ, забитымъ бѣдностью и робостью товарищемъ, Козловымъ.

Этотъ Козловъ, сынъ дьякона, сначала въ семинаріи, потомъ въ гимназіи, и дома — изучилъ греческій и латинскій языки, и учась имъ, изучилъ древнюю жизнь, а современной почти не замѣчалъ.

Райскій приласкалъ его и приласкался къ нему, сначала ради его одиночества, сосредоточенности, простоты и доброты, потомъ вдругъ открылъ въ немъ страсть, „священный огонь“, глубину пониманія до степени ясновидѣнія, строгость мысли, тонкость анализа—относительно древней жизни.

Онъ-то и посвятилъ Райскаго, насколько поддалась его живая, вѣчно, какъ море, волнующаяся натура, въ тайны разумѣнія древняго міра, но задержать его на долго, на всегда, какъ самъ задержался на древней жизни, не могъ.

Райскій унесъ кое-что оттуда и ускользнулъ, оставивъ Козлову свою дружбу, а у себя навсегда образъ его простой, младенческой души.

Отъ Плутарха и „Путешествія Анахарсиса Младшаго“, онъ перешелъ къ Титу-Ливію и Тациту, зарываясь въ мелкихъ деталяхъ перваго и въ сильныхъ сказаніяхъ второго, спалъ съ Гомеромъ, съ Дантомъ, и часто забывалъ жизнь около себя, живя въ анналахъ, сагахъ, даже въ русскихъ сказкахъ...

А когда зададутъ тему на диссертацию, онъ терялся, впадалъ въ уныніе, не зная, какъ приступить къ разсужденію, напримѣръ, „объ источникахъ къ изученію народности“, или „о древнихъ русскихъ деньгахъ“, или „о движеніи народовъ съ сѣвера на югъ“.

Онъ, вмѣсто того, чтобъ разсуждать, вглядывается въ движеніе народовъ, какъ будто оно передъ глазами. Онъ видитъ, какъ туча народа, точно саранча, движется, располагается на бивуакахъ, зажигаетъ костры; видитъ мужчинъ въ звѣриныхъ шкурахъ, съ дубинами, оборванныхъ матерей, голодныхъ дѣтей; видитъ какъ они рѣжутъ, истребляютъ все на пути, какъ гибнутъ остальные. Видитъ сѣрое небо, скудныя страны, и даже древнія русскія деньги; видитъ такъ живо, что можетъ нарисовать, но не знаетъ, какъ „разсуждать“ объ этомъ: и чего тутъ разсуждать, когда ему и такъ видно?

Лѣтомъ любилъ онъ уходить въ окрестности, забирался въ старые монастыри и вглядывался въ темные углы, въ почернѣлые лики святыхъ и мучениковъ и фантазія, лучше профессоровъ, уносила его въ русскую старину.

Тамъ, точно живые, толпились старые цари, монахи, воины, подъячіе. Москва казалась необъятнымъ ветхимъ царствомъ. Драки, казни, татары, Донскіе, Іоанны, — все приступало къ нему, все звало къ себѣ въ гости, смотрѣть а ихъ жизнь.

Долго, бывало, смотреть онъ, пока не стукнетъ что-нибудь около: онъ очнется—передъ нимъ старая стѣна монастырская, старый образъ: онъ въ кельѣ или въ теремѣ. Онъ выйдетъ задумчиво изъ копоты древняго мрака, пока не обвѣетъ его свѣжій, теплый воздухъ.

Райскій началъ писать и стихи, и прозу, показавъ сначала одному товарищу, потомъ другому, потомъ всему кружку, а кружокъ объявилъ, что онъ талантъ.

Тогда Борисъ приступилъ къ историческому роману, написалъ нѣсколько главъ и прочелъ также въ кружкѣ. Товарищи стали уважать его, „какъ надежду“, ходили съ нимъ толпой.

Райскій и кружокъ его падали только на репетиціяхъ и

на экзаменахъ, они уходили тогда на третій планъ и на четвертую скамью.

На первой и второй являлись опять-таки „первые ученики“, которые такъ смирно сидятъ на лекціи, у которыхъ всѣ записки есть, которые гордо и спокойно идутъ на экзамень, и еще болѣе гордо и спокойно возвращаются съ экзамена: это—будущіе кандидаты.

Они холодно смотрѣли на кружокъ, опредѣлили Райскаго словомъ „романтикъ“, холодно слушали или вовсе не слушали его стихи и прозу и не ставили его ни во что.

Они одинаково прилежно занимались по всѣмъ предметамъ, не пристращаясь ни къ одному исключительно. И послѣ, въ службѣ, въ жизни, куда ихъ не сунуть, въ какое положеніе не поставятъ—вездѣ и всякое дѣло они дѣлаютъ „удовлетворительно“, идутъ ровно, не увлекаясь ни въ какую сторону.

Товарищи Райскаго показали его стихи и прозу „геніальнымъ“ профессорамъ, „пророкамъ“, какъ ихъ звалъ кружокъ, хвостомъ ходившій за ними.

— Ахъ, Иванъ Ивановичъ! Ахъ, Петръ Петровичъ! Это геніи, наши свѣтила! закатывая глаза подъ лобъ повторяли восторженно юноши.

Одинъ изъ „пророковъ“ разобралъ стихи публично на лекціи и сказалъ, что „въ нихъ преобладаетъ элементъ живописи, обиліе образовъ и музыкальность, но нѣтъ глубины и мало силы“, однако, предсказывалъ, что съ лѣтами это придетъ, поздравилъ автора тоже съ талантомъ и совѣтовалъ „беречь и лелѣять музу“, т. е. заняться серьезно.

Райскій, шатаясь отъ упоенія, вышелъ изъ аудиторіи, и въ кружкѣ, по этому случаю, былъ трехдневный ревъ.

Другой „пророкъ“ прочелъ начало его романа и пригласилъ Райскаго къ себѣ.

Онъ вышелъ отъ профессора, какъ изъ бани, тоже съ патентомъ на талантъ и съ кучей старыхъ книгъ, лѣтописей, грамотъ, договоровъ.

— Готовьте серьезнымъ изученіемъ вашъ талантъ, ска-  
заль ему профессоръ:—у васъ есть будущность.

Райскій еще „серьзнѣе“ занялся хожденіемъ въ окрестности, проникалъ опять въ старыя зданія, глядѣлъ, щупаль, нюхаль камни, читаль надписи, но не разобраль и двухъ страницъ данныхъ профессоромъ хроникъ, а писалъ русскую жизнь, какъ она снилась ему въ поэтическихъ видѣніяхъ, и кончилъ тѣмъ, что очень „серьезно“ написалъ шутливую поэму, воспѣвъ въ ней товарища, написавшаго диссертацию „о долговыхъ обязательствахъ“ и никогда не платившаго за квартиру и за столъ хозяйкѣ.

Переходилъ онъ изъ курса въ курсъ съ затрудненіями, все теряясь и сбиваясь на экзаменахъ. Но его выкупала репутация будущаго таланта, нѣсколько удачныхъ стихотвореній и прозаическіе взмахи и очерки изъ русской исторіи.

— Вы куда хотите поступить на службу? вдругъ раздался однажды надъ нимъ вопросъ декана.—Черезъ недѣлю вы выйдете. Чтѣ вы будете дѣлать?

Райскій молчалъ.

— Какое званіе изберете? спросилъ опять тотъ.

— Я... художникомъ хочу быть... думаль-было онъ сказать, да вспомнилъ, какъ приняли это опекунъ и бабушка, и не сказалъ.

— Я... стихи буду писать.

— Но вѣдь это не званіе: это такъ... между прочимъ, замѣтилъ деканъ.

— И повѣсти тоже... сказалъ Райскій.

— И повѣсти можно: конечно, у васъ есть талантъ. Но вѣдь это впослѣдствіи, когда талантъ вырабатается. А званіе... званіе, я спрашиваю?



— Сначала я пойду въ военную службу, въ гвардію, а потомъ въ статскую, въ прокуроры... въ губернаторы... отвѣчалъ Райскій.

Деканъ улынулся.

— Стало быть, прежде въ юнкера — вотъ это понятно! сказалъ онъ. — Вы, да Леонтій Козловъ, только не имѣете ничего въ виду, а прочіе всѣ имѣютъ назначеніе.

Когда Козлова спрашивали, куда онъ хочетъ, онъ отвѣчалъ:—Въ учителя куда-нибудь въ губернію, — и на томъ уперся.

### ХІІІ.

Въ Петербургѣ, Райскій поступилъ въ юнкера: онъ съ одушевленіемъ скакалъ во фронтѣ, млѣя и горя, съ бѣгающими по спинѣ мурашками, при звукахъ полковой музыки, вытягивался, стуча саблѣй и шпорами, при встрѣчѣ съ генералами, а по вечерамъ въ удалой компаніи на тройкахъ уносился за городъ, на веселые пикники, или бралъ уроки жизни и любви у столичныхъ, русскихъ и не русскихъ „Армидъ“, въ томъ волшебномъ царствѣ, гдѣ „гаснетъ вѣра въ лучшій край“.

Въ самомъ дѣлѣ, у него чуть не погасла вѣра въ честь, честность, вообще въ человѣка. Онъ, не желая, не стараясь, часто бѣгая прочь, извѣдалъ этотъ „чудесный міръ“—силою своей впечатлительной натуры, вбиравшей въ себя, какъ губка, всѣ задѣвавшія его явленія.

Женщины того міра казались ему особой породой. Какъ паръ и машины замѣнили живую силу рукъ, такъ тамъ цѣлая механика жизни и страстей замѣнила природную жизнь и страсти. Этотъ міръ — безъ привязанностей, безъ дѣтей, безъ колыбелей, безъ братьевъ и сестеръ, безъ мужей и безъ женъ, а только съ мужчинами и женщинами.

Мужчины, одни, среди дѣлъ и заботъ, по лѣни, по грубости, часто бросая теплый огонь, тихія симпатіи семьи, бросаются въ этотъ міръ всегда готовыхъ романовъ и драмъ, какъ въ игорный домъ, чтобъ охмѣлѣть въ чаду притворныхъ чувствъ и дорого купленной нѣги. Другихъ молодость и пылъ влекутъ туда, въ царство поддѣльной любви, со всей утонченной ея игрой, какъ гастронома влечетъ отъ домашняго простого обѣда изысканный обѣдъ искуснаго повара.

Тамъ царствуетъ безконечно-разнообразный расчетъ: расчетъ роскоши, расчетъ честолюбія, расчетъ зависти, рѣдко—самолюбія и никогда—сердца, т. е. чувства. Красавицы приносятъ все въ жертву расчету; самую страсть, если постигаетъ ихъ страсть, даже темпераментъ, когда потребуетъ того роль, выгода положенія.

Онѣ—не жертвы общественнаго темперамента, какъ тѣ несчастныя созданія, которыя, за кусокъ хлѣба, за одежду, за обувь и кровь, служатъ животному голоду. Нѣтъ: тамъ жрицы сильныхъ, хотя искусственныхъ страстей, тонкія актрисы, играютъ въ любовь и жизнь, какъ игроки въ карты.

Тамъ нѣтъ глубокихъ цѣлей, нѣтъ прочныхъ конечныхъ намѣреній и надеждъ. Бурная жизнь не манитъ къ тихому порту. У жрицы этого культа, у „матери наслажденій“—нѣтъ въ виду, какъ и у истиннаго игрока по страсти, выиграть фортуны и кончить, оставить все, успокоиться и жить другою жизнью.

Если бы явилась въ томъ кругѣ такая, она потеряла бы свой характеръ, свою прелесть: ее, какъ игрока, увлечь отъ прочнаго и добраго пути, или она утратитъ цѣну въ глазахъ поклонниковъ, потерявъ свободу понятій и нравовъ.

Жизнь ея—вѣчная игра въ страсти, цѣль — нескончаемое наслажденіе, переходящее въ привычку, когда она устаетъ, пресытится. У ней одинъ ужасъ впереди—это состарѣться и стать ненужной.

Больше она ничего не боится. Играя въ страсти, она принимаетъ всѣ виды, все лица, всѣ характеры, нужные для роли, заимствуя ихъ, какъ маскарадные платья на прокатъ. Она робка, скромна или горда, неприступна или нѣжна, послушна—смотря по роли, по моменту.

Но, сбросивъ маску, она часто зла, груба, и даже страшна. Испугать и оскорбить ее нельзя, а она не задумается, для мщенія, или для забавы, разрушить семейное счастье, спокойствіе человѣка, не говоря о фортунѣ: разрушать экономическое благосостояніе—ея призваніе.

Ее должна окружать безконтрольная роскошь. Желаній она не должна успѣвать имѣть.

Квартира у нея—храмъ, но походящій на выставку мебели, дорогихъ бездѣлицъ. Вкусъ въ убранствѣ принадлежитъ не хозяйкѣ, а мебельщику и обойщику.

Печати тонкой, артистической жизни нѣтъ: та, у кого бы она была, не могла бы жить этой жизнью: она задохнулась бы. Тамъ вкусъ—въ сервизахъ, экипажахъ, лошадахъ, лакеяхъ, горничныхъ, одѣтыхъ, какъ балетныя феи.

Если случайно попадетъ туда высокой кисти картина, дорогая статуя—онѣ цѣнятся не удивленіемъ кисти и рѣзцу, а заплаченной суммой.

Ни хозяина, ни хозяйки, ни дѣтей, ни старыхъ преданныхъ слугъ—нѣтъ въ ея квартирѣ.

Она живетъ — какъ будто на станціи, въ дорогѣ, готовая ежеминутно выѣхать. Нѣтъ у нея друзей — ни мужчинъ, ни женщинъ, а только множество знакомыхъ.

Жизнь красавицы этого міра или „тряпичнаго царства“, какъ называлъ его Райскій — мелкій, пестрый, вѣчно движущійся узоръ: визиты въ своемъ кругу, театръ, катанье, роскошные до безобразія завтраки и обѣды до утра, и ночи, продолжающіеся до обѣда. Забота одна — чтобъ не было остановокъ отъ пестроты.

Пустой, не наполненный день, вечеръ—безъ суеты, выѣздовъ, театра, свиданій—страшенъ. Тогда проснулась бы мысль, съ какими-нибудь докучливыми вопросами, пожалуй чувство, совѣсть, всталъ бы призракъ будущаго...

Она со страхомъ отряхнется отъ непривычной задумчивости, гонить вопросы — и ей опять легко. Это бываетъ рѣдко и у немногихъ. Мысль у ней большею частію нетрогута, сердце отсутствуетъ, знанія никакого.

Накупать брилліантовъ, конечно, не самой — (это все, что есть неподдѣльнаго въ ея жизни) — нарядовъ, непременно больше чѣмъ нужно, дѣлая фортуны поставщиковъ—вотъ главный пунктъ ея тщеславія.

Широкая затѣя—это вояжъ: прикинуться графиней въ Парижѣ, занять палаццо въ Италіи, сверкнуть золотомъ и красотою, покоряя мимоходомъ того, другого, смотря по рангу, положенію, фортунѣ.

Идеаль мужчины у нея—прежде всего *homme généreux, libéral*, который „благородно“ сыплетъ золото, потомъ *comte, prince* и т. п. Понятія объ умѣ, чести, нравахъ — свои, особенныя.

Уродство въ мужчинѣ — это экономія, сдержанность, порядокъ. Скупой въ ея глазахъ—извергъ.

Райскій, кружась въ свѣтѣ петербургской, „золотой молодежи“, бывши молодымъ офицеромъ, потомъ молодымъ бюрократомъ, заплатилъ обильную дань поклоненія этой красотѣ и, уходя, унесъ глубокую грусть надолго и много опытовъ, безъ которыхъ могъ обойтись.

Напрасно упрямился онъ оставаться офицеромъ, ему неотступно снились, то Волга и берега ея, тѣнистый садъ и роща съ обрывомъ, то видѣлъ онъ дикіе глаза и изступленное лицо Васюкова и слышалъ звуки скрипки.

Снилась ему широкая арена искусства: академія, или консерваторія, любилъ онъ воображать себя труженникомъ искусства.



Ему рисовалась темная, запыленная мастерская, съ за-вѣшаннымъ свѣтомъ, съ кусками мрамора, съ начатыми картинами, съ манекеномъ,—и самъ онъ, въ изящной блузѣ, съ длинными волосами, съ нѣгой и счастьемъ смотреть на свое произведеніе: подъ кистью у него рождается чья-то голова.

Она еще неодушевлена, въ глазахъ нѣтъ жизни, огня. Но вотъ онъ посадить въ нихъ двѣ магическія точки, проведетъ два какихъ-то рѣзкихъ штриха, и вдругъ голова ожила, заговорила, она смотреть такъ открыто, въ ней горятъ мысль, чувство, красота...

Въ комнату заглядываютъ робко посѣтители, шепчутся...

Наконецъ, вотъ выставка. Онъ изъ угла смотритъ на свою картину, но ея не видать, передъ ней толпа, тамъ произносятъ его имя. Кто-то измѣнилъ ему, назвалъ его и толпа отъ картины обратилась къ нему.

Онъ сконфузился и очнулся.

Онъ подаль просьбу къ переводу въ статскую службу и былъ посаженъ къ Аянову въ столъ. Но читатель уже знаетъ, что и статская служба удалась ему не лучше военной. Онъ оставилъ ее и сталъ ходить въ академію.

Онъ робко пришелъ туда и осмотрѣлся кругомъ. Всѣ сидятъ молча и рисуютъ съ бюстовъ. Онъ началъ тоже рисовать, но черезъ два часа ушелъ и сталъ рисовать съ бюста дома.

Но дома, то сигару закурить, то сядетъ съ ногами на диванъ, почтаетъ, или замечается, и въ головѣ раздадутся звуки. Онъ за фортепіано—и забудется.

Недѣли черезъ три онъ опять пошелъ въ академію: тамъ опять всѣ молчатъ и рисуютъ съ бюстовъ.

Онъ кое-съ-къмъ изъ товарищей познакомился, зазвалъ къ себѣ и показаль свою работу.

— У васъ есть талантъ, гдѣ вы учились? сказали ему: только... вонъ эта рука длинна... да и спина не такъ... рисунокъ не вѣренъ!

Между тѣмъ затѣяли пирушку, пригласили Райскаго, и онъ слышалъ одно: то о колоритѣ, то о бюстахъ, о рукахъ, о ногахъ, „о правдѣ“ въ искусствѣ, объ академіи, а въ перспективѣ—Дюссельдорфъ, Парижъ, Римъ. Отмѣривали при немъ года своей практики, ученичества или „мученичества“, прибавлялъ Райскій. Семь, восемь лѣтъ — страшныя цифры. И всѣ уже взрослые.

Онъ не ходилъ мѣсяцевъ шесть, потомъ пошелъ и тѣ же самые товарищи рисовали... съ бюстовъ.

Онъ взглянулъ въ другой классъ: тамъ стоялъ натурщикъ, и толпа молча рисовала съ натуры торсъ.

Райскій пришелъ черезъ мѣсяць—и тоже углубленіе въ торсъ и въ свой рисунокъ. Тоже молчаніе, тоже напряженное вниманіе.

Онъ пошелъ въ мастерскую профессора и увидѣлъ снившуюся ему картину: запыленную комнату, завѣшанный свѣтъ, картины, маски, руки, ноги, манекень... все.

Только художникъ представился ему не въ изящной блузѣ, а въ испачканномъ пальто, не съ длинными волосами, а гладко остриженный; не нѣга у него на лицѣ, а мука внутренней работы и безпокойство, усталость. Онъ вперяетъ мучительный взглядъ въ свою картину, то подходитъ къ ней, то отойдетъ отъ нея, задумывается...

Потомъ вдругъ опять, какъ будто утонетъ, замретъ, онѣмѣетъ, только глаза блестятъ, да рука, какъ бѣшеная, стираетъ, заглаживаетъ прежнее и торопится бросать новую, только-что пойманную, вымученную черту, какъ будто боясь, что она забудется...

Робко ушелъ къ себѣ Райскій, натянулъ на рамку холстъ и началъ чертить мѣломъ. Три дня чертилъ онъ,

стираль, опять чертилъ и, бросивъ бюсты, рисунки, взялъ кисть.

Три полотна перемѣнилъ онъ и на четвертомъ нарисовалъ ту голову, которая снилась ему, голову Гектора и лицо Андромахи и ребенка. Но рукъ не додѣлалъ: „Это послѣднее дѣло, руки!“ думалъ онъ. Костюмы набросалъ на обумъ, кое-какъ, что на скоро прочелъ у Гомера: другихъ источниковъ подъ рукой не было, а гдѣ ихъ искать и скоро-ли найдешь?

Полгода онъ писалъ картину. Лица Гектора и Андромахи поглотили все его творчество, аксессуарами онъ не занимался: „Это послѣ, когда-нибудь“.

Ребенка нарисовалъ тоже кое-какъ, и то нарисовалъ потому, что безъ него не вѣрна была бы сцена прощанія.

Онъ хотѣлъ показать картину товарищамъ, но они сами красками еще не писали, а все копировали съ бюстовъ, нужды нѣтъ, что у самихъ бороды поросли.

Онъ рѣшился показать профессору: профессоръ не заносчивъ, снисходителенъ и вѣроятно оцѣнитъ трудъ по достоинству. Съ замирающимъ сердцемъ принесъ онъ картину и оставилъ въ корридорѣ.

Профессоръ велѣлъ внести ее въ мастерскую, посмотрѣлъ:

— Что это за блинъ? сказалъ онъ, скользнувъ взглядомъ по картинѣ, но взглянувъ мелькомъ въ другой разъ, вдругъ быстро схватилъ ее, поставилъ на мольбертъ, и вонзилъ въ нее испытующій взглядъ, сильно сдвинувъ брови.

— Это вы дѣлали? спросилъ онъ, указавъ на голову Гектора.

— Я-съ.

— И это вы? профессоръ указалъ на Андромаху.

— Тоже я-съ.

— А это? спрашивалъ тотъ, указывая на ребенка.

— Я же.

— Не можетъ быть: это двое дѣлали, отрывисто отвѣчалъ профессоръ и, отворивъ дверь въ другую комнату, закричалъ:—Иванъ Ивановичъ!

Пришелъ Иванъ Ивановичъ, какой-то художникъ.

— Посмотри!

— Онъ показаль ему на головы двухъ фигуръ и ребенка. Тотъ, молча и пристально разсматриваль. Райскій дрожаль.

— Чтò ты видишь? спросилъ профессоръ.

— Чтò? сказалъ тотъ: — это не изъ нашихъ. Кто же придѣлаль голову къ этой мазнѣ?... Да, голова... мм-ъ..., а ухо не на мѣстѣ. Кто это?

Профессоръ спросилъ Райскаго, гдѣ онъ учился, подтвердилъ, что у него талантъ, и разразился сильной бранью, узнавъ, что Райскій только разъ десять былъ въ академіи и съ бюстовъ не рисуеть.

— Посмотрите: ни одной черты нѣтъ вѣрной. Эта нога короче, у Андрوماхи плечо не на мѣстѣ; если Гекторъ выпрямится, такъ она ему будетъ только по брюхо. А эти мускулы, посмотрите...

Онъ обнажилъ и показаль колѣно, потомъ руку.

— Вы не умѣете рисовать, сказалъ онъ: — вамъ года три надо учиться съ бюстовъ, да анатоміи... А голова Гектора, глаза... Да вы ли дѣлали?

— Я, сказалъ Райскій.

Профессоръ пожалъ плечами.

И Иванъ Ивановичъ сдѣлаль: — Гмъ! У васъ есть талантъ, это видно. Учитесь; со временемъ..."

„Все учитесь: со временемъ!“ думаль Райскій. А ему бы хотѣлось—не учась—и сейчасъ.

Онъ въ раздумьи воротился домой: тамъ нашель письма. Бабушка бранила его, что онъ вышелъ изъ военной службы, а опекунъ совѣтоваль опредѣлиться въ сенатъ. Онъ прислаль ему рекомендательныя письма.



Но Райскій въ сенатъ не поступилъ, въ академіи съ бюстовъ не рисовалъ, между тѣмъ много читалъ, много писалъ стиховъ и прозы, танцевалъ, ѣздилъ въ свѣтъ, ходилъ въ театръ и къ „Армидамъ“, и въ это время сочинилъ три вальса и нарисовалъ нѣсколько женскихъ портретовъ. Потомъ, послѣ бѣшеной масляницы, вдругъ очнулся, вспомнилъ о своей артистической карьерѣ и бросился въ академию: тамъ ученики молча, углубленно рисовали съ бюста, въ другой студіи писали съ торса...

#### XIV.

Въ назначенный вечеръ, Райскій и Бѣловодова опять сошлись у ней въ кабинетѣ. Она была одѣта, чтобы ѣхать въ спектакль: отецъ хотѣлъ заѣхать за ней съ обѣда, но не заѣзжалъ, хотя было уже половина восьмого.

— Я все думаю о нашемъ разговорѣ, кузина: а вы? спросилъ онъ.

— Я, cousin... виновата: не думала о немъ. Чтò такое мы говорили?... Ахъ, да! припомнила она. — Вы чтò-то меня спрашивали.

— И вы чтò-то мнѣ общали.

— Чтò-же?

— Разказать... какую-то „глупость“, ребячество и потомъ вашу законную любовь...

— Все это такъ просто, cousin, что я даже не съумѣю разказать: спросите у всякой замужней женщины. Вотъ хоть у Catherine...

— Ахъ нѣтъ, кузина, только не у Catherine: наряды и выѣзды, выѣзды и наряды...

— Чтò мнѣ вамъ разказывать? Я не знаю съ чего начать. Paul сдѣлалъ черезъ княгиню предложеніе, та сказала тапан, тапан тѣткамъ; позвали родныхъ, потомъ объявили папá... Какъ всѣ дѣлають.

— Ему послѣ всѣхъ! весело замѣтить Райскій.—А вы когда узнали?

— Въ тотъ же вечеръ, разумѣется. Какой вопросъ! Не думаете ли вы, что меня принуждали?..

— Нѣтъ, нѣтъ, кузина: не такъ рассказываете. Начните, пожалуйста, съ воспитанія. Какъ, гдѣ вы воспитывались? Прежде расскажите ту „глупость...“

— Дома воспитывалась, вы знаете... Маман была строга и серьезна, никогда не шутила, почти не смѣялась, ласкала мало, всѣ ее слушались въ домѣ: няньки, дѣвушки, гувернантки дѣлали все, что она приказывала, и панѣ тоже. Въ дѣтскую она не ходила, но порядокъ былъ такой, какъ будто она тамъ жила. Когда мнѣ было лѣтъ семь, за мной, помню, ходила нѣмка Маргарита: она причесывала и одѣвала меня, потомъ будили миссъ Дредсонъ и шли къ маман. Маман, прежде нежели поздоровается, пристально поглядить мнѣ въ лицо, обернетъ меня раза три, посмотритъ, все ли хорошо, даже ноги посмотреть, потомъ глядитъ, какъ я дѣлаю книксъ, и тогда поцѣлуетъ въ лобъ и отпустить. Послѣ завтрака меня водили гулять, или въ дурную погоду ѣздили въ коляскѣ...

— Какъ вы шалили, рѣзвились? расскажите...

— Я не шалила: миссъ Дредсонъ шла рядомъ и дальше трехъ шаговъ отъ себя не пускала. Однажды мальчикъ бросилъ мячикъ и онъ покатился мнѣ въ ноги, я поймала его и побѣжала отдать ему, миссъ сказала маман, и меня три дня не пускали гулять. Впрочемъ, я мало помню, что было, помню только, что ѣздила танцмейстеръ и учитель: *chassé en avant, chassé à gauche, tenez-vous droit, pas de grimaces...* Послѣ обѣда мнѣ позволяли въ большой залѣ играть часъ въ мячикъ, прыгать черезъ веревочку, но тихонько, чтобъ не разбить зеркалъ и не топтать ногами. Маман не любила, когда у меня раскраснѣются щеки и уши, и потому мнѣ не

вѣрно было слишкомъ бѣгать. Еще увѣряли, что будто я... она засмѣялась:—языкъ показывала, когда рисую и пишу, и даже танцую—и оттого *pas de grimaces* раздавалось чаще всего.

— *Chassé en avant, chassé à gauche et pas de grimaces*: да, это хорошій курсъ воспитанія: все равно, что военная выправка. Что же дальше?

— Дальше, приставили французенку, *madame Cléry*, но... не знаю, почему-то скоро отпустили. Я помню, какъ папá защищалъ ее, но мама слышать не хотѣла...

— Ну, теперь я вижу, что у васъ не было дѣтства: это кое-что объясняетъ мнѣ... Учили васъ чему-нибудь? спросилъ онъ.

— Безъ сомнѣнія: *histoire, géographie, calligraphie, l'orthographe*, еще по-русски...

Здѣсь Софья Николаевна немного остановилась.

— Я увѣренъ, что мы подходимъ къ катастрофѣ и что герой ея—русскій учитель, сказалъ Райскій. — Это наши *jeunes premiers*...

— Да... вы угадали! засмѣявшись отвѣчала Бѣловодова.

— Я всѣ уроки учила одинаково, тс-есть всѣ дурно. Въ исторіи знала только двѣнадцатый годъ, потому что *mon oncle, prince Serge* служилъ въ то время и дѣлалъ кампанію, онъ рассказывалъ часто о немъ; помнила, что была Екатерина II, еще революція, отъ которой бѣжалъ *M-r de Querneu*, а остальное все... тамъ эти войны, греческія, римскія, что-то про Фридриха Великаго—все это у меня путалось. Но по-русски, у *M-r Ельнина*, я выучивала почти все, что онъ задавалъ.

— До сихъ поръ все идетъ прекрасно. Что же вы дѣлали еще?

— Читали. Онъ прекрасно читалъ, приносилъ книги...

— Какія же книги?

— Я теперь забыла...

— Что же дальше, кузина?

— Потомъ, когда мнѣ было шестнадцать лѣтъ, мнѣ дали особыя комнаты и поселили со мной *ma tante* Анну Васильевну, а миссъ Дредсонъ уѣхала въ Англію. Я занималась музыкой, и мнѣ оставили французскаго профессора и учителя по-русски, потому что тогда въ свѣтѣ заговорили, что надо знать по-русски, почти такъ же хорошо, какъ по-французски...

М-г Ельнинъ былъ очень... очень... милъ, хорошъ и... *comme il faut?*.. спросилъ Райскій.

— *Oui, il était tout-à-fait bien*, сказала, покраснѣвъ немного, Бѣловодова:—я привыкла къ нему... и когда онъ манкировалъ, мнѣ было досадно, а однажды онъ заболѣлъ и недѣли три не приходилъ...

— Вы были въ отчаяніи? перебилъ Райскій:—плакали, не спали ночей и молились за него? Да? Вамъ было...

— Мнѣ было жаль его, — и я даже просила папá послать узнать о его здоровьѣ...

— Даже! Ну, что-жъ папá?

— Самъ съѣздилъ, нашелъ его *convalescent* и привезъ къ намъ обѣдать. Маман сначала было разсердилась и начала сцену съ папá, но Ельнинъ былъ такъ приличенъ, скромень, что и она пригласила его на наши *soirées musicales* и *dansantes*. Онъ былъ хорошо воспитанъ, игралъ на скрипкѣ...

— Что же дальше? съ нетерпѣніемъ спросилъ Райскій.

— Когда папá привезъ его въ первый разъ послѣ болѣзни, онъ былъ блѣденъ, молчаливъ... глаза такіе томные... Мнѣ стало очень жаль его, и я спросила за столомъ, чѣмъ онъ былъ болѣнъ?.. Онъ взглянулъ на меня съ благодарностью, почти нѣжно... Но маман послѣ обѣда отвела меня въ сторону и сказала, что это ни на что не похоже—дѣви-



цѣ спрашивать о здоровьѣ посторонняго молодого человѣка, еще учителя, „и Богъ знаетъ, кто онъ такой!“ прибавила она. Мнѣ стало стыдно, я ушла и плакала въ своей комнатѣ, потомъ ужъ никогда ни о чемъ его не спрашивала...

— Дѣло! иронически замѣтилъ Райскій:—чуть было съ Олимпа спустились одной ногой къ людямъ—и досталось.

— Не перебивайте меня: я забуду, сказала она.—Ельнинъ продолжалъ читать со мной, заставлялъ и меня сочинять, но тамап велѣла больше сочинять по-французски.

— Что-жъ Ельнинъ, все читалъ?

— Да, читалъ и акомпанировалъ мнѣ на скрипкѣ: онъ былъ страненъ, иногда задумается и молчитъ полчаса, такъ что вздрогнетъ, когда я назову его по имени, смотреть на меня очень странно... какъ иногда вы смотрите, или сидеть такъ близко, что испугаетъ меня. Но мнѣ не было... досадно на него... Я привыкла къ этимъ странностямъ; онъ разъ положилъ свою руку на мою: мнѣ было очень неловко. Но онъ не замѣчалъ самъ, что дѣлаетъ — и я не отняла руки. Даже однажды... когда онъ не пришелъ на музыку, на другой день я встрѣтила его очень холодно...

— Браво! а предки ничего?

— Смѣйтесь cousin: оно въ самомъ дѣлѣ смѣшно...

— Я радуюсь, кузина, а не смѣюсь: не правдали, вы жили тогда, были счастливы, веселы,—не такъ, какъ послѣ, какъ теперь?...

— Да, правда: мнѣ, какъ глупой-дѣвочкѣ, было весело смотрѣть, какъ онъ вдругъ робѣлъ, боялся взглянуть на меня, а иногда, напротивъ, долго глядѣлъ,—иногда даже поблѣднѣетъ. Можетъ быть, я не много кокетничала съ нимъ, по-дѣтски конечно, отъ скуки... У насъ было иногда... очень скучно! Но онъ былъ, кажется, очень добръ и несчастливъ: у него не было родныхъ никого. Я принимала большое уча-

стіе въ немъ, и мнѣ было съ нимъ весело, это, правда. Зато, какъ я дорого заплатила за эту глупость!...

— Ахъ, скорѣе! сказалъ Райскій:—жду драмы.

— Въ день моихъ именинъ у насъ былъ пріемъ, меня уже вывозили. Я разучивала сонату Бетховена, ту, которою онъ восхищался, и которую вы тоже любите...

— Такъ вотъ откуда совершенство, съ которымъ вы играете ее... Дальше, кузина: это интересно!

— Въ свѣтѣ ужъ обо мнѣ тогда знали, что я люблю музыку, говорили что я буду первоклассная артистка. Прежде татап хотѣла взять Гензельта, но услыхавши это, отдумала.

— Мудрость предковъ говорить, что неприлично артисткой быть! замѣтилъ Райскій.

— Я ждала этого вечера съ нетерпѣніемъ, продолжала Софья,—потому что Ельнинъ не зналъ, что я разучиваю ее для...

Бѣловодова остановилась въ смущеніи.

— Понимаю! подсказалъ Райскій.

— Всѣ собрались, тутъ иѣли, играли другіе, а его нѣтъ; татап два раза спрашивала, что-жъ я, сыграю ли сонату? Я отговаривалась, какъ могла, наконецъ она приказала играть: j'avais le cœur gros — и сѣла за фортепіано. Я думаю, я была блѣдна: но только я сыграла интродукцію, какъ вижу въ зеркалѣ — Ельнинъ стоитъ сзади меня... Мнѣ потомъ сказали, что будто я вспыхнула: я думаю, это неправда, стыдливо прибавила она:—Я просто рада была, потому что онъ понималъ музыку...

— Кузина! говорите сами, не заставляйте говорить предковъ.

— Я играла, играла...

— Съ одушевленіемъ, горячо, со страстью... подсказывалъ онъ.

— Я думаю—да, потому что сначала всё слушали молча, никто не говорилъ банальныхъ похвалъ: „charmant, bravo“, а когда кончила—всё закричали въ одинъ голосъ, окружили меня... Но я не обратила на это вниманія, не слышала поздравленій: я обернулась, только лишь кончила, къ нему... Онъ протянулъ мнѣ руку и я...

Софья остановилась въ смущеніи...

— Ну, вы бросились къ нему...

— Ужъ и бросилась! Нѣтъ, я протянула ему тоже руку и онъ... пожалъ ее! и кажется, мы оба покраснѣли...

— Только?

— Я скоро опомнилась и стала отвѣчать на поздравленія, на привѣтствія, хотѣла подойти къ татамъ, но взглянула на нее и... мнѣ страшно стало: подошла къ тѣткамъ, но обѣ онѣ сказали что-то вскользь и отошли. Ельнинъ изъ угла слѣдилъ за мной такими глазами, что я ушла въ другую комнату. Матамъ, не простясь, ушла послѣ гостей къ себѣ. Надежда Васильевна, прощаясь, покачала головой, а у Анны Васильевны на глазахъ были слезы...

— Помѣшательства бываютъ разные, замѣтилъ Райскій: —эти всё рехнулись на приличіи... Ну, что же на утро?

— На утро, продолжала Софья со вздохомъ,—я ждала пока позовутъ меня къ татамъ, но меня долго не звали. Наконецъ за мной пришла ma tante, Надежда Васильевна, и сухо сказала, чтобы я шла къ татамъ. У меня сердце сильно билось, и я сначала даже не разглядѣла, что было и кто былъ у татамъ въ комнатѣ. Тамъ было темно, портьеры и шторы спущены, татамъ казалась утомлена; подлѣ нея сидѣли тѣтушка, mon oncle, prince Serge и папá...

— Весь ареопагъ—портреты тутъ!

— Папá стоялъ у камина и грѣлся. Я посмотрѣла на него и думала, что онъ взглянетъ на меня ласково: мнѣ бы легче было. Но онъ старался не глядѣть на меня; бѣдняжка

боялся маман, а я видѣла, что ему было жалко. Онъ все жеваль губами: онъ это всегда дѣлаетъ въ ажитаци, вы знаете.

— И что же они?

— „Позвольте васъ спросить, кто вы и что вы?“ тихо спросила маман.—„Ваша дочь“, чуть-чуть внятно отвѣтила я.—„Не похоже. Какъ вы ведете себя?“

— Я молчала: отвѣчать было нечего...

— Боже мой! нечего! произнесъ Райскій...

— Что это за сцену разыграли вы вчера: комедию, драму? Чье это сочиненіе, ваше, или учителя этого... Ельнина?“—Маман, я не играла сцены, я нечаянно... едва проговорила я, такъ мнѣ было тяжело.—„Тѣмъ хуже, сказала она: *il y a donc du sentiment là dedans?* Вотъ послушайте, обратилась она къ папѣ: что говоритъ ваша дочь... какъ вамъ нравится это признаніе?..“—Онъ, бѣдный, былъ смущенъ и жалокъ больше меня и смотрѣлъ внизъ; я знала, что онъ одинъ не сердится, а мнѣ хотѣлось бы умереть въ эту минуту со стыда... „Знаете-ли, кто онъ такой вашъ учитель?“ сказала маман. „Вотъ князь Serge все узналъ: онъ сынъ какого-то лекаря, бѣгаетъ по урокамъ, сочиняетъ, пишетъ русскимъ купцамъ французскія письма за границу за деньги, и этимъ живетъ...“—„Какой срамъ!“— сказала *ma tante*. — Я не дослушала дальше, мнѣ сдѣлалось дурно. Когда я опомнилась, подлѣ меня сидѣли обѣ тѣтушки, а папѣ стоялъ со спиртомъ. Маман не было. Я не видала ее двѣ недѣли. Потомъ, когда увидѣлись, я плакала, просила прощенія. Маман говорила, какъ поразила ее эта сцена, какъ она чуть не занемогла, какъ это все замѣтила кузина Нелюбова и пересказала Михиловымъ, какъ тѣ обвинили ее въ недостаткѣ вниманія, бранили, зачѣмъ принимали Богъ знаетъ кого. „Вотъ чему ты подвергла меня!“ — заключила маман. Я



просила простить и забыть эту глупость и дала слово впередъ держать себя прилично.

Райскій расхохотался.

— Я думалъ, Богъ знаетъ какая драма! сказалъ онъ — а вы мнѣ рассказываете исторію шестилѣтней дѣвочки! Надѣюсь, кузина, когда у васъ будетъ дочь, вы поступите иначе...

— Какъ же: отдать ее за учителя? сказала она.—Вы не думаете сами серьезно, чтобъ это было возможно!

— Почему нѣтъ, если онъ честенъ, хорошо воспитанъ?..

— Никто не знаетъ, честенъ ли Ельнинъ: напротивъ, *та tante* и *мамап* говорили, что будто у него были дурныя намыренія, что онъ хотѣлъ вскружить мнѣ голову... изъ самолюбія, потому что серьезныхъ намыреній онъ имѣть не смѣлъ...

— Нѣтъ! пылко возразилъ Райскій: — васъ обманули. Не блѣднѣютъ и не краснѣютъ, когда хотятъ кружить головы ваши франты, кузены, *prince Pierre*, *comte Serge*: вотъ у кого дурное на умѣ! А у Ельнина не было никакихъ намыреній, онъ, какъ я вижу изъ вашихъ словъ, любилъ васъ искренно. А эти, — онъ, не оборачиваясь, указалъ назадъ на портреты:—женятся на васъ *par convenance*, и потомъ мѣняють на танцовщицу...

— *Cousin!* серьезно, почти съ испугомъ, сказала она.

— Да, кузина, вы сами знаете это...

— Чтò же мнѣ было дѣлать? Сказать *мамап*, что я выйду за М-г Ельнина...

— Да, упасть въ обморокъ не отъ того, отъ чего вы упали, а отъ того, что осмѣлились распорядиться вашимъ сердцемъ, потомъ уйти изъ дома и сдѣлаться его женой. „Сочиняетъ, пишетъ письма, даетъ уроки, получаетъ деньги и этимъ живетъ!“ Въ самомъ дѣлѣ, какой позоръ! А они, — онъ опять указалъ на предковъ: — получали, ничего не со-

чиняя, и проѣдали весь свой вѣкъ чужое — какая слава!..  
Что же случилось съ Ельнинымъ?

— Не знаю, равнодушно сказала она: — ему отказали отъ дома, и я не видала его никогда.

— И вы—ничего?

— Ничего...

— Передъ вами являлась лицомъ къ лицу настоящая, живая жизнь, счастье — и вы оттолкнули его отъ себя! изъ чего, для чего?

— Но, cousin, вы знаете, что я была замужемъ и жила этой жизнью...

— Съ нимъ? спросилъ онъ, глядя на портретъ ея мужа.

— Съ нимъ! сказала она, глядя съ кроткой лаской тоже на портретъ.

— Какъ вы вышли замужъ?

— Очень просто. Онъ тогда только-что воротился изъ-за границы и бывалъ у насъ, рассказывалъ что дѣлается въ Парижѣ, говорилъ о королевѣ, о принцессахъ, иногда обѣдалъ у насъ, и черезъ княгиню сдѣлалъ предложеніе.

— Ну, когда согласились и вы остались съ нимъ въ первый разъ однѣ... что онъ...

— Ничего! сказала она съ улыбкой удивленія.

— Но вѣдь... говорилъ же онъ вамъ, почему искалъ вашей руки, что его привлекло къ вамъ... что не было никого прекраснѣе, блистательнѣе...

— И „что онъ никогда не кончилъ бы, говоря обо мнѣ, но боится быть сентиментальнымъ“... добавила она.

— Потомъ?

— Потомъ сѣлъ играть въ карты, а я пошла одѣваться; въ этотъ вечеръ онъ былъ въ нашей ложѣ и на другой день объявленъ женихомъ.

— Въ самомъ дѣлѣ это очень просто! замѣтилъ Райскій.—Ну, потомъ, послѣ свадьбы?..

— Мы уѣхали за границу.

— А! наконецъ, не до свѣта, не до родныхъ: куда-нибудь въ Италію, въ Швейцарію, на Рейнъ, въ уголокъ, и тамъ сердце взяло свое...

— Нѣтъ, нѣтъ, cousin, — мы поѣхали въ Парижъ: мужу дали порученіе, и онъ представилъ меня ко двору.

— Господи! воскликнулъ Райскій: — этого не доставало!

— Я была очень счастлива, сказала Бѣловодова, и улыбка и взглядъ говорили, что она съ удовольствіемъ глядитъ въ прошлое. — Да, cousin, когда я въ первый разъ пріѣхала на балъ въ Тюльери и вошла въ кругъ, гдѣ былъ король, королева и принцы...

— Всѣ ахнули? сказалъ Райскій.

Она кивнула головой, потомъ вздохнула, какъ будто жалѣя, что это прекрасное прошлое невосвратимо.

— Мы принимали въ Парижѣ; потомъ уѣхали на воды; тамъ мужъ устраивалъ праздники, балы: тогда писали въ газетахъ.

— И вы были счастливы?

— Да, сказала она, — счастлива: я никогда не видала недовольной мины у Paul, не слыхала...

— Нѣжнаго, задушевнаго слова, не видали минуты увлеченія?

Она задумчиво и отрицательно покачала головой.

— Не слыхала отказа въ желаніяхъ, даже въ капризахъ... добавила она.

— Будто у васъ были и капризы?

— Да: въ Вѣнѣ онъ за полгода велѣлъ приготовить отель, мы пріѣхали, мнѣ не понравилось, и...

— Онъ напаялъ другой: какой нѣжный мужъ!

— Какое вниманіе, égard, говорила она: — какое уваженіе въ каждомъ словѣ!..

— Еще бы: вѣдь вы Пáхотина; шутка ли?

— Да, я была счастлива, рѣшительно сказала она: — и уже такъ счастлива не буду!

— И слава Богу: аминь! заключилъ онъ. — Канарейка тоже счастлива въ клѣткѣ, и даже поетъ; но она счастлива канареечнымъ, а не человѣческимъ счастьемъ... Нѣтъ, кузина, надъ вами совершенно систематически утонченное умерщвление свободы духа, свободы ума, свободы сердца! Вы — прекрасная плѣнница въ свѣтскомъ сералѣ и прозябаете въ своемъ невѣдѣніи.

— И не хочу мѣнять этого невѣдѣнія на ваше опасное вѣдѣніе...

— Да, перебилъ онъ: — и засидѣвшаяся канарейка, когда отворять клѣтку, не летить, а боязливо прячется въ гнѣздо. Вы — тоже. Воскресните, кузина, отъ сна, бросьте вашихъ Catherine, m-me Basil, эти выѣзды — и узнайте другую жизнь. Когда запроситъ сердце свободы, не справляйтесь, что скажетъ кузина...

— А что скажетъ cousin — да?

— Да, тогда вспомните кузена Райскаго и смѣло подите въ жизнь страстей, въ незнакомую вамъ сторону...

— Но зачѣмъ же непремѣнно страсти, возражала она: — развѣ въ нихъ счастье?..

— Зачѣмъ гроза въ природѣ?.. Страсть — гроза жизни... О, еслибъ испытать эту сильную грозу! съ увлеченіемъ сказалъ онъ и задумался.

— Вотъ видите, cousin: все прочее, кромѣ васъ, велитъ бѣжать страстей, а вы меня хотите толкнуть, чтобы потомъ всю жизнь раскаяваться...

— Нѣтъ, не къ раскаянію поведетъ васъ страсть: она очиститъ воздухъ, прогонитъ міазмы, предрасудки, и дастъ вамъдохнуть настоящей жизнью... Вы не упадете, вы слишкомъ чисты, свѣтлы; порочны вы быть не можете.



Страсть не исказить васъ, а только подниметь высоко. Вы черпнете познанія добра и зла, уныетесь счастьемъ и потомъ задумаетесь на всю жизнь,—не этой красивой, сонной задумчивостью. Въ вашемъ покоѣ будетъ биться пульсъ, будетъ жить сознаніе счастья; вы будете прекраснѣе во сто разъ, будете нѣжны, грустны, передъ вами откроется глубина собственного сердца, и тогда весь міръ упадетъ передъ вами на колѣни, какъ падаю я...

Онъ въ самомъ дѣлѣ опускался на колѣни, но она сдѣлала движеніе ужаса, и онъ остановился.

— И когда я васъ встрѣчу потомъ, можетъ быть измученную горемъ,—но богатую и счастьемъ, и опытомъ, вы скажете, что вы не даромъ жили, и не будете отговариваться невѣдѣніемъ жизни. Вотъ тогда выгянете и туда, на улицу, захотите узнать, что дѣлають ваши мужики, захотите кормить, учить, лечить ихъ...

Она слушала задумчиво. Сомнѣнія, тѣни, воспоминанія, проходили по лицу.

— Не всѣ мужчины—Бѣловодовы, продолжалъ онъ: — не побойтесь другъ вашъ дать волю сердцу и языку, а услышавши разъ голосъ сердца, поживъ въ тишинѣ, наединѣ—гдѣ-нибудь въ чухонской деревнѣ, вы ужаснетесь вашего свѣта. Парижъ и Вѣна поблѣднѣють передъ той деревней. Прочь prince Pierre, comte Serge, тѣтушки, эти портьеры, драпри, съ глазъ долой портреты: все это мѣшаетъ только счастью. Вы возненавидите и Пашу съ Дашей, и швейцара, всѣ выѣзды—все вамъ опротивѣетъ тогда. Положеніе ваше будетъ душить васъ, вамъ покажется здѣсь тѣсно, скучно, безъ того, кого полюбите, кто научить васъ жить. Когда онъ придетъ, вы будете неловки, вздрогнете отъ его голоса, покраснѣете, поблѣднѣете, а когда уйдетъ, сердце у васъ вскрикнетъ и помчится за нимъ, будетъ ждать томительно завтра, послѣ-завтра... Вы не будете обѣдать, не уснете, и

просидите ночь вотъ тутъ въ креслѣ, безъ сна, безъ покоя. Но если увидите его завтра, даже почувете надежду увидѣть, вы будете свѣжѣ этого цвѣтка, и будете счастливы, и онъ счастливъ этимъ блестящимъ взглядомъ — не только онъ, но и чужой, кто васъ увидить въ этихъ лучахъ красоты...

— Что это, видно papà не будетъ? сказала она, оглядываясь вокругъ себя.—Это невозможно, что вы говорите! тихо прибавила потомъ.

— Почему? спросилъ онъ, впиваясь въ нее глазами.

У него воображеніе было раздражено: онъ невольно ставилъ на мѣстѣ героя себя; онъ глядѣлъ на нее, то смѣло, то стоялъ мысленно на колѣняхъ и млѣлъ, лицо тоже млѣло. Она взглянула на него раза два и потомъ боялась или не хотѣла глядѣть.

— Почему невозможно? повторилъ онъ.

— Вѣдь я—канарейка! .

— О, тогда эта портьера упадетъ, и вы выпорхнете изъ клѣтки; тогда вы возненавидите и тѣтокъ и этихъ полинявшихъ господъ, а на этотъ портретъ (онъ указалъ на портретъ мужа) взглянете съ враждой.

— Ахъ, cousin!.. съ упрекомъ остановила она.

— Да, кузина, вы будете считать потерянною всякую минуту, прожитую какъ вы жили и какъ живете теперь... Пропадетъ этотъ величавый, стройный видъ, будете задумываться, забудете одѣться въ это несгибающееся платье... съ досадой бросите массивный браслетъ, и крестикъ на груди не будетъ лежать такъ правильно и покойно. Потомъ, когда преодолѣте предковъ, тѣтушекъ, перейдете Рубиконъ — тогда начнется жизнь... мимо васъ будутъ мелькать дни, часы, ночи...

Онъ сѣлъ близко подлѣ нея: она не замѣчала, погруженная въ задумчивость.

— Вы не будете замѣчать ихъ, шепталъ онъ:— вы будете только наслаждаться, не оторвете вашей мечты отъ него, не сладите съ сердцемъ, вамъ все будетъ чудиться, чего съ вами никогда не было.

Онъ взялъ ее за руку, она вздрогнула.

— Одна, дома, вы вдругъ заплачете отъ счастья: около васъ будетъ кто-то невидимо ходить, смотрѣть на васъ... И если въ эту минуту явится онъ, вы закричите отъ радости, вскочите и... и... броситесь къ нему...

Оба они вдругъ встали.

— И отдадите все... все..., шепталъ онъ, держа ее за руку.

— *Assez, cousin, assez!* говорила она въ волненіи, съ нетерпѣніемъ, почти съ досадой отнимая руку.

— И будете еще жалѣть,—все шепталъ онъ: что нечего больше отдать, что нѣтъ жертвы! Тогда пойдете и на улицу, въ темную ночь, однѣ... если...

— *Mon Dieu, mon Dieu!* говорила она, глядя на дверь:— что вы говорите?... вы знаете сами, что это невозможно!

— Все возможно, шепталъ онъ:—вы станете на колѣни, страстно прильнете губами къ его рукѣ, и будете плакать отъ наслажденія...

Она сѣла на кресло, откинула голову и вздохнула тяжело.

— *Je vous demande une grâce, cousin,* сказала она.

— Требуйте, приказывайте! говорилъ онъ восторженно.

— *Laissez moi!*

Онъ пошелъ къ двери и оглянулся. Она сидитъ неподвижно: на лицѣ только нетерпѣніе, чтобъ онъ ушелъ. Едва онъ вышелъ, она налила изъ графина въ стаканъ воды,

медленно вышла его и потомъ велѣла отложить карету. Она сѣла въ кресло и задумалась, не шевелясь.

Черезъ нѣсколько минутъ послышались шаги, портьера распахнулась. Софья вздрогнула, мелькомъ взглянула въ зеркало и встала. Вошелъ ея отецъ, съ нимъ какой-то гость, мужчина среднихъ лѣтъ, высокій, брюнетъ, съ задумчивымъ лицомъ. Физиономія не русская. Отецъ представилъ его Софьѣ.

— Графъ Миларн, *ma chère amie*, сказалъ онъ: — *grand musicien et le plus aimable garçon du monde*. Двѣ недѣли здѣсь: ты видѣла его на балѣ у княгини? Извини, душа моя, я былъ у графа: онъ не пустилъ въ театръ.

— Я велѣла отложить карету, papà; мнѣ тоже не хочется, отвѣчала она.

Софья попросила гостя сѣсть. Они стали говорить о музыкѣ, а Николай Васильевичъ, пожевавъ губами, ушелъ въ гостиную.

## XV.

Райскій вернулся домой въ чаду, едва замѣчая дорогу, улицы, проходящихъ и проѣзжающихъ. Онъ видѣлъ все одно—Софью, какъ картину, въ рамкѣ изъ бархата, кружевъ, всю въ шелку, въ брилліантахъ, но уже не прежнюю покойную и недоступную чувству Софью.

На лицѣ у ней онъ успѣлъ прочесть первые, робкіе лучи жизни, мимолетные проблески нетерпѣнія, потомъ тревоги, страха, и, наконецъ добился вызвать какое-то волненіе, можетъ быть, безсознательную жажду любви.

Онъ бросилъ сомнѣніе въ нее, вопросы, можетъ быть, сожалѣніе о даромъ потерянномъ прошломъ, словомъ, взволновалъ ее. Ему снилась въ перспективѣ страсть, драма, превращеніе статуи въ женщину.



Пока онъ гордился про себя и тѣмъ крошечнымъ успѣхомъ своей пропаганды, что, кажется, предки сошли въ ея глазахъ съ высокаго пьедестала.

„Еще два, три вечера, думаль онъ, еще приподниметь онъ ей уголокъ завѣсы, она взглянетъ въ лучистую даль, и вдругъ пойметъ жизнь и счастье. Потомъ дальше, когда-нибудь, взгляды ея остановятся на комъ-то въ изумленіи, потомъ опустится, взглянетъ широко опять и онѣмѣеть—и она мгновенно преобразится.

— Но кто же будетъ этотъ „кто-то?“ спросилъ онъ ревниво. Не тотъ ли, кто первый вызвалъ въ ней сознаніе о чувствѣ? Не онъ ли вправѣ бросить ей въ сердце и самое чувство?

Онъ поглядѣлъ въ зеркало и задумался, подошелъ къ форточкѣ, открылъ ее,дохнуль свѣжимъ воздухомъ: до него донеслись звуки віолончели.

— Ахъ, опять этотъ пилить! съ досадою сказалъ онъ, глядя на противоположное окно флигеля.—И опять то же! прибавилъ онъ, захлопывая форточку.

Звуки, хотя глухо, но все доносились до него. Каждое утро и каждый вечеръ видѣлъ онъ въ окно человѣка, нагнувшагося надъ инструментомъ и слышалъ повтореніе, по цѣлымъ недѣлямъ, почти неисполнимыхъ пассажей, по пятидесяти, по сто разъ. И мѣсяцы проходили такъ.

— Осель! сказалъ Райскій и легъ на диванъ, хотѣлъ заснуть, но звуки не давали, какъ онъ ни прижималъ ухо къ подушкѣ, чтобъ заглушить ихъ. Нѣтъ, такъ и рѣжутъ.

— Право, осель! повторилъ онъ и самъ сѣлъ за фортепіано и началъ брать сильныя аккорды, чтобъ заглушить віолончель. Потомъ залился веселою трелью, перебралъ мотивы изъ нѣсколькихъ оперъ, чтобъ не слышать несноснаго мычанья, и насилу забылся за импровизаціей.

Передъ нимъ была Софья: играя онъ видѣлъ все ее, уже

съ пробудившимися страстями, страдающую и любящую— и только дошло до вопроса: „кого?“ звуки у него будто оборвались. Онъ всталъ и открылъ форточку.

— Все еще играетъ! съ изумленіемъ повторилъ онъ и хотѣлъ снова захлопнуть, но вдругъ остановился и замеръ на мѣстѣ.

Звуки не тѣ: не мычанье, не повтореніе трудныхъ пассажей слышитъ онъ. Сильная рука водила смычкомъ, будто по нервамъ сердца: звуки послушно плакали и хохотали, обдавали слушателя точно морской волной, бросали въ пучину и вдругъ выкидывали на высоту и несли въ воздушное пространство.

Цѣлые міры отверзались передъ нимъ, понеслись видѣнія, открылись волшебныя страны. У Райскаго широко открылись глаза и уши: онъ видѣлъ только фигуру человѣка въ одномъ жилетѣ, свѣча освѣщала мокрый лобъ, глазъ было не видно. Борисъ пристально смотрѣлъ на него, какъ бывало на Васюкова.

— „А! чтò это такое!“ думалъ онъ, слушая съ дрожью почти ужаса эти широко-разливающіяся волны гармоніи.

— Чтò это такое? повторилъ онъ: — откуда онъ взялъ эти звуки? Кто ихъ далъ ему? Ужели мѣсяцы и годы ослинаго терпѣнія и упорства? Рисовать съ бюстовъ, пилить по струнамъ—годы! А даетъ человѣческой фигурѣ, въ картинѣ, огонь, жизнь, — одна волшебная точка, штрихъ; страсть въ звуки вливаетъ — одна нервная дрожь пальца! У меня есть и точка, и нервная дрожь — и всѣ эти молніи горятъ, здѣсь, въ груди—говорилъ онъ, ударяя себя въ грудь:—И я безсиленъ перебросить ихъ въ другую грудь, зажечь огнемъ своимъ огонь въ крови зрителя, слушателя! Священный огонь не переходитъ у меня въ звуки, не ложится послушно въ картину! Зачѣмъ не группируются стройно лица поэмы и романа?

И опять слушалъ онъ, замирая: не слыхать ни смычка, ни струнъ; инструмента не было, а пѣла свободно, вдохновенно, будто грудь самого артиста.

У Райскаго навернулись слезы умиленія, и онъ тихо закрылъ форточку.

А вѣдь есть упорство и у него, у Райскаго! Какія усилія напрягалъ онъ, чтобъ... сладить съ кузиной, сколько ума, игры воображенія, труда положилъ онъ, чтобъ пробудить въ ней огонь, жизнь, страсть... Вотъ куда уходятъ эти силы!

„Не вноси искусства въ жизнь, шепталъ ему кто-то, а жизнь въ искусство!... Береги его, береги силы!“

Онъ подошелъ къ мольберту; снялъ зеленую тафту: тамъ былъ портретъ Софьи—глаза ея, плечи ея и спокойствіе ея.

— Но теперь она ужъ не такая! шепталъ онъ: — явились признаки жизни: я ихъ вижу; вотъ они, передъ глазами у меня: какъ уловить ихъ?...

Онъ схватилъ кисть, палитру, помалевалъ глаза, измѣнилъ немного линію губъ—и со вздохомъ положилъ кисть и отошелъ. Платье, эти кружева, бархатъ кое-какъ набросаны. А пуще всего руки не вѣрны. И темно: краски вечеромъ измѣняются.

Онъ поглядѣлъ еще нѣсколько запыленныхъ картинъ: все начатые и брошенные эскизы, потомъ подошелъ къ печкѣ, перебралъ нѣсколько рамокъ, останавливаясь на нѣкоторыхъ, и между прочимъ, на головѣ Гектора.

Наконецъ досталъ небольшой масляный, будто скорой рукой набросанный и едва подмалеванный портретъ молодой, бѣлокурой женщины, поставилъ его на мольбертъ и, облокотясь локтями на столъ, впустивъ пальцы въ волосы, остановилъ неподвижный, исполненный глубокой грусти взглядъ на этой головѣ.

Долго сидѣлъ онъ въ задумчивомъ снѣ, потомъ очнулся,

пересѣлъ за письменный столъ и началъ перебирать рукописи, — на нѣкоторыхъ останавливался, качалъ головой, рвалъ и бросалъ въ корзину, подъ столъ, другія откладывалъ въ сторону.

Между кипами литературныхъ опытовъ, стиховъ и прозы, онъ нашелъ одну тетрадь, въ заглавіи которой стояло: „Наташа“.

Тамъ былъ записанъ старый эпизодъ, когда онъ только что расцвѣталъ, сближался съ жизнью, любилъ и его любили. Онъ записалъ его когда-то, подъ вліяніемъ чувства, которымъ жилъ, не зная тогда еще, зачѣмъ,—можетъ быть, съ сентиментальной цѣлью посвятить эти листки памяти своей тогдашней подруги, или оставить для себя замѣтку и воспоминаніе въ старости о молодой своей любви, а можетъ быть, у него уже тогда бродила мысль о романѣ, о которомъ онъ говорилъ Аянову, и мелькалъ сюжетъ для трогательной повѣсти изъ собственной жизни.

Онъ тамъ говорилъ о себѣ въ третьемъ лицѣ, набрасывая легкій очеркъ, сквозь который едва пробивался образъ нѣжной, любящей женщины. Думая впослѣдствіи о своемъ романѣ, онъ предполагалъ выработать этотъ очеркъ и включить въ романъ, какъ въ эпизодъ.

„.... Онъ, воротясь домой послѣ обѣда въ артистическомъ кругу, — читалъ Райскій въ полголоса свою тетрадь—нашелъ у себя на столѣ записку, въ которой было сказано: „Навѣсти меня, милый Борисъ: я умираю!... Твоя Наташа“.

— Боже мой, Наташа! закричалъ онъ не своимъ голосомъ и побѣжалъ съ лѣстницы, бросился на улицу и поскакалъ на извозикѣ къ Знаменью, въ переулокъ, вбѣжалъ въ домъ, въ третій этажъ.—Двѣ недѣли не былъ, двѣ недѣли—это вѣчность! Что она?



Онъ остановился передъ дверью, переводя духъ, и отъ волненія, то брался за ручку колокольчика, то опять оставлялъ ее. Наконецъ позвонилъ и вошелъ.

Его встрѣтила хозяйка квартиры, пожилая женщина, чиновница, молча, опутивъ глаза какъ-будто съ укоризной отвѣчала на поклонъ, а на вопросъ его, сдѣланный шопотомъ, съ дрожью:—Что она?—ничего не сказала, а только пропустила его впередъ, осторожно затворила за нимъ дверь и сама ушла.

Онъ на цыпочкахъ вошелъ въ комнату и оглядѣлъ ее, съ безпокойствомъ отыскивая, гдѣ Наташа.

Въ комнатѣ былъ волосяной диванъ краснаго дерева, круглый столъ передъ диваномъ; на столѣ стоялъ рабочій ящикъ и лежали неконченныя женскія работы.

Въ углу теплилась лампада; по стѣнамъ стояли волосяные стулья; на окнахъ горшки съ увядшими цвѣтами, да двѣ клѣтки, въ которыхъ дремали насупившіяся канарейки.

Онъ глядѣлъ на ширмы и стоялъ боязливо, боясь идти туда.

— Кто тамъ? раздался слабый голосъ изъ-за ширмъ. Онъ вошелъ.

За ширмами, на постели, среди подушекъ, лежала, освѣщаемая темнымъ свѣтомъ маленькаго ночника, какъ восковая, молодая, бѣлокурая женщина. Взглядъ былъ горячъ, но сухъ, губы тоже жаркія и сухія. Она хотѣла повернуться, увидѣвъ его, сдѣлала живое движеніе и схватилась рукой за грудь.

— Это ты, Борисъ, ты! съ нѣжной, томной радостью говорила она, протягивая ему обѣ исхудалыя, блѣдныя руки, глядѣла и не вѣрила глазамъ своимъ.

Онъ бросился къ ней и поцѣловалъ обѣ руки.

— Ты въ постели — и до сегодня не дала мнѣ знать! упрекалъ онъ.

Она старалась слабой рукой сжать его руку и не могла, опустила голову опять на подушку.

— Прости, что потревожила и теперь, старалась она выговорить:—мнѣ хотѣлось увидѣть тебя. Я всего недѣлю, какъ слегла: грудь заболѣла... Она вздохнула.

Онъ не слушалъ ее, съ ужасомъ вглядываясь въ ея лицо, недавно еще смѣющееся. И что стало теперь съ ней!

— „Что съ тобой?...“ хотѣлъ онъ сказать, не выдержавъ и, опустивъ лицо въ подушку къ ней, вдругъ разразился рыданіемъ.

— Что ты, что ты! говорила она, лаская нѣжно рукой его голову: она была счастлива этими слезами.—Это ничего, докторъ говорить, что пройдетъ...

Но онъ рыдалъ, онъ понималъ, что не пройдетъ.

— Я думала, ты утѣшишь меня. Мнѣ такъ было скучно одной и страшно... Она вздрогнула и оглянулась около себя.—Книги твои всѣ прочла, вонъ онѣ, на стулѣ, прибавила она. Когда будешь пересматривать, увидишь тамъ мои замѣтки карандашемъ; я подчеркивала всѣ мѣста, гдѣ находила сходство... какъ ты и я... любили... Охъ, устала, не могу говорить... Она остановилась, смочила языкомъ горячія губы. — Дай мнѣ пить, вонъ тамъ, на столѣ!

Проглотивъ нѣсколько капель, она указала ему мѣсто на подушкѣ и сдѣлала знакъ, чтобъ онъ положилъ свою голову. Она положила ему руку на голову, а онъ украдкой утиралъ слезы.

— Тебѣ скучно здѣсь, заговорила она слабо: — прости, что я призвала тебя... Какъ мнѣ хорошо теперь, еслибъ ты зналъ! въ мечтательномъ забытіи говорила она, закрывъ глаза и перебирая рукой его волосы. Потомъ обняла его, поглядѣла ему въ глаза, стараясь улыбнуться. Онъ молча и нѣжно отвѣчалъ на ея ласки, глотая навернувшіяся слезы.

— Ты посидишь со мною сегодня? спросила она, глядя ему въ глаза.

— Весь вечеръ, всю ночь; я не отойду отъ тебя, пока...

Слезы опять подступили и онъ едва справился съ ними.

— Нѣтъ, нѣтъ, зачѣмъ? Я не хочу, чтобъ ты скучалъ... Ты усни, успокойся, со мной ничего, право, ничего... Она хотѣла улыбнуться и не могла.

— Я чтó-то скажу тебѣ: ты не разсердишься?..

Онъ пожалъ ей влажную руку.

— Я схитрила... шептала она, приложивъ свою щеку къ его щекѣ:—мнѣ вотъ ужъ третій день легче, а я написала, что умираю... мнѣ хотѣлось заманить тебя... Прости меня!

Она улыбнулась, а онъ оцѣпенѣлъ отъ ужаса: онъ слышалъ, чтó значить это „легче“. Но онъ старался улыбнуться, судорожно сжалъ ей руки и съ боязнью глядѣлъ, то на нее, то вокругъ себя.

Вдругъ изъ свѣта, изъ толпы веселыхъ пріятелей, художниковъ, красавицъ, онъ попалъ какъ-будто въ склепъ. Онъ сѣлъ подлѣ постели и ушелъ въ свою фантазію, гдѣ и раздолье молодой его жизни, и вдругъ упавшее на него горе стояли какъ двѣ противоположныя картины. Большая, веселая комната, группа собесѣдниковъ, здоровыхъ, поющихъ, говорящихъ шумно вокругъ стола, за роскошнымъ обѣдомъ, среди цвѣтовъ, шипящихъ бокаловъ. Между собесѣдниками веселыя лица женщинъ блестятъ красотой, наслажденіемъ. Тутъ артистки музыки, балета, пѣвцы, художники и золотая молодежь, красота, умъ, таланты, юморъ—вся солнечная сторона жизни! Вдругъ онъ шагнулъ въ ея мрачную тѣнь: эта маленькая, бѣдная комната и въ ней угасающая, подкошенная жизнь.

Тамъ, у царицы пира, свѣжій, блистающій молодостью лобъ и глаза, каскадомъ падающая на затылокъ и шею тем-

ная коса, высокая грудь и роскошные плечи. Здѣсь — эти впадшіе, едва мерцающіе, какъ искры, глаза, сухіе, безцвѣтные волосы, осунувшіяся кости рукъ... Обѣ картины подавляли его ужасающими крайностями, между которыми лежала такая бездна, а между тѣмъ онѣ стояли такъ близко другъ къ другу. Въ галлереѣ ихъ не поставили бы рядомъ: въ жизни онѣ сходились — и онѣ смотрѣли одичалыми глазами на обѣ.

Его пронимала дрожь ужаса и скорби. Онѣ, противъ воли, группировалъ фигуры, давалъ положеніе тому, другому, себѣ, добавлялъ чего не доставало, исключалъ, что портило общій видъ картины. И въ то же время самъ ужасался процесса своей безошадной фантазіи, хватался рукой за сердце, чтобъ унять боль, согрѣть леденѣющую отъ ужаса кровь, скрыть муку, которая готова была страшнымъ воплемъ исторгнуться у него изъ груди при каждомъ ея болѣзненномъ стоаніи.

Эта любовь на смертномъ одрѣ жгла его, какъ раскаленное желѣзо; каждую ласку принималъ онѣ съ рыданіемъ, какъ сорванный съ могилы цвѣтокъ.

Когда умолкала боль и слышались только трудные вздохи Наташи, передъ нимъ тихо раздвигалась вся исторія этого, теперь утасяющаго бытія. Онѣ видѣлъ тамъ ее когда-то молоденькой дѣвочкой, съ стыдливимъ, простодушнымъ взглядомъ, живущей подъ слабымъ присмотромъ бѣдной, больной матери.

Онѣ узналъ Наташу въ опасную минуту, когда ея невѣдѣнію и невинности готовились сѣти. Матери, подъ видомъ участія и старой дружбы, выхлопоталъ посѣдѣвшій мнимый другъ пенсіонъ, присылалъ доктора и каждый день пріѣзжалъ, по вечерамъ, узнавать о здоровьѣ, отечески горячо цѣловалъ дочь...

Между тѣмъ мать медленно умирала той же болѣзью,



отъ которой угасала теперь, немногими годами пережившая ее дочь. Райскій понялъ все и рѣшился спасти дитя.

Спасая искренно и горячо отъ сѣтей „благодѣтеля“, открывая глаза и матери, и дочери, на значеніе его благодѣяній — онъ влюбился самъ въ Наташу, Наташа влюбилась въ него—и оба нашли счастье другъ въ другѣ, оба у смертнаго одра матери получили на него благословеніе.

У обоихъ былъ одинъ простой и честный образъ семейнаго союза. Онъ уважалъ ея невинность, она цѣнила его сердце—оба протягивали руки къ брачному вѣнку—и оба... не устояли.

Полгода томилась мать на постели и умерла. Этотъ гробъ, ставши между ими и бракомъ — глубокій трауръ, вдругъ облекшій ея молодую жизнь, надломилъ и ея хрупкій, наследственно-болѣзненный организмъ, въ которомъ, еще сильнѣе скорби и недуга, горѣла любовь и волновала нетерпѣніемъ и жаждой счастья.

Доктора положили свой запретъ на нетерпѣливыя желанія:—Надо подождать, говорили имъ, три мѣсяца, четыре. — Брачный алтарь ждалъ, а любовь увлекла ихъ впередъ.

И онъ спасъ ее отъ старика, спасъ отъ бѣдности, но не спасъ отъ себя. Она полюбила его не страстью, а какою-то, ничѣмъ невозмутимою, ничего не боящеюся любовью, безъ слезъ, безъ страданій, безъ жертвъ, потому что не понимала, что такое жертва, не понимала, какъ можно полюбить и опять не полюбить.

Для нея любить — значило дышать, жить, не любить—перестать дышать и жить. На вопросы его: — Любишь-ли? Какъ?—она, сжавъ ему крѣпко шею и стиснувъ зубы, подѣтски отвѣчала:—Вотъ такъ! А на вопросъ:—Перестанешь ли любить?—говорила задумчиво:—Когда умру, такъ перестану.

Она любила, ничего не требуя, ничего не желая, приняла друга, какъ онъ есть, и никогда не представляла себѣ, могъ ли бы, или долженъ ли бы онъ быть инымъ? бываетъ ли другая любовь, или всѣ такъ любятъ, какъ она?

А онъ мечталъ о страсти, о ея безконечно-разнообразныхъ видахъ, о всѣхъ сверкающихъ молніяхъ, о всемъ зноѣ сильной, пылкой, ревливой любви, и тогда, когда они вошли въ ея лѣто, въ жаркую пору.

Наташа похорошѣла, пополнила, была весела, но ни разу на лицѣ у ней не блеснулъ таинственный лучъ затаеннаго, сдержаннаго упоенія, никогда—потеряннаго, безумнаго взгляда, которымъ выговаривается пожирающее душу пламя.

А между тѣмъ тутъ все было для счастья: для сердца открывался вѣчный, теплый пріютъ. Для ума предстояла длинная, нескончаемая работа—развиваться, развивать ее, руководить, воспитывать молодой, женскій, воспріимчивый умъ. Работа тоже творческая—творить на благодарной почвѣ, творить для себя, создавать живой идеалъ собственнаго счастья.

Но фантазія требовала роскоши, тревогъ. Покой усыплялъ ее—и жизнь его какъ-будто останавливалась. А она ничего этого не знала, не подозрѣвала, какой змѣй гнѣзвился въ немъ рядомъ съ любовью.

Съ той минуты какъ она полюбила, въ глазахъ и улыбкѣ ея засвѣтился тихій рай: онъ свѣтился два года и свѣтился еще теперь изъ ея умирающихъ глазъ. Похолодѣвшія губы шептали свое неизмѣнное „люблю“, рука повторяла привычную ласку.

Онъ иногда утомлялся, исчезалъ на мѣсяцы и, возвращаясь, бывалъ встрѣчаемъ опять той же улыбкой, тихимъ свѣтомъ глазъ, шепотомъ нѣжной, кроткой любви.

Онъ былъ увѣренъ, что встрѣтить это всегда, долго наслаждался этой увѣренностью, а потомъ въ ней же нашелъ зерно скуки и начало разложенія счастья.

Никогда — ни упрека, ни слезы, ни взгляда удивленія или оскорбленія за то, что онъ прежде былъ не тотъ, что завтра будетъ опять иной, чѣмъ сегодня, что она проводитъ дни оставленная, забытая, въ страшномъ одиночествѣ.

У ней и въ сердцѣ, и въ мысли не было упрековъ и слезъ, не срывались укоризны съ языка. Она не подозрѣвала, что можно сердиться, плакать, ревновать, желать, даже требовать чего-нибудь именемъ своихъ правъ.

У ней было одно желаніе и право: любить. Она думала и вѣрила, что такъ, а не иначе, надо любить и быть любимой и что весь міръ такъ любить и любимъ.

На отлучки его она смотрѣла какъ на непріятное, случайное обстоятельство, какъ, напримѣръ, на то, еслибъ онъ заболѣлъ. А возвращался онъ, — она была кротко счастлива, и полагала, что если его не было, то это такъ надо, это въ порядкѣ вещей.

Обида, зло падали въ жизни на нее иногда и съ другихъ сторонъ: она блѣднѣла отъ боли, отъ изумленія, подкашивалась и безсознательно страдала, принимая зло покорно, не зная, что можно отдать обиду, заплатить зломъ.

Она привязывалась къ тому, что правилось ей, и умирала съ привязанностью, все думая, что *такъ надо*.

Это былъ чистый, свѣтлый образъ, какъ Перуджиніевская фигура, простодушно и безсознательно жившій и любившій, съ любовью пришедшій въ жизнь и съ любовью отходящій отъ нея, да съ кроткой и тихой молитвой.

Жизнь и любовь какъ-будто пропѣли ей гимнъ и она сладко задумалась, слушая его, и только слезы умиленія и вѣры застывали на ея умирающемъ лицѣ, безъ укоризны за зло, за боль, за страданія.

Умирала она, частію отъ небрежнаго воспитанія, отъ небрежнаго присмотра, отъ проведеннаго, въ скудности и тѣснотѣ, болѣзненнаго дѣтства, отъ попавшей въ ея организмъ наслѣдственной капли яда, развившагося въ смертельный недугъ, отъ того наконецъ, что всѣ эти „такъ надо“ хотя не встрѣчали ни воплей, ни раздраженія съ ея стороны, а все же ложились на слабую, молодую грудь и подтачивали ее.

Она прожила бы до старости, не упрекнувъ, ни жизнь, ни друга, ни его непостоянную любовь, и никого ни въ чемъ, какъ не упрекаетъ теперь никого и ничто за свою смерть. И ея болѣзненная, страдальческая жизнь, и преждевременная смерть казались ей—*такъ надо*.

Она никогда не искала смысла той апатіи, скуки и молчанія, съ которыми другъ ея иногда смотрѣлъ на нее, не догадывалась объ отжившей любви и не поняла бы никогда причинъ.

А онъ думалъ часто, сидя, какъ убитый, въ зломъ молчаніи, около нея, не слушая ея простодушнаго лепета, не отвѣчая на кроткія ласки: „Нѣтъ—это не та женщина, которая, какъ сильная рѣка, ворвется въ жизнь, унесетъ всѣ преграды, разольется по полямъ. Или какъ огонь освѣтитъ путь, вызоветъ силы, закалитъ ихъ энергіей и броситъ трепеть, жаръ, нѣгу и страсть въ каждый моментъ, въ каждую мысль... направить жизнь, поможетъ угадать ея смыслъ, задачу и совершить ее. Гдѣ взять такую львицу? А этотъ ягненокъ нѣжно щиплетъ траву, обмахивается хвостомъ и жмется ко мнѣ, какъ къ маткѣ... Нѣтъ, это растительная жизнь, не жизнь, а сонъ“...

Онъ широкой зѣвотой отвѣчалъ на ея лепетъ, ласки, бралъ шляпу и исчезалъ по недѣлямъ, по мѣсяцамъ, или въ студию художника, или на тѣ обѣды и ужины, гдѣ охватывалъ его чадъ и шумъ.



Сидя теперь у одра, онъ мысленно читалъ исторію Наташи и своей любви, и когда вся исторія тихо развилась, и образъ умирающей сталъ передъ нимъ нѣмымъ укоромъ, онъ поблѣднѣлъ.

Онъ вспомнилъ свое забвеніе, небрежность, — другихъ оскорбленій быть не могло: самъ дьяволъ упалъ бы на колѣни передъ этимъ голубинымъ, нѣжнымъ, безотвѣтнымъ взглядомъ.

Онъ клялъ себя, что не отвѣчалъ цѣлымъ океаномъ любви на отданную ему одному жизнь, что не окружилъ ее оградой нѣжности отца, брата, мужа, далъдохнуть на нее, не только вѣтру, но и смерти.

— Смерть! Боже, дай ей жизнь и счастье и возьми у меня все! вопила въ немъ поздняя, отчаянная мольба. Онъ мысленно всходилъ на эшафотъ, самъ клалъ голову на плаху и кричалъ:

— Я преступникъ!... если не убилъ, то далъ убить ее: я не хотѣлъ понять ее, искалъ ада и молній тамъ, гдѣ былъ только тихій свѣтъ лампы и цвѣты. Что же я такое, Боже мой! Злодѣй! Ужели я...

Онъ опять принималъ лицомъ къ ея подушкѣ и мысленно молилъ не умирать, творилъ обѣты счастья до самопожертвованія.

„Поздно! Поздно!“ говорило ему отчаяніе и ея трудные вздохи.

Онъ вспомнилъ, что когда она стала будто бы цѣлью всей его жизни, когда онъ ткалъ узоръ счастья съ ней, — онъ, какъ змѣй, убирался въ ея цвѣта, окружалъ себя, какъ въ картинѣ, этимъ же тихимъ свѣтомъ; увидѣвъ въ ней искренность и нѣжность, изъ которыхъ создано было ея нравственное существо, онъ былъ искрененъ, улыбался ея улыбкой, любовался съ ней птичкой, цвѣткомъ, радовался дѣтски ея новому платью, шелъ съ ней плакать на

могилу матери и подруги, потому что плакала она, сажалъ цвѣты...

И вспомнилъ онъ, что любовался птичкой, сажалъ цвѣты и плакалъ—искренно, какъ и она. Куда же дѣлись эти слезы, улыбки, наивныя радости, и зачѣмъ опошлились онѣ, и зачѣмъ она не нужна для него теперь?..

— О чемъ ты думаешь? раздался слабый голосъ у него надъ ухомъ:—Дай еще пить... Да не гляди на меня, продолжала она, напившись:—я стала ни на что не похожа! Дай мнѣ гребенку и чепчикъ, я надѣну. А то ты... разлюбишь меня, что я такая... гадкая!...

Она думала, что онъ еще не разлюбилъ ее! Онъ подаль ей гребенку, маленькій чепчикъ; она хотѣла причесаться, но рука съ гребенкой упала на колѣни.

— Не могу, устала! сказала она и печально задумалась.

А его рѣзали ножи, голова у него горѣла. Онъ вскочилъ и ходилъ съ своей картиной въ головѣ по комнатѣ, бросающъ почти въ изступленіи во всѣ углы, не помня себя, не зная, что онъ дѣлаетъ. Онъ вышелъ къ хозяйкѣ, спросилъ, ходилъ ли докторъ, которому онъ поручилъ ее.

Та сказала, что ходилъ и привозилъ съ собой другихъ, что она переплатила имъ вотъ столько-то:—У меня записано, прибавила она.

— Чтожъ тѣ? спросилъ онъ.

— Извѣстно что: смотрѣли ее, слушали ея грудь, выходили въ другую комнату, молча пожимали плечами и, сжавъ въ кулакъ сунутую ассигнацію, застегивали фракъ и проворно исчезали.

Райскій, цѣпенѣя отъ ужаса, выслушалъ этотъ краткій отчетъ и опять шелъ къ постели. Оживленный пиръ съ друзьями, артисты, пѣвицы, хмѣльное веселье, — все это пропало вмѣстѣ со всякой надеждой продлить эту жизнь.

Передъ нимъ было только это угасающее лицо, страдающее безъ жалобы, съ улыбкой любви и покорности;—это, не просящее ничего, ни защиты, ни даже немножко силъ, существо!

А онъ стоялъ тутъ, полный здоровья и этой силы, которую расточалъ еще сегодня, гдѣ не нужно ея, и бросилъ эту птичку на долю бурь и непогодъ!

Зачѣмъ не приковалъ онъ себя тутъ, зачѣмъ уходилъ, когда привыкъ къ ея красотѣ, когда оттискъ этой, когда-то милой, нѣжной головки сталъ блѣднѣть въ его фантазіи? Зачѣмъ, когда туда стали тѣсниться другіе образы, онъ не перетерпѣлъ, не воздержался, не остался вѣренъ ему?

Это былъ не подвигъ, а долгъ. Безъ жертвъ, безъ усилій и лишеній нельзя жить на свѣтѣ: „жизнь—не садъ, въ которомъ растутъ только однѣ цвѣты“, поздно думалъ онъ и вспомнилъ картину Рубенса, „Садъ любви“, гдѣ подъ деревьями попарно сидятъ изящные господа и прекрасныя госпожи, а около нихъ порхають амурь.

— Лжецъ! обозвалъ онъ Рубенса: — Зачѣмъ, въ пережку съ любовниками, не насаждалъ онъ въ саду нищихъ въ рубищѣ и умирающихъ больныхъ: это было бы вѣрно!.. А могъ ли бы я? спросилъ онъ себя.—Чтò бы было, еслибъ онъ принудилъ себя жить съ нею и для нея? Сонъ, апатія и лютѣйшій врагъ—скука! Явилась въ готовой фантазіи длинная перспектива этой жизни, картина этого сна, апатіи, скуки: онъ видѣлъ тамъ себя, какъ онъ былъ мраченъ, жòстокъ, сухъ, и какъ, можетъ быть, еще скорѣе свелъ бы ее въ могилу. Онъ съ отчаяніемъ махнулъ рукой.

— Можно удержаться отъ бѣшенства, оправдывалъ онъ себя,—но отъ апатіи не удержишься, скуку не утанишь, хоть подвинь всю свою волю на это! А это убило бы ее: съ лѣтами она догадалась бы... Да, съ лѣтами, а потомъ примирилась бы, привыкла, утѣшилась—и жила! А теперь умираетъ,

и въ жизни его вдругъ ложится неожиданная и быстрая драма, цѣлая трагедія, глубокій, психологическій романъ.

— Поди сюда, посиди со мной! — раздался голосъ Наташи, прервавшій его мысли.

Черезъ недѣлю послѣ того онъ шелъ съ поникшей головой за гробомъ Наташи, то читая себѣ проклятія за то, что разлюбилъ ее скоро, забывалъ по-долгу и по-часту, не берегъ, то утѣшаясь тѣмъ, что онъ не властенъ былъ въ своей любви, что сознательно онъ никогда не огорчилъ ее, былъ съ нею нѣженъ, внимателенъ, что наконецъ не въ немъ, а въ ней не доставало матеріала, чтобъ поддержать неугасимое пламя, что она уснула въ своей любви и уже никогда не выходила изъ тихаго сна, не будила и его, что въ ней не было признака страсти, этого бича, которымъ подгоняется жизнь, отъ которой рождаются благотворная сила, производительный трудъ...

„Нѣтъ, нѣтъ,—она не то, она—голубь, а не женщина“! думалъ онъ, заливаясь слезами и глядя на тихо качающійся гробъ.

Онъ задумчиво стоялъ въ церкви, смотрѣлъ на вибрацію воздуха отъ теплящихся свѣчъ—и на небольшую кучку провожатыхъ: впереди всѣхъ стоялъ какой-то толстый, высокій господинъ, родственникъ, и равнодушно нюхалъ табакъ. Рядомъ съ нимъ виднѣлось расплывшееся и раскраснѣвшееся отъ слезъ лицо тѣтки, тамъ кучка дѣтей и нѣсколько убогихъ старухъ.

У гроба на полу стояла на колѣняхъ послѣ всѣхъ пришедшая и болѣе всѣхъ пораженная смертью Наташи ея подруга: волосы у ней были не причесаны, она дико осматривалась вокругъ, потомъ глядѣла на лицо умершей, и, положивъ голову на полъ, судорожно рыдала...

Онъ медленно ушелъ домой и двѣ недѣли ходилъ убитый, молчаливый, не заглядывалъ въ студию, не видался съ прія-



телями, и бродилъ по уединеннымъ улицамъ. Горе укладывалось, слезы изсякли, острая боль затихла и въ головѣ только оставалась вибрація воздуха отъ свѣтъ, тихое пѣніе, расплывшееся отъ слезъ лицо тѣтки и безмолвный, судорожный плачь подруги...

Здѣсь кончилась рукопись.

Райскій, окончивъ чтеніе, сидѣлъ нѣсколько времени угрюмый, задумчивый.

— Блѣдень этотъ очеркъ! сказалъ онъ про себя:—такъ теперь не пишутъ. Эта наивность достойна эпохи „Блѣдной Лизы“. И портретъ ея (онъ подошелъ къ мольберту) — не портретъ, а чуть подмалеванный эскизъ.

— Блѣдная Наташа! со вздохомъ отнесся онъ наконецъ къ ея памяти, глядя на эскизъ:—Ты и живая была также блѣдно окрашена въ цвѣта жизни, какъ и на полотнѣ моей кистью, и на бумагѣ перомъ! Надо передѣлать и то, и другое! заключилъ онъ.

Потомъ со вздохомъ спряталъ тетрадь, взялъ кучку бѣлыхъ листковъ и началъ набрасывать программу новаго своего романа.

Эпизодъ, обратившійся въ воспоминаніе, представлялся ему чужимъ событіемъ. Онъ смотрѣлъ на него объективно и внесъ на первый планъ въ своей программѣ.

Онъ прописалъ до свѣта, возвращался къ тетрадямъ не одинъ разъ во дню, приходя домой вечеромъ опять садился къ столу и записывалъ, что снилось ему въ перспективѣ.

Сцены, характеры, портреты родныхъ, знакомыхъ, друзей, женщинъ, передѣлывались у него въ типы и онъ исписалъ цѣлую тетрадь, носилъ съ собой записную книжку, и часто въ толпѣ, на вечерѣ, за обѣдомъ, вынималъ клочекъ бумаги, карандашъ, чертилъ нѣсколько словъ, пряталъ, вынималъ опять и записывалъ, задумываясь, забываясь, останавливаясь на полусловѣ, удаляясь внезапно изъ толпы въ уединеніе.

Между тѣмъ жизнь будила и отрывала его отъ творческихъ сновъ и звала, отъ художественныхъ наслажденій и мукъ, къ живымъ наслажденіямъ и реальнымъ горестямъ, среди которыхъ самую лютою была для него скука. Онъ бросался отъ ощущенія къ ощущенію, ловилъ явленія, берегъ и задерживалъ почти силою впечатлѣнія, требуя пищи не одному воображенію, но все чего-то ища, желая, пробуя на чемъ-то остановиться...

Теперь онъ возложилъ какія-то, еще неясныя ему самому, надежды на кузину Бѣловодову, наслаждаясь сближеніемъ съ ней. Ему пока ничего не хотѣлось больше, какъ видѣть ее чаще, говорить, пробуждать въ ней жизнь, если можно—страсть.

Но она была неприступна. Онъ сталъ уставать, начала пробиваться скука...

## XVI.

Прошелъ май. Надо было уѣхать куда-нибудь, спасаться отъ полярнаго петербургскаго лѣта. Но куда? Райскому было все равно. Онъ дѣлалъ разные проекты, не останавливаясь ни на одномъ: хотѣлъ съѣздить въ Финляндію, но отложилъ и рѣшилъ поселиться въ уединеніи на Парголовскихъ озерахъ, писать романъ. Отложилъ и это и собрался, не шутя, съ Пахотиными въ Рязанское имѣніе. Но они измѣнили намѣреніе и остались въ городѣ.

Общая лѣтняя эмиграція увлекла-было за границу и его, какъ вдругъ дѣло рѣшилось неожиданно иначе.

Однажды, воротясь домой, онъ нашель у себя два письма, одно отъ Татьяны Марковны Бережковой, другое отъ университетскаго товарища своего, учителя гимназій на родинѣ его, Леонтыя Козлова.

Сначала бабушка писывала къ нему часто, присылала счета: онъ на письма отвѣчалъ коротко, съ любовью и лас-

кой къ горячо любимой старушкѣ, долго замѣнявшей ему мать, а счета рвалъ и бросалъ подъ столъ.

Потомъ она стала писать рѣже, жалуясь на старость, слѣпоту и на заботы по воспитанію внучекъ. Какъ онъ обрадовался, увидя ея почеркъ, крупный, четкій, рѣшительный!

„...Не грѣхъ-ли тебѣ, Борисъ Павловичъ, писала она между прочимъ: забывать меня старуху? У тебя вѣдь только и родни, что я. Видно, нынче, въ новыя времена, старухи стали лишнія на свѣтѣ: такъ разсуждаетъ молодость. А мнѣ и умереть нельзя: у меня на рукахъ двѣ внучки, давно невѣсты. Пока не пристрою ихъ, буду молить Бога продлить мнѣ вѣку, а тамъ—Его святая воля!

„Я не сѣтую на тебя, что забываешь меня: но если — сохрани Боже — меня не станетъ, дѣвочки мои, твои сестры, хоть и не родныя, останутся однѣ. Ты ихъ ближній родственникъ и покровитель. Подумай также и объ имѣніи: я становлюсь стара и прикащицей твоей долго не буду: на кого ты покинешь свое добро? Растащать все и не останется ничего. Ужели береженое добро прахомъ пойдетъ? У меня сердце замираетъ, какъ подумаешь, что твое фамильное серебро, бронза, картины, брилліанты и кружева, фарфоръ, хрусталь—все разойдется по рукамъ челяди, перейдетъ къ жидамъ, ростовщикамъ, сплыветъ по Волгѣ, на ярмарку, и пропадетъ ни за-что! Пока бабушка жива, будь покоенъ, ни нитки не пропадетъ, а послѣ понадѣяться не на кого. Двѣ внуки—что онѣ? Вѣра добрая и умная, да дикая нелюдимка, не входитъ ни во что. Марѣинька будетъ примѣрная хозяйка, да молода; нужды нѣтъ, что замужъ давно пора, а понытія у ней дѣтскія—и слава Богу! Успѣеть созрѣть, какъ опытъ придетъ, а я ее берегу, и она это цѣнить и изъ воли бабушки не выходить, за что наградить ее Господь. По дому она мнѣ помощница, а до имѣнія я ее не допускаю: не дѣвичье дѣло! У меня теперь въ дворнѣ есть серьезный му-

жикъ, Савельемъ зовутъ: сама я становлюсь слаба, онъ по деревнѣ, а Яковъ да Василиса по дому, у меня всѣ нужныя дѣла дѣлають.

„Не откладывай же и порадуй бабушку прїѣздомъ: она тебѣ близка—не по родству только, а и по сердцу: ты, будучи молодъ, это чувствовалъ, — не знаю, каковъ сталъ въ зрѣлыхъ лѣтахъ, а былъ добрымъ внукомъ. Прїѣзжай хоть на сестеръ посмотрѣть; а можетъ быть, тебѣ выпадетъ и счастье... Хотѣла смолчать до прїѣзда, да по бабей привычкѣ не утерплю. Къ намъ изъ Москвы переселился Мамыкинъ, откупщикъ: у него дочь невѣста, одна, больше дѣтей нѣтъ. Вотъ еслибъ Богъ благословилъ меня дожидаться такой радости: женить тебя и сдать имѣніе съ рукъ на руки, тогда я покойно закрыла бы глаза. Женись, Борюшка, ты ужъ давно въ лѣтахъ, тогда и дѣвочки мои не останутся послѣ меня бездомными сиротами. Ты будешь имъ братомъ, защитникомъ, а жена твоя доброй сестрой. При тебѣ, пока ты холостъ, имъ жить нельзя — женись, угоди бабушкѣ, и Богъ не оставитъ тебя!

„Буду ждать отвѣта: напиши напередъ, я велю тебѣ очистить и убрать три комнаты внизу, а Марейнуку запрячу въ свѣтелку: ты хозяинъ!

„Титъ Никонъ тебѣ кланяется: онъ постарѣлъ, но еще молодецъ. Улыбка такая же, и все также умно говорить и прїятно кланяется: молодыхъ франтовъ за поясъ заткнетъ. Привези пожалуйста, другъ мой, замшевую фуфайку и панталоны: говорятъ, нынче отъ ревматизмовъ носятъ. Я бы ему сюрпризъ сдѣлала.

„Посылаю счета за послѣдніе два года. Прими мое благословеніе и т. д.

*„Татьяна Бережкова“.*

— Бабушка! съ радостью воскликнулъ Райскій.—Боже мой! она зоветъ меня: ѣду, ѣду! Вѣдь тамъ тишина, здоро-



вый воздухъ, здоровая пища, ласки доброй, нѣжной, умной женщины; и еще двѣ сестры, два новыхъ, неизвѣстныхъ мнѣ, и въ то же время близкихъ лица... „барышни въ провинціи! немного страшно: можетъ быть уроды!“ успѣлъ онъ подумать поморщась... Однако ѣду: это судьба посылаетъ меня... А если тамъ скука?

Онъ испугался и потомъ опять успокоился.

— Сейчасъ же ѣду прочь, при первой зѣвотѣ! утѣшился онъ:—ѣду, ѣду, тамъ и Леонтій, Леонтій! произнесъ Райскій и размѣялся, вспомнивъ этого Леонтія. Что онъ пишетъ?

„Вчера я нечаянно, и самъ не знаю какъ, забрелъ въ твои мѣстности,—писалъ Леонтій:—должно быть по разсѣянности (за мной, ты знаешь, есть этотъ грѣхъ) попалъ не въ тотъ переулокъ, спустился подъ гору, и когда поднялся, то узналъ, что очутился въ саду твоей бабушки, и хотѣлъ идти назадъ. Но Татьяна Марковна увидала меня изъ окна и, принявъ сначала въ сумерки за вора, спустила-было собакъ и людей, а узнавши, что это я, зазвала къ себѣ, обласкала, накормила до отвала ужиномъ, хотѣла даже спать укладывать, а пуще всего разбранила, что рѣдко бываю, и велѣла непременно написать къ тебѣ, уговаривать пріѣхать сюда. Имѣніе, говоритъ она, повѣрить и, если поселишься здѣсь, то принять его изъ рукъ въ руки—и жениться.

„Признаться, любезный мой другъ, Борисъ Павловичъ, я и самъ хотѣлъ писать, да духу не хватило, а почему — скажу ниже. Имѣніе — пустой предлогъ: бабушкѣ хочется повидаться съ тобой и она не знаетъ чѣмъ заманить. Лучше ея не упрaviшь. Но это въ сторону: я затрудняюсь, не знаю, какъ коснуться главнаго предмета, который требуетъ твоего немедленнаго прибытія, потомъ строжайшаго суда и кары виновныхъ. Я говорю о твоей библіотекѣ.

„Послушай—ты любишь меня, я знаю. Въ школѣ и въ университетѣ, ты лучше всѣхъ былъ со мною: ты меня обод-

рялъ бывало, читывалъ со мною вмѣстѣ, любилъ меня и помогалъ иногда, платилъ хозяйкѣ... бѣлье тоже... (Райскій быстро пропустилъ эту строку), не дразнилъ, не игралъ „штуку“ со мной, не билъ — или билъ самую малость: оттаскалъ за волосы всего какихъ-нибудь два раза, тогда какъ другіе... Но Богъ съ ними, съ повѣсами! Они тоже не со зла, а такъ, отъ праздности и вертопрашества! И такъ, именно этой дружбы, прошу тебя, не сердись... или нѣтъ, бей, оттаскай еще третій разъ, но выслушай. Помнишь старыя готскія изданія классиковъ (да какъ не помнить!) въ драгоценныхъ переплетахъ? Ты, бывало, самъ любовался на нихъ. Помнишь стараго Шекспира, текстъ пополамъ съ комментаріями? Помнишь... французскихъ энциклопедистовъ въ пергаментѣ, первоначальныя изданія? Помнишь... (конечно помнишь — лучше бы ты забылъ!) вотъ каталогъ, мной составленный: противъ этихъ изданій я поставилъ, какъ на могилахъ, черныя кресты! Слушай и бей меня: творенія св. отцовъ цѣлы, весь богословскій отдѣлъ остался неприкосновеннымъ; Платонъ, Фукидидъ—и другіе историки и поэты тоже уцѣлѣли. А Спиноза, Макіавелли и еще увражей полсотни изъ прочихъ отдѣловъ перепорчены... конечно по моей слабости, трусости и проклятой довѣрчивости.

„Кто же? спросишь ты, этотъ Омаръ? — Маркъ Волоховъ, зовутъ его: для него нѣтъ ничего святого въ мірѣ. Дай ему хоть эльзевира, онъ и оттуда выдеретъ листы. У него, какъ я съ ужасомъ узналъ, къ сожалѣнію поздно, есть скверная привычка: когда онъ читаетъ книгу, то изъ прочитаннаго вырываетъ листикъ и закуриваетъ сигару, или сдѣлаетъ изъ него трубочку и чиститъ ею ногти или уши. Я точно сквозь сонъ замѣчалъ, что книги возвращаются отъ него, какъ будто тоньше, нежели были прежде, но долго не догадывался, отъ чего, пока онъ не сдѣлалъ это, сидя у меня. Какъ путный, взялъ Аристофана—гдѣ греческій текстъ на-

печатанъ съ французскимъ переводомъ — да тутъ же, при мнѣ, вдругъ сзади и вырвалъ страницу—я даже мигнуть не успѣлъ. Этотъ Волоховъ — чудо нашего города. Его здѣсь никто не любитъ и всѣ боятся. Что касается до меня, то я не могу не любить его, да и не бояться не могу. Онъ, то фуражку дорогой сниметъ съ меня и наслаждается, если я не замѣчу, то ночью застучить въ окна. За то иногда вдругъ принесетъ бутылку отличнаго вина, или съ огорода притащить (онъ у огородника на квартирѣ живетъ) цѣлый возъ овощей. Онъ присланъ сюда на житье, подъ присмотръ полиціи, и съ тѣхъ поръ городъ — нельзя сказать чтобъ былъ въ безопасности.

„Ради Бога, не передай ему этой моей рекомендаціи о немъ. Онъ непремѣнно сдѣлаетъ штуку и со мной, и съ тобой, пожалуй. Я по поводу попорченныхъ книгъ потребовалъ-было объясненій, но онъ мнѣ такое лицо сдѣлалъ, что я не рѣшился продолжать. Онъ говоритъ, что былъ въ одно время съ нами въ университетѣ, только не по одному факультету. Кажется, вретъ.

„Здѣсь извѣстно, что онъ служилъ въ Петербургѣ въ полку, и тоже не ужился, переведенъ былъ куда-то внутрь Россіи, вышелъ въ отставку, жилъ въ Москвѣ, попалъ въ какую-то исторію—и вотъ теперь присланъ сюда, какъ я сказалъ, подъ присмотръ полиціи. Съ ней онъ въ вѣчной враждѣ. Нилъ Андреичъ, Татьяна Марковна, слышать о немъ не могутъ. Но довольно о немъ! Пріѣзжай, самъ увидишь, каковъ онъ. Теперь я сбылъ тяжесть признаніемъ, и у меня легче на душѣ. Послѣ этого не такъ страшно встрѣтить тебя.

„Пріѣзжай, Борисъ, другъ мой, повидаться съ бабушкой: еслибъ ты видѣлъ, какъ она любитъ тебя, какъ бережетъ твое имѣніе, не такъ какъ я библіотеку! Какія у тебя красавицы сестры, Вѣра и Марѳа Васильевны! Какъ тебя

все это ждеть, какой у тебя садъ, какіе виды на Волгу!.. Еслибъ ты все это зналъ, ты бы не мѣшкалъ ни минуты и пріѣхалъ: пріѣхалъ бы принять отъ Татьяны Марковны имѣніе, а отъ меня библіотеку, — пріѣхалъ бы наказать и обнять виновнаго, но любящаго тебя товарища и друга,

„Леонтія Козлова“.

„Жена моя тебѣ кланяется и велитъ сказать, что она любить тебя по прежнему, а когда пріѣдешь, полюбить еще больше“.

Райскій почти со слезами читалъ это длинное посланіе и вспоминалъ чудака Леонтя, его библиоманію, и смѣялся его тревогамъ на счетъ библіотеки. „Подарю ее ему“, подумалъ онъ.

— Леонтіѣ, бабушка! мечталъ онъ:—красавицы троюродныя сестры, Вѣрочка и Марѣинька! Волга съ побережьемъ, дремлющая, блаженная тишь, гдѣ не живутъ, а растутъ люди и тихо вянутъ, гдѣ ни бурныхъ страстей съ тонкими, ядовитыми наслажденіями, ни мучительныхъ вопросовъ, никакого движенія мысли, воли — тамъ я сосредоточусь, разберу матеріалы и напишу романъ. Теперь только закончу какъ-нибудь портретъ Софьи, распрощаюсь съ ней —и *dahin! dahin!*

## XVII.

Райскій съ ранняго утра сидитъ за портретомъ Софьи, и не первое утро сидитъ онъ такъ. Онъ измученъ этой работой. Посмотритъ на портретъ и вдругъ съ досадой наброситъ на него занавѣску и пойдетъ шагать по комнатѣ, остановится у окна, посвиститъ, побарабанитъ пальцами по стекламъ, иногда уйдетъ со двора и бродитъ угрюмый, недовольный.

На утро опять та же исторія, то же недовольство и озло-



бленіе. А иногда сидить, сидить и вдруг схватить палитру и живо примется подмазывать кое-гдѣ, подтушевывать, остановится, посмотритъ и задумается. Потомъ покачаетъ головой отрицательно, вздохнетъ и броситъ палитру.

А портретъ похожъ, какъ двѣ капли воды. Софья такая, какую всѣ видятъ и знаютъ ее: невозмутимая, сіяющая. Та же гармонія въ чертахъ; ея возвышенный бѣлый лобъ, открытый, невинный, какъ у дѣвушки, взглядъ, гордая шея, и спящая сномъ покоя высокая, пышная грудь.

Она — вся она, а онъ недоволенъ, терзается художническими болями! Онъ вызвалъ жизнь въ подлинникѣ, внесъ огонь во тьму, у ней явились волненія, признаки новой жизни, а въ портретѣ этого нѣтъ!

„Что это Кириловъ нейдетъ? а обѣщалъ. Можетъ быть, онъ навелъ бы на мысль, что надо сдѣлать, чтобъ изъ богини вышла женщина“, подумалъ онъ.

И опять задумался, съ палитрою на пальцѣ, съ поникшей головой, съ мучительной жаждой овладѣть тайной искусства, создать на полотнѣ ту Софью, какая снится ему теперь.

Онъ вспомнилъ ея волненіе, умоляющій голосъ оставить ее, уйти; какъ она хотѣла призвать на помощь гордость и не могла; какъ хотѣла отнять руку и не отняла изъ его руки, какъ не смогла одолѣть себя... Какъ она была тогда непохожа на этотъ портретъ!

Онъ видѣлъ, что заронилъ въ нее сомнѣнія, что эти сомнѣнія — гамлетовскія. Онъ читалъ ихъ у ней въ сердцѣ: „въ самомъ ли дѣлѣ я живу такъ, какъ нужно? Не жертвую ли я чѣмъ-нибудь живымъ, человѣческимъ, этой мертвой гордости моего рода и круга, этимъ приличіямъ? Вѣдь надо сознаться, что мнѣ иногда бываетъ скучно съ тѣтками, съ папá и съ Catherine... Одинъ только cousin Райскій...“

У Райскаго сердце забилося, когда онъ довелъ мечту Софьи до себя.

Онъ уже не видитъ портрета, а видитъ что-то другое. Глаза, какъ у лунатика, широко открыты, не мигнутъ; они глядятъ куда-то и видятъ живую Софью, какъ она одна дома мечтаетъ о немъ, погруженная въ задумчивость, не замѣчаетъ, гдѣ сидитъ, или идетъ безъ цѣли по комнатѣ, оставившись, будто внезапно пораженная какимъ-то новымъ лучемъ мысли, подходить къ окну, открываетъ портьеру и погружаетъ любопытный взглядъ въ улицу, въ живой потокъ головъ и лицъ, зорко слѣдитъ за общественнымъ круговоротомъ, не дичится этого шума, не гнушается грубой толпы, какъ-будто и она стала ея частью, будто понимаетъ, куда такъ торопливо бѣжитъ какой-то господинъ, съ боязнью опоздать; она уже, кажется, знаетъ, что это чиновникъ, продающій за триста-четыреста рублей въ годъ двѣ трети жизни, кровь, мозгъ, нервы.

Ей жаль мужика, который едва тащитъ мѣшокъ на спинѣ. Она догадывается, что вонъ эта женщина торопится съ узломъ заложить послѣдній салонъ, чтобъ заплатить за квартиру и т. д. Всякаго и всякую провожаетъ задумчиво-заботливый взглядъ Софьи.

Она долго глядитъ на эту жизнь и, кажется, понимаетъ ее и нѣхотя отходить отъ окна, забывъ опустить занавѣсъ. Она беретъ книгу, развертываетъ страницу и опять погружается въ мысль о томъ, какъ живутъ другіе.

Красота ея осмыслена, глаза не глядятъ беззаботно и свѣтло, а думаютъ. Въ нихъ тревога за этихъ „другихъ“, бѣгающихъ по улицѣ, скорбящихъ, нуждающихся, трудящихся и вопіющихъ.

Она вдругъ почувствовала, что она не жила, а росла и прозябала. Ее мучитъ жажда этой жизни, ея живыхъ симпатій и скорбей, труда, но прежде симпатій.

Книга выпадаетъ изъ рукъ на полъ. Софья не заботится поднять ее; она разсѣянно беретъ цвѣтокъ изъ вазы, не за-

мѣчая, что прочіе цвѣты раскинулись прихотливо и нѣкоторые выпали.

Она нюхаетъ цвѣтокъ и, погруженная въ себя, разсѣянно ощипываетъ листья губами и тихо идетъ, не сознавая почти чтò дѣлаетъ, къ роялю, садится бокомъ, небрежно, на табуретъ, и одной рукой беретъ задумчивые аккорды и все думаетъ, думаетъ...

Потомъ тихо, чуть-чуть, какъ духъ, произнесла чье-то имя и вздрогнула, робко оглянулась и закрыла лицо руками и такъ осталась.

Въ комнатѣ никого, только въ незакрытое занавѣсомъ окно ворвались лучи солнца и вольно гуляютъ по зеркаламъ, дробятся на граненомъ хрусталѣ. Раскрытая книга валяется на полу, у ногъ ея ощипанные листья цвѣтка...

Онъ схватилъ кисть и жадными, широкими глазами глядѣлъ на ту Софью, какую видѣлъ въ эту минуту въ головѣ, и долго, съ улыбкой мѣшалъ краски на палитрѣ, нѣсколько разъ готовился дотронуться до полотна и въ нерѣшительности останавливался, наконецъ провелъ кистью по глазамъ, потушевалъ, открылъ немного вѣки. Взглядъ у ней сталъ шире, но былъ все еще покоенъ.

Онъ тихо, почти машинально, опять коснулся глазъ: они стали болѣе жизненны, говорящи, но еще холодны. Онъ долго водилъ кистью около глазъ, опять задумчиво мѣшалъ краски и провелъ въ глазу какую-то черту, поставилъ нечаянно точку, какъ учитель нѣкогда въ школѣ поставилъ на его безжизненномъ рисункѣ, потомъ сдѣлалъ что-то, чего и самъ объяснить не могъ, въ другомъ глазу... И вдругъ самъ замеръ отъ искры, какая блеснула ему изъ нихъ.

Онъ отошелъ, посмотрѣлъ и обомлѣлъ: глаза бросили снопы лучей прямо на него, но выраженіе все было строго.

Онъ безсознательно, почти случайно, чуть-чуть измѣ-

нить линію губъ, провель легкій штрихъ по верхней губѣ, смягчилъ какую-то тѣнь, и опять отошелъ, посмотрѣлъ:

— Она, она! говорилъ онъ едва дыша:—нынѣшняя, настоящая Софья!

Онъ услышалъ сзади себя шаги и съ живостью обернулся: пришелъ Аяновъ.

— Иванъ Ивановичъ! торжественно сказалъ Райскій: — какъ я радъ, что ты пришелъ! Смотри — она, она? Говори же!

— Постой, дай посмотрѣть.

Иванъ Ивановичъ долго смотрѣлъ. Райскій ждалъ съ нетерпѣніемъ.

— Кто это? флегматически спросилъ Аяновъ.

Райскій остолбенѣлъ.

— Ты не узналъ Софью? спросилъ онъ, едва приходя въ себя отъ изумленія.

— Какъ, Софья Николаевна? Можетъ ли быть? говорилъ Аяновъ, глядя во всѣ широкіе глаза на портретъ.— Вѣдь у тебя былъ другой: тотъ, кажется, лучше: гдѣ онъ?

Райскій съ досадой, почти съ презрѣніемъ, махнулъ рукой.

— Все тотъ же! замѣтилъ онъ:—я только передѣлалъ. Какъ ты не видишь, напустился онъ на Аянова:—что тотъ былъ безъ жизни, безъ огня, сонный, вялый, а этотъ!..

— Воля твоя, тотъ былъ больше похожъ! упрямо возражалъ Аяновъ:—а этотъ... она тутъ какъ будто пьяна.

— Самъ ты пьянъ! Поди прочь!

— Я вѣдь не знаю толку, равнодушно отозвался Аяновъ.

Райскій, не отвѣчая ему, сердито подмалевывалъ волосы, бархатъ на портретѣ.

Черезъ четверть часа пришелъ Кириловъ. Это былъ маленькій, сухощавый человѣчекъ, весь спрятавшійся въ ба-



кенбарды, усы и бороду. Тѣла почти совсѣмъ было не видно, только впалые глаза неестественно блестѣли, да носъ вдругъ рѣзкимъ горбомъ выходилъ изъ чащи, а концомъ опять упирался въ волосы, за которыми не видать было ни щекъ, ни подбородка, ни губъ. Шея крылась тоже подъ бородой, а все остальное туловище, точно въ мѣшокъ, было завернуто въ широкое, складками висѣвшее пальто, изъ-подъ котораго выглядывали полы другого пальто или сюртука, покрытыя пятнами масляныхъ красокъ. На ногахъ была какая-то, мягко-шаркавшая при походкѣ обувь, шляпа истертая, съ лоскомъ, съ покривившимся бокомъ.

Глядя на эти задумчивые, сосредоточенные и горячіе взгляды, на это, какъ будто уснувшее, подъ непроницаемымъ покровомъ волосъ, суровое, неподвижное лицо, особенно, когда онъ, съ палитрой предъ мольбертомъ, въ своей темной артистической кельѣ, вонзить дикій и острый, какъ гвоздь, взглядъ въ ликъ изображаемаго имъ святого, не подумаешь, что это вольный, какъ птица, художникъ міра, ищущій свѣтлыхъ сторонъ жизни, а примешь его самого за мученика, за монаха искусства, возненавидѣвшаго радости и понявшаго только скорби. Таковъ онъ, кажется, и былъ.

Онъ молча, медленно и глубоко погрузился въ портретъ. Райскій съ безпокойствомъ слѣдилъ за выраженіемъ его лица. Кириловъ въ первое мгновеніе съ изумленіемъ остановилъ глаза на лицѣ портрета и долго покоилъ, казалось, одобрительный взглядъ на глазахъ; морщины у него разгладились. Онъ какъ будто видѣлъ пріятный сонъ.

Потомъ вдругъ точно проснулся; не радостное, а печальное изумленіе медленно разлилось по лицу, лобъ наморщился. Онъ отвернулся, положилъ шляпу на столъ, досталъ папироску и сталъ закуривать.

— Чтò же вы? спросилъ Райскій.

— За этимъ-то вы меня звали? спросилъ Кириловъ.

— А что?

— Прощайте: я пойду домой...

— Пойдите, скажите что-нибудь.

— Что говорить: пустое!

— Ну, да, у васъ чуть изъ облаковъ спустишься—такъ пустое! возразилъ обиженный Райскій. — Ахъ, вы мертвецъ! Вы прежде во мнѣ признавали дарованіе, Семенъ Семенычъ...

— Что вамъ повторять? я ужъ говорил! Онъ вздохнулъ:—Если будете этимъ путемъ идти, тратить себя на модныя вывѣски...

— Модныя вывѣски! Знаете ли вы, кто это?

— Кто? повторилъ Кириловъ, бѣгло взглянувъ на портретъ.—Какая-нибудь актриса...

— Что вы, точно оба съ ума сошли! Тотъ видитъ пьяную женщину, этого актрису! Что съ вами толковать!

Райскій сталъ закрывать портретъ.

— Повезу его къ ней: самъ оригиналъ оцѣнить лучше. Семенъ Семенычъ! отъ васъ я надѣялся хоть привѣтливаго слова: вы, бывало, во всякомъ моемъ трудѣ находили что-нибудь, хоть искру жизни...

— И здѣсь искра есть! сказалъ Кириловъ, указывая на глаза, на губы, на высокій бѣлый лобъ.—Это превосходно, это... Я не знаю подлинника, а вижу, что здѣсь есть правда. Это стоитъ высокой картины и высокаго сюжета. А вы дали эти глаза, эту страсть, теплоту, какой-нибудь вертушкѣ, куклѣ, кокеткѣ!

— Нѣтъ, Семенъ Семенычъ, выше этого сюжета не можетъ выбрать живописецъ. Это не вертушка, не кокетка: она достойна была бы вашей кисти: это идеаль строгой чистоты, гордости; это богиня, хоть олимпійская... но она въ нашемъ родѣ, то есть—не отъ міра сего!

— Это бы лицо, да съ молитвеннымъ, напряженнымъ взглядомъ, безъ этого страстнаго вожделѣнія!... Послушайте, Борисъ Павлычъ, передѣляйте портретъ въ картину; бросьте вашъ свѣтъ, глупости, волокитства... завѣсьте окна, да закупорьтесь мѣсяца на три, на четыре...

— Зачѣмъ?

— Сдѣляйте молящуюся фигуру! сморщившись, говорилъ Кириловъ, такъ-что и носъ ушелъ у него въ бороду и все лицо казалось щеткой. — Долой этотъ бархатъ, шелкъ! поставьте ее на колѣни, просто на камнѣ, набросьте ей на плечи грубую мантию, сложите руки на груди... Вотъ здѣсь, здѣсь,—онъ пальцемъ чертилъ около щекъ:—меньше свѣту, долой это мясо, смягчите глаза, накройте немного вѣки... и тогда сами станете на колѣни и будете молиться...

— Нѣтъ, Семень Семенычъ, я не хочу въ монастырь; я хочу жизни, свѣта и радости. Я безъ людей никуда, ни шагу; я поклоняюсь красотѣ, люблю ее, — онъ нѣжно взглянулъ на портретъ,—тѣломъ и душой, и, признаюсь... онъ комически вздохнулъ:—больше тѣломъ...

Кириловъ махнулъ рукой и началъ ходить по комнатѣ.

— Въ васъ погибаетъ талантъ; вы не выбетесь, не выйдете на широкую дорогу. У васъ не достаетъ упорства, есть страстность, да страсти, терпѣнья нѣтъ! Вотъ и тутъ, смотрите, руки только-что намѣчены, и невѣрно, плеча несообразны, а вы ужъ завертываете, бѣжите показывать, хвастаться...

— Не въ мазаньи дѣло, Семень Семенычъ! возразилъ Райскій. — Сами же вы сказали, что въ глазахъ, въ лицѣ есть правда; и я чувствую, что поймалъ тайну. Что жъ за дѣло до волосъ, до рукъ?...

— Полноте, полноте лукавить! перебилъ Кириловъ:— не умѣете дѣлать рукъ, а поучиться—терпѣнья нѣтъ! Вѣдь, если вытянуть эту руку, она будетъ короче другой; уродецъ,

въ сущности, ваша красавица! Вы все шутите, а ни жизнью, ни искусствомъ шутить нельзя. То и другое строго: оттого немного на свѣтѣ и людей, и художниковъ...

Онъ вздохнулъ и лицо глубже ушло въ волосы.

— Чтожь, по вашему, спрятаться отъ жизни, отъ людей, нахмуриться, не улыбнуться никогда и...

— Да, не погнѣвайтесь! перебилъ Кириловъ:—Если хотите въ искусствѣ чего-нибудь прочнѣе сладенькихъ улыбокъ да пухлыхъ плечъ, или почище заднихъ дворовъ и пьянаго мужичья, такъ бросьте красавицъ и пирушки, а будьте трезвы, работайте до тумана, до обморока въ головѣ; надо падать и вставать, умирать съ отчаянія и опять понемногу оживать, вскакивать ночью...

— Я дѣлаю это... почти... сказалъ Райскій:— вскакиваю съ постели, иногда плачу, дохожу до безумія...

— Всѣ вы сумасшедшіе, какъ погляжу! равнодушно замѣтилъ Аяновъ.

— Да, вскакиваете, чтобъ мазнуть вашу вотъ эту „правду“ — онъ указалъ на открытое плечо Софьи: — Нѣтъ, вы встаньте ночью, да эту же фигуру начертите разъ десять, пока будетъ вѣрно. Вотъ вамъ задача на двѣ недѣли: я приду и посмотрю. А теперь прощайте.

— Пойдите, учитель, пойдите! останавливалъ Райскій.

— Пустите! Нѣтъ у васъ уваженія къ искусству, говорилъ Кириловъ:—нѣтъ уваженія къ самому себѣ. Общество художниковъ — это орденъ братства, все-равно, что масонскій орденъ: онъ разсѣянъ по всему міру и всѣ идутъ къ одной цѣли. Художники — съ родни „каменьщикамъ“. Вспомните Хирама и его тайну. Дѣ, вотъ что! Нельзя наслаждаться жизнью, шалить, ѣздить въ гости, танцовать и, между прочимъ, сочинять, рисовать, чертить и ваять. Нѣтъ, —горячо и почти грубо напалъ онъ на Райскаго:—бросьте эти конфеты и подите въ монахи, какъ вы сами удачно вы-



разились, и отдайте искусству все, молитесь и поститесь, будьте мудры и, вмѣстѣ, просты, какъ змѣи и голуби, и что бы ни дѣлалось около васъ, куда бы ни увлекала жизнь, въ какую яму ни падали, помните и исповѣдуйте одно ученіе, чувствуйте одно чувство, испытывайте одну страсть—къ искусству! Пусть васъ клянуть, презирають во имя его—идите: тогда только призваніе и служеніе совершатся, и тогда будетъ „много ваша мзда“, то-есть безсмертіе. А вамъ не достаётъ мужества, силы нѣтъ, и не достаётъ еще бѣдности. Отдайте ваше имѣніе нищимъ и идите вслѣдъ за спасительнымъ свѣтомъ творчества. Гдѣ вамъ! вы—баринъ, вы родились не въ ясляхъ искусства, а въ шелку, въ бархатѣ. А искусство не любитъ баръ... оно тоже избираетъ „худородныхъ“... Закройте эту безстыдницу, или передѣлайте ее въ блудницу у ногъ Христа. Прощайте. Черезъ двѣ недѣли зайду посмотрѣть.

Онъ бросилъ папирску въ песочницу, схватилъ шляпу и исчезъ прежде, нежели Райскій успѣлъ остановить его.

— Каковъ! сказалъ Аяновъ.—Чудакъ! Онъ, въ самомъ дѣлѣ, не въ монахи ли собирается? Шляпа продавлена, весь въ масляныхъ пятнахъ, нищъ, ободранъ. Сущій мученикъ! Не пьетъ ли онъ?

— Кромѣ воды ничего.

— Ну, такъ удавится, или съ ума сойдетъ.

Райскій глубоко вздохнулъ.

— Да, сказалъ онъ: —это одинъ изъ послѣднихъ могиканъ: истинный, цѣльный, но не униженный болѣе художникъ. Искусство сходить съ этихъ высокихъ ступеней въ людскую толпу, т. е. въ жизнь. Такъ и надо! Что онъ проповѣдуетъ: это изувѣръ!

Однако, продолжая сравненіе Кирилова, онъ мысленно сравнилъ себя съ тѣмъ юношей, которому неудобно было

войти въ царствіе небесное. Онъ задумчиво ходилъ взадъ и впередъ по комнатѣ.

Уныніе поглотило его: у него на сердцѣ стояли слезы. Онъ въ эту минуту непритворно готовъ былъ бросить все, уйти въ пустыню, надѣть изношенное платье, ѣсть одно блюдо, какъ Кириловъ, завѣситься отъ жизни, какъ Софья, и мазать, мазать до упада, передѣлать Софью въ блудницу.

Онъ даже быстро схватилъ новый натянутый холстъ, поставилъ на мольбертъ и началъ мѣломъ крупно чертить молящуюся фигуру. Онъ вытянулъ у ней руку и задорно, съ яростью, выдѣлывалъ пальцы; сотреть, опять начертить, опять сотреть—все не выходитъ!

Его стало грызть нетерпѣніе, которое, при первомъ неудачномъ чертежѣ, перешло въ озлобленіе. Онъ стеръ, опять началъ чертить медленно, проводя густыя, яркія черты, какъ будто хотѣлъ продавить холстъ. Уже то отчаяніе, о которомъ говорилъ Кириловъ, начало смѣнять озлобленіе.

Онъ положилъ мѣлъ, отеръ пальцы о волосы и подошелъ къ портрету Софьи.

„Передѣлать портретъ“, думалъ онъ.—„Правъ ли Кириловъ? Вся цѣль моя, задача, идея—красота! Я охваченъ ею и хочу воплотить этотъ, овладѣвшій мною, сіяющій образъ: если я поймалъ эту „правду“ красоты — чего еще? Нѣтъ, Кириловъ ищетъ красоту въ небѣ, онъ аскетъ: я—на землѣ... Покажу портретъ Софѣ: чтò она скажетъ? А потомъ уже передѣлаю... только не въ блудницу!“

Онъ засмѣялся, подумавъ, чтò сказала бы Софья, еслибъ узнала эту мысль Кирилова? Онъ мало по малу успокоился, любуясь „правдой“ на портретѣ, и возвратился къ прежнему, вольнымъ мечтамъ, вольному искусству и вольному труду. Тщательно оберегая портретъ, онъ повезъ его къ Софѣ.

## XVIII.

Райскій вѣрилъ и не вѣрилъ, что увидить ее, и какъ и что будетъ говорить.

„Какъ тутъ закипаетъ!“ думалъ онъ, трогая себя за грудь. — „О! быть бурѣ, и дай Богъ бурю! Сегодня рѣшительный день, сегодня тайна должна выйти наружу, и я узнаю... любить ли она, или нѣтъ? Если да, жизнь моя... *наша* должна измѣниться, я не ѣду... или, нѣтъ, *мы* ѣдемъ туда, къ бабушкѣ, въ уголокъ, оба...“

Онъ развернулъ портретъ, поставилъ его въ гостиной на кресло и тихо пошелъ по анфиладѣ къ комнатамъ Софьи. Ему сказали внизу, что она была одна: тѣтки уѣхали къ обѣднѣ.

Онъ, держась за сердце, какъ-будто унимая, чтобъ оно не билось, шелъ на цыпочкахъ. Ему все снились разбросанные цвѣты, поднятый занавѣсъ, дерзкіе лучи, играющіе на хрусталѣ. Онъ тихо подкрался и увидѣлъ Софью.

Она сидитъ, опершись локтями на столъ, положивъ лицо въ ладони и мечтаетъ, дремлетъ, или... плачетъ. Она въ неглижѣ, не затянута въ латы негнущагося платья, безъ кружевъ, безъ браслетъ, даже не причесана; волосы небрежно, кучей лежатъ въ сѣткѣ; блуза стелется по плечамъ и падаетъ широкими складками у ногъ. На коврѣ лежатъ двѣ атласныя туфли: ноги просто въ чулкахъ покоятся на бархатной скамеечкѣ.

Онъ никогда не видалъ ее такою. Она не замѣчаетъ его, а онъ боитсядохнуть.

— Кузина Sophie! назвалъ онъ ее чуть-чуть слышно.

Она вздрогнула, немного отшатнулась отъ стола и съ удивленіемъ глядѣла на Райскаго. У нея въ глазахъ стояли вопросы:—какъ онъ? откуда взялся? зачѣмъ тутъ?

— Sophie! повторилъ онъ.

Она встала и выпрямилась во весь ростъ.

— Чтò съ вами, cousin? спросила она коротко.

— Виновать, кузина, уже безъ восторга сказалъ онъ:— я васъ засталъ нечаянно... въ такомъ поэтическомъ безпорядкѣ.

Она оглянулась около себя и вдругъ будто спохватилась и позвонила.

— Pardon, cousin, я одѣнусь! сухо сказала она и ушла съ дѣвшкой въ спальню.

Онъ слышалъ, что она сдѣлала выговоръ Папѣ, зачѣмъ ей не доложили о приѣздѣ Райскаго.

„Чтò же это такое?“ думалъ Райскій, глядя на привезенный имъ портретъ:— „она опять не похожа, она все такая же!... Да нѣтъ, она не обманетъ меня: это спокойствіе и холодъ, которымъ она сейчасъ вооружилась передо мной, не прежній холодъ — о, нѣтъ! это натяжка, принужденіе. Тамъ что-то прячется, подъ этимъ льдомъ — посмотримъ!“

Наконецъ она вышла, причесанная, одѣтая, въ шумящемъ платьѣ. Она, не глядя на него, стала у зеркала и надѣвала браслетъ.

— Я привезъ вашъ портретъ, кузина.

— Гдѣ? Покажите, сказала она, и пошла за нимъ въ гостиную.

— Вы польстили мнѣ, cousin: я не такая, говорила она, глядя на портретъ.

— Ахъ, нѣтъ, я далеку отъ истины! сказалъ онъ съ не-притворнымъ уныніемъ, видя передъ собой подлинникъ.— Красота, какая это сила! Ахъ, еслибъ мнѣ такую!

— Чтò жъ бы вы сдѣлали?

— Чтò бы я сдѣлалъ? повторилъ онъ, глядя на нее пристально и лукаво. — Сдѣлалъ бы кого-нибудь очень счастливымъ...



— И надѣлали бы тысячу несчастныхъ — да? Стали бы пробовать свою силу надъ всѣми, и не было бы пощады никому...

— А! поймалъ ее Райскій: — не изъ состраданія ли вы такъ неприступны?.. Вы боитесь бросить лишній взглядъ, зная, что это никому не пройдетъ даромъ. Новая изящная черта! Самоувѣренность вамъ къ лицу. Эта гордость лучше родовой спѣси: красота—это сила, и гордость тутъ имѣетъ смыслъ.

Онъ обрадовался, что открылъ, какъ казалось ему, почему она такъ упорно кроется отъ него, почему такъ вдругъ измѣнила мечтательную позу и ушла опять въ свои окопы.

— Не будьте однако слишкомъ сострадательны: кто откажется отъ страданій, чтобъ подойти къ вамъ, говорить съ вами? Кто не поползетъ на колѣняхъ вслѣдъ за вами на край свѣта, не только для торжества, для счастья и побѣды—просто для одной слабой надежды на побѣду...

— Полноте, cousin, вы опять за свое! сказала она, но не совсѣмъ равнодушнымъ тономъ. Она какъ - будто сомнѣвалась, такъ ли она сильна, такъ ли всѣ поползли бы за ней, какъ этотъ восторженный, горячій, сумасбродный артистъ?

И этотъ тонкій оттѣнокъ сомнѣнія не ускользнулъ отъ Райскаго. Онъ прозрѣвалъ въ ея взгляды, слова, ловилъ, иногда бессознательно, всѣ лучи и тѣни, мелькавшія въ ней, не только проникалъ смысломъ, но какъ-будто чуялъ нервами, чтò произошло, даже чтò должно было произойти въ ней.

— Вы сами видите это, продолжалъ онъ, — что за одинъ ласковый взглядъ, безъ особеннаго значенія, за одно слово, безъ обѣщаній награды, всѣ бѣгутъ, суетятся, ловятъ ваше вниманіе.

— Будто бы?

— А вы не замѣтили? Полноте!

— Право, нѣтъ.

— Право, замѣтили и втихомолку торжествуете, да еще издѣваетесь надо мной, заставляя высказывать васъ же самихъ. Вы знаете, что я говорю правду, и въ словахъ моихъ видите свой образъ и любуетесь имъ.

— Пока еще я видѣла его въ портретѣ, и то преувеличенно, а на словахъ вы только бранитесь.

— Нѣтъ, портретъ—это слабая, блѣдная копія; вѣренъ только одинъ лучъ вашихъ глазъ, ваша улыбка, и то не всегда: вы рѣдко такъ смотрите и улыбаетесь, какъ-будто боитесь. Но иногда это мелькнетъ; однажды мелькнуло, и я поймалъ, и только намекнулъ на правду, и ужъ смотрите, чтò вышло. Ахъ, какъ вы были хороши тогда!

— Когда это?

— Вотъ тутъ, когда я говорилъ вамъ... еще, помните, вашъ папà привелъ этого Милари...

Она молчала.

— Милари? повторилъ онъ.

— Помню, сухо сказала она.

— Чтò, онъ часто бываетъ у васъ? спросилъ Райскій, замѣтивъ и эту сухость тона.

— Дá... иногда. Онъ очень хорошо поетъ, прибавила она и сѣла на диванъ, спиной къ свѣту.

— Когда онъ будетъ у васъ, я бы заѣхалъ... дайте мнѣ знать.

— Здѣсь свѣжо! замѣтила она, дѣлая движеніе плечами:—надо велѣть затопить каминъ...

— Я пришелъ проститься съ вами; я ѣду—вы знаете? спросилъ онъ вдругъ, взглянувъ на нее.

Она ничего.

— Куда? спросила только.

— Въ деревню, къ бабушкѣ... Вамъ не жаль, не скучно будетъ безъ меня?

Она думала и, казалось, рѣшала эти вопросы про-себя.

— Видите, кузина, для меня и то ужъ счастье, что тутъ есть какое-то колебаніе, что у васъ не вырвалось ни да, ни нѣтъ. Внезапное *да*—значило бы обманъ, любезность, или ужъ такое счастье, какого я не заслужилъ; а отъ *нѣтъ* было бы мнѣ больно. Но вы не знаете сами, жаль вамъ, или нѣтъ: это ужъ много отъ васъ, это половина побѣды...

— А вы надѣетесь на полную? спросила она съ улыбкой.

— Плохой солдатъ, который не надѣется быть генераломъ, сказалъ бы я, но не скажу: это было бы слишкомъ... невозможно.

Онъ глядѣлъ на нее и хотѣлъ бы, далъ бы, Богъ-знаетъ что, даже втайнѣ ждалъ, чтобъ она спросила „почему?“ но она не спросила, и онъ подавилъ вздохъ.

— Невозможно, повторилъ онъ:—и въ доказательство, что у меня нѣтъ такихъ колоссальныхъ надеждъ, я пришелъ проститься съ вами, можетъ быть надолго.

— Мнѣ жаль васъ, cousin, вдругъ сказала она тихо, мягко и почти съ чувствомъ.

Онъ обернулся къ ней такъ живо, какъ человѣкъ, у котораго болѣли зубы и вдругъ прошла боль.

— Жаль! повторилъ онъ:—правда ли это?

— Совершенно. Вы знаете, я никогда не лгу.

Онъ взялъ ея ладонь и съ упоеніемъ цѣловалъ. Она не отнимала руки.

— Вотъ, вотъ, за это право цѣловать такъ вашу руку, чего бы не сдѣлали всѣ эти, которые толпятся около васъ!

— Стало-быть, вы счастливы: вы пользуетесь этимъ правомъ свободно...

— Да, какъ cousin! Но чего бы не сдѣлалъ я, гово-

рилъ онъ, глядя на нее почти пьяными глазами,—чтобъ цѣловать эту ладонь иначе... вотъ такъ...

Онъ хотѣлъ опять цѣловать, она отняла руку.

— Не смѣю сомнѣваться, что вамъ немного... жаль меня, продолжалъ онъ:—но какъ бы хотѣлось знать, отчего? Зачѣмъ бы вы желали иногда видѣть меня?

— Чтобъ слышать васъ. Вы много, конечно, преувеличиваете, но иногда объясняете вѣрно тамъ, гдѣ я понимаю, но не могу сама сказать, не умѣю...

— А, сознались наконецъ! Такъ вотъ зачѣмъ я вамъ нуженъ: вы заглядываете въ меня, какъ въ арабскій словарь... Незавидная роль! прибавилъ онъ со вздохомъ.

— Но вы сами, cousin, сейчасъ сказали, что не надѣетесь быть генераломъ, и что всякій, просто за вниманіе мое, готовъ бы... поползти куда-то... Я не требую этого, но если вы мнѣ дадите немного...

— Дружбы? спросилъ Райскій.

— Да.

— Ну, такъ, я зналъ. Охъ, эта дружба!

— Нѣтъ, cousin, я вижу, что вы не отказались отъ „генеральскаго чина...”

— Нѣтъ, нѣтъ, кузина, я не надѣюсь, и отъ того, повторяю, ѣду. Но вы сказали мнѣ, что вамъ скучно безъ меня, что меня вамъ будетъ недоставать, и я, какъ утопающій, хватаюсь за соломинку.

— И не напрасно хватаетесь. Я предлагаю вамъ не бездѣлицу: дружбу. Если для одного ласковаго взгляда или слова можно ползти такую даль, на край свѣта, то для дружбы, которой я никому легко не даю...

— Дружба хороша, кузина, когда она—шагъ къ любви, или иначе, она просто нелѣпость, даже иногда оскорбленіе.

— Какъ это?



— Такъ. Вы мнѣ дадите право входить безъ доклада къ себѣ, и то не всегда: вотъ сегодня разсердились, будете гонять меня по городу съ порученіями—это привилегія кузенеи, даже совѣтоваться со мной, если у меня есть вкусъ, какъ одѣться; удостойте искренняго отзыва о вашихъ родныхъ, знакомыхъ, и наконецъ, дойдеть до оскорбленія... до того, что повѣрите мнѣ сердечный секретъ, когда влюбитесь...

У Софьи въ лицѣ показалось принужденіе; она даже притворно зѣвнула въ сторону. Онъ замѣтилъ.

— Не влюбились ли вы уже? вдругъ спросилъ онъ.

— А что?

— Чтó значить это смущеніе?

— Смущеніе? Я смутилась? говорила она и поглядѣла въ зеркало.—Я не смутилась, а вспомнила только, что мы условились не говорить о любви. Прошу васъ, cousin, вдругъ серьезно прибавила она:—помнить уговоръ. Не будемъ, пожалуйста, говорить объ этомъ.

Онъ удивился этой просьбѣ и задумался. Она и прежде просила, но шутя, съ улыбкой. Самолюбіе шепнуло было ему, что онъ постучался въ ея сердце не даромъ, что оно отзывается, что смущеніе и внезапная, неловкая просьба не говорить о любви — есть боязнь, осторожность.

Потомъ онъ отбросилъ эту мысль и самъ покраснѣлъ отъ признанія, что онъ фать, и искалъ другихъ причинъ, а сердце ноетъ, мучится, терзается, глаза впиваются въ нее съ вопросами, слова кипятъ на языкѣ и не сходятъ. Его уже гложетъ ревность.

— „Чтó-жъ это? Ужели я, не шутя, влюбленъ?“ думалъ онъ. „Нѣтъ, нѣтъ! И чтó мнѣ за дѣло? вѣдь я не для себя хлопоталъ, а для нея же... для развитія... „для общества“. Еще послѣднее усиліе!..“

— Послѣдній вопросъ, кузина, сказалъ онъ вслухъ: —

еслибъ... И задумался: вопросъ былъ рѣшительнѣйшій:—еслибъ я не принялъ дружбы, которую вы подносите мнѣ, какъ похвальный листъ за благоправіе, а задался бы задачей „быть генераломъ“: что бы вы сказали? могъ ли бы, могу ли?... „Она не кокетка, она скажетъ истину!“ подумалъ онъ.

— Поддержали бы вы эту надежду, кузина?

Онъ дрожа выговаривалъ послѣднія слова и боялся взглянуть на нее. Она засмѣялась.

— У васъ нѣтъ никакихъ надеждъ, cousin, произнесла она равнодушно.

Онъ сдѣлалъ нетерпѣливое движеніе, какъ-будто сомнѣніе въ этомъ было невозможно.

— Нѣтъ, и не можетъ быть! повторила она рѣшительно. — Вы все преувеличиваете: простая любезность вамъ кажется какимъ-то *entrainement*, въ обыкновенномъ вниманіи вы видите страсть и сами въ какомъ-то бреду. Вы выходите изъ роли кузена и друга — позвольте напомнить вамъ.

— Такъ вы смѣшиваете меня съ свѣтскими любезниками, волокитами?

— *Fi, quelles expressions!*

— Да, вотъ съ этими, что порхаютъ по гостинымъ, по ложамъ, съ псевдо-нѣжными взглядами, страстно-почтительными фразами и заученнымъ остроуміемъ. Нѣтъ, кузина, если я говорю о себѣ, то говорю, что во мнѣ есть; языкъ мой вѣрно переводитъ голосъ сердца. Вотъ годъ я у васъ: ухожу и уношу мысленно васъ съ собой, и что чувствую, то съумѣю выразить.

— Зачѣмъ мнѣ это? вдругъ спросила она.

Онъ замолчалъ, озадаченный этимъ „зачѣмъ“. Тутъ былъ весь отвѣтъ на его вопросъ о надеждахъ на „генеральство“. И довольно бы, не спрашивать бы ему дальше, а онъ спрашивалъ!

— Вы... не любите меня, кузина? спросилъ онъ тихо и вкрадчиво.

— Очень! весело отвѣчала она.

— Не шутите, ради Бога! раздражительно сказалъ онъ.

— Даю вамъ слово, что не шучу.

„Спросить, влюблены ли вы въ меня—глупо, такъ глупо“, думалъ онъ, „что лучше уѣду, ничего не узнавъ, а ни за что не спрошу... Вотъ, поди-жь ты: „выше міра и страстей“, а хитрить, вертится и ускользаетъ, какъ любая кокетка! Но я узнаю! брякну неожиданно, что у меня бродить въ душѣ...“

Во время этого мысленнаго монолога, она съ лукавой улыбкой смотрѣла на него и, кажется, нечужда была удовольствія помучить его и помучила бы, еслибъ... онъ не „брякнулъ“ неожиданнымъ вопросомъ.

— Вы влюблены въ этого итальянца, въ графа Милари — да? спросилъ онъ и погрузилъ въ нее взглядъ и чувствовалъ самъ, что блѣднѣетъ, что однимъ мигомъ какъ-будто взвалилъ тысячи пудъ себѣ на плечи.

Улыбка, дружескій тонъ, свободная поза — все исчезло въ ней отъ его вопроса. Передъ нимъ холодная, суровая, чужая женщина. Она была такъ близка къ нему, а теперь казалась гдѣ-то далеко, на высотѣ, не родня и не другъ ему.

„Должно-быть, это правда: я угадалъ!“ подумалъ онъ и разбиралъ, отчего угадалъ онъ, что подало поводъ ему къ догадкѣ? Онъ видѣлъ одинъ разъ Милари у ней, а только когда заговорилъ о немъ—у ней пробѣжала какая-то тѣнь по лицу, да пересѣла она спиной къ свѣту.

„Боже мой! зачѣмъ я все вижу и знаю, гдѣ другіе слѣпы и счастливы? Зачѣмъ для меня довольно шороха, вѣтерка, самаго молчанія, чтобъ знать? Проклятое чутье! Вотъ теперь ядъ прососался въ сердце, а изъ какихъ-то благъ?“

Она молчала.

— Вы обидѣлись, кузина?

Она молчала.

— Скажите: да?

— Вы сами знаете, что можетъ произвести подобная догадка.

— Я знаю больше, кузина: я знаю и причину почему вы обидѣлись.

— Позвольте узнать.

— Потому-что это правда.

Она сдѣлала движеніе и поглядѣла на него съ изумленіемъ, какъ-будто говоря: „вы еще настаиваете!“

— И этотъ взглядъ не вашъ, кузина, а заимствованный!

— Я притворяюсь! Вы приписываете себѣ много чести, мсьё Райскій!

Онъ засмѣялся, потомъ вздохнулъ.

— Если это не правда, то... что обиднаго въ моей догадкѣ? сказалъ онъ:—а если правда, то опять-таки... что обиднаго въ этой правдѣ? Подумайте надъ этой дилеммой, кузина, и покайтесь, что вы напрасно хотѣли подавить достоинствомъ вашего бѣднаго cousin!

Она слегка пожала плечами.

— Да, это такъ, и все, что вы дѣлаете въ эту минуту, выражаетъ не оскорбленіе, а досаду, что у васъ похитили тайну... И самое оскорбленіе это—только маска.

— Какая тайна? Что вы! говорила она, возвышая голосъ и дѣлая большіе глаза.—Вы употребляете во зло права кузена—вотъ въ чемъ и вся тайна. А я неосторожна тѣмъ, что принимаю васъ во всякое время, безъ тѣтушекъ и папъ...

— Кузина, бросьте этотъ тонъ! началъ онъ дружески, горячо и искренно, такъ-что она почти смягчилась и мало-по-малу приняла прежнюю, свободную, довѣрчивую позу, какъ-будто видѣла, что тайна ея попала не въ дурныя руки, если только тутъ была тайна.



— Вот что значитъ Олимпъ! продолжалъ онъ. — Будь вы просто женщина, не богиня, вы бы поняли мое положеніе, взглянули бы въ мое сердце и поступили бы не сурово, а съ пощадой, даже еслибъ я былъ вамъ совсѣмъ чужой. А я вамъ близокъ. Вы говорите, что любите меня дружески, скучаете, не видя меня... Но женщина бываетъ сострадательна, нѣжна, честна, справедлива, только съ тѣмъ, кого любить, и безжалостна ко всему прочему. У злодѣя подъ ножомъ скорѣе допросишься пощады, нежели у женщины, когда ей нужно закрыть свою любовь и тайну.

— Къ чему вы это мнѣ говорите! Со мной это вовсе не у мѣста! А я еще просила васъ оставить разговоръ о любви, о страстяхъ...

— Знаю, кузина, знаю и причину: я касаюсь вашей раны. Но ужели мое дружеское прикосновеніе такъ грубо?.. Уже ли я не стою довѣренности?...

— Какой довѣренности? Какія тайны? Ради Бога, *confessio*... говорила она, глядя въ безпокойствѣ по сторонамъ, какъ-будто хотѣла уйти, заткнуть уши, не слышать, не знать.

— Пусть я смѣшонъ съ своими надеждами на „генеральство“, продолжалъ онъ, не слушая ее, горячо и нѣжно:—но, однакожъ, чего-нибудь да стою я въ вашихъ глазахъ — не правда ли? Скажу больше: около васъ, во всей вашей жизни, никогда не было и нѣтъ, можетъ быть, и не будетъ человѣка ближе къ вамъ. И вы сами давеча сказали то же, хотя не такъ ясно. У васъ не было человѣка настоящаго, живого, который бы такъ коротко зналъ людей и сердце, и объяснялъ бы вамъ васъ самихъ. Вы во мнѣ читаете свои мысли, повѣряете чувства. Я — не тѣтушка, не папъ, не предокъ вашъ, не мужъ: никто изъ нихъ не зналъ жизни: всѣ они на ходуляхъ, всѣ замкнулись въ кружокъ старыхъ, скудныхъ понятій, условнаго воспитанія, такъ назы-

ваемаго „тона“, и нищенски пробаваются ими. Я живой, свѣжій человѣкъ; я приношу къ вамъ сюда незнакомыя здѣсь понятія и чувства, я новость для васъ; я занимаю... виновать... занимать васъ... Правда ли это, кузина?

Она молчала.

— Теперь, конечно, другое дѣло: теперь вы рады, что я ѣду, продолжалъ онъ:—всѣ прочіе могутъ остаться; вамъ нужно, чтобъ я одинъ уѣхалъ...

— Почему?

— Потому, что одинъ я лишній въ эту минуту, одинъ я прочелъ вашу тайну въ зародышѣ. Но... если вы мнѣ вѣрите ее, тогда я, послѣ *нею*, буду дороже для васъ всѣхъ...

Она сдѣлала движеніе, встала, прошла по комнатѣ, оглядывая стѣны, портреты, глядя далеко въ анфіладу комнаты и какъ-будто не видя выхода изъ этого положенія, и съ нетерпѣніемъ сѣла въ кресло.

— Но... началъ онъ опять нѣжнымъ, дружескимъ голосомъ:—я васъ люблю, кузина (она выпрямилась), всячески люблю, и больше всего люблю за эту поразительную красоту; вы владѣете мной невольно и безсознательно. Вы можете сдѣлать изъ меня все—вы это знаете...

— Послушайте... Вы хотите увѣрить меня, что у васъ... что-то въ родѣ страсти, сказала она, дѣлая какъ-будто уступку ему, чтобъ отвлечь, затушевать его настойчивый анализъ:—смотрите, не лжете ли вы... положимъ — невольно? прибавила она, видя, что онъ собирается разразиться какимъ-нибудь монологомъ.—Мѣсяцъ, два тому назадъ, ничего не было, были какіе-то порывы — и вдругъ такъ скоро... Вы видите, что это ненатурально, ни ваши восторги, ни мученія: извините, cousin, я имъ не вѣрю, и оттого у меня нѣтъ и пощады, которой вы добиваетесь. Воля ваша, а мнѣ придется разжаловать васъ изъ кузней: вы самый беспокойный cousin и другъ...

— Для страсти не нужно годовъ, кузина: она можетъ зародиться въ одно мгновеніе. Но я и не увѣряю васъ въ страсти, уныло прибавилъ онъ: — а что я взволнованъ теперь — такъ я не лгу. Не говорю опять, что я умру съ отчаянія, что это вопросъ моей жизни—нѣтъ; вы мнѣ ничего не дали и нечего вамъ отнять у меня, кромѣ надеждъ, которыя я самъ возбудилъ въ себѣ... Это ощущеніе: оно, конечно, скоро пройдетъ, я знаю. Впечатлѣніе, за недостаткомъ пищи, не упрочилось—и слава Богу!

Онъ вздохнулъ.

— Чего же вы хотите? спросила она.

— Меня оскорбляетъ вашъ ужасъ, что я заглянулъ къ вамъ въ сердце...

— Тамъ ничего нѣтъ, монотонно сказала она.

— Есть, есть, и мнѣ тяжело, что я не выигралъ даже этого довѣрія. Вы боитесь, что я не съумѣю обойтись съ вашей тайной. Мнѣ больно, что васъ пугаетъ и стыдитъ мой взглядъ... кузина, кузина! А вѣдь это мое дѣло, моя заслуга, вѣдь я виноватъ... что вывелъ васъ изъ темноты и слѣпоты, что этотъ Милари...

Она слушала довольно спокойно, но при послѣднемъ словѣ быстро встала.

— Если вы, cousin, дорожите немного моей дружбой, заговорила она, и голосъ у ней даже немного измѣнился, какъ будто дрожать:—и если вамъ что-нибудь значить быть здѣсь... видѣть меня... то... не произносите имени!

„Дѣ, это правда, я попалъ: она любитъ его!“ рѣшилъ Райскій, и ему стало уже легче, боль замирала отъ безнадёжности, отъ того, что вопросъ былъ рѣшенъ и тайна объяснилась. Онъ уже сталъ смотрѣть на Софью, на Милари, даже на самого себя со стороны, объективно.

— Не бойтесь, кузина, ради Бога, не бойтесь, говорилъ онъ.—Хороша дружба! Бояться какъ шпіона, стыдиться...

— Мнѣ бояться и стыдиться нѣкого и нѣчего!

— Какъ нѣчего, а свѣта, а ихъ! указаль онъ на портреты предковъ.— Вонъ какъ они витаращили глаза! Но развѣ я —они? Развѣ я — свѣтъ?

— И правду сказать, есть чего бояться предковъ! замѣтила совершенно свободно и покойно Софья: — если только они слышать и видятъ васъ! Чего не было сегодня! И упреки, и *déclaration*, и ревность... Я думала, что это возможно только на сценѣ... Ахъ, *cousin*... съ веселымъ вздохомъ заключила она, впадая въ свой слегка насмѣшливый и покойный тонъ.

Въ самомъ дѣлѣ ей нѣчего было ужасаться и стыдиться: графъ Милари былъ у ней разъ шесть, всегда при другихъ, пѣлъ, слушалъ ея игру и разговоръ, никогда не выходилъ изъ предѣловъ обыкновенной учтивости, едва-замѣтнаго благоуханія тонкой и покорной лести.

Другая бы сама бойко произносила имя красавца-Милари, тщеславилась бы его вниманіемъ, немного бы покетничала съ нимъ, а Софья запретила даже называть его имя и не знала, какъ зажать ротъ Райскому, когда онъ такъ невпопадъ догадался о „тайнѣ“.

Никакой тайны нѣтъ и если она приняла эту догадку неравнодушно, такъ, вѣроятно, затѣмъ, чтобъ истребить и въ немъ даже тѣнь подозрѣнія.

Она влюблена—какая нелѣпость, Боже сохрани! Этому никто и не повѣритъ. Она, попрежнему, смѣло подняла голову и покойно глядѣла на него.

— Прощайте, кузина! сказалъ онъ вяло.

— Развѣ вы не у насъ сегодня? отвѣчала она ласково.  
—Когда вы ѣдете?

„Лестъ, хитрость: золотить пилюлю!“ думаль Райскій.

— Зачѣмъ я вамъ? отвѣчалъ онъ вопросомъ.

— Вижу, что дружба моя для васъ—ничто! сказала она.



— Ахъ, неправда, кузина! Какая дружба: вы боитесь меня!

— Слава Богу, мнѣ еще нечего бояться.

— *Еще* нечего? А если будетъ что-нибудь, удостоите ли вы меня вашего довѣрія?

— Но вы говорите, что это оскорбительно: послѣ этого я боялась бы...

— Не бойтесь! Я сказалъ, что надежды могли бы разиграться отъ взаимности, а ее вѣдь... нѣтъ? робко спросилъ онъ и пытливо взглянулъ на нее, чувствуя, что, при всей безнадежности, надежда еще не совсѣмъ испарилась изъ него, и тутъ же мысленно назвалъ себя дуракомъ.

Она медленно и отрицательно покачала головой.

— И... быть не можетъ? все еще пытливо спрашивалъ онъ.

Она засмѣялась.

— Вы неисправимы, cousin, сказала она.— Всякую другую вы поневолѣ заставите кокетничать съ вами. Но я не хочу и прямо скажу вамъ: нѣтъ.

— Слѣдовательно, вамъ и бояться нечего вѣриться мнѣ! съ уныніемъ договорилъ онъ.

— *Parole d'honneur*, мнѣ нечего вѣрять.

— Ахъ, есть, кузина!

— Что же такое хотите вы, чтобъ я вѣрила вамъ, *dites positivement*.

— Хорошо: скажите, чувствуете ли вы какую-нибудь перемѣну съ тѣхъ поръ, какъ этотъ Милари...

Она сдѣлала движеніе, и лицо опять мѣнялось у нея изъ дружескаго на принужденное и холодное.

— Нѣтъ, нѣтъ, *pardon* — я не назову его... съ тѣхъ поръ, хочу я сказать, какъ онъ появился, сталъ ѣздить въ домъ...

— Послушайте, cousin... начала она и остановилась на минуту, затрудняясь, повидимому, продолжать: — положимъ, еслибъ... enfin si c'était vrai—это быть не можетъ, скороговоркой, будто въ скобкахъ, прибавила она:—но что... вамъ... за дѣло послѣ того какъ...

Онъ вспыхнулъ.

— Чтó за дѣло! вдругъ горячо перебилъ онъ, дѣлая большіе глаза.—Чтó за дѣло, кузина? Вы снизойдете до какого-нибудь рагвену, до какого-то Милари, итальянца, вы, Пáхотина, блескъ, гордость, перлъ нашего общества! Вы... вы! съ изумленіемъ, почти съ ужасомъ повторялъ онъ.

А она съ изумленіемъ смотрѣла на него, какъ онъ весь внезапно вспыхнулъ, какіе яростные взгляды металъ на нее.

— Но онъ, во-первыхъ, графъ... а не рагвену... сказала она.

— Купленный или украденный титулъ! возражалъ онъ въ пылу. — Это одинъ изъ тѣхъ пройдохъ, чтó, по словамъ Лермонтова, пріѣзжаютъ сюда „на ловлю счастья и чиновъ“, втираются въ большіе дома, ищутъ протекціи женщинъ, протираются въ службу и потомъ дѣлаются гран-сеньорами. Берегитесь, кузина, мой долгъ оберечь васъ! Я вамъ родственникъ!

Все это онъ говорилъ чуть не съ пѣной у рта.

— Никто ничего подобнаго не замѣтилъ за нимъ! съ возрастающимъ изумленіемъ говорила она:—и если папà и mes tantes принимаютъ его...

— Папà и mes tantes! съ пренебреженіемъ повторилъ онъ:—много знаютъ они: послушайте ихъ!

— Кого же слушать: васъ?

Она улыбнулась.

— Да, кузина, и я вамъ говорю: остерегайтесь! Это опасные выходцы: можетъ-быть, подъ этой интересной блѣдностью, мягкими кошачьими манерами, кроется безстыд-

ство, алчность, и Богъ знаетъ что! Онъ компрометируетъ васъ...

— Но онъ вездѣ принять, онъ очень скромнень, деликатень, прекрасно воспитанъ...

— Все это вы видите въ своемъ воображеніи, кузина—повѣрьте!

— Но вы его не знаете, cousin! возражала она съ полуулыбкой, начиная наслаждаться его внезапной раздражительностью.

— Довольно мнѣ одной минуты было, чтобъ разглядѣть, что это одинъ изъ тѣхъ *chevaliers d'industrie*, которые сотнями бѣгутъ съ голода изъ Италіи, чтобы поживиться...

— Онъ артистъ, защищала она:—и если онъ не на сценѣ, такъ потому, что онъ графъ и богатъ... *c'est un homme distingué*.

— А! вы защищаете его—поздравляю! Такъ вотъ на кого упали лучи съ высоты Олимпа! Кузина! кузина! на комъ вы удостоили остановить взоры! Опомнитесь, ради Бога! Вамъ ли, съ вашими высокими понятіями, снизить до какого-то безвѣстнаго выходца, можетъ-быть самозванца-графа...

Она уже окончательно развеселилась и, казалось, забыла свой страхъ и осторожность.

— А Ельнинъ? вдругъ спросила она.

— Что Ельнинъ? спросилъ и онъ, внезапно остановленный ею.—Ельнинъ—Ельнинъ... замялся онъ:—это дѣтская шалость, институтское обожаніе. А здѣсь страсть, горячая, опасная!

— Что же: вы бредили страстью для меня—ну, вотъ я страстно влюблена, смѣялась она.—Развѣ мнѣ не все-равно идти туда (она показала на улицу), что съ Ельнинымъ, что съ графомъ? Вѣдь тамъ я должна „увидѣть счастье, упиться имъ“!

Райскій стиснулъ зубы, сѣлъ на кресло и злобно молчалъ. Она продолжала наслаждаться его положеніемъ.

— Уфъ! говорилъ онъ, мучаясь, волнуясь, не отъ того, что его поймали и уличили въ противорѣчіи самому себѣ, не отъ того, что у него ускользала красавица-Софья, а отъ подозрѣнія только, что счастье быть любимымъ выпало другому. Не будь другого, онъ бы покойно покорился своей судьбѣ.

А она смотрѣла на него съ торжествомъ, такъ ясно, покойно. Она была права, а онъ запутался.

— Что же, cousin, чему я должна вѣрить: имъ ли? она указала на предковъ:—или, бросивъ все, не слушая никого, вмѣшаться въ толпу и жить „новою жизнью“?

— И тутъ вы остались вѣрны себѣ! возразилъ онъ вдругъ съ радостью, хватаясь за соломинку:—завѣтъ предковъ виситъ надъ вами: вашъ выборъ палъ все-таки на графа! Ха-ха-ха! судорожно засмѣялся онъ.—А остановили ли бы вы вниманіе на немъ, еслибъ онъ былъ не графъ? Дѣлайте, какъ хотите! съ досадой махнулъ онъ рукой:—Вѣдь... „что мнѣ за дѣло?“ возразилъ онъ ея словами.—Я вижу, что онъ, этотъ *homme distingué*, изящнымъ разговоромъ, полнымъ ума, новизны, какого-то трепета, уже тронулъ, пошевелилъ и... и... да, да?

Онъ принужденно засмѣялся.

— Чтó-жъ, прекрасно! Италія, небо, солнце и любовь... говорилъ онъ, качая, въ волненіи, ногой.

— Да, помните, въ вашей программѣ было и это, замѣтила она:—вы посылали меня въ чужіе края, даже въ чухонскую деревню, и тамъ, „наединѣ съ природой“... По вашимъ словамъ, я должна быть теперь счастлива? дразнила она его. Ахъ, cousin! прибавила она и засмѣялась, потомъ вдругъ сдержала смѣхъ.



Онъ изподлѡбья смотрѣлъ на нее. Она опять становилась задумчива и холодна; опять осторожность начала брать верхъ.

— Успокойтесь: ничего этого нѣтъ, сказала она кротко:—и мнѣ остается только поблагодарить васъ за этотъ новый урокъ, за предостереженіе. Но я въ затрудненіи теперь, чему слѣдовать: тогда вы толкали туда, на улицу—теперь... боитесь за меня. Чтѡ же мнѣ, бѣдной, дѣлать?... съ комическимъ послушаніемъ спросила она.

Оба молчали.

— Я возьму портретъ съ собой, вдругъ сказалъ онъ.

— Зачѣмъ? Вы говорили, что готовите мнѣ подарокъ.

— Нѣтъ, я передѣлаю: я сдѣлаю изъ него... грѣшницу...

Она опять засмѣялась.

— Дѣлайте, чтѡ хотите cousin, Богъ съ вами!

— И съ вами тоже! Но... кузина...

Онъ остановился: у него вдругъ отошло отъ сердца. Онъ засмѣялся добродушно, не то надъ ней, не то надъ собой.

— Но... но... ужели мы такъ разстанемся: холодно, съ досадой, не друзьями?... вдругъ прорвалось у него, и досада миновала. Онъ, вставъ, протянулъ къ ней руки, и глаза опять съ упоеніемъ смотрѣли на нее. Ему не то, чтобы хотѣлось дружбы, не то, чтобы сердце развернулось къ прежнимъ, добрымъ чувствамъ. А зародышъ впечатлѣнія еще не совсѣмъ угасъ, еще искра тлѣла и его влекло къ ней, пока онъ ее видѣлъ. Въ голосѣ у него все еще слышалась робкая дрожь. Говорила вѣстѣ и доброта, прирожденная его душѣ, гдѣ не упрочивались никогда дурныя чувства.

— Друзьями! Какъ вы поступили съ моей дружбой?... упрекнула она.

— Дайте, возвратите ее, кузина, умолялъ онъ, простите немножко... влюбленного въ васъ cousin, и прощайте!

Онъ поцѣловаль у ней руку.

— Развѣ я не увижу васъ больше? живо спросила она.

— За этотъ вопросъ дайте еще руку. Я опять прежній Райскій и опять говорю вамъ: любите, кузина, наслаждайтесь, помните, что я вамъ говорилъ вотъ здѣсь... Только не забывайте до конца Райскаго. Но зачѣмъ вы полюбили... графа? съ улыбкой, тихо прибавилъ онъ.

— Вы опять свое „любить!..“

— Полноте притворяться, полноте! Богъ съ вами, кузина: что мнѣ за дѣло? Я закрываю глаза и уши, я слѣпъ, глухъ и нѣмъ, говорилъ онъ, закрывая глаза и уши. — Но если, вдругъ прибавилъ онъ, глядя прямо на нее:—вы почувствуете все что я говорилъ, предсказывалъ, что, можетъ быть, вызвалъ въ васъ... на свою шею — скажете ли вы мнѣ?.. я стою этого.

— Вы напрашиваетесь на „оскорбленіе?“

— Нужды нѣтъ, я буду героемъ, рыцаремъ дружбы, первымъ изъ кузней! Подумавъ, я нахожу, что дружба кузней и кузинъ очень пріятная дружба, и принимаю вашу.

— *A la bonne heure!* сказала она, протягивая ему руку: — и если я почувствую что-нибудь, что вы предсказывали, то скажу вамъ однимъ, или никогда никому и ничего не скажу. Но этого никогда не будетъ и быть не можетъ! торопливо добавила она. — Довольно, *cousin*, вонъ карета подъѣхала: это тѣтушки.

Она встала, оправилась у зеркала и пошла имъ на встрѣчу.

— А будете отвѣчать мнѣ на письма? спросилъ онъ, идучи за ней.

— Съ удовольствіемъ: обо всемъ, кромѣ... любви!

— „Неисправима!“ подумалъ онъ: „но посмотримъ, что будетъ!“

Онъ шелъ тихій, задумчивый, съ блуждающимъ взглядомъ, погруженный глубоко въ себя. Въ немъ постепенно

гасли боли корыстной любви и печали. Не стало страсти, не стало какъ-будто самой Софьи, этой суетной и холодной женщины; исчезла пестрая мишура украшеній; исчезли портреты предковъ, тётки, не было и ненавистнаго Милари.

Передъ нимъ, какъ изъ тумана, возникалъ одинъ строгій образъ чистой женской красоты, не Софьи, а какой-то, будто античной, нетлѣнной, женской фигуры. Снилось одна только творческая мечта, развивалась грандіозной картиной, охватывала его все болѣе и болѣе.

Онъ, притаивъ дыханіе, погрузился въ артистическій сонъ и наблюдалъ видѣніе, боялсядохнуть.

Женская фигура, съ лицомъ Софьи, рисовалась ему бѣлой, холодной статуей, гдѣ-то въ пустынѣ, подъ яснымъ, будто луннымъ небомъ, но безъ луны; въ свѣтѣ, но не солнечномъ, среди сухихъ, нагихъ скалъ, съ мертвыми деревьями, съ нетекущими водами, съ страннымъ молчаніемъ. Она, обративъ каменное лицо къ небу, положивъ руки на колѣни, полуоткрывъ уста, кажется жаждала пробужденія.

И вдругъ изъ-за скалъ мелькнулъ яркій свѣтъ, задрожали листья на деревьяхъ, тихо зажурчали струи воды. Кто-то встрепелся въ вѣтвяхъ, кто-то пробѣжалъ по лѣсу; кто-то вздохнулъ въ воздухѣ—и воздухъ заструился и лучъ озолотилъ блѣдный лобъ статуи; вѣки медленно открылись и искра пробѣжала по груди, дрогнуло холодное тѣло, блѣдныя щеки зардѣли, лучи упали на плечи.

Сзади оторвалась густая коса и разсыпалась по спинѣ, краски облили камень, и волна жизни пробѣжала по бедрамъ, задрожали колѣни, изъ груди вырвался вздохъ—и статуя ожила, повела радостный взглядъ вокругъ...

И дальше, дальше жизнь волнами вторгалась въ пробужденное созданіе...

Члены стали жизненны, тѣлесны; статуя шевелилась, широко глядѣла лучистыми глазами вокругъ, чего-то про-

сила, ждала, о чемъ-то начала тосковать. Воздухъ наполнился тепломъ; надъ головой распростерлись вѣтви; у ногъ явились цвѣты...

Райскій все шель тихо, глядя душой въ этотъ сонъ: статуя и все кругомъ постепенно оживало, дѣлалось ярче... И когда онъ дошелъ до дома, созданная имъ женщина мало-по-малу опять обращалась въ Софью.

Пустыня исчезла; Софья, въ мечтѣ его, была уже опять въ своемъ кабинетѣ, зятая въ свое платье, за сонатой Бетховена, и въ трепетѣ слушала шопотъ блѣднаго, страстнаго Милари.

Но ни ревности, ни боли онъ не чувствовалъ, и только трепеталъ отъ красоты, какъ-будто перерожденной, новой для него женщины. Онъ любовался уже ихъ любовью и радовался ихъ радостью, томясь жаждой превратить и то и другое въ образы и звуки. Въ немъ умеръ любовникъ и ожилъ безкорыстный артистъ.

— Да, артистъ не долженъ пускать корней и привязываться безвозвратно, мечталъ онъ въ забытѣ, какъ въ бреду:—Пусть онъ любитъ, страдаетъ, платитъ всѣ человѣческія дани... но пусть никогда не упадетъ подъ бременемъ ихъ, но расторгнетъ эти узы, встанетъ бодръ, безстрастенъ, силенъ, и творить: и пустыню, и каменья, и наполнить ихъ жизнью и покажетъ людямъ — какъ они живутъ, любятъ, страдаютъ, блаженствуютъ и умираютъ... Зачѣмъ художникъ посланъ въ міръ!...

Райскій тщательно внесъ въ программу будущаго романа и это видѣніе, какъ прежде внесъ разговоры съ Софьей и эпизодъ о Наташѣ и многое другое, что должно поступить въ лабораторію его фантазій.

„Гдѣ же тутъ романъ? печально думалъ онъ: нѣтъ его! Изъ всего этого матеріала можетъ выйти развѣ прологъ къ роману! а самый романъ—впереди, или вовсе не будетъ



его! Какой романъ найду я тамъ, въ глуши, въ деревнѣ! Идиллію, пожалуй, между курами и пѣтухами, а не романъ у живыхъ людей, съ огнемъ, движеніемъ, страстью!“

Однако онъ прежде всего погрузилъ на дно чемодана весь свой литературный матеріалъ, потомъ въ особый ящикъ помѣстилъ эскизы карандашомъ и кистью пейзажей, портретовъ и т. п., захватилъ краски, кисти, палитру, чтобы устроить въ деревнѣ небольшую мастерскую, на случай, если романъ не пойдетъ на ладъ.

Потомъ уже уложилъ запасъ бѣлья, платья и нѣкоторые подарки бабушкѣ, сестрамъ, и замшевую фуфайку съ панталонами, Титу Никоничу, по порученію Татьяны Марковны.

— Ну, теперь — dahin? Посмотримъ, что будетъ! задумчиво говорилъ онъ, уѣзжая изъ Петербурга.





## ЧАСТЬ ВТОРАЯ.





## I.

Тихой, сонной рысью пробирался Райскій, въ рогожной перекладной кибиткѣ, на тройкѣ тощихъ лошадей, по переулкамъ, къ своей усадьбѣ.

Онъ не безъ смущенія завидѣлъ дымокъ, вьющійся изъ трубъ родной кровли, раннюю, нѣжную зелень березъ и липъ, осѣняющихъ этотъ пріютъ, черепичную кровлю стараго дома и блеснувшую между деревьевъ и опять скрывающуюся за ними серебряную полосу Волги. Оттуда, съ берега, повѣяла на него струя свѣжаго, здороваго воздуха, какимъ онъ давно не дышалъ.

Вотъ ближе, ближе: вонъ запестрѣли цвѣты въ садикѣ, вонъ дальше видны аллеи липъ и акацій, и старый вязъ, лѣвѣе—яблони, вишни, груши.

Вонъ рѣзвятся собаки на дворѣ, жмутся по угламъ и грѣются на солнцѣ котята; вонъ скворечники зыблются на тонкихъ жердяхъ; по кровлѣ новаго дома толкутся голуби, поверхъ рѣютъ ласточки.

Вонъ за усадьбой, со стороны деревни, цѣлая луговина покрыта разостланными на солнцѣ полотнами.

Вонъ баба катитъ боченокъ по двору, кучерь рубитъ дрова, другой, какой-то, садится въ телѣгу, собирается ѣхать со двора: все незнакомые ему люди. А вонъ Яковъ сонно смотритъ съ крыльца по сторонамъ. Это знакомый: какъ постарѣлъ!

Вонъ другой знакомый, Егоръ, зубоскаль, напрасно въ третій разъ силится вскочить верхомъ на лошадь, та не дается; горничныя, въ свою очередь, скалятъ надъ нимъ зубы.

Онъ едва узналъ Егора: оставилъ его мальчишкой восемнадцати лѣтъ. Теперь онъ возмужалъ: усы до плечъ, и все тотъ же хохоль на лбу, тотъ же нахальный взглядъ и вѣчно-оскаленные зубы!

Вонъ, кажется, еще знакомое лицо: какъ-будто Марина или Федосья — что-то въ этомъ родѣ: онъ смутно припомнилъ молодую, лѣтъ пятнадцати дѣвушку, похожую на эту самую, которая теперь шла черезъ дворъ.

И все успѣлъ зоркимъ взглядомъ окинуть Райскій, пробираясь пѣшкомъ подлѣ экипажа, мимо рѣшетчатаго забора, отдѣляющаго домъ, дворъ, цвѣтникъ и садъ отъ проѣзжей дороги.

Онъ продолжалъ любоваться всей этой знакомой картиной, переходя глазами съ предмета на предметъ, и вдругъ остановилъ ихъ неподвижно на неожиданномъ явленіи.

На крыльцѣ, въ родѣ веранды, уставленной большими кадками, съ лимонными, померанцовыми деревьями, кактусами, алоэ и разными цвѣтами, отгороженной отъ двора большой рѣшеткой и обращенной къ цвѣтнику и саду, стояла дѣвушка лѣтъ двадцати, и съ двухъ тарелокъ, которыя держала передъ ней дѣвочка лѣтъ двѣнадцати, босая, въ выбойчатомъ платьѣ, брала горстями пшено и бросала птицамъ. У ногъ ея толпились куры, индѣйки, утки, голуби, наконецъ воробьи и галки.

— Цыпъ, цыпъ, ти, ти, ти! гуль! гуль, гуль, ласковымъ голосомъ приглашала дѣвушка птицъ къ завтраку.

Куры, пѣтухи, голуби, торопливо хватали, отступали, какъ будто опасаясь ежеминутнаго предательства, и опять совались. А когда тутъ же вертѣлась галка и, подскакивая бокомъ, норовила воровски клюнуть пшена, дѣвушка топа-

ла ногой:—Прочь, прочь; ты зачѣмъ? кричала она, замахиваясь, и вся пернатая толпа въ летѣ разбрасывалась по сторонамъ, а черезъ минуту опять головки кучей совались, жадно и торопливо клевать, какъ будто воруя зерна.

— Ахъ ты, жадный! говорила дѣвушка, замахиваясь на большого пѣтуха:—никому не даешь—кому ни брошу, вездѣ схватить!

Утреннее солнце ярко освѣщало суетливую группу птицъ и самую дѣвушку. Райскій успѣлъ разглядѣть большіе темно-сѣрые глаза, кругленькія здоровыя щеки, бѣлые тѣсные зубы, свѣтлорусую, вдвое сложенную на головѣ косу и вполне развитую грудь, рельефно отливавшуюся въ тонкой бѣлой блузѣ.

На шеѣ не было ни косынки, ни воротничка: ничто не закрывало бѣлой шеи, съ легкой тѣнью загара. Когда дѣвушка замахнулась на прожорливаго пѣтуха, у ней половина косы, отъ этого движенія, упала на шею и спину, но она, не обращая вниманія, продолжала бросать зерна.

Она, то смѣялась, то хмурилась, глядѣла такъ свѣжо и бодро, какъ это утро, наблюдая, всѣмъ ли поровну достается, не подскакиваетъ ли галка, не набралось ли много воробьевъ.

— Гусенка не видала? спросила она у дѣвочки груднымъ, звонкимъ голосомъ.

— Нѣтъ еще, барышня, сказала та:—да его бы выкинуть кошкамъ. Афимья говорить, что околѣетъ.

— Нѣтъ, нѣтъ, я сама посмотрю, перебила дѣвушка:—у Афимьи никакой жалости нѣтъ: она живого готова бросить.

Райскій, не шевелясь, смотрѣлъ, никѣмъ не замѣчаемый, на всю эту сцену, на дѣвушку, на птицъ, на дѣвчонку.

„Такъ и есть: идиллія! я зналъ! Это должно быть троюродная сестрица, думалъ онъ:—какая она миленъкая! Какая простота, какая прелесть! Но которая: Вѣрочка или Марѳинька?“

Онъ, не дожидаясь, пока ямщикъ завернетъ въ ворота, бросился впередъ, пробѣжалъ остатки рѣшетки и вдругъ очутился передъ дѣвушкой.

— Сестрица! вскрикнулъ онъ, протягивая руки.

Въ одну минуту, какъ-будто по волшебству, все исчезло. Онъ не успѣлъ уловить, какъ и куда пропали дѣвушка и дѣвчонка: воробьи, мимо его носа, проворно и дружно махнули на кровлю. Голуби, похлопывая крыльями точно ладонями, вразсыпную кружились надъ его головою, какъ слѣпые.

Куры съ отчаяннымъ кудактаньемъ бросились по угламъ, и пробовали съ испугу скакать на стѣну. Индѣйскій пѣтухъ, поднявъ лапу и озираясь вокругъ, неистово выругался по своему, точно сердитый командиръ оборвалъ всю команду на ученьи за безпорядокъ.

Все люди на дворѣ, опѣшивъ за работой, съ разинутыми ртами, глядѣли на Райскаго. Онъ самъ почти испугался и смотрѣлъ на пустое мѣсто: передъ нимъ на землѣ были только одни разсыпанные зерна.

Но въ домѣ уже послышался шумъ, говоръ, движеніе, звонъ ключей и голосъ бабушки:—Гдѣ онъ? гдѣ?

Она идетъ, торопится, лицо у ней сіяетъ, объятія растрескиваются. Она прижала его къ себѣ и около губъ ея улыбка образовала лучи.

Она, хотя постарѣла, но постарѣла ровною, здоровою старостью: ни болѣзненныхъ пятенъ, ни глубокихъ нависшихъ надъ глазами и ртомъ морщинъ, ни тусклаго, скорбнаго взгляда!



Видно, что ей живется крѣпко, хорошо, что она, если и борется, то не даетъ одолѣвать себя жизни, а сама одолеваетъ жизнь и тратитъ силы въ этой борьбѣ скупю.

Голосъ у ней не такъ звонокъ, какъ прежде, да ходитъ она теперь съ тростью, но не горбится, не жалуется на недуги. Также она безъ чепца, также острижена коротко, и тотъ же блестящій здоровьемъ и добротой взглядъ озаряетъ все лицо, не только лицо, всю ея фигуру.

— Борюшка! другъ ты мой!

Она обняла его раза три. Слезы навернулись у ней и у него. Въ этихъ объятіяхъ, въ голосѣ, въ этой, вдругъ охватившей ее радости — точно какъ-будто обдало ее солнечное сіяніе — было столько нѣжности, любви, теплоты!

Онъ почувствовалъ себя почти преступникомъ, что, шатаясь по свѣту, въ холостой, безпріютной жизни своей, искалъ привязанностей, волоча сердце и соря чувствами, гоняясь за запретными плодами, тогда какъ здѣсь сама природа уготовила ему теплый уголь, симпатіи и счастье.

Теперь онъ готовъ былъ влюбиться въ бабушку. Онъ такъ и вцѣпился въ нее: цѣловалъ ее въ губы, въ плечи, цѣловалъ ея сѣдые волосы, руку. Она ему казалась совсѣмъ другой теперь, нежели пятнадцать, шестнадцать лѣтъ назадъ. У ней не было тогда такого значенія на лицѣ, какое онъ видѣлъ теперь, ума, чего-то новаго.

Онъ удивлялся, не сообразивъ въ эту минуту, что тогда еще онъ самъ не былъ на столько мудръ, чтобы уметь читать лица и угадывать по нимъ умъ или характеръ.

— Гдѣ ты пропадалъ? Вѣдь я тебя цѣлую недѣлю жду: спроси Марѣиньку — мы не спали до полуночи, я глаза проглядѣла. Марѣинька испугалась какъ увидѣла тебя, и меня испугала — точно сумасшедшая прибѣжала. Марѣинька! гдѣ ты? Поди сюда.

— Это я виноватъ: я перепугалъ ее, — сказалъ Райскій.

— А она бѣжать: умна очень! А ждала со мной, не ложилась спать, ходила на встрѣчу, на кухню бѣгала. Вѣдь каждый день твои любимыя блюда готовимъ. Я, Василиса и Яковъ, собираемся по утрамъ на совѣтъ и все припоминаемъ твои привычки. Другіе все почти новые люди, а эти трое, да Прохоръ, да Маришка, да развѣ Улита и Терентій помнить тебя. Все придумываемъ, какъ тебя устроить, чѣмъ кормить, какъ укладывать спать, на чемъ тебѣ ѣздить. А всѣхъ вострѣе Егорка: онъ напоминалъ больше всѣхъ: я его за это въ твои камердинеры пожаловала... Да что это я болтаю: соловья баснями не кормятъ! Василиса! Василиса! Что жъ мы сидимъ: скорѣй вели собирать на столъ, до обѣда долго, онъ позавтракаетъ. Чай, кофе давай, птичьего молока достань!—И сама засмѣялась.—Дай же взглянуть на тебя.

Бабушка поглядѣла на него пристально, подведя его къ свѣту.

— Какой ты нехорошій сталъ... сказала она, оглядывая его: — нѣтъ, ничего, живеть! загорѣлъ только! Усы тебѣ къ лицу. Зачѣмъ бороду отпускаешь! Обрѣй, Борюшка, я не люблю... Э, э! Кое-гдѣ сѣдые волоски: что это, батюшка мой, рано старѣться началъ!

— Это не отъ старости бабушка!

— Отчего же? Здоровъ ли ты?

— Здоровъ, живу — поговоримъ о другомъ. Вотъ вы, слава Богу, такая же...

— Какая такая?

— Не старѣетесь: такая же красавица! Знаете: я не видалъ такой старческой красоты никогда...

— Спасибо за комплиментъ—внучекъ: давно я не слышала — какая тутъ красота! Вонъ на кого полюбуйся — на сестерь! Скажу тебѣ на ухо, шепотомъ прибавила она: — такихъ ни въ городѣ, ни близко отъ него нѣтъ. Особенно

другая... развѣ Настенька Мамыкина поспорить: помнишь, я писала, дочь откупщика?

Она лукаво мигнула ему.

— Что-то не помню, бабушка...

— Ну, объ этомъ послѣ, а теперь завтракать скорѣй и отдохни съ дороги...

— Гдѣ же другая сестра? спросилъ Райскій, оглядываясь.

— Гостить у попадьи за Волгой,—сказала бабушка.— Такой грѣхъ: та нездорова сдѣлалась и прислала за ней. Надо же въ это время случиться! Сегодня же пошлю за ней лошадь...

— Нѣтъ, нѣтъ, удержаль ее Райскій:—зачѣмъ для меня тревожить? Увижусь, когда воротится.

— Да какъ это ты подкрался: караулили, ждали и все даромъ! говорила Татьяна Марковна. — Мужики караулили у меня по ночамъ. Вотъ и теперь послала-было Егорку верхомъ на большую дорогу, не увидить ли тебя? А Савелья въ городъ—узнать. А ты опять — какъ тогда! Да дайте же завтракать! Что это не дожدهшься? Помѣщикъ пріѣхаль въ свое родовое имѣніе, а ничего не готово: точно на станціи! Чтѣ прежде готово, то и подавайте.

— Бабушка! Ничего не надо. Я сытъ по горло. На одной станціи я пилъ чай, на другой молоко, на третьей попалъ на крестьянскую свадьбу — меня виномъ подчивали, ѣлъ медъ, пряники...

— Ты ѣхаль къ себѣ, въ бабушкино гнѣздо, и не стыдился ѣсть всякую дрянъ. Съ утра пряники! Вотъ бы Марѣиньку туда: и до свадьбы и до пряниковъ охотница. Да войди сюда, не дичись! сказала она, обращаясь къ двери.— Стыдится, что ты засталъ ее въ утреннемъ пеглиже. Выйди, это не чужой—братъ.

Принесли чай, кофе, наконецъ завтракъ. Какъ ни отго-

варивался Райскій, но долженъ былъ приняться за все: это было одно средство успокоить бабушку и не испортить ей утро.

— Я не хочу! отговаривался онъ.

— Какъ съ дороги не поѣсть: это ужъ обычай такой! твердила она свое: — Вотъ бульону, вотъ цыпленка... Еще пирогъ есть...

— Не хочу, бабушка, говорилъ онъ, но она клала ему на тарелку, не слушая его, и онъ ѣлъ и бульонъ, и цыпленка.

— Теперь индѣйку, продолжала она: — принеси Василиса барбарису моченаго.

— Какъ можно индѣйку! говорилъ онъ, принимаясь и за индѣйку.

— Сытъ ли дружокъ? спрашивала она:— Доволенъ ли?

— Еще бы! Чего же еще? Развѣ пирога... Тамъ пирогъ какой-то, говорили вы...

— Да, пирогъ забыли, пирогъ!

Онъ поѣлъ и пирога—все изъ „обычая“.

— Что-же ты, Марѳинька, давай свое угощенье: вотъ пріѣхалъ братъ! Выходи же.

Минутъ черезъ пять тихо отворилась дверь, и медленно, съ стыдливою неловкостью, съ опущенными глазами, краснѣя вышла Марѳинька. За ней Василиса внесла цѣлый подносъ всякихъ сластей, варенья, печенья и прочаго.

Марѳинька застѣнчиво стояла, съ полуулыбкой, взглядывая однако на него съ лукавымъ любопытствомъ. На шеѣ и рукахъ были кружевные воротнички, волосы въ туго сложенныхъ косахъ плотно лежали на головѣ; на ней было баарежевое платье, талія крѣпко опоясывалась голубой лентой.

Райскій вскочилъ, бросилъ салфетку и остановился передъ нею, любуясь ею.



— Какая прелесть! весело сказать онъ: — и это моя сестра Марѳа Васильевна! Рекомендуюсь! А гусенокъ живъ?

Марѳинька смутилась, неловко присѣла на его поклонъ и стыдливо сѣла въ уголъ.

— Вы оба съ ума сошли, сказала бабушка: — развѣ этакъ здороваются?

Райскій хотѣлъ поцѣловать у Марѳиньки руку.

— Марѳа Васильевна... сказалъ онъ.

— Это еще что за „Васильевна“ такая? Ты развѣ разлюбилъ ее? Марѳинька—а не Марѳа Васильевна! Этакъ ты и меня въ Татьяны Марковны пожалуешь! Поцѣлуйтесь: вы братъ и сестра.

— Я не хочу, бабушка: вонъ онъ дразнить меня гусенкомъ... Подсматривать не годится!.. сказала она строго.

Всѣ засмѣялись. Райскій поцѣловалъ ее въ обѣ щеки, взялъ за талию и она одолѣла смущеніе и вдругъ рѣшительно отвѣчала на его поцѣлуй, и вся робость слетѣла съ лица.

Видно было, что еще минута, одно слово—и изъ-за этой смущенной улыбки полетѣла болтовня, смѣхъ. Она и такъ съ трудомъ сдерживала себя—и отъ этого была неловка.

— Марѳинька? помните, помнишь... какъ мы тутъ бѣгали, рисовали... какъ ты плакала?..

— Нѣтъ... ахъ, помню... какъ во снѣ... Бабушка, я помню или нѣтъ?..

— Гдѣ ей помнить: ей и пяти лѣтъ не было...

— Помню, бабушка, ей-Богу помню, какъ во снѣ...

— Перестань, сударыня, божиться: это ты у Николая Андреича переняла!..

Едва Райскій коснулся старыхъ воспоминаній, Марѳинька исчезла и скоро воротилась, съ тетрадями, рисунками, игрушками, подошла къ нему ласково и довѣрчиво заговорила, потомъ сѣла такъ близко, какъ не сѣла бы чопор-

ная дѣвушка. Колѣни ихъ почти касались между собою, но она не замѣчала этого.

— Вотъ видите братецъ, живо заговорила она, весело бѣгая глазами по его глазамъ, усамъ, бородѣ, оглядывая руки, платье, даже взглянувъ на сапоги: — видите, какая бабушка, говорить что я не помню,—а я помню, вотъ, право, помню, какъ вы здѣсь рисовали: я тогда у васъ на колѣняхъ сидѣла... Бабушка припрятала всѣ ваши рисунки, портреты, тетради, всѣ вещи—и берегла тамъ, вотъ въ этой темной комнатѣ, гдѣ у ней хранится серебро, брильянты, кружева... Она недавно вынула, какъ только вы написали, что приѣдете, и отдала мнѣ. Вотъ мой портретъ—какая я была смѣшная! а вотъ Вѣрочка. А вотъ бабушкинъ портретъ, вотъ Василисинъ. Вотъ Вѣрочкино рисованье. А помните, какъ вы меня несли черезъ воду одной рукой, а Вѣрочку посадили на плечо?

— Ты и это помнишь? спросила вслушавшись бабушка: —Какая хвастунья—не стыдно тебѣ! Это недавно Вѣрочка рассказывала, а ты за свое выдаешь! Та помнить кое-что, и то мало, чуть-чуть...

— Вотъ теперь какъ я рисую! сказала Марѣинька, показывая нарисованный букетъ цвѣтовъ.

— Это очень хорошо—браво, сестрица! съ натуры?

— Съ натуры.

— Я изъ воску умѣю лѣпить цвѣты!

— А музыкой занимаешься?

— Да, играю на фортепiano.

— А Вѣрочка: рисуетъ, играетъ?

Марѣинька отрицательно качала головой.

— Нѣтъ, она не любитъ, сказала она.

— Что же она, рукодѣльемъ занимается?

Марѣинька опять покачала головой.

— Читать любить? попытывался Райскій.

— Да, читаетъ, только никогда не скажетъ что, и книги не покажетъ, не скажетъ даже, откуда достала.

— Та совсѣмъ дикарка — странная такая у меня. Богъ знаетъ въ кого уродилась! серьезно замѣтила Татьяна Марковна, и вздохнула. — Не надоѣдай же пустяками брату, обратилась она къ Марейнкѣ: онъ усталъ съ дороги, а ты глупости ему показываешь. Дай лучше намъ поговорить о серьезномъ, объ имѣніи.

Все время, пока Борисъ занять былъ съ Марейнкой, бабушка задумчиво глядѣла на него, опять припоминала въ немъ черты матери, но замѣтила и переменны: убѣгающую молодость, признаки зрѣлости, раннія морщины, и странный, непонятный ей взглядъ, „мудреное“ выраженіе. Прежде, бывало, она такъ и читала у него на лицѣ, а теперь тамъ было написано много такого, чего она разобрать не могла.

А у него было тепло и свѣтло на душѣ. Его осѣнила тихая задумчивость, навѣянная этими картинами и этой встрѣчей.

„Пусть такъ и останется: свѣтло и просто!“ пожелалъ онъ мысленно.

„Постараюсь ослѣпнуть умомъ, хоть на каникулы, и быть счастливымъ! Только ощущать жизнь, а не смотрѣть въ нее, или смотрѣть за тѣмъ только, чтобы срисовать сюжеты, не дотрогиваясь до нихъ развѣдающимъ, какъ укусу, анализомъ... А то горе! Будемъ же смотрѣть, что за сюжеты Богъ далъ мнѣ? Марейнка, бабушка, Вѣрочка — на что онѣ годятся: въ романъ, въ драму, или только въ идиллію?“

## II.

Онъ зѣвнулъ широко, и когда очнулся отъ задумчивости, передъ нимъ бабушка стоитъ со счетами, съ приходо - расходной тетрадью, съ дѣловымъ выраженіемъ въ лицѣ.

— Не усталъ-ли ты съ дороги? Можетъ быть уснуть хочешь: вонъ ты зѣваешь? спросила она: — тогда оставимъ до утра.

— Нѣтъ, бабушка, я только и дѣлалъ что спать! Это нервическая зѣвота. А вы напрасно беспокоитесь: я счетовъ смотрѣть не стану...

— Какъ не станешь? Зачѣмъ же ты пріѣхалъ, какъ не принять имѣніе, не потребовать отчета?..

— Какое имѣніе! небрежно сказалъ Райскій.

— Какое имѣніе: вотъ посмотри, сколько тяглы, земли? вотъ года четыре назадъ, прикуплено, — видишь сто двадцать четыре десятины. Вотъ изъ нихъ подѣ выгонъ отдаются...

— Право? машинально спросилъ Райскій:—вы прикупили?

— Не я, а ты! Не ты-ли мнѣ довѣренность прислалъ на покупку?

— Нѣтъ, бабушка, не я. Помню, что какія-то бумаги вы прислали мнѣ, я ихъ передалъ пріятелю своему, Ивану Ивановичу, а тотъ...

— Ты же подписалъ: гляди, вотъ копія! показывала она.

— Можетъ быть, я и подписалъ, сказалъ онъ, не глядя:—только не помню и не знаю что.

— О чемъ же ты помнишь? Вѣдь ты читалъ мои счета, вѣдомости, что я посылала къ тебѣ?

— Нѣтъ, бабушка, не читалъ.

— Какъ же, тамъ все показано, куда поступали твои доходы—ты видѣлъ?

— Нѣтъ, не видалъ.

— Стало быть, ты не знаешь, куда я твои деньги тратила?

— Не знаю, бабушка, да и не желаю знать! отвѣчалъ онъ, приглядываясь изъ окна къ знакомой ему дали, къ си-



нему небу, къ мѣловымъ горамъ за Волгой. — Представь, Марѣинька: я еще помню стихи Дмитріева, что въ дѣтствѣ училъ:

О Волга пышна, величава,  
Прости, но прежде удостой  
Склонить свое вниманье къ лирѣ  
Пѣвца незнаемаго въ мірѣ,  
Но воспоеннаго тобой...

— Ты, Борюшка, прости меня: а ты, кажется, полоумный! сказала бабушка.

— Можетъ быть, бабушка, равнодушно согласился онъ.

— Куда же ты дѣвалъ вѣдомости объ имѣніи, что я посылала тебѣ? Съ тобой онъ?

Онъ покачалъ отрицательно головою.

— Гдѣ же онъ?

— Какія вѣдомости, бабушка: ей-Богу, не знаю.

— Вѣдомости о крестьянахъ, объ оброкѣ, о продажѣ хлѣба, объ отдачѣ огородовъ... Помнишь-ли, сколько за послѣдніе года дохода было? По тысячѣ четыреста двадцати пяти рублей—вотъ смотри... Она хотѣла щелкнуть на счетахъ.—Вѣдь ты получалъ деньги? Послѣдній разъ тебѣ послано было 550 рублей ассигнаціями: ты тогда писалъ, чтобы не посылать. Я и клала въ приказъ: тамъ у тебя...

— Что мнѣ до этого за дѣло, бабушка! съ нетерпѣніемъ сказалъ онъ.

— Кому же дѣло? съ изумленіемъ спросила она: — ты этакъ не думаешь-ли, что я твоими деньгами пользовалась? Смотри, вотъ здѣсь отмѣчена всякая копѣйка. Гляди... Она ему совала большую шнуровую тетрадь.

— Бабушка! я рвалъ всѣ счета и эти, ей-Богу, разорву, если вы будете приставать съ ними ко мнѣ.

Онъ взялъ — было счета, но она быстро вырвала ихъ у него.

— Разорвешь: какъ ты смѣешь? вспльчиво сказала она.—Рвань счеты!

Онъ засмѣялся и внезапно обнялъ ее и поцѣловалъ въ губы, какъ бывало дѣлывалъ мальчикомъ. Она вырвалась отъ него и вытерла ротъ.

— Я тутъ тружусь, сажу иногда за полночь, пишу, считаю каждую копѣйку: а онъ рвань! То-то ты ни слова мнѣ о деньгахъ, никакого приказа, распоряженія, ничего! Что же ты думалъ объ имѣніи?

— Ничего, бабушка. Я даже забывалъ, есть-ли оно, нѣтъ-ли. А если припоминалъ, такъ вотъ эти самыя комнаты, потому что въ нихъ живетъ единственная женщина въ мірѣ, которая любитъ меня и которую я люблю... За то только ее одну, и больше никого... Да вотъ теперь полюблю сестеръ, весело оборотился онъ, взявъ руку Марѣиньки и цѣлуя ее:—все полюблю здѣсь—до послѣдняго котѣнка!

— Отъ роду не видывала такого человѣка! сказала бабушка, снявъ очки и поглядѣвъ на него. — Вотъ только Маркушка у насъ бездомный такой...

— Какой это Маркушка? Мнѣ что-то Леонтій писалъ... Что Леонтій, бабушка, какъ поживаетъ? Я пойду къ нему...

— Что ему дѣлается? сидитъ надъ книгами, воззрится въ одно мѣсто и не оттащишь его! Супруга воззрится въ другое мѣсто... онъ и не видитъ, что подъ носомъ дѣлается. Вотъ теперь съ Маркушкой подружился: будетъ прокъ! Ужъ онъ приходилъ, жаловался, что тотъ книги, что-ли, твои растаскалъ....

— Ву-она sera! бу-она sera? напѣвалъ Райскій изъ „Севильскаго цирюльника“.

— Странный, необыкновенный ты человѣкъ! говорила съ досадою бабушка.—Зачѣмъ пріѣхалъ сюда: говори толкомъ!

— Видѣть васъ, пожить, отдохнуть, посмотрѣть на Волгу, пописать, порисовать...

— А имѣніе? Вотъ тебѣ и работа: пиши! Коли не усталъ, поѣдемъ въ поле, озимъ посмотрѣть.

— Послѣ, послѣ, бабушка.

— Ти, ти, ти, та, та, та, ля, ля, ля... выдѣлывалъ онъ тщательно опять мотивъ изъ „Севильскаго цирюльника“.

— Полно тебѣ: ти, ти, ти, ля, ля, ля! передразнила она:—Хочешь смотрѣть и принимать имѣніе?

— Нѣтъ, бабушка, не хочу!

— Кто же будетъ смотрѣть за нимъ: я стара, мнѣ не углядѣть, не управиться. Я возьму да и брошу: что тогда будешь дѣлать?..

— Ничего не буду дѣлать; махну рукой, да и уѣду...

— Не прикажешь ли отдать въ чужія руки?

— Нѣтъ, пока у васъ есть охота — посмотрите, поживите.

— А когда умру?

— Тогда... оставить какъ есть.

— А мужики: пусть дѣлають, что хотятъ?

Онъ кивнулъ головой.

— Я думалъ, что они и теперь дѣлають, что хотятъ. Ихъ отпустить бы на волю... сказалъ онъ.

— На волю: около пятидесяти душъ, на волю! повторила она:— и даромъ, ничего съ нихъ не взять?

— Ничего!

— Чѣмъ же ты станешь жить?

— Они наймутъ у меня землю, будутъ платить мнѣ что-нибудь.

— Что-нибудь: изъ милости, что вздумается! Ну, Борюшка!

Она взглянула на портретъ матери Райскаго. Долго глядѣла она на ея томные глаза, на задумчивую улыбку.

— Да, сказала потомъ вполголоса:—не тѣмъ будь помянута покойница, а она виновата! Она тебя держала при себѣ, шептала что-то, играла на клавесинѣ, да надъ книжками плакала. Вотъ что и вышло: нѣтъ да рисовать!

— Что же съ домомъ дѣлать? Куда серебро, бѣлье, брилліанты, посуду дѣвать? спросила она помолчавъ.—Мужикамъ что-ли отдать?

— А развѣ у меня есть брилліанты и серебро?... спросилъ онъ.

— Сколько я тебѣ лѣтъ твержу! Отъ матери осталось: куда оно денется? На вотъ, стой, я тебѣ реестры покажу...

— Не надо, ради Бога, не надо: мое, мое, вѣрю. Стало быть, я въ правѣ распорядиться этимъ по своему усмотрѣнію?

— Ты хозяинъ, такъ какъ же не въ правѣ? Гони насъ вонъ: мы у тебя въ гостяхъ живемъ — только хлѣба твоего не ѣдимъ, извини... Вотъ гляди, мои доходы, а вотъ расходы...

Она совала ему другія большія шнуровыя тетради, но онъ устранилъ ихъ рукой.

— Вѣрю, вѣрю, бабушка! Ну такъ вотъ что: пошлите за чиновникомъ въ палату и велите написать бумагу: домъ, вещи, землю, все уступаю я милымъ моимъ сестрамъ, Вѣрочкѣ и Марейнкѣ, въ приданое...

Бабушка сильно нахмурилась и съ нетерпѣніемъ ждала конца рѣчи, чтобы разразиться.

— Но пока вы живы, продолжалъ онъ:—все должно оставаться въ вашемъ непосредственномъ владѣніи и завѣдываніи. А мужиковъ отпустить на волю...

— Не бывать этому! пылко воскликнула Бережкова:—Онѣ не нищія, у нихъ по пятидесяти тысячъ у каждой. Да послѣ бабушки втрое, а можетъ быть и побольше ос-



танется: это все имъ! Не бывать, не бывать! И бабушка твоя, слава Богу, не нищая! У ней найдется уголь, есть и клочекъ земли, и крышка, гдѣ спрятаться! Богачъ какой, гордецъ, въ даръ жалуетъ! Не хотимъ, не хотимъ! Марѣинька! Гдѣ ты? Иди сюда!

— Здѣсь, здѣсь, сейчасъ! отозвался звонкій голосъ Марѣиньки изъ другой комнаты, куда она вышла, и она впорхнула веселая, живая, рѣзвая, съ улыбкой, и вдругъ оставилась. Она глядѣла то на бабушку, то на Райскаго, въ недоумѣніи. Бабушка сильно расхохоталась.

— Вотъ слышишь: братецъ тебѣ жаловать изволить домъ, и серебро, и кружева. Ты вѣдь безприданница, нищенка! Присѣдай же ниже, благодари благодѣтеля, поцѣлуй у него ручку. Что же ты?

Марѣинька прижалась къ печкѣ и глядѣла на обоихъ, не зная, что ей сказать.

Бабушка отодвинула отъ себя всѣ книги, счеты, гордо сложила руки на груди и стала смотрѣть въ окно. А Райскій сѣлъ возлѣ Марѣиньки, взявъ ее за руки.

— Скажи, Марѣинька, ты бы хотѣла переѣхать отсюда въ другой домъ, спросилъ онъ:—можетъ быть, въ другой городъ?

— Ахъ, сохрани Боже: какъ это можно! Кто это выдумалъ такую нелѣпость!..

— Вонъ кто, бабушка! сказалъ Райскій, смѣясь.

Марѣинька сконфузилась, а бабушка, къ счастью, не слыхала. Она сердито глядѣла въ окно.

— Вѣдь у меня тутъ все: садъ и грядки, цвѣты... А птицы? Кто же будетъ ходить за ними? Какъ можно — ни за что...

— Ну, вотъ бабушка хочетъ уѣхать и увезти васъ обѣихъ.

— Бабушка, душенька, куда? Зачѣмъ? Что это вы затѣяли? бросилась она ласкаться къ бабушкѣ.

— Отстань! сердито оттолкнула ее бабушка.

— Ты не хотѣла бы, Марѣинька, не правда-ли, выпорхнуть изъ этого гнѣздышка?

— Нѣтъ, ни за что! качая головой, рѣшительно сказала она.—Бросить цвѣтникъ, мои комнатки... какъ это можно!

— И Вѣрочка тоже?

— Она еще пуще меня: она ни за что не разстанется съ старымъ домомъ...

— Она любить его?

— Она тамъ и живетъ, тамъ ей только и хорошо. Она умретъ, если ее увезутъ—мы обѣ умремъ.

— Ну, такъ вы никогда не уѣдете отсюда, прибавилъ Райскій:—вы обѣ здѣсь выйдете замужъ, ты, Марѣинька, будешь жить въ этомъ домѣ, а Вѣрочка въ старомъ.

— Слава Богу: за чѣмъ же пугаете? А вы гдѣ сами станете жить.

— Я жить не стану, а когда приѣду погостить, вотъ какъ теперь, вы мнѣ дайте комнату въ мезонинѣ—и мы будемъ вмѣстѣ гулять, пѣть, рисовать цвѣты, кормить птицъ: ти, ти, ти, цыпъ, цыпъ, цыпъ! передразнилъ онъ ее.

— Ахъ, вы злой! сказала она. — Я думала, вы не успѣли даже разглядѣть меня, а вы все подслушали!

— Ну, такъ это дѣло рѣшеное: вы съ Вѣрочкой принимаете отъ меня въ подарокъ все это, да?

— Да... братецъ... весело сказала она и потянулась было къ нему.

— Не смѣть! горячо остановила бабушка, до тѣхъ поръ сердито молчавшая. Марѣинька сѣла на свое мѣсто.

— Безстыдница! укоряла она Марѣиньку:—Гдѣ ты училась отъ чужихъ подарки принимать? Кажется, бабушка не тому учила; вѣкъ свой чужой копѣйкой не поживилась... А ты не успѣла и двухъ словъ сказать съ нимъ,

и ужъ подарки принимаешь. Стыдно, стыдно! Вѣрочка ни за что бы у меня не приняла: та—гордая!

Марейнька надулась.

— Сами же давеча... сказали, говорила она сердито, — что онъ намъ не чужой, а братъ, и велѣли поцѣловаться съ нимъ; а братъ можетъ все подарить.

— Это логично! Противъ этого спорить нельзя, одобрялъ Райскій. — И такъ рѣшено: это все ваше, я у васъ гость...

— Не бери! повелительно сказала бабушка:—Скажи: не хочу, не надо, мы не нищія, у насъ у самихъ есть имѣніе.

— Не хочу, братецъ, не надо... начала она съ ироніей повторять и засмѣялась. — Не надо, такъ не надо! прибавила она и вздохнула, лукаво поглядывая на него.

— Да ужъ ничего этого не будетъ тамъ у васъ, въ бабушкиномъ имѣніи, продолжалъ Райскій.

— Посмотри! Какой коверъ вокругъ дома! Безъ садика что за житье?

— Я садикъ возьму! шепнула она, только бабушкѣ не го-во-ри-те... досказала она движеніями губъ, безъ словъ.

— А кружева, бѣлье, серебро? говорилъ онъ вполголоса.

— Не надо! Кружева у меня есть свои, и серебро тоже! Да я люблю деревянной ложкой ѣсть... У насъ все по деревенски.

— А эти саксонскія чашки, эти пузатые чайники? Такихъ теперь не дѣлаютъ. Ужели не возьмешь?

— Чашки возьму, шептала она,—и чайники, еще вонъ этотъ диванчикъ возьму и маленькія кресельца, да эту скатерть, гдѣ вышита Діана съ собаками. Еще бы мнѣ хотѣлось взять мою комнатку... со вздохомъ прибавила она.

— Ну, весь домъ — пожалуйста, Марейнька, милая сестра...

Марейника поглядѣла на бабушку, потомъ, украдкой, утвердительно кивнула ему.

— Ты любишь меня? да?

— Ахъ, очень! Какъ вы писали, что приѣдете, я всякую ночь вижу васъ во снѣ, только совсѣмъ не такимъ...

— Какимъ же?

— Такимъ румянымъ, не задумчивымъ, а веселымъ; вы, будто, все шалите, да бѣгаете...

— Я вѣдь такой иногда бываю.

Она недовѣрчиво покосилась на него и покачала головой.

— Такъ возьмешь домикъ? спросилъ онъ.

— Возьму, только чтобъ и Вѣрочка старый домъ согласилась взять. А то одной стыдно: бабушка браниться станетъ.

— Ну, вотъ и кончено! громко и весело сказалъ онъ:— милая сестра! Ты не гордая, не въ бабушку!

Онъ поцѣловалъ ее въ лобъ.

— Чтó кончено? вдругъ спросила бабушка:— Ты приняла? Кто тебѣ позволилъ? Коли у самой стыда нѣтъ, такъ бабушка не допустить на чужой счетъ жить. Извольте, Борисъ Павловичъ, принять книги, счета, реестры и всѣ крѣпости на имѣніе. Я вамъ не прикащица досталась.

Она выложила передъ нимъ бумаги и книги.

— Вотъ чetyреста-шестьдесятъ-три рубля денегъ—это ваши. Въ мартѣ мужики принесли за хлѣбъ. Тутъ по счетамъ увидите, сколько внесено въ приказъ, сколько отдано за постройку и починку службъ, за новый заборъ, жалованье Савелью—все есть.

— Бабушка!

— Бабушки нѣтъ, а есть Татьяна Марковна Бережкова. Позвать сюда Савелья! сказала она, отворивъ дверь въ дѣвичью.

Черезъ четверть часа вошелъ въ комнату, бокомъ, пожилой, лѣтъ сорока пяти мужикъ, сложенный плотно, будто



изъ однѣхъ широкихъ костей, и оттого казавшійся толстымъ, хотя жиру у него не было ни золотника.

Онъ былъ мраченъ лицомъ, съ нависшими бровями, широкими вѣками, которыя поднималъ медленно и даромъ не тратилъ ни взглядовъ, ни словъ. Даже движеній почти не дѣлалъ. Отъ одного разговора на другой онъ тоже переходилъ трудно и медленно.

Мысленная работа совершается у него тяжело: когда онъ старается выговорить свою мысль, то помогаетъ себѣ бровями, складками на лбу, и отчасти указательнымъ пальцемъ.

Онъ остриженъ въ скобку, бороду брѣть рѣдко и у него на губахъ и на подбородкѣ почти всегда торчитъ щетина.

— Вотъ помѣщикъ пріѣхалъ! сказала бабушка, указывая на Райскаго, который наблюдаетъ, какъ Савелій вошелъ, какъ медленно поклонился, медленно поднялъ глаза на бабушку, потомъ, когда она указала на Райскаго, то на него, какъ медленно поворотился къ нему и задумчиво поклонился.

— Ты теперь приходи къ нему съ докладомъ, говорила бабушка:—онъ самъ будетъ управлять имѣніемъ.

Савелій опять оборотился въ половину къ Райскому, и изподлобья, но немного поживѣе, поглядѣлъ на него.

— Слушаю! разстановочно произнесъ онъ и брови поднялись медленно.

— Бабушка! удерживалъ полу-шутя, полу-серьезно Райскій.

— Внучекъ! холодно отозвалась она.

Райскій вздохнулъ.

— Чтó изволите приказать? тихо спросилъ Савелій, не поднимая глазъ. Райскій молчалъ и думалъ, чтó бы приказать ему.

— Чудесно! Вотъ чтó, живо сказалъ онъ.—Ты знаешь

какого-нибудь чиновника въ палатѣ, который бы могъ написать бумагу о передачѣ имѣнія?

— Гаврила Ивановичъ Мѣшечниковъ пишетъ всѣ бумаги намъ, произнесъ онъ не вдругъ, а подумавши.

— Ну, такъ попроси его сюда!

— Слушаю! потупившись отвѣчалъ Савелій, и медленно, задумчиво поворотившись, пошелъ вонъ.

— Какой задумчивый этотъ Савелій! сказалъ Райскій, провожая его глазами.

— Будешь задумчивъ, какъ навяжется такая супруга, какъ Марина Антиповна! Помнишь Антипа? ну, такъ его дочка! А золото-мужикъ, большія у меня дѣла дѣлаются: хлѣбъ продаетъ, деньги получаетъ, — честный, распорядительный: да вотъ гдѣ-нибудь да подстережетъ судьба! У всякаго свой крестъ! А ты что это затѣялъ, или въ самомъ дѣлѣ съ ума сошелъ? спросила бабушка, помолчавъ.

— Вѣдь это мое? сказалъ онъ, обводя рукой кругомъ себя:—вы не хотите ничего брать и запрещаете внукамъ...

— Ну, пусть и будетъ твое! возразила она. — Зачѣмъ же отпускать на волю, дарить?

— Надо же что-нибудь дѣлать! Я уѣду отсюда, вы управлять не хотите: надо устроить...

— Зачѣмъ уѣзжать: я думала, что ты совсѣмъ пріѣхалъ. Будетъ тебѣ мыкаться! Женись и живи. А то хорошо устройство: отдать тысячъ на тридцать всякаго добра!

Она безпокойно задумалась и, очевидно, боролась съ собой. Ей бы и въ голову никогда не пришло устранить отъ себя управленіе имѣніемъ и не хотѣла она этого. Она бы не знала что дѣлать съ собой. Она хотѣла только попутать Райскаго—и вдругъ онъ принялъ это серьезно.

„Пожалуй, чего добраго? отъ него станется: вонъ онъ какой!“ думала она въ страхѣ.

— Такъ и быть, сказала она:—я буду управлять, пока

силы есть. А то, пожалуй, дядюшка такъ управить, что подь опеку попадешь! Да чѣмъ ты станешь жить? Странный ты человѣкъ!

— Мнѣ съ того имѣнія присылають деньги: тысячи двѣ серебромъ—и довольно. Да я работать стану, добавиль онъ:—рисовать, писать... Вотъ собираюсь за-границу пожить: для этого, то имѣніе заложу или продамъ...

— Богъ съ тобой, чтó ты Борюшка! Долго ли этакъ до суммы дойти! Рисовать, писать, имѣніе продать! Не будешь ли по урокамъ бѣгать, школьниковъ учить? Эхъ ты! изъ офицеровъ вышелъ, вонъ теперь въ короткохвостомъ сертучишкѣ ходишь! Въмѣсто того, чтобы четверкой въ дормёзѣ прикатить, притащился на перекладной, одинъ, безъ лакея, чуть не пѣшкомъ пришелъ! А еще Райскій! Загляни въ старый домъ, на предковъ: постыдись хоть ихъ! Срамъ Борюшка! То ли бы дѣло, съ такими эполетами, какъ у дяди Сергѣя Ивановича, пріѣхаль: съ тремя тысячами душъ взялъ бы..

Райскій засмѣялся.

— Чтó смѣешься! Я дѣло говорю. Какая бы радость бабушкѣ! Тогда бы не сталъ дарить кружевъ да серебра: понадобилось бы самому...

— Ну, а какъ я не женюсь, и кружевъ не надо, то рѣшено, что это все Вѣрочкѣ и Марейнкѣ отдадимъ... Такъ или нѣтъ?

— Ты опять свое! заговорила бабушка.

— Да, свое, продолжалъ Райскій,—и если вы не согласитесь, я отдамъ все въ чужія руки: это кончено, даю вамъ слово...

— Вотъ — и слово далъ! безпокойно сказала бабушка. Она колебалась.—Имѣніе отдаетъ! Странный, необыкновенный человѣкъ! повторяла она:—совсѣмъ пропащій! Да какъ ты жиль, чтó дѣлалъ, скажи на милость! Кто ты на семь

свѣтъ есть? Всѣ люди, какъ люди. А ты—кто! Вонъ еще и бороду отпустилъ—сбрѣй, сбрѣй, не люблю!

— Кто я, бабушка? повторилъ онъ вслухъ: — несчастнѣйшій изъ смертныхъ!

Онъ задумался и прилегъ головой къ подушкѣ дивана.

— Не говори этого никогда! боязливо перебила бабушка: — судьба подслушаетъ, да и накажетъ: будешь въ самомъ дѣлѣ несчастный! Всегда будь доволенъ, или показывай, что доволенъ.

Она даже боязливо оглянулась, какъ-будто судьба стояла у нея за плечами.

— Несчастный! а чѣмъ, позволь спросить? заговорила она: — здоровъ, уменъ, имѣніе есть, слава Богу, вонъ какое! — она показала головой въ окна. — Чего еще: рожна, что-ли, надо?

Марѣинька засмѣялась, и Райскій съ нею.

— Что это значить, рожонъ?

— А то, что человѣкъ не чувствуетъ счастья, коли нѣтъ рожна, сказала она, глядя на него черезъ очки. — Надо его ударить бревномъ по головѣ, тогда онъ и узнаетъ, что счастье было, и какое оно плохенькое ни есть, а все лучше бревна.

„Вотъ чтó, практическая мудрость!“ подумалъ онъ.

— Бабушка! это жизненная замѣтка — это правда! вы философъ!

— Вотъ ты и умный, и ученый, а не зналъ этого!

— Помиримтесь? сказалъ онъ, вставши съ дивана: — вы согласились опять взять въ руки этотъ клочекъ...

— Имѣніе, а не клочекъ! перебила она.

— Согласитесь же отдать всю ветошь и хламъ этимъ милымъ дѣвочкамъ... Я бобыль, мнѣ не надо, а онѣ будутъ хозяйками. Не хотите, отдадимъ на школы...

— Школьникамъ! Не бывать этому! Чтобы этимъ озор-



никамъ досталось! Сколько они однихъ яблоковъ перетаскиваютъ у насъ черезъ заборъ!

— Берите скорѣй, бабушка! Ужели вы на старости лѣтъ бросите это гнѣздо?...

— Ветошь, хламъ! Тысячъ на десять серебра, бѣлья, хрусталь—ветошь! твердила бабушка.

— Бабушка! просила Марѣинька:—мнѣ цвѣтничекъ и садикъ, да мою зеленую комнату, да вотъ эти саксонскія чашки съ пастушкомъ, да салфетку съ Діаной...

— Замолчишь ли ты, безстыдница! Скажутъ, что мы попрошайки, обобрали сироту!

— Кто скажетъ? спросилъ Райскій.

— Всѣ! Первый Нилъ Андреичъ заголосить.

— Какой Нилъ Андреичъ?

— А помнишь: предсѣдатель въ палатѣ? Мы съ тобой заѣзжали къ нему, когда ты послѣ гимназіи пріѣхалъ сюда—и не застали. А потомъ онъ въ деревню уѣхалъ; ты его и не видалъ. Тебѣ надо съѣздить къ нему: его всѣ уважаютъ и боятся, даромъ что онъ въ отставкѣ...

— Чортъ съ нимъ! Чтó мнѣ за дѣло до него! сказалъ Райскій.

— Ахъ, Борисъ, Борисъ—опомнись! сказала почти набожно бабушка.—Человѣкъ почтенный...

— Чѣмъ же онъ почтенный?

— Старый, серьезный человѣкъ, со звѣздой!

Райскій засмѣялся.

— Чему смѣешься?

— Чтó значить „серьезный?“ спросилъ онъ.

— Говорить умно, учить жить, не запоетъ: ти, ти, ти, да та, та, та. Строгій: за дурное осудить! Вотъ чтó значить серьезный.

— Всѣ эти „серьезные“ люди — или ослы великіе, или лицемѣры! замѣтилъ Райскій.—„Учить жить“: а самъ онъ умѣетъ ли жить?

— Ещебы не умѣлъ! нажилъ богатство, вышелъ въ люди...

— Иной думаетъ у насъ, что вышелъ въ люди, а въ самомъ-то дѣлѣ онъ вышелъ въ свиньи...

Марейнька засмѣялась.

— Не люблю, не люблю, когда ты такъ дерзко говоришь! гнѣвно возразила бабушка. — Ты во что самъ вышелъ, сударь: ни Богу свѣча, ни черту кочерга! А Нилъ Андреичъ все-таки почтенный человѣкъ, что ни говори: узнаетъ, что ты такъ небрежно имѣніемъ распоряжаешься — осудить! И меня осудить, если я соглашусь взять: ты сирота...

— Вы мнѣ когда-то говорили, что онъ племянницу обобралъ, въ казнѣ воровалъ, — и онъ же осудить...

— Помолчи, помолчи объ этомъ, торопливо отозвалась бабушка: — помни правило: „языкъ мой — врагъ мой, прежде ума моего родился!“

— Развѣ я маленькій, что не въ правѣ отдать кому хочу, еще и родственницамъ? Мнѣ самому не надо, продолжалъ онъ, — стало быть, отдать имъ и разумно, и справедливо.

— А если ты женишься?

— Я не женюсь.

— Почему знать? Какая-нибудь встрѣча... вонъ здѣсь есть богатая невѣста... Я писала тебѣ...

— Мнѣ не надо богатства!

— Не надо богатства: что городить! Жену вѣдь надо?

— И жену не надо.

— Какъ не надо? Какъ же ты проживешь? спросила она недовѣрчиво.

Онъ засмѣялся и ничего не сказалъ.

— Пора, Борисъ Павловичъ, сказала она: — вонъ въ вискѣ сѣдина показывается. Хочешь посватаю? А какая красавица, какъ воспитана!

— Нѣтъ, бабушка, не хочу!

— Я не шучу, замѣтила она:—у меня давно было въ головѣ.

— И я не шучу, у меня никогда въ головѣ не было.

— Ты хоть познакомься!

— И знакомиться не стану.

— Женитесь, братецъ, вмѣшалась Марѣинька:—я бы стала нанять дѣтей у васъ... я такъ люблю играть съ ними.

— А ты, Марѣинька, думаешь выйти замужъ?

Она покраснѣла.

— Скажи мнѣ правду, на ухо—говорилъ онъ.

— Да... иногда думаю.

— Когда же иногда?

— Когда дѣтей вижу: я ихъ больше всего люблю...

Райскій засмѣялся, взявъ ее за обѣ руки и прямо смотрѣлъ ей въ глаза. Она покраснѣла, ворочалась то въ одну, то въ другую сторону, стараясь не смотрѣть на него.

— Ты послушай только: она тебѣ наговорить! приговаривала бабушка, вслушавшись и убирая счеты.—Точно дитя: чтó на умѣ, то и на языкѣ!

— Я очень люблю дѣтей, оправдывалась она, смущенная:—мнѣ завидно глядѣть на Надежду Никитишну: у ней семь человѣкъ... Куда не обернись, вездѣ дѣти. Какъ это весело! Мнѣ бы хотѣлось побольше маленькихъ братьевъ и сестеръ, или хоть чужихъ дѣточекъ. Я бы и птицъ бросила, и цвѣты, музыку, все бы за ними ходила. Одинъ шалить, его въ уголь надо поставить, тотъ просить кашки, этотъ кричить, третій дерется; тому оспочку надо привить, тому ушки протирать, а этого надо учить ходить... Чтó можетъ быть веселѣе! Дѣти—такія милыя, граціозныя отъ природы, смѣшныя, добрыя, хорошенькія!

— Есть и безобразные, сказалъ Райскій:—развѣ ты и ихъ любила бы?..

— Есть больныя, строго замѣтила Марѣинька:—а безобразныхъ нѣтъ! Ребенокъ не можетъ быть безобразенъ. Онъ еще не испорченъ ничѣмъ.

Все это говорила она съ жаромъ, почти страстно, такъ что ея граціозная грудь волновалась подъ кисеей, какъ будто просилась на просторъ.

— Какой идеаль жены и матери! Милая Марѣинька — сестра! Какъ счастливъ будетъ мужъ твой!

Она стыдливо сѣла въ уголь.

— Она все съ дѣтьми: когда они тутъ, ее не отгонишь, замѣтила бабушка:—поднимуть шумъ, гамъ, хоть вонъ бѣги!

— А есть у тебя кто-нибудь на примѣтѣ, продолжала Райскій:—женихъ какой-нибудь?..

— Чтó это ты, мой батюшка, опомнись! Какъ она безъ бабушкина спроса будетъ о замужествѣ мечтать?

— Какъ, и мечтать не можетъ безъ спроса?

— Конечно не можетъ.

— Вѣдь это ея дѣло.

— Нѣтъ, не ея, а пока бабушкино, замѣтила Татьяна Марковна.—Пока я жива, она изъ повиновенія не выйдетъ.

— Зачѣмъ это вамъ, бабушка?

— Чтó зачѣмъ?

— Такое повиновеніе: чтобъ Марѣинька даже полюбить безъ вашего позволенія не смѣла?

— Выйдетъ замужъ, тогда и полюбить.

— Какъ „выйдетъ замужъ и полюбить“: полюбить и выйдетъ замужъ, хотите вы сказать!

— Хорошо, хорошо, это у васъ тамъ такъ, говорила бабушка, замахавъ рукой: — а мы здѣсь прежде осмотримъ, узнаемъ, чтó за человѣкъ, пудъ соли съѣдимъ съ нимъ, тогда и отдаемъ за него.

— Такъ у васъ еще не выходятъ дѣвушки, а отдаютъ ихъ—бабушка! Есть ли смыслъ въ этомъ...



— Ты, Борюшка, пожалуйста, не учи ихъ этимъ своимъ идеямъ!.. Вонъ, покойница мать твоя была такая же... да и сошла прежде времени въ могилу!

Она вздохнула и задумалась.

„Нѣтъ, это все надо передѣлать! сказалъ онъ про себя...— Не даютъ свободы—любить. Какая грубость! А вѣдь добрые, нѣжные люди! Какой еще туманъ, какое затмѣние въ ихъ головахъ!“—Марейника! Я тебя просвѣщу! обратился онъ къ ней.

— Видите ли, бабушка: этотъ домикъ, со всѣмъ что здѣсь есть, какъ будто для Марейники выстроенъ, сказалъ Райскій:—только дѣтскія надо надстроить. Люби, Марейника, не бойся бабушки. А вы, бабушка, мѣшаете принять подарокъ!

— Ну, добро, посмотримъ, посмотримъ, сказала она:—если не женишься самъ, такъ какъ хочешь, на свадьбу подари имъ кружева что ли: только чтобы никто не зналъ, пуще всего Ниль Андреичъ... надо въ тихомолку...

— Свободный, разумный и справедливый поступокъ — въ тихомолку! Долго ли мы будемъ жить, какъ совы, бояться свѣта дневнаго, слушать совиную мудрость Ниловъ Андреевичей!..

— Шш! ш, ш! зашипѣла бабушка:—услыхалъ бы онъ! Человѣкъ онъ старый, заслуженный, а главное серьезный! Мнѣ не сговорить съ тобой — поговори съ Титомъ Никонычемъ. Онъ обѣдать придетъ, прибавила Татьяна Марковна.

„Станный, необыкновенный человѣкъ!“ думала она.— „Все ему нипочемъ, ничего въ грошъ не ставить! Имѣние отдаетъ, серьезные люди у него — дураки, себя несчастнымъ называетъ! Погляжу еще что будетъ!“

### III.

Райскій взялъ фуражку и собрался идти въ садъ. Марейника вызвалась показать ему все хозяйство: и свой садикъ, и большой садъ, и огородъ, цвѣтникъ, бесѣдки.

— Только въ лѣсъ боюсь; я не хожу съ обрыва, тамъ страшно, глухо! говорила она. — Вѣрочка пріѣдетъ, она проводитъ васъ туда.

Она надѣла на голову косынку, взяла зонтикъ, и летала по грядамъ и цвѣтамъ, какъ сильфъ, блестя красками здоровья, веселостью сѣро-голубыхъ глазъ и лѣтнимъ нарядомъ изъ прозрачныхъ тканей. Вся она казалась сама какой-то радугой изъ этихъ цвѣтовъ, лучей, тепла и красокъ весны.

Борисъ видѣлъ все это у себя въ умѣ и видѣлъ себя, задумчиваго, тяжелаго. Ему казалось, что онъ портитъ картину, для которой ему тоже нужно быть молодому, бодрому, живому, съ такими же, какъ у ней, налитыми жизненной влагой глазами, съ такой же рѣзвостью движеній.

Ему хотѣлось бы рисовать ее безкорыстно, какъ артисту, безъ себя, вотъ какъ бы нарисоваль онъ, напримѣръ, бабушку. Фантазія услужливо рисовала ее во всей старческой красотѣ: и выходила живая фигура, которую онъ наблюдалъ покойно, объективно.

А съ Марейнкой это не удавалось. И садъ, казалось ему, хорошъ отъ того, что она тутъ. Марейнка рѣяла около него, осматривала клумбы, поднимала головку, то у того, то у другого цвѣтка.

— Вотъ этотъ розанъ вчера еще почкой былъ, а теперь посмотрите, какъ распустился, говорила она, съ торжествомъ показывая ему цвѣтокъ.

— Какъ ты сама! сказалъ онъ.

— Ну, ужъ хороша роза!

— Ты лучше ея!

— Понюхайте, какъ она пахнетъ!

Онъ нюхаль цвѣтокъ и шѣль за ней.

— А вотъ эти маргаритки надо полить, и піоны тоже! говорила она опять, и уже была въ другомъ углу сада, черпала воду изъ бочки и съ граціознымъ усиліемъ несла

лейку, поливала кусты, и зорко осматривала, не надо ли полить другіе.

— А въ Петербургѣ еще и сирени не зацвѣли, — сказалъ онъ.

— Ужели? А у насъ ужъ отцвѣли, теперь акаціи начинаютъ цвѣсти. Для меня праздникъ, когда липы зацвѣтутъ — какой запахъ!

— Сколько здѣсь птицъ! сказалъ онъ, вслушиваясь въ веселое щебетанье на деревьяхъ.

— У насъ и соловьи есть—вонъ тамъ, въ рощѣ! И мои птички всѣ здѣсь пойманы, говорила она.— А вотъ тутъ въ огородѣ мои грядки: я сама работаю. Подальше — тамъ арбузы, дыни, вотъ тутъ цвѣтная капуста, артишоки...

— Пойдемъ, Марѣинька, къ обрыву, на Волгу смотрѣть.

— Пойдемте, только я близко не пойду, боюсь. У меня голова кружится. И не охотница я до этого мѣста! Я не долго съ вами пробуду! Бабушка велѣла объ обѣдѣ позаботиться. Вѣдь я хозяйка здѣсь! У меня ключи отъ серебра, отъ кладовой. Я вамъ велю достать вишневаго варенья: это ваше любимое, Василиса сказывала.

Онъ улыбкой поблагодарилъ ее.

— А что къ обѣду? спросила она.— Бабушка намѣрена угостить васъ на славу.

— Вѣдь я обѣдалъ. Развѣ къ ужину?

— До ужина еще полдникъ будетъ: за чаемъ простоквашу подаютъ: что лучше вы любите, творогъ со сливками... или...

— Да, я люблю творогъ... разсѣянно отвѣчалъ Райскій.

— Или простоквашу?

— Да, хорошо простоквашу...

— Что же лучше? спросила она, и не слыша отвѣта, обернулась посмотреть, что его занимаетъ. А онъ пристально слѣдилъ, какъ она, переступая черезъ канавку, припод-

няла край платья и вышитой юбки и какъ изъ-подъ платья вытягивалась кругленькая, точно выточенная, и крѣпкая небольшая нога, въ бѣломъ чулкѣ, съ коротенькимъ, будто обрубленнымъ носкомъ, обутая въ лакированный башмакъ, съ красной сафьянной отдѣлкой и съ пряжкой.

— Ты любишь щеголять, Марѣнька: лакированный башмакъ! сказалъ онъ.

Онъ думалъ, что она смутится, пойманная въ располхъ, приготовился наслаждаться ея смущеніемъ, смотрѣть, какъ она быстро и стыдливо бросить изъ рукъ платье и юбку.

— Это мы съ бабушкой на ярмаркѣ купили, сказала она, приподнявъ еще немного юбку, чтобъ онъ лучше могъ разглядѣть башмакъ. — А у Вѣрочки лиловые, прибавила она.—Она любитъ этотъ цвѣтъ. Что же вамъ къ обѣду: вы еще не сказали?

Но онъ не слушалъ ее. „Милое дитя! думалъ онъ, тебѣ не надо притворяться стыдливой!“

— Я не хочу ѣсть, Марѣнька. Дай руку, пойдемъ къ Волгѣ.

Онъ прижалъ ее руку къ груди и чувствовалъ, какъ у него бьется сердце, чуя близость... чего? наивнаго, милаго ребенка, доброй сестры, или... молодой, расцвѣтшей красоты? Онъ боялся, станетъ ли его на то, чтобъ наблюдать ее какъ артисту, а не отдаться, по обыкновенію, легкому впечатлѣнію?

У него передъ глазами былъ идеаль простой, чистой натуры, и въ душѣ создавался образъ какого-то тихаго, семейнаго романа, и въ то же время онъ чувствовалъ, что романъ понемногу захватывалъ и его самого, что ему хорошо, тепло, что окружающая жизнь какъ будто втягиваетъ его...

— Ты поешь, Марѣнька? спросилъ онъ.

— Да... немножко, застѣнчиво отвѣчала она.

• — Что же?



— Русскіе романсы; начала италіянскую музыку, да учитель уѣхалъ. Я пою: *Una voce raso fa*, только трудно очень для меня. А вы поете?

— Дикимъ голосомъ, но за то безпрестанно.

— Чтѣ же?

— Все. — И онъ запѣлъ изъ „Ломбардовъ“, потомъ маршъ изъ „Семирамиды“, и вдругъ замолкъ.

Онъ взглядывалъ близко ей въ глаза, жалъ руку и соразмѣрялъ свой шагъ съ ея шагомъ.

„Ничего больше не надо для счастья, думалъ онъ: умѣй только остановиться во время, не заглядывать въ даль. Такъ бы сдѣлалъ другой на моемъ мѣстѣ. Здѣсь все есть для тихаго счастья — но... это не мое счастье!“ Онъ вздохнулъ. „Глаза привыкнуть... воображеніе устанетъ,—и впечатлѣніе износится... иллюзія лопнетъ, какъ мыльный пузырь, едва разбудивъ нервы!...“

Онъ выпустилъ ея руку и задумался.

— Чтѣ жъ вы молчите, спросила она?— „Ничего не говорить!“ про себя прибавила потомъ.

— Ты любишь читать... читаешь, Мароинька? спросилъ онъ, очнувшись.

— Да, когда соскучусь, читаю.

— Чтѣ же?

— Что попадется: Титъ Никонычъ журналы носить, повѣсти читаю. Иногда у Вѣрочки возьму французскую книгу какую-нибудь. „Елену“ недавно читала миссъ Еджевортъ, еще „Дженъ Эйръ“... Это очень хорошо... Я двѣ ночи не спала: все читала, не могла оторваться.

— Чтѣ тебѣ больше нравится? Какой родъ чтенія?

Она подумала немного, очевидно затрудняясь опредѣлить родъ.

— Да вы смѣяться будете, какъ давеча надъ гусенкомъ... сказала она, не рѣшаясь говорить.

— Нѣтъ, нѣтъ, Марейнка: смѣяться надъ такой милой, хорошенькой сестрой! Вѣдь ты хорошенькая?

— Ну, что за хорошенькая! небрежно сказала она: — толстая, бѣлая! Вотъ Вѣрочка такъ хорошенькая, прелесть!

— Что же ты любишь читать? Поэзію читаешь: стихи?

— Да, Жуковского, Пушкина недавно „Мазепу“ прочла.

— Что же, нравится?

Она отрицательно покачала головой.

— Отчего?

— Жалко Марію. Вотъ „Гулливеровы путешествія“ нашла у васъ въ бібліотекѣ и оставила у себя. Я ихъ разъ семь прочла. Забуду немного и опять прочту. Еще „Кота Мура“, „Братья Серапіоны“, „Песочный человѣкъ“: это больше всего люблю.

— Какія же тебѣ книжки еще нравятся? Читала ли ты серьезное что-нибудь?

— Серьезное? повторила она, и лицо у ней вдругъ серьезно сморщилось немного: — Да, вонъ у меня изъ вашихъ книгъ остались нѣкоторыя, да я ихъ не могу одолѣть...

— Какія-же?

— Шатобріана — „Les Martyrs...“ Это ужъ очень высоко для меня!

— Ну, а исторію?

— Леонтій Ивановичъ давалъ — Мишле, „Précis de l'histoire moderne“, потомъ Римскую исторію, кажется, Жибона...

— То-есть, Гиббона: что же?

— Я не дочитала... слишкомъ величественно! Это надо только учителямъ читать, чтобъ учить...

— Ну, романы читаешь?

— Да... только такіе, гдѣ кончается свадьбой.

Онъ засмѣялся, и она за нимъ.

— Это глупо? да? спросила она.

— Нѣтъ, мило. Въ тебѣ глупаго не можетъ быть.

— Я всегда прежде посмотрю, продолжала она смѣлѣе: и если печальный конецъ въ книгѣ — я не стану читать. Вонъ „Басурмана“ начала, да Вѣрочка сказала, что жениха казнили, я и бросила.

— Стало-быть, ты и „Горя отъ ума не любишь? Тамъ не свадьбой кончается.

Она потрясла головой.

— Софья Павловна гадкая, замѣтила она: — а Чацкого жаль: пострадать за то, что умнѣе всѣхъ!

Онъ съ улыбкой вслушивался въ ея литературный лепетъ и съ возрастающимъ наслажденіемъ вглядывался ей въ глаза, въ бѣленькіе, тѣсные зубы, когда она смѣялась.

— Мы будемъ вмѣстѣ читать, сказалъ онъ: — у тебя сбивчивыя понятія, вкусъ не развитъ. Хочешь учиться? Будешь понимать, дѣлать вѣрно критическую оцѣнку.

— Да, только выбирайте книжки, гдѣ веселый конецъ, свадьба...

— И дѣтки чтобъ были? лукаво спросилъ онъ: — чтобъ одного „кашкой кормили“, другому „оспичку прививали?“ Да?

— Злой, злой! ничего не стану говорить вамъ... Вы все замѣчаете, ничего не пропустите...

— Такъ ты не выйдешь ни за кого безъ бабушкина спроса?

— Не выйду! сказала она съ твердостью, даже немного хвастливо, что она не въ состояніи сдѣлать такого дурного поступка.

— Почему же такъ?

— А если онъ картежникъ, или пьяница, или дома никогда не сидитъ, или безбожникъ какой-нибудь, вонъ

какъ Маркъ Иванычъ... почему я знаю? А бабушка все узнаетъ...

— А Маркъ Иванычъ безбожникъ?

— Никогда въ церковь не ходить.

— Ну, а если этотъ безбожникъ или картежникъ понравится тебѣ?..

— Все равно, я не выйду за него!

— А если полюбишь ты?..

— Картежника, или такого, который смѣется надъ религіей, вонъ какъ Маркъ Иванычъ: будто это можно? Я съ нимъ не заговорю никогда; какъ же полюблю?

— Такъ что бабушка скажетъ, такъ тому и быть?

— Да, она лучше меня знаетъ.

— А когда же ты сама будешь знать и жить?

— Когда... буду въ зрѣлыхъ лѣтахъ, буду своимъ домомъ жить, когда у меня будутъ свои...

— Дѣти? подсказалъ Райскій.

— Свои коровы, лошади, куры, много людей въ домѣ... Да, и дѣти... краснѣя, добавила она.

— А до тѣхъ поръ, все бабушка?

— Да. Она умная, добрая, она все знаетъ. Она лучше всѣхъ здѣсь и въ цѣломъ свѣтѣ! съ одушевленіемъ сказала она.

Онъ замолчалъ, припоминалъ Бѣловодову, разговоръ съ ней, сходство между той и другой, и разныя причины этого сходства, и причины несходства.

У него рисовались оба образа, и просились во что-то: обѣ готовыя, обѣ прекрасныя — каждая своей красотой — обѣ разливали яркій свѣтъ на какую-то картину.

— Что изъ этого будетъ — онъ не зналъ, и пока рѣшилъ написать Марейныкинъ портретъ масляными красками.

Они подошли къ обрыву. Марейныка боязливо заглянула внизъ и, вздрогнувъ, понятилась назадъ.



Райскій бросилъ взглядъ на Волгу, забылъ все и замеръ неподвижно, воззрѣвъ въ ея задумчивое теченіе, глядя какъ она раскидывается по лугамъ широкими разливами.

Полноводье еще не сбыло и рѣка завладѣла плоскимъ прибрежьемъ, а у крутыхъ береговъ шумливо и кругами омывала подножія горъ. Въ разныхъ мѣстахъ, незамѣтно, будто не двигаясь, плыли суда. Высоко на небѣ рядами висѣли облака.

Марейнька подошла къ Райскому и смотрѣла равнодушно на всю картину, къ которой привыкла давно.

— Вотъ эти суда посуду везутъ, говорила она,—а это расшивы изъ Астрахани плывутъ. А вотъ, видите, какъ эти домики окружило водой? Тамъ бурлаки живутъ. А вонъ, за этими двумя горками, дорога идетъ къ попадѣ. Тамъ теперь Вѣрочка. Какъ тамъ хорошо, на берегу! Въ іюлѣ мы будемъ ѣздить на островъ, чай пить. Тамъ бездна цвѣтовъ.

Райскій молчалъ.

— Тамъ зайцы водятся, только теперь ихъ затопило, бѣдныхъ! У меня кролики есть, я вамъ покажу!

Онъ продолжалъ молчать.

— Въ концѣ лѣта суда съ арбузами придутъ, продолжала она: — сколько ихъ тутъ столпится! Мы покупаемъ только мочить, а къ десерту свои есть, крупные, иногда въ пудъ вѣсомъ бываютъ. Прошлый годъ больше пуда одинъ былъ, бабушка архіерею отослала.

Райскій все смотрѣлъ.

„Все молчить!“ шепнула Марейнька про себя.

— Пойдемъ туда! вдругъ сказалъ онъ, показывая на обрывъ и взявъ ее за руку.

— Ахъ, нѣтъ, нѣтъ, боюсь! говорила она, дрожа и пятась.

— Со мной боишься?

— Боюсь!

— И тебѣ не дамъ упасть. Развѣ ты не вѣришь, что я сберегу тебя?

— Вѣрю, да боюсь. Вонъ Вѣрочка не боится: одна туда ходить, даже въ сумерки! Тамъ убійца похороненъ, а ей ничего!

— Ну, еслибъ я сказалъ тебѣ: „закрой глаза, дай руку и иди, куда я поведу тебя“,—ты бы дала руку? закрыла бы глаза?

— Да... дала бы, и глаза бы закрыла, только... однимъ глазомъ тихонько бы посмотрѣла...

— Ну, вотъ теперь попробуй—закрой глаза, дай руку; ты увидишь, какъ я тебя сведу осторожно: ты не почувствуешь страха. Давай же, вѣрься мнѣ, закрой глаза.

Она закрыла глаза, но такъ, чтобъ можно было видѣть, и только онъ взялъ ее за руку и провелъ шагъ, она вдругъ увидѣла, что онъ сдѣлалъ шагъ внизъ, а она стоитъ на краю обрыва, вздрогнула и вырвала у него руку.

— Ни за что не пойду, ни за что! съ хохотомъ и визгомъ говорила она, вырываясь отъ него.—Пойдемте, пора домой, бабушка ждетъ! Чтò же къ обѣду? спрашивала она:—любите ли вы макаронъ? свѣжіе грибы?

Онъ ничего не отвѣчалъ и любовался ею.

— Какая ты прелесть! Ты цѣльная, чистая натура! и какъ ты вѣрна ей, сказалъ онъ, ты находка для художника! Сама естественность!

Онъ поцѣловалъ у нея руку.

— Чего-чего не наговорили обо мнѣ! Да куда же вы?

Отвѣта не было. Она подошла къ обрыву шага на два, робко заглянула туда и видѣла, какъ съ шумомъ раздавались кусты врозь и какъ Райскій, точно по крупнымъ уступамъ лѣстницы, прыгалъ по горбамъ и впадинамъ оврага.

— Страсть какая! съ дрожью сказала она и пошла домой.

IV.

Райскій обогнулъ весь городъ и изъ глубины оврага поднялся опять на гору, въ противоположномъ концѣ отъ своей усадьбы. Съ вершины холма онъ сталъ спускаться въ предмѣстье. Весь городъ лежалъ передъ нимъ, какъ на ладони.

Онъ съ пристрастнымъ чувствомъ, пробужденнымъ старыми, почти дѣтскими воспоминаніями, смотрѣлъ на эту кучу разнохарактерныхъ домовъ, домиковъ, лачужекъ, сбившихся въ кучу, или разбросанныхъ по высотамъ и по ямамъ, ползущихъ по окраинамъ оврага, спустившихся на дно его, домиковъ съ балконами, съ маркизами, съ бельведерами, съ пристройками, надстройками, съ венеціанскими окошками, или едва замѣтными щелями вмѣсто оконъ, съ голубятнями, скворечниками, съ пустыми, заросшими травой, дворами. Смотрѣлъ на искривленные, безконечные, идущіе между плетнями, переулки, на пустые, безъ домовъ, улицы, съ громкими надписями: „Московская улица“, „Астраханская улица“, „Саратовская улица“, съ базарами, гдѣ навалены груды лыкъ, соленой и сушеной рыбы, кадки дегтю и калачи; на зіяющія ворота постоялыхъ дворовъ, съ далеко-разносящимся запахомъ навоза, и на бренчащіе по улицѣ дрожки.

Было за полдень давно. Надъ городомъ лежало оцѣпеннѣніе покоя, штиль на сушѣ, какой бываетъ на морѣ, штиль широкой, степной, сельской и городской русской жизни. Это не городъ, а кладбище, какъ всѣ эти города.

Онъ, не то умеръ, не то уснулъ, или задумался. Растворенныя окна зіяли, какъ разверзтыя, но не говорящія уста; нѣтъ дыханія, не бьется пульсъ. Куда же убѣжала жизнь? Гдѣ глаза и языкъ у этого лежащаго тѣла? Все пестро, зелено и все молчитъ.

Райскій вошелъ въ переулки и улицы: даже вѣтеръ не ходить. Пыль, уже третій день нетронутая, однимъ узоромъ отъ проѣхавшихъ колесъ лежитъ по улицамъ; въ тѣни забора отдыхаетъ козель, да куры, вырывъ ямки, усѣлись въ нихъ, а неутомимый пѣтухъ ищетъ поживы, проворно раскапывая, то одной, то другой ногой, кучу пыли.

Собаки, свернувшись по три, по четыре, лежатъ разношерстной кучей на любомъ дворѣ, бросаясь, по временамъ, отъ праздности, съ лаемъ на рѣдкаго прохожаго, до котораго имъ никакого дѣла нѣтъ.

Просторъ и пустота — какъ въ пустынѣ. Кое-гдѣ высунется изъ окна голова съ сѣдой бородой, въ красной рубашкѣ, поглядитъ, зѣвая, на обѣ стороны, плюнетъ и спрячется.

Въ другое окно, съ улицы, увидишь храпящаго, на кожаномъ диванѣ, человѣка, въ халатѣ: подлѣ него на столѣхъ лежатъ „Вѣдомости“, очки, и стоитъ графинъ квасу.

Другой сидитъ по цѣлымъ часамъ у воротъ, въ картузѣ, и въ мирномъ бездѣйствіи смотритъ на канаву съ крапивою и на заборъ на противоположной сторонѣ. Давно ужъ мнѣтъ носовой платокъ въ рукахъ—и все не рѣшается высморкаться: лѣнь.

Тамъ кто-то бездѣйствуетъ у окна, съ пенковой трубкой, и когда бы кто ни прошелъ, всегда сидитъ онъ — съ довольнымъ, ничего не желающимъ и нескучающимъ взглядомъ.

Въ другомъ мѣстѣ видѣлъ Райскій такую же, сидящую у окна, пожилую женщину, весь вѣкъ проведенную въ своемъ переулкѣ, безъ суматохи, безъ страстей и волненій, безъ ежедневныхъ встрѣчъ съ безконечно-разнообразной породой подобныхъ себѣ, и не вѣдающую скуки, которую такъ глубоко и тяжело вѣдаютъ въ большихъ городахъ, въ центрѣ дѣлъ и развлеченій.

Райскій, идучи изъ переулка въ переулокъ, видѣлъ кое-



гдѣ семью за трапезой, а тамъ, въ мѣщанскомъ домѣ, ужъ подавали самоваръ.

Въ безлюдной улицѣ за версту слышно, какъ разговариваютъ двое, трое между собой. Звонко раздаются голоса въ пустотѣ и шаги по деревянной мостовой.

Гдѣ-то въ сараѣ кучеръ рубить дрова, тутъ же поросенокъ хрюкаетъ въ навозѣ; въ низенькомъ окнѣ, въ уровень съ землею, отдувается коленкоровая занавѣска съ бахромой, путаясь въ резедѣ, бархатцахъ и бальсaminaхъ.

Тамъ сидитъ, наклоненная надъ шитьемъ, бодрая, хорошенькая головка и шьетъ прилежно, не смотря на жаръ и всѣхъ одолѣвающую дремоту. Она одна бодрствуетъ въ домѣ и, можетъ быть, сторожить знакомые шаги...

Изъ отворенныхъ оконъ одного дома обдало его сотней звонкихъ голосовъ, которые повторяли азы и дѣлали совершенно лишнюю надпись на дверяхъ: „Школа“.

Дальше набрелъ онъ на постройку дома, на кучу щепокъ, стружекъ, бревенъ, и на кружокъ расположившихся около огромной деревянной чашки плотниковъ. Большой каравай хлѣба, крошенный въ квасъ лукъ, да кусокъ красноватой соленой рыбы—былъ весь обѣдъ.

Мужики сидѣли смирно и молча, по очереди, опускали ложки въ чашку и опять клали ихъ, жевали, не торопясь, не смѣялись и не болтали за обѣдомъ, а прилежно, и будто набожно, исполняли трудную работу.

Райскому хотѣлось нарисовать эту группу усталыхъ, серьезныхъ, буро-желтыхъ, какъ у отаитянъ, лицъ, эти черствыя, загорѣлыя руки, съ негнушимися пальцами, крѣпко вросшими, будто желѣзными, ногтями, эти широко и мѣрно растворяющіеся рты и медленно жующія уста, и этотъ—поглощающій хлѣбъ и кашу—голодь.

Да, голодь, а не аппетитъ: у мужиковъ не бываетъ ап-

петита. Аппетитъ вырабатывается праздностью, моціономъ и нѣгой, голодь — временемъ и тяжелой работой.

„Однако, какая широкая картина тишины и сна!“ думалъ онъ, оглядываясь вокругъ: — „какъ могила! Широкая рама для романа! Только что я вставлю въ эту раму?“

Онъ мысленно снималъ рисунокъ съ домовъ, замѣчалъ выглядывавшія фізіономіи встрѣчныхъ, группировалъ лица бабушки, дворни.

Все это пока толпилось около Марѣиньки. Она была центромъ картины. Фигура Бѣловодовой отступила на второй планъ и стояла одиноко.

Онъ медленно, машинально шелъ по улицамъ, мысленно разрабатывая свой новый матеріалъ. Всѣ фигуры становились отчетливо у него въ головѣ, всѣхъ онъ видѣлъ ихъ тамъ, какъ живыми.

„Что, еслибъ на этомъ сонномъ, неподвижномъ фонѣ, да легла бы картина страсти! мечталъ онъ. Какая жизнь вдругъ хлынула бы въ эту раму! Какія краски... Да гдѣ взять красокъ и... страсти тоже?..“

„Страсть!“ повторилъ онъ очень страстно. — „Ахъ, еслибъ на меня излился ея жгучій зной, сжегъ бы, пожралъ бы артиста, чтобъ я слѣпо утонулъ въ ней и утопилъ эти свои параллельные взгляды, это пытливое, двойное зрѣніе! Надо, чтобъ я не глазами, на чужой кожѣ, а чтобъ собственными нервами, костями и мозгомъ костей вытерпѣлъ огонь страсти, и послѣ — желчью, кровью и побѣтомъ написалъ картину ея, эту геенну людской жизни. Страсть Софьи... Нѣтъ, нѣтъ!“ холодно думалъ онъ. — „Она „выше міра и страстей“. Страсть Марѣиньки!“ онъ засмѣялся.

Оба образа поблѣднѣли, и онъ печально опустилъ голову и равнодушно глядѣлъ по сторонамъ.

„Да, изъ нихъ выйдетъ романъ“, думалъ онъ; „романъ, пожалуй, вѣрный, но вялый, мелкій, — у одной съ аристокра-

тически, у другой съ мѣщанскими подробностями. Тамъ широкая картина холодной дремоты въ мраморныхъ саркофагахъ, съ золотыми, шитыми на бархатѣ, гербами на гробахъ; здѣсь—картина теплаго лѣтняго сна, на зелени, среди цвѣтовъ, подъ чистымъ небомъ, но все сна, непробуднаго сна!“

Онъ пошелъ поскорѣе, вспомнивъ, что у него была цѣль прогулки, и поглядѣлъ вокругъ, кого бы спросить, гдѣ живетъ учитель Леонтій Козловъ. И никого на улицѣ: ни признака жизни. Наконецъ, онъ рѣшился войти въ одинъ изъ деревянныхъ домиковъ.

На крыльцѣ его обдалъ такой крѣпкій запахъ, что онъ засовался въ затрудненіи, которую изъ трехъ, бывшихъ тамъ дверей, отворить поскорѣе. За одной послышалось движеніе, и онъ вошелъ въ небольшую переднюю.

— Кто тамъ? съ изумленіемъ спросила пожилая женщина, которая держала въ объятіяхъ самоваръ и готовилась нести его, повидимому, ставить.

— Не можете-ли вы мнѣ сказать, гдѣ здѣсь живетъ учитель Леонтій Козловъ? спросилъ Райскій.

Она съ испугомъ продолжала глядѣть на него во всѣ глаза.

— Кто тамъ? послышался голосъ изъ другой комнаты, и въ то же время зашаркали туфли и показался человѣкъ, лѣтъ пятидесяти, въ пестромъ халатѣ, съ синимъ платкомъ въ рукахъ.

— Вотъ учителя какого-то спрашиваетъ! сказала одурѣлая баба.

Господинъ въ халатѣ тоже воззрился съ удивленіемъ на Райскаго.

— Какого учителя? Здѣсь не живетъ учитель... говорилъ онъ, продолжая съ изумленіемъ глядѣть на посѣтителя.

— Извините, я пріѣзжій, только сегодня утромъ прі-

ѣхалъ, и не знаю никого: я случайно зашелъ въ эту улицу и хотѣлъ спросить...

— Не угодно-ли пожаловать въ комнату? ласково пригласилъ хозяинъ войти.

Райскій послѣдовалъ за нимъ въ маленькую залу, гдѣ стояли простые, обитые кожей стулья, такое же канapé и ломберный столикъ подъ зеркаломъ.

— Прошу садиться! просилъ онъ:—Вы какого учителя изволите спрашивать? продолжалъ онъ, когда они сѣли.

— Леонтія Козлова.

— Есть купецъ Козловъ, торгуетъ въ рядахъ... задумчиво говорилъ хозяинъ.

— Нѣтъ, Козловъ учитель древней словесности, повторилъ Райскій.

— Словесности... нѣтъ, не знаю... Вамъ бы въ гимназіи спросить—она тамъ на горѣ...

„Это я и самъ знаю“, подумалъ Райскій.

— Извините, сказалъ онъ, — я думалъ, что всякій его знаетъ, такъ какъ онъ давно въ городѣ.

— Позвольте... не онъ ли у предсѣдателя учить дѣтей? Такъ онъ тамъ и живетъ: бравый такой изъ себя...

— Нѣтъ, нѣтъ—этотъ не бравый! съ усмѣшкой замѣтилъ Райскій, уходя.

Вышедши на улицу, онъ наткнулся на какого-то прохожаго и спросилъ, не знаетъ ли онъ, гдѣ живетъ учитель Леонтій Козловъ.

Тотъ подумалъ немного, оглядѣлъ съ ногъ до головы Райскаго, потомъ отвернулся въ сторону, высморкался въ пальцы и сказалъ, указывая въ другую сторону:

— Это должно быть тамъ, на выѣздѣ, за мостомъ: тамъ какой-то учитель живетъ.

Къ счастью Райскаго, прохожій кантонистъ вслушался въ разговоръ.



— Эхъ ты: это садовникъ! сказалъ онъ.

— Знаю, что садовникъ, да онъ учитель, возразилъ первый.—Къ нему господа на выучку ребятъ присылають...

— Имъ не его надо, возразилъ писарь, глядя на Райскаго: — пожалуйста за мной! прибавилъ онъ и проворно пошелъ впередъ.

Райскій слѣдовалъ за нимъ изъ улицы въ улицу и, наконецъ, вожатый привелъ его къ тому дому, откуда звонко и дружно раздавались азы.

— Вотъ школа, вонъ и учитель самъ сидитъ! прибавилъ онъ, указывая въ окно на учителя.

— Да это совсѣмъ не то! съ неудовольствіемъ отозвался Райскій, бѣсясь на себя, что забылъ дома спросить адресъ Козлова.

— А то еще на горѣ есть гимназія... сказалъ кантонистъ.

— Ну, хорошо, спасибо, я найду самъ! поблагодарилъ Райскій и вошелъ въ школу, полагая, что учитель вѣрно знаетъ, гдѣ живетъ Леонтій.

Онъ не ошибся: учитель, загнувъ въ книгу палецъ, вышелъ съ Райскимъ на улицу и указалъ, какъ пройти одну улицу, потомъ завернуть направо, потомъ налево.

— Тамъ упретесь въ садикъ, прибавилъ онъ: — тутъ Козловъ и живетъ.

„Да, долго еще до прогресса!“ думалъ Райскій, слушая раздававшіеся ему вслѣдъ дѣтскіе голоса и проходя въ пятый разъ по однѣмъ и тѣмъ же улицамъ и опять не встрѣчая живой души. „Что за фигуры, что за нравы, какія явленія! Всѣ, всѣ годятся въ романъ: всѣ эти штрихи, оттѣнки, обстановка—перлы для кисти! Каковъ-то Леонтій: измѣнился, или все тотъ же ученый, но недогадливый молодецъ? Онъ—тоже находка для художника!“

И вошелъ въ домъ.

V.

Леонтій принадлежалъ къ породѣ тѣхъ, погруженныхъ въ книги и ничего, кромѣ ихъ, не вѣдающихъ ученыхъ, живущихъ прошлою, или идеальною жизнію, жизнію цифръ, гипотезъ, теорій и системъ, и не замѣчающихъ настоящей, кругомъ текущей жизни.

Выводится и, кажется, вывелась теперь эта любопытная порода людей на бѣломъ свѣтѣ. Изида сняла вуаль съ лица и жрецы ея, стыдясь, сбросили парики, мантии, длиннополые сюртуки, надѣли фраки, пальто, и вмѣшались въ толпу.

Рѣдко гдѣ встрѣтишь теперь небритыхъ, нечесанныхъ ученыхъ, съ неподвижнымъ и вѣчно задумчивымъ взглядомъ, съ одною, вертящеюся около науки рѣчью, съ одностороннимъ, ушедшимъ въ науку умомъ, иногда и здравымъ смысломъ, неловкихъ, стыдливыхъ, убѣгающихъ женщинъ, глубокомысленныхъ, съ забавною разсѣянностью и съ умилительной младенческой простотой, — этихъ мучениковъ, рыцарей и жертвъ науки. И педантъ науки — теперь сталъ анахронизмомъ, потому что ею не удивишь никого.

Леонтій принадлежалъ еще къ этой породѣ, съ немногими смягченіями, какія сдѣлало время. Онъ родился въ одномъ городѣ съ Райскимъ, воспитывался въ одномъ университетѣ.

Глядя на него, еще на ребенка, непременно скажешь, что и ученые, по крайней мѣрѣ такіе, какъ эта порода, подобно поэтамъ, тоже — nascuntur. Всегда, бывало, онъ съ растрепанными волосами, съ блуждающими гдѣ-то глазами, вѣчно копающійся въ книгахъ, или въ тетрадахъ, какъ будто у него не было дѣтства, не было нерва — шалить, рѣзвиться.

Потѣшалась же надъ нимъ и молодость. То мазнеть его сажей по лицу какой-нибудь шалуны, Леонтій не догадается и ходить съ пятномъ цѣлый день, къ потѣхѣ публики, да еще ему же достанется отъ надзирателя, зачѣмъ выпачкался.

Дастъ ли ему кто щелчка или дернетъ за волосы, ущипнеть, — онъ сморщится, и вмѣсто того, чтобъ вскочить, броситься и догнать шалуна, онъ когда-то соберется обернуться, и посмотреть разсѣяннo во всѣ стѣроны, а тотъ ужъ за версту убѣжалъ, а онъ почесываетъ больное мѣсто, опять задумывается, пока новый щелчекъ, или звонокъ къ обѣду, не выведутъ его изъ созерцанія.

Съѣдятъ ли у него изъ-подъ рукъ завтракъ или обѣдъ, онъ не станетъ производить слѣдствія, а возьметъ книгу посерьёзнѣе, чтобы заморить аппетитъ, или уснетъ, утомленный голодомъ.

Промыслить обѣдъ, стащить или просто попросить — онъ былъ еще менѣе способенъ, нежели преслѣдовать похитителей. За то, если ошибкой, невзначай, самъ набредетъ на съѣстное, чужое-ли, свое-ли — то непременно, бывало, съѣстъ.

Какъ однако ни потѣшались товарищи надъ его задумчивостью и разсѣянностію, но его теплое сердце, кротость, добродушіе и поражавшая даже ихъ, мальчишекъ въ школѣ, простота, цѣльность характера, чистаго и высокаго — все это пріобрѣло ему ничѣмъ ненарушимую симпатію молодой толпы. Онъ имѣлъ причины быть многими недоволенъ — имъ никто и никогда.

Выросши изъ періода шалостей, товарищи поняли его и окружили уваженіемъ и участіемъ, потому что, кромѣ характера, онъ былъ авторитетомъ и по знаніямъ. Онъ ходилъ на нѣмецкаго гелертера, зналъ древніе и новые язы-

ки, хотя ни на одномъ не говорилъ, зналъ всѣ литературы, быть страстный библіофилъ.

Фактическія знанія его были обширны и не были стоячимъ болотомъ, не строились, какъ у нѣкоторыхъ изъ усидчивыхъ семинаристовъ въ умѣ строятся кладбища, гдѣ прибавляется знаніе за знаніемъ, какъ строится памятникъ за памятникомъ, и всѣ они поростають травой и безмолвствуютъ.

У Леонтія, напротивъ, билась въ знаніяхъ своя жизнь, хотя прошлая, но живая. Онъ открытыми глазами смотрѣлъ въ минувшее. За строкой онъ видѣлъ другую строку. Къ древнему кубку придѣлывалъ и ширъ, на которомъ изъ него пили, къ монетѣ—карманъ, въ которомъ она лежала.

Часто съ Райскимъ уходили они въ эту жизнь. Райскій, какъ диллетантъ—для удовлетворенія мгновенной вспышки воображенія, Козловъ — всѣмъ существомъ своимъ; и Райскій видѣлъ въ немъ въ эти минуты тоже лицо, какъ у Васюкова за скрипкой, и слышалъ живой, вдохновенный рассказъ о древнемъ бытѣ, или напротивъ самъ увлекалъ его своей фантазіей—и они полюбили другъ въ другѣ этотъ живой нервъ, которымъ каждый былъ по своему связанъ съ знаніемъ.

Леонтій впадалъ въ пристрастіе къ греческой и латинской грамотѣ и бывалъ иногда сухъ, казался педантиченъ, и это не изъ хвастовства, а потому что она была ему мила, она была одеждой, сосудомъ, облекавшимъ милую, дорогую, изученную имъ и привѣтливо открывавшуюся ему старую жизнь, давшую начало настоящей и грядущей жизни.

Онъ любилъ ее, эту родоначальницу нашихъ знаній, нашего развитія, но любилъ слишкомъ горячо, весь отдался ей, и отъ него ушла и спряталась современная жизнь. Онъ былъ въ ней какъ будто чужой, не свой, смѣшной, неловкій.



Леонтій былъ классикъ и безусловно чтить все, что истекало изъ классическихъ образцовъ или что подходило подъ нихъ. Уважалъ Корнеля, даже чувствовалъ слабость къ Расину, хотя и говорилъ съ усмѣшкой, что они заняли только тоги и туники, какъ въ маскарадѣ, для своихъ маркизовъ: но все же въ нихъ звучали древнія имена дорогихъ ему героевъ и мѣсть.

Въ новыхъ литературахъ, тамъ, гдѣ не было древнихъ формъ, признавалъ только одну высокую поэзію а тривіальнаго, всенеднаго не любилъ; любилъ Данте, Мильтона, усиливался прочесть Клопштока — и не могъ. Шекспиру удивлялся, но не любилъ его; любилъ Гёте, но не романтика-Гёте, а классика, наслаждался римскими элегіями и путешествіями по Италіи больше, нежели Фаустомъ, Вильгельма Мейстера не признавалъ, но зналъ почти наизусть Прометея и Тасса.

Онъ шелъ смотрѣть Рафаэля, но авторитета фламандской школы не уважалъ, хотя невольно улыбался, глядя на Тенъера.

Онъ былъ такъ бѣденъ, какъ нельзя уже быть бѣднѣе. Жилъ въ какомъ-то чуланчикѣ, между печкой и дровами, работалъ при свѣтѣ плошки, и еслибъ не симпатія товарищей, онъ не зналъ бы, гдѣ взять книгъ, а иногда бѣлья и платья.

Подарковъ онъ не принималъ, потому что нечѣмъ было отдарить. Ему находили уроки, заказывали диссертациі и дарили за это бѣлье, платье, рѣдко деньги, а чаще всего книги, которыхъ отъ этого у него накопилось больше, нежели дровъ.

Все юношество кипѣло около него жизнью, строя великолѣпные планы будущаго: одинъ онъ не мечталъ, не игралъ, ни въ полководцы, ни въ сочинители, а говорилъ

одно:—Буду учителемъ въ провинціи, считая это скромное назначеніе своимъ призваніемъ.

Товарищи, и между прочимъ Райскій, старались расшевелить его самолюбіе, говорили о творческой, производительной дѣятельности и о профессорской кафедрѣ. Это, конечно, былъ маршальскій жезлъ, вѣнецъ его желаній. Но онъ глубоко вздыхалъ въ отвѣтъ на эти мечты.

— Да, прекрасно, говорилъ онъ, вдумываясь въ назначеніе профессора:—дѣйствовать на ряды поколѣній живымъ словомъ, передавать все, что самъ знаешь и любишь! Сколько и самому для себя занятій, сколько средствъ: бібліотека, живые толки съ собратами, можно потомъ за границу, въ Германію, въ Кембриджъ... въ Единбургъ, одушевляясь прибавлялъ онъ: — познакомиться, потомъ переписываться... Да, нѣтъ, куда мнѣ! прибавлялъ онъ отрезвляясь: — профессоръ обязанъ другими должностями, онъ въ совѣтахъ, его зовутъ на экзамены... Рѣчь на актѣ надо читать... Я потеряюсь, куда мнѣ! нѣтъ, буду учителемъ въ провинціи! заключалъ онъ рѣшительно и утыкалъ носъ въ книгу или тетради.

Всѣ болѣе или менѣе обманулись въ мечтахъ. Кто хотѣлъ воевать, истреблять родъ людской, не успѣлъ вернуться въ деревню, какъ развелъ кучу подобныхъ себѣ и основѣлъ на мѣстѣ, погружаясь въ толки о долгахъ въ опекунскій совѣтъ, въ карты, въ обѣды.

Другой мечталъ добиться высокаго поста въ службѣ, на которомъ можно свободно дѣйствовать на широкой аренѣ, и добился мѣста члена въ клубѣ, которому и посвятилъ свои досуги.

Вотъ и Райскій мечталъ быть артистомъ, и все „носитъ еще огонь въ груди“, все производитъ начатки, отрывки, мотивы, эскизы и широкіе замыслы, а имя его еще не громко, произведенія не радуютъ свѣта.

Одинъ Леонтій достигъ заданной себѣ цѣли, и уѣхалъ учителемъ въ провинцію.

Пришло время разставаться, товарищи постепенно уѣзжали одинъ за другимъ. Леонтій оглядывался съ безпокойствомъ, замѣчалъ пустоту и тосковалъ, не зная, по непрактичности своей, что съ собою дѣлать, куда дѣваться.

— И ты! уныло говорилъ онъ, когда кто-нибудь приходилъ прощаться.

Рѣдкій могъ не заплакать, разставаясь съ нимъ, и самъ онъ задыхался отъ слезъ, не помня, ни щипковъ, ни пинковъ, ни проглоченныхъ насмѣшекъ и непроглоченныхъ, по ихъ милости, обѣдовъ и завтраковъ.

Наконецъ надо было и ему хлопотать о себѣ. Но гдѣ ему? Райскій поднялъ на ноги все, профессора приняли участіе, писали въ Петербургъ и выхлопотали ему желанное мѣсто въ желанномъ городѣ.

Тамъ на родинѣ, Райскій, съ помощью бабушки и нѣсколькихъ знакомыхъ, устроили его на квартирѣ, и только уладились всѣ эти внѣшнія обстоятельства, Леонтій принялся за свое дѣло, съ усердіемъ и терпѣніемъ вола и осла вмѣстѣ, и ушелъ опять въ свою, или лучше сказать чужую, минувшую жизнь.

Татьяна Марковна не совсѣмъ была внимательна къ богатой библіотекѣ, доставшейся Райскому, книги продолжали изводиться въ пыли и въ прахѣ стараго дома. Изъ нихъ Маронька брала изрѣдка кое-какія книги, безъ всякаго выбора: какъ напримѣръ, Свифта, Павла и Виргинію, или возьметъ Шатобріана, потомъ Расина, потомъ романъ мадамъ Жанлисъ и книги берегла, если не больше, то наравнѣ съ своими цвѣтами и птицами.

Прочими книгами въ старомъ домѣ одно время завѣдывала Вѣра, т. е. брала, что ей нравилось, читала или не читала, и ставила опять на свое мѣсто. Но все-таки до

книгъ дотрогивалась живая рука, и онѣ кое-какъ уцѣлѣли, хотя нѣкоторыя, постарѣе и позамасленнѣе, тронуты были мышами. Вѣра писала объ этомъ черезъ бабушку къ Райскому, и онѣ поручилъ передать книги на попеченіе Леонтія.

Леонтіи обмеръ, увидя тысячи три волюмовъ — и старыя, запыленные, заплеснѣвъшья книги получили новую жизнь, свѣтъ и употребленіе, пока, какъ видно изъ письма Козлова, какой-то Маркъ чуть было не докончилъ дѣла мышей.

## VI.

Леонтіи былъ женатъ. Экономъ какого-то казеннаго заведенія въ Москвѣ держалъ между прочимъ столъ для приходящихъ студентовъ, давая за рубль съ четвертью мѣдью три, а за полтинникъ четыре блюда. Студенты гурьбой собирались туда.

Ихъ привлекали не однѣ щи, лапша, макароны, блины и т. п. изъ казенной капусты, крупы и муки, не дешевизна стола, а также и дочь эконома, которая управляла и отцомъ и студентами.

Она была очень молоденькая въ ту эпоху, когда учились Райскій и Козловъ, но, не смотря на свои шестнадцать или семнадцать лѣтъ, чрезвычайно бойкая, всегда порхавшая, быстроглазая дѣвушка.

У ней былъ прекрасный носъ и граціозный ротъ, съ хорошенькимъ подбородкомъ. Особенно профиль былъ правиленъ, линія его строга и красива. Волосы рыжеватые, немного потемнѣе на затылкѣ, но чѣмъ шли выше, тѣмъ свѣтлѣе, и верхняя половина косы, лежавшая на маковкѣ, была золотисто-красноватаго цвѣта: отъ этого у ней на головѣ, на лбу, отчасти и на бровяхъ, тоже немного рыжеватыхъ, какъ-будто постоянно горѣлъ лучъ солнца.



Около носа и на щекахъ роились веснушки и не всеѣмъ пропадали даже зимою. Изъ-подъ нихъ пробивался цунцовый пламень румянца. Но веснушки скрадывали огонь и придавали лицу тѣнь, безъ которой оно казалось какъ-то слишкомъ ярко освѣщено и открыто.

Оно имѣло еще одну особенность: постоянно лежащій смѣхъ въ чертахъ, когда и не было чему, и не расположена она была смѣяться. Но смѣхъ какъ будто застылъ у ней въ лицѣ и шелъ больше къ нему, нежели слезы, да едва ли кто и видалъ ихъ на немъ.

Студенты все вълюблялись въ нее, по очереди, или по нѣсколько въ одно время. Она всехъ водила за носъ и про любовь одного рассказывала другому и смѣялась надъ первымъ, потомъ съ первымъ надъ вторымъ. Нѣкоторые изъ-за нея перессорились.

Кто-то догадался и подарилъ ей парижскія ботинки и серьги, она стала ласковѣе къ нему: шенталась съ нимъ, убѣжала въ садъ и приглашала къ себѣ по вечерамъ пить чай.

Другіе узнали и послѣдовали тому же примѣру: кто дарилъ матерію на платье, подъ предлогомъ благодарности о продовольствіи, кто доставалъ ложу, носили ей конфекты, и Улинька стала одинаково любезна почти со всеми.

Тутъ развернулись ея способности. Если кто бывало станеть ревновать ее къ другимъ, она начнетъ смѣяться надъ этимъ, какъ надъ дѣломъ невозможнымъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ умѣла казаться строгой, бранила волокить за то, что увлекають и потомъ бросаютъ неопытныхъ дѣвицъ.

Она порицала и осмѣивала подругъ и знакомыхъ, когда онѣ увлекались, живо и съ удовольствіемъ расскажетъ все, что сегодня на зарѣ застали Лизу, разговаривающую съ письмоводителемъ чрезъ заборъ въ саду, или что вонъ къ той барынѣ (и имя, отчество, и фамилію скажетъ)

ѣздить все баринъ въ каретѣ и выходить отъ нея часу во второмъ ночи.

Соперниковъ она учила, что и какъ говорить, когда спросятъ о ней, когда и гдѣ были вчера, куда уходили, что шептали, зачѣмъ пошли въ темную аллею или въ бесѣдку, зачѣмъ приходилъ вечеромъ тотъ или другой—все.

Леонтій, разумѣется, и не думалъ ходить къ ней: онъ жилъ на квартирѣ, на хозяйскихъ однообразныхъ харчахъ, т. е. на щажъ и кашѣ, и такой роскоши, чтобъ обѣдать за рубль съ четвертью, или за полтинникъ, ѣсть какіе-нибудь макароны, или свиные котлеты,—позволять себѣ не могъ. И одѣться ему было не во что: одинъ вицъ-мундиръ и двое брюкъ, изъ которыхъ однѣ нанковые для лѣта,—вотъ весь его гардеробъ.

Но Райскій раза три повелъ его туда. Леонтій не обращалъ вниманія на Ульяну Андреевну и жадно ѣлъ, чавкая влухъ и думая о другомъ, и потомъ робко уходилъ домой, не говоря ни съ кѣмъ, кромѣ сосѣда, т. е. Райскаго.

И некрасивъ онъ былъ: худъ, задумчивъ, черты неправильныя, какъ-будто всѣ врознь, ни румянца, ни бѣлизны на лицѣ: оно было какое-то безцвѣтное.

Только когда онъ углубится въ длинные разговоры съ Райскимъ, или слушаетъ лекцію о древней и чужой жизни, читаетъ старца-классика—тогда только появлялась вдругъ у него жизнь въ глазахъ, и глаза эти бывали умны, оживлены.

Но гдѣ Улинькѣ было замѣтить такую красоту? Она замѣтила только, что у него, то на вицъ-мундирѣ пуговицы нѣтъ, то панталоны разорваны, или худые сапоги. Да еще странно казалось ей, что онъ ни разу не посмотрѣлъ на нее пристально, а глядѣлъ, какъ на стѣну, на скатерть.

Этого еще никогда ни съ кѣмъ не случалось, кто приходилъ къ ней. Даже и не впечатлительные молодые люди, и тѣ останавливаютъ глаза прежде всего на ней.

А этотъ, ни на нее, ни на кухарку Устинью не взглянуть, когда та подаетъ блюда, мѣняетъ тарелки.

А Устинья тоже замѣчательна въ своемъ родѣ. Она — постоянный предметъ вниманія и развлеченія гостей. Это была нескладная баба, съ такимъ лицомъ, которое какъ-будто чему-нибудь сильно удивилось когда-то, да такъ на всю жизнь и осталось съ этимъ удивленіемъ. Но Леонтій и ее не замѣчалъ.

Ужъ у Улиньки не разъ скалились зубы на его фигуру и разсѣянность, но товарищи, особенно Райскій, такъ много наговорили ей хорошаго о немъ, что она ограничивалась только своимъ насмѣшливымъ наблюденіемъ, а когда не хватало терпѣнія, то уходила въ другую комнату разразиться смѣхомъ.

— Какой смѣшной этотъ Козловъ у васъ! говорила она.

— Онъ предобрый! хвалилъ его кто-нибудь.

— Преумный, съ какими познаніями: по-гречески только профессоръ, да протопопъ въ соборѣ лучше его знаютъ! говорилъ другой:—Его адъюнктомъ сдѣлають.

— Высокой нравственности! прибавлялъ съ увлеченіемъ третій.

Однажды — это было въ пятый или шестой разъ, какъ онъ пришелъ съ Райскимъ обѣдать—онъ, по разсѣянности, пересидѣлъ за обѣдомъ всѣхъ товарищей; всѣ ушли, онъ остался одинъ и задумчиво жевалъ какое-то пирожное изъ рису.

Онъ не замѣтилъ, что Ульяна Андреевна подставила другую, полную миску, съ тѣмъ же рисомъ. Онъ продолжалъ машинально доставать ложкой рисъ и класть въ ротъ.

Она тихонько перемѣнила третью, подложивъ еще рису, и сама изъ-за двери другой комнаты наблюдала, какъ онъ ѣлъ, и зажимала платкомъ ротъ, чтобъ не расхохотаться вслухъ. Онъ все ѣлъ.

„Добрый!“ думала она: — „собакъ не бьетъ! Какая же это доброта, коли онъ ничего подарить не можетъ! „Умный!“ продолжала она штудировать его:— „ѣсть третью тарелку рисовой каши и не замѣчаетъ! Не видить, что всѣ кругомъ смѣются надъ нимъ! Высоко-нравственный!..

Она подумала, подумала надъ этимъ эпитетомъ, почесала себѣ пальцемъ темя, осмотрѣла разсѣянно свои ногти и зѣвнула.

— На немъ, кажется, и рубашки нѣтъ: не видать! Хороша нравственность! заключила она.

Онъ все ѣлъ.

„Экъ жреть: и не взглянуть!“ думала она и не выдержала, принялась хохотать.

Онъ услыхалъ смѣхъ, очнулся, растерялся и сталъ искать фуражку.

— Не торопитесь, дождайте, сказала она:—хотите еще?

— Нѣтъ... нѣтъ... Я домой... говорилъ онъ стыдливо, не глядя на нее, и совался изъ угла въ уголь, отыскивая фуражку.

А Улинька давно схватила ее съ окна и надѣла на себя.

— Гдѣ жъ она? Кто-нибудь изъ вашихъ унесъ, сказала она.

— Не можетъ быть... говорилъ Леонтій, бросая туда и сюда разсѣянные взгляды: — свою бы оставилъ, а то нѣтъ никакой...

„Вездѣ глядитъ, только не на меня, — медвѣдь!“ думала она.

— Нѣтъ ли какой-нибудь шапки? спросилъ онъ:—тутъ не далеко, я дойду какъ-нибудь.

— Куда вы? Рано: пойдемте въ садъ! Можетъ быть, фуражку сыщемъ, звала она... — Не затащилъ ли кто-нибудь туда, въ бесѣдку?



Онъ машинально пошелъ за ней, и когда они прошли шаговъ десять по дорожкѣ, онъ взглянулъ случайно на нее и увидѣлъ свою фуражку. Кромѣ фуражки онъ опять ничего не замѣтилъ.

— Ахъ! обрадовался онъ, это вы...

Тутъ только онъ взглянулъ на нее, потомъ на фуражку, опять на нее, и вдругъ остановился съ удивленнымъ лицомъ, какъ у Устины, даже ротъ немного открылъ и сосредоточилъ на ней испуганные глаза, какъ будто въ первый разъ увидаль ее. Она засмѣялась.

„Насилу разглядѣлъ!“ подумала она и надѣла на него фуражку.

— Что жъ вы стали? Идите со мной, сказала она.

— Мнѣ пора! отвѣчалъ онъ, не двигаясь съ мѣста.

— Куда пора? Успѣете—я не пущу васъ.

Она быстро опять сняла у него фуражку съ головы; онъ машинально обѣими руками взялъ себя за голову, какъ будто освидѣтельствовалъ, что фуражки опять нѣтъ, и лѣниво пошелъ за ней, по временамъ робко и съ удивленіемъ глядя на нее.

— Отъ чего вы къ намъ обѣдать не ходите? Приходите завтра, сказала она.

— Дорого! отвѣчалъ онъ.

— Дорого! Развѣ вы... такъ бѣдны? съ любопытствомъ спросила она.

— Да, я очень... отвѣчалъ онъ, потупясь.

Онъ было застыдился своей бѣдности, потомъ вдругъ ему стало стыдно этой мелкой черты, которая вдругъ откуда-то ошибкой закралась къ нему въ характеръ.

— Я очень бѣденъ, сказалъ онъ:—развѣ вамъ не говорилъ Райскій, что мнѣ иногда за квартиру нечѣмъ заплатить: вы видите?

— Онъ показывалъ ей полинявшій, и отчасти замаслившійся рукавъ виць-мундира.

Она равнодушно глядѣла на изношенный рукавъ, какъ на дѣло до нея некасающееся, потомъ на всю фигуру его, довольно худую, на худыя руки, на выпуклый лобъ и безцвѣтныя щеки. Только теперь разглядѣлъ Леонтій этотъ, далеко запрятанный въ черты ея лица смѣхъ.

— Вы смѣтаетесь надо мной? спросилъ онъ съ удивленіемъ. Такъ неестественно казалось ему смѣяться надъ бѣдностью.

— И не думала, равнодушно сказала она:—что за рѣдкость—изношенный мундиръ? Мало ли я ихъ вижу!

Онъ недовѣрчиво поглядѣлъ на нее; она дѣйствительно не смѣялась и не хотѣла смѣяться, только смѣялось у ней лицо.

— Вонъ у васъ пуговицы нѣтъ. Пойдите, не уходите, подождите меня здѣсь! замѣтила она, проворно побѣжала домой и черезъ двѣ минуты воротилась съ ниткой, иглой, съ наперсткомъ и пуговицей.

— Стойте смирно, не шевелитесь! сказала она, взяла въ одну руку бортъ его сюртука, прижала пуговицу, и другой рукой живо начала сновать взадъ и впередъ иглой мимо носа Леонтья.

Щека ея была у его щеки, и ему надо было удерживать дыханіе, чтобъ не дышать на нее. Онъ усталъ отъ этого напряженнаго положенія, и даже его немного бросило въ потъ. Онъ не спускалъ глазъ съ нея:

„Да у ней чистый римскій профиль!“ съ удивленіемъ думалъ онъ.

Черезъ двѣ минуты она кончила, потомъ крѣпко прижалась щекой къ его груди, около самаго сердца, и откусила нитку. Леонтій онѣмѣлъ на мѣстѣ и стоялъ растерянный, глядя на нее изумленными глазами.

Это кошачье проворство движеній, рука, чуть не задѣвающая его по носу, наконецъ прижатая къ груди щека кружили ему голову.

Онъ будто охмѣлѣлъ. Отъ нея вѣяло на него тепломъ и нѣжнымъ запахомъ какихъ-то цвѣтовъ.

„Что это такое, что же это?... Она, кажется, добрая“, вывелъ онъ заключеніе:— „еслибъ она только смѣялась надо мной, то пуговицы бы не пришила. И гдѣ она взяла ее? Кто-нибудь изъ нашихъ потерялъ!“

— Что жъ стоите? Скажите *merci*, да поцѣлуйте ручку! Ахъ, какой! сказала она повелительно, и прижала крѣпко свою руку къ его губамъ, все съ тѣмъ же проворствомъ, съ какимъ пришивала пуговицу, такъ что поцѣлуй его раздался въ воздухъ, когда она уже отняла руку.

Леонтій взглянулъ на нее еще разъ и потомъ уже никогда не забылъ. Въ немъ зажглась вдругъ сильная, ровная и глубокая страсть.

— Приходите завтра обѣдать, сказала она.

— Дорого! отвѣчалъ онъ наивно. Но занялъ у Райскаго немного денегъ и пришелъ. Потомъ опять пришелъ.

Это замѣтили товарищи, и Райскій сталъ приглашать его чаще. Леонтій понялъ, что надъ нимъ подтруниваютъ, и хотѣлъ было съ разу положить этому конецъ, переставъ ходить. Онъ упрямылся.

— Пойдемъ! звалъ его Райскій.

— Нѣтъ, Борисъ, не пойду, отговаривался онъ: — что мнѣ тамъ дѣлать: вы всѣ любезны, красивы, разговаривать мастера, а я! Что я ей? Она вонъ все смѣется надо мной!

— Да, можетъ быть, она не станетъ смѣяться... нерѣшительно говорилъ Райскій, когда покороче познакомится съ тобой...

— Станетъ, какъ не станетъ! говорилъ Леонтій съ жалкой улыбкой, оглядывая себя съ ногъ до головы.

Но однакожь пошелъ и ходилъ часто. Она не гуляла съ нимъ по темной аллеѣ, не пряталась въ бесѣдку, и не разговорчивъ онъ былъ, не дарилъ онъ ее, но и не ревновалъ, не дѣлалъ сценъ, ничего, что дѣлали другіе, по самой простой причинѣ: онъ не видалъ, не замѣчалъ и не подозревалъ ничего, что дѣлала она, что дѣлали другіе, что дѣлалось вокругъ.

Онъ видѣлъ только ея римскій чистый профиль, когда она стояла или сидѣла передъ нимъ, чувствовалъ вѣющій отъ нея на него жаръ и запахъ какихъ-то цвѣтовъ, да часто потрогивалъ себя за пришитую ею пуговицу.

Онъ слушалъ, что она говорила ему, не слышалъ, что говорила другимъ, и вѣрилъ только тому, что видѣлъ и слышалъ отъ нея.

И ей не нужно было притворяться передъ нимъ, лгать, прикидываться. Она держала себя съ нимъ прямо, просто, какъ держала себя, когда никого съ ней не было.

Онъ такъ и принималъ за чистую монету всякій ея взглядъ, всякое слово, молчалъ, много ѣлъ, слушалъ, и только иногда воззрится въ нее странными, будто испуганными глазами, и молча слѣдитъ за ея проворными движеніями, за рѣзвой рѣчью, звонкимъ смѣхомъ, точно вчитывается въ новую, незнакомую еще ему книгу, въ ея нѣмое, вѣчно насмѣшливое лицо.

— Что ты видишь въ ней? приставали товарищи.

Онъ смущался, уходилъ и самъ не зналъ, что съ нимъ дѣлается. Передъ выходомъ у всѣхъ оказалось что-нибудь: у кого колечко, у кого вышитый кисетъ, не говоря о тѣхъ знакахъ нѣжности, которые не оставляютъ слѣда по себѣ. Иные удивлялись, кто почувствительнѣе, ударились въ слезы, а большая часть посмѣялись надъ собой и другъ надъ другомъ.



Только Леонтій продолжалъ смотрѣть на нее серьезно, задумчиво, и вдругъ объявилъ, что женится на ней, если она согласится, лишь только онъ получитъ мѣсто и устроится. Надъ этимъ много смѣялись товарищи, и она также.

Она прозвала его женихомъ и, смѣясь, общала написать къ нему, когда придетъ время выходить замужъ. Онъ принялъ это, не шутя. Съ тѣмъ они и разстались.

Что было съ ней потомъ, никто не знаетъ. Извѣстно только, что отецъ у ней умеръ, что она куда-то уѣзжала изъ Москвы и воротилась больная, худая, жила у бѣдной тѣтки, потомъ, когда поправилась, написала къ Леонтью, спрашивала, помнить ли онъ ее и свои старыя намѣренія.

Онъ отвѣчалъ утвердительно, и лѣтъ черезъ пять послѣ выпуска, ѣздивъ въ Москву и пріѣхавъ оттуда женатымъ на ней.

Онъ любилъ жену свою, какъ любятъ воздухъ и тепло. Мало того, онъ, погруженный въ созерцаніе жизни древнихъ, въ ихъ мысль и искусство, умудрился видѣть и любить въ ней какой-то блескъ и колоритъ древности, античность формъ.

Вдругъ иногда она мелькнетъ мимо него, сядетъ съ шитьемъ напротивъ, онъ нечаянно изъ-за книги поразится лучемъ какого-то свѣта, какой играетъ на ея профилѣ, на рыжихъ вискахъ или на бѣломъ лбу.

Его поражала линія ея затылка и шеи. Голова ея казалась ему похожей на головы римскихъ женщинъ на классическихъ барельефахъ, на камеяхъ: съ строгимъ, чистымъ профилемъ, съ такими же каменными волосами, немигающимъ взглядомъ и застывшимъ въ чертахъ лица сдержаннымъ смѣхомъ.

## VII.

Леонтій не узналъ Райскаго, когда тотъ внезапно показался въ его кабинетѣ.

— Позвольте узнать, съ кѣмъ я имѣю честь говорить... началъ было онъ.

Но только Борисъ Павловичъ заговорилъ, онъ упалъ въ его объятія.

— Жена! Улинька! Поди-ка, посмотри, кто пріѣхалъ! кричалъ онъ въ садикъ женѣ.

Та бросилась и поцѣловала Райскаго.

— Какъ вы возмужали и... похорошѣли! сказала она, и глаза у нея загорѣлись отъ удовольствія.

Она бросила бѣглый взглядъ на лицо, на костюмъ Райскаго, и потомъ лукаво и смѣло глядѣла ему прямо въ глаза.

— Вы всѣхъ здѣсь съ ума сведете, меня первую... Помните...? начала она, и глазами договорила воспоминаніе.

Райскій немного смутился и поглядывалъ на Леонтія, чтó онъ, а онъ ничего. Потомъ онъ, не скрывая удивленія, поглядѣлъ на нее, и удивленіе его возрасло, когда онъ увидѣлъ, что годы такъ пощадили ее: въ тридцать съ небольшимъ лѣтъ она казалась, если уже не прежней дѣвочкой, то только развѣ разцвѣтшей, развившейся и прекрасно сложившейся физически женщиной.

Бойкость выглядывала изъ ея позы, глазъ, всей фигуры. А глаза по прежнему мечутъ искры, тотъ же у ней пунцовый румянецъ, веснушки, тотъ же веселый, безпечный взглядъ, и кажется, та же дѣвическая рѣзвость!

— Какъ вы... сохранились, сказалъ онъ: — все такая же...

— Моя рыжая Клеопатра! замѣтилъ Леонтій. — Чтó ей дѣлается: дѣтей нѣтъ, горя мало...

— Вы не забыли меня: помните? спросила она.

— Еще бы не помнить! отвѣчалъ за него Леонтій. — Если ее забылъ, такъ кашу не забываютъ... А Улинька правду говорить: ты очень возмужалъ, тебя узнать нельзя:

съ усами, съ бородой! Ну, что бабушка? Какъ, я думаю, обрадовалась! Не больше впрочемъ меня. Да радуйся же, Уля: что ты устала на него глаза и не скажешь?

— Что же мнѣ сказать?

— Скажи—*salve, amico...*

— Ну, ты свое: я и безъ тебя съумѣю поздороваться, не учи!

— Не знаетъ, что сказать лучшему другу своего мужа! Ты вспомни, что онъ познакомилъ насъ съ тобой; съ нимъ мы просиживали ночи, читывали...

— Да, еслибъ не ты, перебилъ Райскій,—римскіе поэты и историки были бы для меня все равно, что китайскіе. Отъ нашего Ивана Ивановича не много узнали...

— А въ школѣ, продолжалъ Козловъ, не слушая его,—защищалъ отъ забіякъ, и самъ во все время оттащаль меня за волосы... всего два раза...

— Такъ было и это? спросила жена:—Ужели вы его били?

— Вѣроятно, шутя...

— Ахъ, нѣтъ, Борисъ: больно! сказалъ Леонтій: — иначе бы я не помнилъ, а то помню, и за что. Одинъ разъ я нечаянно на твоёмъ рисункѣ на оборотѣ сдѣлалъ выписку откуда-то—для тебя же: ты взбѣсился! А въ другой разъ... ошибкой съѣлъ что-то у тебя...

— Не рисовую ли кашу? спросила жена.

— Вотъ, она мнѣ этой рисовой кашей житья не даётъ, замѣтилъ Леонтій:—увѣряетъ, что я незамѣтно съѣлъ три тарелки, и что за кашей и за кашу влюбился въ нее. Что я, въ самомъ дѣлѣ, уродъ что-ли!

— Нѣтъ, ты у меня „умный, добрый и высокой нравственности“, сказала она, съ своимъ застывшимъ смѣхомъ въ лицѣ, и похлопала мужа по лбу, потомъ поправила ему

галстухъ, выправила воротнички рубашки и опять погля-  
дѣла лукаво на Райскаго.

Онъ, по взглядамъ, какіе она обращала къ нему, ви-  
дѣлъ, что въ ней улыбаются старыя воспоминанія, и что  
она не только не хоронитъ ихъ въ памяти, но передаетъ  
глазами и ему. Но онъ сдѣлалъ видъ, что не замѣтилъ того,  
что въ ней происходило.

Онъ наблюдалъ ее молча и у него въ головѣ начался но-  
вый рисунокъ и два новые характера, ея и Леонтья.

„Все та же; все вѣрна себѣ, не измѣнилась“, думалъ  
онъ. „А Леонтій знаетъ ли, замѣчаетъ ли? Нѣтъ, по преж-  
нему, кажется, знаетъ наизусть чужую жизнь и не видитъ  
своей. Какъ они живутъ между собой... Увижу, посмотрю...“

— Кстати о кашѣ: ты съ нами обѣдаешь, да? спросилъ  
Леонтій.

— Какъ это можно! вступилась жена:—приглашать на  
такой столъ, какъ нашъ! Вѣдь вы ужъ не студенты: Борисъ  
Павловичъ въ Петербургѣ избаловался, я думаю...

— Ты что ѣшь? спросилъ Леонтій.

— Все, отвѣчалъ Райскій.

— А если все, такъ будешь сытъ. Ну, вотъ, какъ я  
радъ. Ахъ, Борисъ... право, и высказать не умѣю!

Онъ сталъ собирать со стола бумаги и книги.

— Бабушка какъ бы не стала ждать... колебался Рай-  
скій.

— Ну, ужъ ваша бабушка! съ неудовольствіемъ замѣ-  
тила Ульяна Андреевна.

— А что?

— Не люблю я ее!

— За что-же?

— Командовать очень любить... и осуждать тоже...

— Да, правда, она деспотка... Это отъ привычки вла-  
дѣть крѣпостными людьми. Старые нравы!



— Если послушать ее, продолжала Ульяна Андреевна, — такъ всѣ сиди на мѣстѣ, не поворачи головы, не взгляни ни на право, ни на лѣво, ни съ кѣмъ слова не смѣй сказать: мастерица осуждать! А сама съ Титомъ Никонычемъ неразлучна: тотъ и днюетъ, и почуетъ тамъ...

Райскій засмѣялся.

— Что вы, она, просто, святая! сказалъ онъ.

— Ну, ужъ святая: то не хорошо, другое не хорошо. Только и свѣта, что внучки! А кто ихъ знаетъ, какія онѣ будутъ? Марейнька только съ канарейками да съ цвѣтами возится, а другая сидитъ, какъ домовой, въ углу, и слова отъ нея не добьешься. Чтô будетъ изъ нея — посмотримъ!

— Это Вѣрочка? Я еще ее не видалъ, она за Волгой гостить...

— А кто ее знаетъ, чтô она тамъ дѣлаетъ за Волгой?

— Нѣтъ, я бабушку люблю, какъ мать, сказалъ Райскій: — отъ многого въ жизни я отдѣлался, а она все для меня авторитетъ. Умна, честна, справедлива, своеобразна: у ней какая-то сила есть. Она не дюжинная женщина. Мнѣ кое-что мелькнуло въ ней...

— Поэтому, вы повѣрите ей, если она...

Ульяна Андреевна отвела Райскаго къ окну, пока мужъ ее собиралъ и пряталъ по ящикамъ разбросанныя по столу бумаги и ставилъ на полки книги.

— Поэтому, вы повѣрите, если она скажетъ вамъ...

— Всему, сказалъ Райскій.

— Не вѣрьте, неправда, говорила она: — я знаю, она начнетъ вамъ шептать вздоръ... про М-г Шарля...

— Кто это М-г Шарль?

— Это французъ, учитель, товарищъ мужа: они тамъ сидятъ, читаютъ вмѣстѣ до глубокой ночи... Чѣмъ я тутъ

виновата? А по городу, Богъ знаетъ, что говорятъ... будто я... будто мы...

Райскій молчалъ.

— Не вѣрьте—это глупости, ничего нѣтъ... Она смотрѣла какимъ-то русалочнымъ, фальшивымъ взглядомъ на Райскаго, говоря это.

— Что мнѣ за дѣло? сказалъ Райскій, порываясь отъ нея прочь:—я и слушать не стану...

— Когда же къ намъ опять придете? спросила она.

— Не знаю, какъ случится...

— Приходите почаще... вы, бывало, любили...

— Вы все еще помните прошлые глупости! сказалъ Райскій, отодвигаясь отъ нея:—вѣдь мы были почти дѣти...

— Да, хороши дѣти! Я еще не забыла, какъ вы мнѣ руку оцарапали...

— Что вы! сказалъ Райскій, еще отступая отъ нея.

— Да, да. А кто до глубокой ночи караулилъ у рѣшетки?..

— Какой я дуракъ былъ, если это правда! Да нѣтъ, быть не можетъ!

— Да, вы теперь умны стали, и тоже, я думаю, „высокой нравственности“... Шалунъ! прибавила она пѣвучимъ, нѣжнымъ голосомъ.

— Полноте, полноте! унималъ онъ ее. Ему становилось неловко.

— Да, мое время проходить .. сказала она со вздохомъ, и смѣхъ на минуту пропалъ у нея изъ лица. — Немного мнѣ осталось... Что это, какъ мужчины счастливы: они долго могутъ любить...

— Любить! иронически, почти про себя, сказалъ Райскій.

— Вы теперь уже не влюбитесь въ меня—нѣтъ? говорила она.

— Полноте: ни въ васъ, ни въ кого! сказалъ онъ: — мое время ужъ прошло: вонъ сѣдина пробивается! И что вамъ за любовь—у васъ мужъ, у меня свое дѣло... Мнѣ теперь предстоитъ одно: искусство и трудъ. Жизнь моя должна служить и тому и другому...

Онъ задумался, и Марѣинька, чистая, безупречная, съ свѣжимъ дыханіемъ молодости, мелькнула у него въ умѣ. Его тянуло домой, къ ней и къ бабушкѣ, но радость свиданія съ старымъ товарищемъ удержала.

— Ну ужъ выдумаютъ: трудъ! съ досадой отозвалась Ульяна Андреевна.—Состояніе есть, собой молодецъ: только бы жить, а они—трудъ! Что это, право, скоро всѣ на Леонтья будутъ похожи: тотъ уткнетъ носъ въ книги и знать ничего не хочетъ. Да пусть его! Вы-то за чѣмъ туда же?.. Пойдемте въ садъ... Помните нашъ садъ?..

— Да, да, пойдемте! присталь къ нимъ Леонтій: — тамъ и обѣдать будемъ. Вели, Улинька, давать, что есть—скорѣе. Пойдемъ, Борисъ, поговоримъ... Да... вдругъ спохватился онъ: —что же ты со мной сдѣлаешь... за библіотеку?

— За какую библіотеку? Что ты мнѣ тамъ писалъ? Я ничего не понималъ! Какой-то Маркъ книги рвалъ...

— Ахъ, Борисъ Павловичъ, ты не можешь представить, сколько онъ мнѣ горя надѣлалъ, этотъ Маркъ: вотъ посмотри!

Онъ досталъ книги три и показалъ Райскому томы, съ вырванными страницами.

— Вотъ что онъ сдѣлалъ изъ Вольтера: какіе тоненькіе томы *Dictionnaire philosophique* стали... А вотъ тебѣ Дидро, а вотъ переводъ Бэкона, а вотъ Маккиавелли....

— Что мнѣ за дѣло? съ нетерпѣніемъ сказалъ Райскій, отталкивая книги...—Ты точно бабушка: та лѣзетъ съ какими-то счетами, этотъ съ книгами! Развѣ я за тѣмъ пріѣхалъ, чтобы вы меня со свѣта гнали?

— Да какъ же, Борисъ: не знаю тамъ, съ какими она счетами лѣзла къ тебѣ, а вѣдь это лучшее достояніе твое, это—книги, книги... Ты посмотри!

Онъ съ гордостью показывалъ ему ряды полокъ до потолка, кругомъ всего кабинета, и книги въ блестящемъ порядкѣ.

— Вотъ только на этой полкѣ почти все попорчено: проклятый Маркъ! А прочія всѣ цѣлы! Смотри! У меня каталогъ составленъ: полгода сидѣлъ за нимъ. Видишь!..

Онъ хвастливо показывалъ ему толстую писанную книгу, въ переплетѣ.

— Все своей рукой написалъ! прибавилъ онъ, поднося книгу къ носу Райскаго.

— Отстань, я тебѣ говорю! съ нетерпѣніемъ отозвался Райскій.

— Ты вотъ садись на кресло и читай вслухъ по порядку, а я влѣзу на лѣстницу и буду тебѣ показывать книги. Онѣ всѣ по нумерамъ... говорилъ Леонтій.

— Вонъ что выдумалъ! Отстань, я ѣсть хочу.

— Ну, такъ послѣ обѣда—и въ самомъ дѣлѣ теперь не успѣемъ.

— Послушай: тебѣ хотѣлось бы имѣть такую библіотеку? спросилъ Райскій.

— Мнѣ? Такую библіотеку?

Ему вдругъ какъ будто солнцемъ ударило въ лицо: онъ просіялъ и усмѣхнулся во всю ширину рта, такъ что даже волосы на лбу зашевелились.

— Такую библіотеку, произнесъ онъ: — вѣдь тутъ тысячи три: почти все! Сколько мемуаровъ однихъ! Мнѣ? — Онъ качалъ головой.—Съ ума сойду!

— Скажи: ты любишь меня, спросилъ Райскій: — по прежнему?



— Еще бы! Изъ нужды выручалъ, оттаскалъ за волосы всего два раза...

— Ну, такъ возьми себѣ эти книги въ вѣчное и потомственное владѣніе, но на одномъ условіи...

— Мнѣ, взять эти книги! — Леонтій смотрѣлъ, то на книги то на Райскаго, потомъ махнулъ рукой и вздохнулъ.

— Не шути, Борисъ: у меня въ глазахъ рябить... Нѣтъ, *vade retro*... Не обольщай...

— Я не шучу.

— Бери, когда даютъ! живо прибавила жена, которая услышала послѣднія слова.

— Вотъ, она у меня всегда такъ! жаловался Леонтій. — Отъ купцовъ на праздники и къ экзамену родители явятся съ гостинцами — я вонъ гоню отсюда, а она ихъ приметъ оттуда, со двора. Взятчица! Съ виду точь-въ-точь Тарковиніева Лукреція, а любить лакомиться, не такъ, какъ та!..

Райскій улыбнулся, она разсердилась.

— Поди ты съ своей Лукреціей! небрежно сказала она: — съ кѣмъ онъ тамъ меня не сравниваетъ? Я — и Клеопатра, и какая-то Постумія, и Лавинія, и Корнелія, еще матрона... Ты лучше книги бери, когда дарятъ! Борисъ Павловичъ подарить мнѣ...

— Не смѣй просить! повелительно крикнулъ Леонтій. — А мы что ему подаримъ? Тебя, что ли, отдамъ? добавилъ онъ, нѣжно обнявъ ее рукой.

— Отдай: я пойду — возьмите меня! сказала она, вдругъ сверкнувъ Райскому въ глаза взглядомъ, какъ будто огнемъ.

— Ну, если не берешь, такъ я отдамъ книги въ гимназію: дай сюда каталогъ! Сегодня же отошлю къ директору... сказалъ Райскій и хотѣлъ взять у Леонтія реестръ книгъ.

— Помилуй: это значить, гимназія не увидить ни одной книги... Ты не знаешь директора? съ жаромъ возсталъ Леонтій и сжалъ крѣпко каталогъ въ рукахъ.—Ему столько же дѣла до книгъ, сколько мнѣ до духовъ и помады... Растаскають, разорвутъ—хуже Марка!

— Ну, такъ бери!

— Да какъ же вдругъ этокое сокровище подарить! Ее продать въ хорошія, надежныя руки — такъ... Ахъ, Боже мой! Никогда не желалъ я богатства, а теперь тысячъ бы пять даль... Не могу, не могу взять: ты мотъ, ты блудный сынъ—или нѣтъ, нѣтъ, ты слѣпой младенецъ, невѣжа...

— Покорно благодарю...

— Нѣтъ, нѣтъ — не то, говорилъ, растерявшись, Леонтій.—Ты—артистъ: тебѣ картины, статуи, музыка. Тебѣ чтó книги? Ты не знаешь, чтó у тебя тутъ за сокровища! Я тебѣ послѣ обѣда покажу...

— А! Ты и послѣ обѣда, вмѣсто кофе, хочешь мучить меня книгами: въ гимназію!

— Ну, ну, стой: на какомъ условіи ты хотѣлъ отдать мнѣ библіотеку? Не хочешь ли изъ жалованья вычитать, я все продамъ, заложу себя и жену...

— Пожалуйста, только не меня... вступилась она:—я и сама съумѣю заложить или продать себя, если захочу!

Райскій поглядѣлъ на Леонтья, Леонтій на Райскаго!

— За словомъ въ карманъ не пойдетъ! сказалъ Козловъ.

— На какомъ же условіи? Говори! обратился онъ къ Райскому.

— Чтóбъ ты никогда не заикался мнѣ о книгахъ, сколько бы ихъ Маркъ не рвалъ...

— Такъ ты думаешь, я Марку дамъ теперь близко подойти къ полкамъ?

— Онъ не спросится тебя, подойдетъ и самъ, сказала жена:—чего онъ испугается, этотъ уродъ?

— Да, это правда: надо крѣпкіе замки придѣлать, замѣтить Леонтій.—Да и ты хороша: вотъ, говорилъ онъ, обращаясь къ Райскому: — любить меня, какъ дай Богъ, чтобъ всякаго такъ любила жена...

Онъ обнялъ ее за плечи: она опустила глаза, Райскій тоже; смѣхъ у ней пропалъ изъ лица.

— Еслибъ не она, ты бы не увидалъ на мнѣ ни одной пуговицы, продолжалъ Леонтій:—я ѣмъ, сплю покойно, хозяйство хоть и маленькое, а идетъ хорошо; какія мои средства: а на все хватаетъ!

Она мало-по-малу подняла глаза и смотрѣла прямѣе на нихъ обоихъ, отъ того, что послѣднее было правда.

— Только вотъ бѣда, продолжалъ Леонтій: — къ книгамъ холодна. По-французски болтаетъ проворно, а дашь книгу, половины не понимаетъ; по-русски о-сю пору съ ошибками пишетъ. Увидить греческую печать, говорить, что хорошо бы этакій узоръ на ситецъ, и ставить книги вверхъ дномъ, а по-латыни заглавія не разберетъ. Орега Noratii—переводить Гораціевы оперы!..

— Ну, не поминай же мнѣ больше о книгахъ: на этомъ условіи я только и не отдамъ ихъ въ гимназію—заклучилъ Райскій.—А теперь давай обѣдать, или я къ бабушкѣ уйду. Мнѣ ѣсть хочется.

### VIII.

— Скажи пожалуйста: ты такъ вѣкъ думаешь прожить? спросилъ Райскій послѣ обѣда, когда они остались въ бесѣдкѣ.

— Да, а какъ же? Чего же мнѣ еще? спросилъ съ удивленіемъ Леонтій.

— Ничего тебѣ не хочется, никуда не тянетъ тебя? Не просить голова свободы, простора? Не тѣсно тебѣ въ этой рамкѣ? Вѣдь въ глазахъ, вблизи — все вонъ этотъ заборъ, вдали—вотъ этотъ куполь церкви, дома... подъ носомъ...

— А подъ носомъ—вонъ чтó! Леонтій указаль на книги: — мало, что ли? Книги, ученики... жена въ придачу, онъ засмѣялся:—да душевный миръ... Чего больше?

— Книги! Развѣ это жизнь? Старыя книги сдѣлали свое дѣло; люди рвутся впередъ, ищутъ улучшить себя, очистить понятія, прогнать туманъ, условиться по-опредѣлительнѣе въ общественныхъ вопросахъ, въ правахъ, въ нравахъ; наконецъ привести въ порядокъ и общественное хозяйство... А онъ глядитъ въ книгу, а не въ жизнь!

— Чего нѣтъ въ этихъ книгахъ, того и въ жизни нѣтъ, или не нужно! торжественно рѣшилъ Леонтій. — Вся программа, и общественной, и единичной жизни, у насъ позади: всѣ образцы даны намъ. Умѣй напасть на свою форму, а она готова. Не отступай только—и будешь знать, что дѣлать. Позади найдешь образцы формъ и политическихъ и общественныхъ порядковъ. И лично для себя тоже самое: кто ты: полководецъ, писатель, сенаторъ, консулъ, или невольникъ, или школьный мастеръ, или жрецъ? Смотри: вотъ они всѣ живые здѣсь — въ этихъ книгахъ. Учи ихъ жизнь и живи, учи ихъ ошибки и избѣгай, учи ихъ добродѣтели и, если можно, подражай. Да трудно! Ихъ лица строги, черты крупны, характеры цѣльны и не разбавлены мелочью! Трудно вливаться въ эти величавыя формы, какъ трудно надѣвать ихъ латы, поднимать мечи, сѣкиры! Не поднять и подвиговъ ихъ! Мы и давай выдумывать какую-то свою, новую жизнь! Вотъ отчего мнѣ никогда ничего и никуда дальше своего угла не хотѣлось: не вѣрю я въ этихъ нынѣшнихъ великихъ людей...

Онъ говорилъ съ жаромъ, и черты лица у самого у не-



го сдѣлались, какъ у тѣхъ героевъ, о которыхъ онъ говорилъ.

— Стало быть, по твоему, жизнь тамъ и кончилась, а это все не жизнь? Ты не вѣришь въ развитіе, въ прогрессъ?

— Какъ не вѣрить, вѣрю! Вся эта дрянь, мелочь, на которую разсыпался современный человѣкъ—исчезнетъ: все это приготовительная работа, сборъ и смѣсь еще неосмысленнаго матеріала. Эти историческія крохи соберутся и сомнутся рукой судьбы опять въ одну массу, и изъ этой массы выльются со временемъ опять колоссальныя фигуры, опять потечетъ ровная, цѣльная жизнь, которая въ послѣдствіи образуетъ вторую древность. Какъ не вѣровать въ прогрессъ! Мы потеряли дорогу, отстали отъ великихъ образцовъ, утратили многіе секреты ихъ бытія. Наше дѣло теперь—понемногу опять взбираться на потерянный путь и... достигать той же крѣпости, того же совершенства въ мысли, въ наукѣ, въ правахъ, въ нравахъ и въ твоемъ „общественномъ хозяйствѣ...“ цѣльности въ добродѣтеляхъ, и пожалуй, въ порокахъ! Низость, мелочи, дрянь — все поблѣднѣетъ: выправится человѣкъ и опять встанетъ на желѣзныя ноги... Вотъ и прогрессъ!

— Ты все тотъ же старый студентъ, Леонтій! Все нянчишься съ отжившей жизнью, а о себѣ не подумаешь, кто ты самъ?

— Кто? повторилъ Козловъ: — учитель латинскаго и греческаго языковъ. Я также нянчусь съ этими отжившими людьми, какъ ты съ своими никогда не жившими идеалами и образами. А ты кто? Вѣдь ты художникъ, артистъ? Что же ты удивляешься, что я люблю какіе-нибудь образцы? Давно ли художники перестали черпать изъ древняго источника...

— Да художникъ! со вздохомъ сказалъ Райскій:—художество мое здѣсь, — онъ указалъ на голову и грудь: —

здѣсь образы, звуки, формы, огонь, жажда творчества, и вотъ еще я почти не началъ...

— Что же мѣшаетъ? Вѣдь ты рисовалъ какую-то большую картину: ты писалъ, что готовишь ее на выставку...

— Чортъ съ ними, съ большими картинами! съ досадой сказалъ Райскій: — я бросилъ почти живопись. Въ одну большую картину надо всю жизнь положить, а не выразишь и сотой доли изъ того живого, что проносится мимо и безвозвратно утекаетъ. Я пишу иногда портреты...

— Что же ты дѣлаешь теперь?

— Есть одно искусство: оно лишь можетъ удовлетворить современнаго художника: искусство слова, поэзія: оно безгранично. Туда уходить и живопись, и музыка—и еще тамъ есть то, чего не даетъ ни то, ни другое...

— Чтожъ ты, пишешь стихи?

— Нѣтъ... съ досадой сказалъ Райскій:—стихи — это младенческій лепетъ. Ими споешь любовь, пиръ, цвѣты, соловья... лирическое горе, такую же радость — и больше ничего...

— А сатира? возразилъ Леонтій: — вотъ, постой, вспомнимъ римскихъ старцевъ...

Онъ пошелъ было къ шкафу, Райскій остановилъ его.

— Сиди смирно, сказалъ онъ. — Да, иногда можно удачно хлестнуть стихомъ по больному мѣсту. Сатира — плеть: ударомъ обожжетъ, но ничего тебѣ не выяснить, не дастъ животрепещущихъ образовъ, не раскроетъ глубины жизни съ ея тайными пружинами, не подставить зеркала... Нѣтъ, только романъ можетъ охватывать жизнь и отражать человѣка!

— Такъ ты пишешь романъ... о чемъ же?

Райскій махнулъ рукой.

— И самъ еще не знаю! сказалъ онъ.

— Не пиши, пожалуйста, только этой мелочи и дряни,

что и безъ романа на всякомъ шагу въ глаза лѣзеть. Въ современной литературѣ, всякаго червяка, всякаго мужика, бабу — все въ романъ суютъ... Возьми-ка предметъ изъ исторіи, воображеніе у тебя живое, пишешь ты бойко. Помнишь о древней Руси ты писалъ?... А то далась современная жизнь!... муравейникъ, мышиная возня: дѣло ли это искусства?... Это газетная литература!

— Ахъ, ты старовѣръ! какъ ты отсталъ здѣсь! О газетахъ потише—это Архимедовъ рычагъ: онѣ ворочаютъ міромъ...

— Ну, ужъ міръ! Эти ваши Наполеоны, да Пальмерстоны...

— Это современные титаны: Цесари и Антоніи... ска-заль Райскій...

— Полно, полно! съ усмѣшкой остановилъ Леонтій: — развѣ титаниды, выродки старыхъ большихъ людей. Вонъ почитай у М-г Шарля есть книжечка, *Napoléon le petit*, Гюго. Онъ современнаго Цесаря представляетъ въ настоящемъ видѣ: какъ этотъ Регулъ во фракѣ далъ клятву почти на форумѣ спасать отечество, а потомъ...

— А твой титанъ—настоящій Цесарь что: не тоже ли самое хотѣлъ сдѣлать?

— Хотѣлъ, да подлѣ случился другой титанъ — и не даль!

— Ну, мы затѣяли съ тобой опять старый, безконечный споръ, сказалъ Райскій: когда ты осѣдлаешь своего конька, за тобой не угоняешься: оставимъ это пока. Обращусь опять къ своему вопросу: ужели тебѣ не хочется никуда отсюда, дальше этой жизни и занятій?

Козловъ отрицательно покачалъ головой.

— Помилуй, Леонтій; ты ничего не дѣлаешь для своего времени, ты пятишься какъ ракъ. Оставимъ римлянъ и грековъ—они сдѣлали свое. Будемъ же дѣлать и мы, чтобы

разбудить это (онъ указаль вокругъ на спящія улицы, сады и дома). Будемъ превращать эти обширныя кладбища въ жилища мѣста, встряхивать спящіе умы отъ застоя!

— Какъ же это сдѣлать?

— Я буду рисовать эту жизнь, отражать какъ въ зеркалѣ, а ты...

— Я... тоже кое-что дѣлаю: нѣсколько поколѣній къ университету приготовилъ... робко замѣтилъ Козловъ и остановился, сомнѣваясь, заслуга ли это?

— Ты думаешь, продолжалъ онъ,—я схожу въ классъ, а оттуда домой, да и забылъ? За водочку, потомъ вечеромъ за карты, или трусъ у губернатора по вечерамъ: ни, ни! Вотъ моя академія, говорилъ онъ, указывая на бесѣдку:—вотъ и портикъ—это крыльцо, а дождь идетъ—въ кабинетѣ: наберется ко мнѣ юности, облѣплять меня. Я съ ними разсматриваю рисунки древнихъ зданій, домовъ, утвари,—самъ черчу, объясняю, какъ бывало тебѣ: чтò самъ знаю, всѣмъ дѣлюсь. Кто постарше, съ тѣми впередъ заглядываю, разбираю имъ Софокла, Аристофана. Не все конечно; нельзя всего: гдѣ наготы много, я тамъ прималчиваю... Толкую имъ эту образцовую жизнь, какъ толкуютъ образцовыхъ поэтовъ: развѣ это теперь ужъ не надо никому? говорилъ онъ, глядя вопросительно на Райскаго.

— Хорошо, да все это не настоящая жизнь, сказалъ Райскій: — такъ жить теперь нельзя. Многое умерло изъ того, чтò было, и многое родилось, чего не вѣдали твои греки и римляне. Нужны образцы современной жизни, очеловѣчиванія себя и всего около себя. Это задача каждаго изъ насъ...

— Ну, за это я не берусь: довольно съ меня и того, если я дамъ образцы старой жизни изъ книгъ, а самъ буду жить про себя и для себя. А живу я тихо, скромно, ѣмъ, какъ видишь, лапшу... Что-же дѣлать?.. Онъ задумался.



— Жизнь „для себя и про себя“—не жизнь, а пассивное состояніе: нужно слово и дѣло, борьба. А ты хочешь жить барашкомъ!

— Я ужъ сказалъ тебѣ, что я дѣлаю свое дѣло и ничего знать не хочу, никого не трогаю и меня никто не трогаетъ!

— Ты напоминаешь мнѣ Софью, кузину: та тоже не хочетъ знать жизни — за-то она — великолѣпная кукла! Жизнь достанетъ вездѣ, и тебя достанетъ! Что ты тогда будешь дѣлать, непрigотовленный къ ней?

— Чтó ей меня доставать? Я такой маленькій человѣкъ, что она и не замѣтитъ меня. Есть у меня книги, хотя и не мои... (онъ робко поглядѣлъ на Райскаго). Но ты оставляешь ихъ въ моемъ полномъ распоряженіи. Нужды мои не велики, скуки не чувствую; есть жена: она меня любитъ...

Райскій посмотрѣлъ въ сторону.

— А я люблю ее... добавилъ Леонтій тихо. — Посмотри, посмотри: говорилъ онъ, указывая на стоявшую на крыльцѣ жену, которая пристально глядѣла на улицу и стояла къ нимъ бокомъ:—профиль, профиль: видишь, какъ сзади отдѣлился этотъ локонь, видишь этотъ немигающій взглядъ? Смотри, смотри: линія затылка, очеркъ лба, падающая на шею коса!—Чтó, не римская голова?

Онъ заглядѣлся на жену, и тайное умиленіе медленнымъ лучемъ прошло у него по лицу и застыло въ задумчивыхъ глазахъ. Даже румянецъ пробился на щекахъ.

Видно было, что рядомъ съ книгами, которыми питалась его мысль, у него горячо пріютилось и сердце, и онъ самъ не зналъ, чѣмъ онъ такъ крѣпко связанъ съ жизнью и съ книгами, не подозревалъ, что еслибъ пропали книги, не пропала бы жизнь, а отними у него эту живую „римскую голову“, по всей жизни его прошелъ бы параличъ.

„Счастлирое дитя!“ думаль Райскій: — „спить, и въ ученомъ снѣ своемъ не чуетъ, что подлѣ него, эта любимая имъ, римская голова, полна тьмы, а сердце пустоты, и что одной ей безсиленъ онъ преподавать „образцы древнихъ добродѣтелей!“

## IX.

Ужъ на закатѣ вернулся Райскій домой. Его встрѣтила на крыльцѣ Марѣинька.

— Гдѣ это вы пропадали, братецъ? Какъ на васъ сердится бабушка! сказала она,—просто не глядитъ.

— Я у Леонтья былъ, отвѣчалъ онъ равнодушно.

— Я такъ и знала; ужъ я уговаривала, уговаривала бабушку—и слушать не хочетъ, даже съ Титомъ Никоньчемъ не говорить. Онъ у насъ теперь, и Полина Карповна тоже. Нилъ Андреичъ, княгиня, Василій Андреичъ, присылали поздравить съ пріѣздомъ...

— Имъ чтó за дѣло?

— Они каждый день присылали узнавать о пріѣздѣ.

— Очень нужно?

— Подите, подите къ бабушкѣ: она вамъ дастъ! пугала Марѣинька.—Вы очень боитесь? Сердце бьется?

Райскій усмѣхнулся.

— Она очень сердита. Мы наготовили столько блюдъ!

— Мы ужинать будемъ, сказалъ Райскій.

— Въ самомъ дѣлѣ: вы хотите, будете? Бабушка, бабушка! говорила она радостно, вбѣгая въ комнату.—Братецъ пришелъ: ужинать будетъ!

Но бабушка, насупясь, сидѣла и не глядѣла, какъ вошелъ Райскій, какъ они обнимались съ Титомъ Никоньчемъ, какъ жеманно кланялась Полина Карповна, сорокапятилѣтняя, разряженная женщина, въ кисейномъ платьѣ,

съ весьма открытой шеей, съ плохо застегнутыми на груди крючками, съ тонкимъ кружевнымъ носовымъ платкомъ и съ вѣеромъ, которымъ она играла, то складывала, то кокетливо обмахивалась, хотя уже не было жарко.

— Какимъ молодцомъ! Какъ возмужали! Васъ не узнаешь! говорилъ Титъ Никонычъ, сіяя добротой и удовольствіемъ.

— Очень, очень похорошѣли! протяжно, говорила почти про себя Полина Карповна Крицкая, которая, къ соблазну бабушки, въ прошлый пріѣздъ наградила его поцѣлуемъ.

— Вы не перемѣнились, Титъ Никонычъ! замѣтилъ Райскій, оглядывая его:—почти не постарѣли, такъ бодры, свѣжи, и также добры, любезны!

Титъ Никонычъ расшаркался, поднявъ немного одну ногу назадъ.

— Слава Богу: только вотъ ревматизмы и желудокъ не совсѣмъ... старость!

Онъ взглянулъ на дамъ и конфузливо остановился.

— Ну, слава Богу, вотъ вы и нашъ гость, благополучно доѣхали... продолжалъ онъ.—А Татьяна Марковна опасались за васъ: и овраги, и разбойники... На долго пожаловали?

— О, вѣрно лѣто пробудете, замѣтила Крицкая:—здѣсь природа, чистый воздухъ! Здѣсь такъ многіе интересуются вами...

Онъ съ боку поглядѣлъ на нее и ничего не сказалъ.

— Какъ у предводителя всѣ будутъ рады! Какъ вице-губернаторъ желаетъ васъ видѣть!.. Окрестные помѣщики нарочно пріѣдутъ въ городъ... приставаала она.

— Они не знаютъ меня, чтó имъ?..

— Такъ много слышали интереснаго, говорила она, смѣло глядя на него.—Вы помните меня?

Бабушка отвернулась въ сторону, замѣтивъ, какъ играла глазами Полина Карповна.

— Нѣтъ... признаюсь... забылъ...

— Да, въ столицѣ всё впечатлѣнія скоро проходятъ! сказала она томно.—Какъ хорошъ вашъ дорожный туалетъ! прибавила потомъ, оглядывая его.

— Въ самомъ дѣлѣ, я еще въ дорожномъ пальто, сказалъ Райскій. — Тамъ надо бы вынуть изъ чемодана все платье и бѣлье... Надо позвать Егора.

Егоръ пришелъ, и Райскій отдалъ ему ключъ отъ чемодана.

— Вынь все изъ него и положи въ моей комнатѣ, сказалъ онъ, а чемоданъ вынеси куда-нибудь на чердакъ.

— Вамъ, бабушка, и вамъ, милыя сестры, я привезъ кое-какія бездѣлцы на память... Надо бы принести ихъ сюда...

Марѣинька вся покраснѣла отъ удовольствія.

— Бабушка, гдѣ вы меня помѣстите? спросилъ онъ.

— Домъ твой: гдѣ хочешь, холодно сказала она.

— Не сердитесь, бабушка—я въ другой разъ не буду... смѣясь сказалъ онъ.

— Смѣйся, смѣйся, Борисъ Павловичъ, а вотъ при гостяхъ скажу, что не хорошо поступилъ: не успѣлъ носа показать и пропалъ изъ дома. Это неуваженіе къ бабушкѣ...

— Какое неуваженіе? Вѣдь я съ вами жить стану, каждый день вмѣстѣ. Я зашелъ къ старому другу и заговорился...

— Конечно, бабушка, братецъ не нарочно: Леонтій Ивановичъ такой добрый...

— Молчи ты, сударыня, когда тебя не спрашиваютъ: рано тебѣ перечить бабушкѣ! Она знаетъ что говорить!

Марѣинька покраснѣла и съ усмѣшкой сѣла въ уголь.



— Ульяна Андреевна сѣмѣла лучше угостить тебя: гдѣ мнѣ столичныхъ франтовъ принимать! продолжала свое бабушка. — Что она тамъ тебѣ, какихъ фрикасе наставила? отчасти съ любопытствомъ спросила Татьяна Марковна.

— Была лапша, вспоминалъ Райскій,—пирогъ съ капустой и яицами... жареная говядина съ картофелемъ.

Бережкова иронически засмѣялась.

— Лапша и говядина!

— Да, еще каша на сковородѣ: превкусная, досказалъ Райскій.

— Такихъ рѣдкостей ты, я думаю, давно не пробовалъ въ Петербургѣ.

— Какъ давно: я очень часто обѣдаю съ художниками.

— Это вкусныя блюда, снисходительно замѣтилъ Титъ Никонычъ,—но тяжелы для желудка.

— И вы тоже! Ну, хорошо, развеселясь сказала бабушка:—завтра, Марѣинька, мы имъ велѣмъ потроховъ приготовить, студень, пироговъ съ морковью, не хочешь ли еще гуся...

— Фи, сдѣлала Полина Карповна:—станутъ ли „они“ кушать такія неделикатныя блюда?

— Хорошо, сказалъ Райскій,—особенно если начинить его кашей...

— Это неудобосваримое блюдо! замѣтилъ Титъ Никонычъ: — лучше всего легкій супецъ изъ крупы, котлетку, цыпленка и желе... вотъ настоящій обѣдъ...

— Нѣтъ, я люблю кашу, особенно ячменную, или изъ полбы! сказалъ Райскій:—люблю еще деревенскій студень. Велите приготовить: я давно не ѣлъ...

— Грибы, братецъ, любите? спросила Марѣинька:—у насъ множество.

— Какъ не любить? Нельзя ли къ ужину?..

— Прикажи, Марѣинька, Петру... сказала бабушка.

— Напрасно матушка, напрасно! говорилъ, морщась, Титъ Никонычъ:—тяжелое блюдо...

— Ты, не шутя, ужинать будешь? спросила Татьяна Марковна, смятчаясь.

— И очень не шутя, сказалъ Райскій.—И если въ погребахъ моего „имѣнія“ есть шампанское—прикажете подать бутылку къ ужину; мы съ Титомъ Никонычемъ выпьемъ за ваше здоровье. Такъ, Титъ Никонычъ?

— Да—и поздравимъ васъ съ прїѣздомъ,—хотя на ночь грибы и шампанское... неудобосваримо...

— Опять за свое! Вели, Марѣинька, шампанское въ ледъ поставить... сказала бабушка.

— Какъ угодно—се que femme veut... любезно заключилъ Ватутинъ, шаркнувъ ножкой и спрятавъ ее подъ стулъ.

— Ужинъ ужиномъ, а обѣдать слѣдовало дома: вотъ ты огорчилъ бабушку! Въ первый день прїѣзда изъ семьи ушелъ.

— Ахъ, Татьяна Марковна, вступилась Крицкая:—это у насъ по-мѣщански, а въ столицѣ...

Глаза у бабушки засверкали.

— Это не мѣщане, Полина Карповна! съ крѣпкой досадой сказала Татьяна Марковна, указывая на портреты родителей Райскаго, а также Вѣры и Марѣиньки, развѣшанные по стѣнамъ:—и не чиновники изъ палаты, прибавила она, намекая на покойнаго мужа Крицкой.

— Борисъ Павловичъ хотѣлъ сдѣлать передъ обѣдомъ моціонъ, вѣроятно зашелъ далеко, и тѣмъ самымъ поставилъ себя въ нѣкотораго рода невозможность поспѣть... началъ оправдывать его Титъ Никонычъ.

— Молчите вы съ своимъ моціономъ! добродушно крикнула на него Татьяна Марковна.—Я ждала его двѣ недѣли, отъ окна не отходила, сколько обѣдовъ пропадало! Сегодня наготовили, вдругъ пріѣхалъ и пропалъ! На что похоже? И что скажутъ люди: обѣдалъ у чужихъ—лапшу да кашу: какъ-будто бабушкѣ нечѣмъ накормить.

Титъ Никонычъ уклончиво усмѣхнулся, немного склоня голову, и замолчалъ.

— Бабушка! заключимъ договоръ, сказалъ Райскій:—предоставимъ полную свободу другъ другу, и не будемъ взыскательны! Вы дѣлайте какъ хотите, и я буду дѣлать, что и какъ вздумаю... Обѣдъ я вашъ съѣмъ сегодня за ужиномъ, вино выпью и ночь всю пробуду до утра, по крайней мѣрѣ сегодня. А куда завтра дѣнусь, гдѣ буду обѣдать и гдѣ ночую—не знаю!

— Bravo, bravo! съ дѣтской рѣзвостью восклицала Крицкая.

— Что же это такое? Цыганъ, что ли ты? съ удивленіемъ сказала бабушка.

— М-сье Райскій поэтъ, а поэты свободны, какъ вѣтеръ! замѣтила Полина Карповна, опять играя глазами, шевеля носкомъ башмака и всячески стараясь задѣть чѣмъ-нибудь вниманіе Райскаго.

Но чѣмъ она больше хлопотала, тѣмъ онъ былъ холоднѣе. Его ужъ давно коробило отъ ея присутствія. Только Марѣинька, глядя на нее, изъ-подтишка посмѣивалась. Бабушка не обратила вниманія на ея замѣчаніе.

— Два своихъ дома, земля, крестьяне, сколько серебра, хрусталя—а онъ будетъ изъ угла въ уголъ шататься... какъ окаянный, какъ Маркушка бездомный!

— Опять Маркушка! Надо его увидать и познакомить съ нимъ!

— Нѣтъ, ты не огорчай бабушку, не дѣлай этого! повелительно сказала бабушка:—Гдѣ увидишь его, бѣги!

— Почему же?

— Онъ тебя съ пути собьѣтъ!

— Нужды нѣтъ, а любопытно: онъ, должно быть, замѣчательный человѣкъ. Правда, Титъ Никонычъ?

Ватутинъ усмѣхнулся.

— Онъ, такъ сказать, загадка для всѣхъ, отвѣчалъ онъ.—Должно быть, сбился въ ранней молодости съ прямого пути... Но, кажется, съ большими дарованіями и свѣдѣніями: могъ бы быть полезна...

— Грубъ, невѣжа! сказала съ достоинствомъ Крицкая, глядя въ сторону. Она немного пришепетывала.

— Да, съ дарованіями: тремястами рублей поплатились вы за его дарованія! Отдалъ ли онъ вамъ? спросила Татьяна Марковна.

— Я... не спрашивалъ! сказалъ Титъ Никонычъ:—впрочемъ онъ со мной... почти вѣжливъ.

— Не бѣтъ при встрѣчѣ, не стрѣлялъ еще въ васъ? Чуть Нила Андреевича не застрѣлилъ, сказала она Райскому.

— Собаки его мнѣ шлейфъ разорвали! жаловалась Крицкая.

— Не приходилъ опять обѣдать къ вамъ „безъ церемоній?“ спросила опять бабушка Ватутина.

— Нѣтъ, вамъ не угодно, чтобъ я его принималъ, я и отказываю, сказалъ Ватутинъ.—Онъ однажды пришелъ ко мнѣ съ охоты ночью и попросилъ кушать: сутки не кушалъ, сказалъ Титъ Никонычъ, обращаясь къ Райскому:—я накормилъ его, и мы пріятно провели время...

— Пріятно! возразила бабушка:—слушать тошно! Пришелъ бы ко мнѣ объ эту пору: я бы ему дала обѣдъ! Нѣтъ, Борисъ Павловичъ: ты живи, какъ люди живутъ, побудь съ



нами дома, кушай, гуляй, съ подозрительными людьми не водись, смотри, какъ я распоряжаюсь имѣніемъ, побрани, если что-нибудь не такъ...

— Все это, бабушка, скучно: будемъ жить, какъ кому вздумается...

— Обѣдать, гдѣ попало, лапшу, кашу? не придти домой... такъ что ли? Хорошо же: вотъ я буду уѣзжать въ Новоселово, свою деревушку, или соберусь гостить къ Аннѣ Ивановнѣ Тушиной, за Волгу: она давно зоветъ, и возьму всѣ ключи, не велю готовить, а ты вдругъ придешь къ обѣду: что ты скажешь?

— Ничего не скажу.

— Не удивить и не огорчить это тебя?

— Нисколько.

— Куда же ты дѣнешься?

— Въ трактиръ пойду.

— Въ трактиръ! съ ужасомъ сказала бабушка. И Титъ Никонычъ сдѣлалъ движеніе.

— Кто же васъ пуститъ въ трактиръ? возразилъ онъ: — мой домъ, кухня, люди, я самъ—къ вашимъ услугамъ, — я за честь поставлю...

— Развѣ ты ходишь по трактирамъ? строго спросила бабушка.

— Я всегда въ трактирѣ обѣдаю.

— Не играешь ли на бильярдѣ, или не куришь ли?

— Охотникъ играть и курю. Надо достать сигары. Я васъ отличными попотчую, Титъ Никонычъ.

— Покорнѣйше благодарю: я не курю. Никотинъ очень вредно дѣйствуетъ на легкія и на желудокъ: осадокъ дѣлается и насильственно ускоряетъ пищевареніе. Притомъ... непріятно дамамъ.

— Станный, необыкновенный человекъ! сказала бабушка.

— Нѣтъ, бабушка: вы необыкновенная женщина.

— Чѣмъ же я необыкновенная?

— Какъ же: ѣшь дома, не ходи туда, спи, когда не хочется—зачѣмъ стѣсняй себя?

— Чтобъ угодить бабушкѣ.

— О деспотка, вы, бабушка, эгоистка! Угодить вамъ— не угодить себѣ; угодить себѣ — не угодить вамъ: нѣтъ ли выхода изъ этой крайности? Отчего же вы не хотите угодить внуку?

— Слышите: бабушка угождай внуку! Да я тебя маленькаго на рукахъ носила!

— Если вы будете очень стары, я васъ на себѣ повезу!

— Развѣ я не угождаю тебѣ? Кого я ждала недѣлю, почти не спала? Заботилась готовить, что ты любишь, хлопотала, красила, убирала комнаты, и новыя рамы вставила, занавѣски купила шелковыя....

— Это все вы угождали себѣ, а не мнѣ!

— Себѣ! съ изумленіемъ повторила она.

— Да, вамъ эти хлопоты пріятны, они занимаютъ васъ; признайтесь, вамъ бы безъ нихъ и дѣлать нечего было? Обѣдомъ вы хотѣли похвастаться, вы добрая, радушная хозяйка. Приди Маркушка къ вамъ, вы бы и ему наготовили всего...

— Правда, правда, братецъ: непременно бы наготовила, сказала Марѣинька:—бабушка предобрая, только притворяется...

— Молчи ты, тебя не спрашиваютъ! опять остановила ее Татьяна Марковна:—все переговариваетъ бабушку! Это она при тебѣ такая стала; она смирная, а тутъ вдругъ! Чего не выдумаетъ: Маркушку угощать!

— Да, да, слѣдовательно вы дѣлали, что вамъ правилось. А вотъ, какъ я вздумалъ захотѣть, что мнѣ нравится, это разстроило ваши распоряженія, оскорбило вашъ деспотизмъ.

тизмъ. Такъ, бабушка, да? Ну, поцѣлуйте же меня и дадимъ другъ другу волю...

— Какой странный человѣкъ! Слышите, Тить Никонычъ, что онъ говоритъ! обратилась бабушка къ Ватутину, отталкивая Райскаго.

— Пріятно слушать: очень, очень умно — я ловлю каждое слово! сказала Крицкая, которая все ловила взглядъ Райскаго, но напрасно.

Тить Никонычъ потупился, потомъ дружески улыбнулся Райскому.

— И я не выжила изъ ума! отозвалась сердито бабушка на замѣчаніе гостыи.

— Видно, что Борисъ Павловичъ читалъ много новыхъ, хорошихъ книгъ... уклончиво произнесъ Ватутинъ. — Слогъ прекрасный! Однако, матушка, сюда самоваръ несутъ, я боюсь... угара...

— Пойдемте на крыльцо, въ садикъ, чай пить! сказала Татьяна Марковна.

— Не сыро-ли будетъ тамъ? замѣтилъ Ватутинъ.

Въ тотъ же вечеръ бабушка и Райскій заключили, если не миръ, то перемиріе.

Бабушка убѣдилась, что внукъ любить и уважаетъ ее: и какъ мало надо было, чтобы убѣдиться въ этомъ!

Райскій разобралъ чемоданъ и вынулъ подарки: бабушкѣ онъ привезъ нѣсколько фунтовъ отличнаго чаю, до котораго она была большая охотница, потомъ новаго изобрѣтенія кофейникъ съ машинкой и шелковое платье темно-коричневаго цвѣта. Сестрамъ по браслету, съ вырѣзанными шифрами. Титу Никонычу замшевую фуфайку и панталоны, какъ просила бабушка, и кусокъ морского каната класть въ уши, какъ просилъ онъ.

Бабушка была тронута до слезъ.

— Меня старуху, вспомнил! говорила она, сѣвши подлѣ него и трепля его по плечу.

— Кого же мнѣ вспомнить: вы у меня однѣ, бабушка!

— Да какъ же это, говорила она:—счеты рвалъ, на письма не отвѣчалъ, имѣніе бросилъ, а тутъ вспомнилъ, что я люблю иногда рано утромъ одна выпить кофе: кофейникъ привезъ, не забылъ, что чай люблю, и чаю привезъ, да еще платье! Баловникъ, мотъ! Ахъ, Борюшка, Борюшка, ну, не странный ли ты человекъ!

Марейника такъ покраснѣла отъ удовольствія, что щеки у ней во все время, пока разсматривали подарки и говорили о нихъ, оставались красны.

Она, какъ случается съ дѣтьми, отъ сильной радости, забыла поблагодарить Райскаго.

— А ты и не благодаришь—хороша! Какъ обрадовалась! сказала Татьяна Марковна.

Марейника сконфузилась и присѣла. Райскій засмѣялся.

— Какая я дура—присѣдаю! сказала она.

Она подошла и обняла его.

Титъ Никонъчъ смутился, растерялся въ шарканьи и благодарственныхъ привѣтствіяхъ.

Райскій тоже, увидя свою комнату, слѣдя за бабушкой, какъ она чуть не сама дѣлала ему постель, какъ опускала занавѣски, чтобъ утромъ не беспокоило его солнце, какъ заботливо спрашивала, въ которомъ часу его будить, что приготовить—чаю или кофе по утру, масла или яицъ, сливокъ или варенья — убѣдился, что бабушка не все угождаетъ себѣ этимъ, особенно когда она попробовала рукой, мягка ли перина, сама поправила подушки повыше и велѣла поставить графинъ съ водой на столикъ, а потомъ раза три заглянула, спитъ ли онъ, не беспокойно ли ему, не нужно ли чего-нибудь.

Титъ Никонъчъ и Крицкая ушли. Последняя затруд-



нялась, какъ ей одной идти домой. Она говорила, что не велѣла пріѣхать за собой, надѣясь, что ее проводить кто-нибудь. Она взглянула на Райскаго. Титъ Никонъ съ сейчасъ же вызвался, къ крайнему неудовольствію бабушки.

— Егорка бы проводилъ! шептала она: — сидѣла бы дома—кто просилъ!

— Благодарю васъ, благодарю... сказала Полина Карповна мимоходомъ Райскому.

— За что? спросилъ онъ съ удивленіемъ.

— За пріятный, умный разговоръ—хотя не со мной... но я много унесла изъ него...

— Разговоръ, больше, практическій, сказалъ онъ: — о кашѣ, о гусѣ, потомъ ссорились съ бабушкой...

— Не говорите, я знаю... говорила она нѣжно:—я замѣтила два взгляда, два только... они принадлежали мнѣ, да, признайтесь? О, я чего-то жду и надѣюсь...

Съ этимъ она ушла. Райскій обратился къ Марѣинкѣ, взглядомъ спрашивая, что это такое.

— Какіе это два взгляда? сказалъ онъ.

Марѣинька засмѣялась.

— Она всегда такая у насъ! замѣтила она.

— Что она тамъ тебѣ шептала? Не слушай ее! сказала бабушка:—она все еще о побѣдахъ мечтаетъ.

Райскій сбросилъ-было долой гору наложенныхъ одна на другую мягкихъ подушекъ и взялъ съ дивана одну жесткую, потомъ прогналъ Егорку, посланнаго бабушкой раздѣвать его. Но бабушка передѣлала опять по своему: велѣла положить на свое мѣсто подушки и воротила Егора въ спальню Райскаго.

— Какая настойчивая деспотка! говорилъ Райскій, терпѣливо снося, какъ Егорка снималъ сапоги, разстегнулъ ему платье, даже хотѣлъ было снять чулки. Райскій утонулъ въ мягкихъ подушкахъ.

Черезъ полчаса бабушка заглянула къ нему въ комнату.

— Что вы? спросилъ онъ.

— Я пришла посмотрѣть, горитъ ли у тебя свѣчка: что ты не погасишь? замѣтила она.

Онъ засмѣялся.

— Покурить хочется, да сигары забылъ у васъ на столѣ, сказалъ онъ.

Она принесла сигары.

— На, вотъ, кури скорѣй, а то я не лягу, боюсь, говорила она.

— Ну, такъ я не стану курить.

— Кури, говорятъ тебѣ! приказывала она.

Но онъ потушилъ свѣчку.

„Какой своеобразный: даже бабушки не слушаетъ! Странный человѣкъ!“ думала Татьяна Марковна, ложась.

Райскій прожилъ этотъ день, какъ давно не жилъ, и заснулъ такимъ вольнымъ, здоровымъ сномъ, какимъ, казалось ему, не спалъ съ тѣхъ поръ, какъ оставилъ этотъ кровъ.

## Х.

Райскій провелъ уже нѣсколько такихъ дней и ночей, и еще больше предстояло ему провести ихъ подъ этой кровлей, между огородомъ, цвѣтникомъ, старымъ, запущеннымъ садомъ и роцей, между новымъ, полнымъ жизни, уютнымъ домикомъ и старымъ, полинявшимъ, частию съ обвалившейся штукатуркой домомъ, въ поляхъ, на берегахъ, надъ Волгой, между бабушкой и двумя дѣвочками, между Леонтьемъ и Титомъ Никонычемъ.

Онъ невольно пропитывался окружающимъ его воздухомъ, не могъ отмахаться отъ впечатлѣній, которыя клала

на него окружающая природа, люди, ихъ рѣчи, весь складъ и оборотъ этой жизни.

Онъ на каждомъ шагу становился въ разладъ съ ними, но пока не страдалъ еще отъ этого разлада, а снисходительно улыбался, поддавался кротости, простотѣ этой жизни, какъ, ложась спать, поддавался деспотизму бабушки и утонулъ въ мягкихъ подушкахъ.

Если онъ зѣвалъ, то пока не отъ скуки, а отъ пищеvarенія, или отъ здоровой усталости.

Жилось ему сносно: здѣсь не было ни въ комъ претензій казаться чѣмъ-нибудь другимъ, лучше, выше, умнѣе, нравственнѣе; а между тѣмъ на самомъ дѣлѣ оно было выше, нравственнѣе, нежели казалось, и едва ли не умнѣе. Тамъ, въ кучѣ людей съ развитыми понятіями, бьются изъ того, чтобы быть проще, и не умѣютъ; здѣсь, не думая о томъ, все просто, никто не лѣзъ изъ кожи поддѣлаться подъ простоту.

Бабушка была, по-прежнему, хлопотлива, любила повелѣвать, распоряжаться, дѣйствовать, ей нужна была роль. Она вѣкъ свой дѣлала дѣло, и если не было, такъ выдумывала его.

По-прежнему, у ней не было позыва идти вникать въ жизнь дальше стѣнъ, садовъ, огородовъ „пмѣнія“ и, наконецъ, города. Этимъ замыкался весь міръ.

Она говоритъ языкомъ преданій, сыплетъ пословицы, готовые сентенціи старой мудрости, ссорится за нихъ съ Райскимъ, и весь наружный обрядъ жизни отправляется у ней по затверженнымъ правиламъ.

Но когда Райскій приглядѣлся попристальнѣе, то увидѣлъ, что въ тѣхъ случаяхъ, которые не могли почему-нибудь подойти подъ готовые правила, у бабушки вдругъ выступали собственныя силы, и она дѣйствовала своеобразно.

Сквозь обветшавшую и никогда никуда непригодную

мудрость, у нея пробивалась живая струя здраваго практическаго смысла, собственныхъ идей, взглядовъ и понятій. Только когда она пускала въ ходъ собственные силы, то сама будто пугалась немного и безпокойно искала подкрѣпить ихъ какимъ-нибудь бывшимъ примѣромъ.

Райскому нравилась эта простота формъ жизни, эта опредѣленная, тѣсная рама, въ которой пріютился человѣкъ, и пятьдесятъ - шестьдесятъ лѣтъ жить въ повтореніяхъ, не замѣчая ихъ, и все ожидая, что завтра, послѣ завтра, на слѣдующій годъ, случится что-нибудь другое, чего еще не было, любопытное, радостное.

„Какъ это они живутъ?“ думалъ онъ, глядя, что ни бабушкѣ, ни Марѣинкѣ, ни Леонтью, никуда не хочется, и не смотря на дно жизни, что лежитъ на немъ, и не уносятся теченіемъ этой рѣки впередъ, къ устью, чтобъ остановиться и подумать, что это за океанъ, куда вынесутъ струи? Нѣтъ! „Что Богъ дастъ!“ говоритъ бабушка.

Разсуждаетъ она о людяхъ, ей знакомыхъ, очень мѣтко, разсуждаетъ правильно о томъ, что дѣлалось вчера, что будетъ дѣлаться завтра, никогда не ошибается; горизонтъ ея кончается—съ одной стороны полями, съ другой Волгой и ея горами, съ третьей городомъ, а съ четвертой дорожкой въ міръ, до котораго ей дѣла нѣтъ.

Желаетъ она въ концѣ зимы, чтобъ весна скорѣй наступила, чтобъ рѣка прошла къ такому-то дню, чтобъ лѣто было теплое и урожайное, чтобъ хлѣбъ былъ въ цѣнѣ, а сахаръ дешевле, чтобъ, если можно, купцы давали его даромъ, также какъ и вино, кофе и прочее.

Любила, чтобъ къ ней губернаторъ изрѣдка заѣхалъ съ визитомъ, чтобы пріѣзжее изъ Петербурга важное или замѣчательное лицо непременно побывало у ней, и вице-губернаторша подошла, а не она къ ней, послѣ обѣдни въ церкви поздороваться, чтобъ, когда ѣдетъ по городу, ни



одинъ встрѣчный не проѣхалъ и не прошелъ, не поклонясь ей, чтобы купцы засуетились и бросили прочихъ покупателей, когда она явится въ лавку, чтобы никогда никто не сказалъ о ней дурного слова, чтобы дома все ее слушались, до того, чтобы кучера никогда ни курили трубки ночью, особенно на сѣновалѣ, и чтобы Тараска не напивался пьянъ, даже когда они могли бы дѣлать это такъ, чтобы она не узнала.

Любила она, чтобы всякій день кто-нибудь завернулъ къ ней, а въ именины ея все, начиная съ архіерея, губернатора и до послѣдняго почитчика въ палатѣ, чтобы три дня городъ поминалъ ея роскошный завтракъ, нужды нѣтъ, что ни губернаторъ, ни почитчики не пользовались ея искреннимъ расположеніемъ. Но если бы не пришелъ въ этотъ день М-г Шарль, котораго она терпѣть не могла, или Полина Карповна, она бы искренно обидѣлась.

Въ этотъ день она, по всей вѣроятности, втайнѣ желала, чтобы зашелъ на пирогъ даже Маркушка.

До пріѣзда Райскаго, жизнь ея покоилась на этихъ простыхъ и прочныхъ основахъ, и ей въ голову не приходило, чтобы тутъ было что-нибудь не такъ, чтобы она весь вѣкъ жила въ какой-то „борьбѣ съ противорѣчіями“, какъ говорилъ Райскій.

Если когда-нибудь и случалось противорѣчіе, какой-нибудь разладъ, то она приписывала его никакъ не себѣ, а другому лицу, съ кѣмъ имѣла дѣло, а если никого не было, такъ судьбѣ. А когда явился Райскій и соединилъ въ себѣ, и это другое лицо, и судьбу, она удивилась, отнесла это къ непослушанію внука и къ его странностямъ.

Она горячо защищалась, сначала преданіями, сентенціями и пословицами, но когда эта мертвая сила, отъ перваго прикосновенія живой силы анализа, разлеталась въ прахъ, она сейчасъ хваталась за свою, природную логику.

Этого только и ждалъ Райскій, зная, что она сейчасъ очутится между двухъ огней: между стариной и новизной, между преданіями и здравымъ смысломъ—и тогда ей надо было, или согласиться съ нимъ, или отступить отъ старины.

Но бабушка триумфа ему никогда не давала, она сдаваться не любила и кончала споръ, опираясь деспотически на авторитетъ, уже не мудрости, а родства и своихъ лѣтъ.

Райскій, не уступая ей на почвѣ логики, спускалъ флагъ передъ ея симпатіей и, смѣясь, становился передъ ней на колѣни и цѣловалъ у ней руку.

Онъ удивлялся, какъ могло все это уживаться въ ней, и какъ бабушка, не замѣчая вѣчнаго разлада старыхъ и новыхъ понятій, ладила съ жизнью и переваривала все это вмѣстѣ, и была такъ бодра, свѣжа, не знала скуки, любила жизнь, вѣровала, не охлаждаясь ни къ чему, и всякій день былъ для нея какъ-будто новымъ, свѣжимъ цвѣткомъ, отъ котораго на завтра она ожидала плодовъ.

Бабушка, Марѣинька, даже Леонтій,—а онъ мыслящій, ученый, читающій—все нашли свою точку опоры въ жизни, стали на нее, и счастливы.

Бабушка добыла себѣ, какъ-будто купила на вѣсь, жизненной мудрости, пробавляется ею и знать не хочетъ того, чего съ ней не было, чего она не видала своими глазами, и не заботится, есть ли тамъ еще что-нибудь, или нѣтъ.

Отъ этого она открыла большіе глаза на его „мудренія“, казавшіяся ей иногда шальными, слова, „цыганскіе“ поступки, споры.

— Станный, своеобразный человѣкъ, говорила она, и надивиться не могла, какъ это онъ не слушается ея и не дѣлаетъ, что она указываетъ. Развѣ можно жить иначе? Титъ Никонычъ въ восхищеніи отъ нея, самъ Нилъ Андреечъ отзывался одобрительно, весь городъ тоже уважаетъ ее, только Маркушка зубы скалитъ, когда увидить ее,—но онъ пронащій человѣкъ.

А тутъ внукъ, свой человѣкъ, котораго она мальчишкой воспитывала, „отъ рукъ отбился“, смѣетъ оправдываться, защищаться, да еще спорить съ ней, обвиняетъ ее, что она не такъ живетъ, не то дѣлаетъ, что нужно!

А она, кажется, всю жизнь, какъ по пальцамъ, знаетъ: ни купцы, ни дворя ея не обманутъ, въ городѣ всякаго насквозь видитъ, и въ жизни своей, и вѣренныя ея попеченію дѣвочки, и крестьянъ, и въ кругу знакомыхъ — никакихъ ошибокъ не дѣлаетъ, знаетъ, какъ гдѣ ступить, что сказать, какъ, и своимъ, и чужимъ добромъ распорядиться! Словомъ, какъ по нотахъ играетъ!

А онъ не слушается, и еще осуждаетъ ее!

Она сдѣлала изъ наблюденій и опыта мудрый выводъ, что всякому дается извѣстная линія въ жизни, по которой можно и должно достигать извѣстнаго значенія, выгоды, и что всякому дана возможность сдѣлаться (относительно) важнымъ или богатымъ, а кто прозѣваетъ время и удобный случай, пренебрежетъ данными судьбой средствами, тотъ и пеняй на себя!

— Всякому, говорила она, — судьба даетъ какой-нибудь даръ: одному, на примѣръ, дано много ума или какой-нибудь „остроты“ и умѣнья (подъ этимъ она разумѣла талантъ, способности), — за то богатства не дала — и сейчасъ примѣръ приводила: или архитектора, или лекаря, или Степку, мужика. Дуракъ-дуракомъ, трехъ перечестъ не можетъ, лба не умѣетъ перекрестить, едва знаетъ, гдѣ право, гдѣ лѣво, ни за сохой, ни въ саду: а посуду, чашки, ложки, или крестики точить, дѣтскіе кораблики, игрушки — точно изъ мѣди лить! И сколько на ярмаркѣ продать! Другой красивъ: картинка — за то пѣтый дуракъ! Вонъ Балакинъ: ни одна умная дѣвушка нейдетъ за него, а заглядѣнье! Не зѣвай, и онъ будетъ счастливъ. „Богъ дурака, поваля, кормить!“ — приводила она и пословицу въ подкрѣпленіе: — найдеть

дуру съ богатствомъ! А есть и такіе, что ни „остроты“ судьба не дала, ни богатства, за то дала трудолюбіе: этимъ берутъ! Ну, а кто лежебокой былъ, или прозѣвалъ, загубилъ даръ судьбы—самъ виновать! Оттого много на свѣтѣ погибшихъ: праздныхъ, пьяницъ, съ разодранными локтями, одна нога въ туфлѣ, другая въ калошѣ, носъ красный, губы растрескались, винищемъ разить!

Райскій расхохотался, слушая однажды такое разсужденіе, и особенно характеристическій очеркъ пьяницы, самаго противнаго и погибшаго существа, въ глазахъ бабушки, до того, что хотя она не замѣтила ни малѣйшей склонности къ вину въ Райскомъ, но всегда съ беспокойствомъ смотрѣла, когда онъ вздумаетъ выпить стаканъ, а не рюмку вина, или рюмку водки.

— Хорошо ли тебѣ, не много ли? говорила она, морщась и качая головой.

Къ пьяницѣ и пьянству у ней было фізіологическое отвращеніе:

— Да, да, смѣйся! говорила она, а это правда!

— Можно, вѣдь, бабушка, погибнуть и по чужой винѣ, возражалъ Райскій, желая прослѣдить за развитіемъ ея житейскихъ понятій:—есть между людей вражда, страсти. Чѣмъ виновать человѣкъ, когда ему подставляютъ ногу, опутываютъ его интригой, крадутъ, убиваютъ?... Мало ли что!

— Виновать, виновать! рѣшала она, не слушая аппеляціи. — Ужъ если кто несчастенъ, погибаетъ, свихнулся, впалъ въ нищету, въ крайность, какъ-нибудь обиженъ, опороченъ, и поправиться не можетъ, значитъ — самъ виновать. Какой-нибудь грѣхъ да былъ за нимъ, или есть: если не порокъ, такъ тяжкая ошибка! Вражда, страсти!.. все одинъ и тотъ же врагъ стережетъ насъ всѣхъ!.. Богъ накажетъ иногда, да и проститъ, коли человѣкъ смирится и



опять пойдет по хорошему пути. А кто все спотыкается, падаетъ и лежитъ въ грязи, значить, не прощенъ, а не прощенъ потому, что не одолѣетъ себя, не сладить съ виномъ, съ картами, или украсть, да не отдастъ краденнаго, или гордъ, обидчикъ, золь не въ мѣру, грязень, обманщикъ, предатель... Мало ли зла: что-нибудь да есть! А хочеть, такъ выползеть опять на дорогу. А если просто слабъ, силенки нѣтъ, значить, вѣры нѣтъ: когда есть вѣра, есть и сила. Да, да, ужъ это такъ, не говори, не говори, смѣйся, а молчи! прибавила она, замѣтивъ, что онъ хочеть возразить.—Можетъ ли быть, чтобъ человѣкъ такъ пропалъ, изъ-за другихъ, потому что захотѣли погубить? Не зѣвай, смотри за собой: упалъ, такъ вставай на ноги, да смотри, нѣтъ ли лукавства за самимъ? А нѣтъ, такъ помолись — и поправишься. Вонъ Алексѣя Петровича три губернатора гнали, имѣнье было въ опеку, дошло до того, что никто займы не давалъ, хоть по-міру ступай: а теперь выждалъ, вытерпѣлъ, раскаялся — какіе были грѣхи—и вышелъ въ люди...

— Ну, хорошо, бабушка: а помните, былъ какой-то буянъ, полицмейстеръ, или исправникъ: у васъ крышу велѣлъ разломать, постой вамъ поставилъ противъ правилъ, заборъ сломалъ, и чего-чего не дѣлалъ!

— Да, правда: онъ злой, негодный человѣкъ, врагъ мой былъ, не любила я его! Чѣмъ же кончилось? Приѣхалъ новый губернаторъ, узналъ всѣ его плутни и прогналъ! Онъ смотался, спился, своя же крѣпостная дѣвка завладѣла имъ —и пикнуть не смѣлъ. Умеръ—никто и не пожалѣлъ!

— Ну, вотъ видите! Что же вы сдѣлали: вы ли виноваты?

— Я! сказала бабушка: я наказана не даромъ. Даромъ судьба не наказываетъ...

— Въ самомъ дѣлѣ! что же такое?

— Что? повторила она:—молодъ ты, чтобъ знать бабуш-

кины проступки. Ужъ такъ и быть, изволь, скажу: тогда откупа пошли, а я вздумала велѣть пиво варить для людей, водку гнали дома, не много, для гостей и для дворни, а все же запрещено было; мостовъ не чинила... Отъ меня взятки-то гладки, онъ и озлобился, видишь! Ужъ коли кто несчастливъ, такъ значить, по дѣломъ. Проси скорѣе прощенія, а то пропадешь, пойдетъ все хуже... и...

— И потомъ „красный носъ, растрескавшіяся губы, одна нога въ туфлѣ, другая въ калошѣ!“ договорилъ Райскій, смѣясь.—Ахъ, бабушка, чего я не захочу, чтó принудить меня? или если скажу себѣ, чтó непременно поступлю такъ, вооружусь волей...

— Никогда не говори: „непременно“, живо перебила Татьяна Марковна:—Боже сохрани!

— Отъ чего? вотъ еще новости! сказала Райскій. — Марейнка! я непременно сдѣлаю твой портретъ, непременно напишу романъ, непременно познакомясь съ Маркушкой, непременно проживу лѣто съ вами и непременно воспитаю васъ всѣхъ трехъ, бабушку, тебя и... Вѣрочку.

Марейнка засмѣялась, а Татьяна Марковна посмотрѣла на него черезъ очки.

— Ты никакъ съ ума сошелъ: поучись-ка у бабушки жить. Самонадѣянъ очень. Дастъ тебѣ когда-нибудь судьба за это „непременно“! Не говори этого! А прибавляй всегда: „хотѣлось бы“, „Богъ дастъ, будемъ живы да здоровы“... А то судьба накажетъ за самонадѣянность: никогда не выйдетъ по твоему...

— У васъ, бабушка, о судьбѣ такое же понятіе, какъ у древняго грека о фатумѣ: какъ о личности какой-нибудь, какъ-будто воплощенная судьба тутъ стоитъ да слушаетъ...

— Да, да—говорила бабушка, какъ-будто озираясь: — кто-то стоитъ да слушаетъ! Ты только не остерегись, забудь что можно упасть — и упадешь. Понадѣйся безъ оглядки,

судьба и обманетъ, вырветъ изъ рукъ, къ чему протягивалъ ихъ! Гдѣ меньше всего ждешь, тутъ и оплеуха...

— Ну, когда же счастье? Ужели все оплеухи?

— Нѣтъ не все: когда ждешь скромно, сомнѣваешься, не забываешься, оно и упадетъ. Пуще всего не задирай головы и не подымай носа, побаивайся: ну, и дается. Судьба любить осторожность, отъ того и говорятъ: „береженаго Богъ бережетъ“. И тутъ не пересаливай: кто слишкомъ трусливо пятится, она тоже не любить, и подстережетъ. Кто воды боится, весь вѣкъ бѣгаетъ рѣки, въ лодку не сядетъ, судьба подкараулитъ: когда-нибудь да сядетъ, тутъ и бултыхнется въ воду.

Райскій засмѣялся.

— О, судьба - проказница! продолжала она. — Когда ищешь въ кошелькѣ гривенника, попадаютъ все двугривенные, а гривенникъ послѣ всѣхъ придетъ; ждешь кого-нибудь: приходятъ, да не тѣ, кого ждешь, а дверь, какъ на смѣхъ, хлопаешь да хлопаешь, а кровь у тебя кипитъ да кипитъ. Пропадетъ вещь: весь домъ перероешь, а она у тебя подъ носомъ—вотъ что!

— Какое рабство! сказалъ Райскій.—И такъ всю жизнь прожить, растеряться въ мелочахъ! За чѣмъ же, для какой цѣли эти штуки, бабушка, дѣлаетъ кто-то, по вашему мнѣнію, съ умысломъ? Нѣтъ, я отчаяваюсь воспитать васъ... Вы испорчены!

— Для какой цѣли? повторила она:—а для такой, чтобъ человѣкъ не засыпалъ и не забывался, а помнилъ, что надъ нимъ кто-нибудь да есть; чтобы онъ шевелился, оглядывался, думалъ, да заботился. Судьба учить его терпѣнію, дѣлаетъ ему характеръ, чтобъ поворачивался живо, оглядывался на все зоркимъ глазомъ, не лежалъ на боку и дѣлалъ, что каждому опредѣлилъ Господь...

— То-есть, вы думаете, что къ человѣку приставленъ какой-то невидимый квартальный надзиратель, чтобъ будить его?

— Шутя, а шутя правду сказать, замѣтила бабушка.

— Какъ жизнь-то эластична! задумчиво произнесъ Райскій.

— Что?

— Я думаю, говорилъ онъ, не то Марѣинькѣ, не то про себя: — во что хочешь вѣруй: въ божество, въ математику, или въ философію, жизнь поддается всему. Ты, Марѣинька, гдѣ училась?

— Въ пансіонѣ у M-me Meyer.

— По тысячѣ двѣсти рублей ассигнаціями платила за каждую сказала бабушка:—обѣ пять лѣтъ были тамъ.

— Ты помнишь Птолемею систему міра?

— Птоломей... вѣдь это царь былъ... сказала Марѣинька, немного покраснѣвъ отъ того, что не помнила никакой системы.

— Да, царь и ученый: ты знаешь, что прежде въ центрѣ міра полагали землю, и все обращалось вокругъ нея, потомъ Галилей, Коперникъ — нашли, что все обращается вокругъ солнца, а теперь открыли, что и солнце обращается вокругъ другого солнца. Проходили вѣка—и явленія физическаго міра поддавались всякой изъ этихъ теорій. Такъ и жизнь: подводили ее подъ фатумъ, потомъ подъ разумъ, подъ случай—подходить ко всему. У бабушки есть какой-то домовый...

— Не домовый, а Богъ и судьба, сказала она.

— Слѣдовательно двое, и вотъ шестьдесятъ лѣтъ, со всѣми маленькими явленіями, улеглись въ эту теорію. И какъ ловко пришлось! А тутъ мучаешься, бьешься... изъ чего?

Онъ мысленно проводилъ параллель между собою и бабушкой.



„Я быюсь, размышлялъ онъ, чтобы быть гуманнымъ и добрымъ: бабушка не подумала объ этомъ никогда, а гуманна и добра. „Я недоувѣрчивъ, холоденъ къ людямъ и горячъ только къ созданіямъ своей фантазіи, бабушка горяча къ ближнему и вѣрить во все. Я вижу, гдѣ обманъ, знаю, что все—иллюзія, и не могу ни къ чему привязаться, не нахожу ни въ чемъ примиренія: бабушка не подозрѣваетъ обмана ни въ чемъ и ни въ комъ, кромѣ купцовъ, и любовь ея, снисхожденіе, доброта покоятся на тепломъ довѣріи къ добру и людямъ, а если я... бываю снисходителенъ, такъ это изъ холоднаго сознанія принципа, у бабушки принципъ весь въ чувствѣ, въ симпатіи, въ ея натурѣ! Я ничего не дѣлаю, она весь вѣкъ трудится...“

## XI.

Онъ задумался, и отъ бабушки перенесъ глаза на Марѣиньку и съ нѣжностью остановилъ ихъ на ней.

„А что,“ думалось ему:— „не увѣровать-ли и мнѣ въ бабушкину судьбу: здѣсь всему вѣрится, — и не смириться-ли, не склонить-ли голову подъ иго этого кроткаго быта, не стать-ли героемъ тихаго романа? Судьба пошлетъ и мнѣ долю, удачу, счастье. Право, не жениться-ли?...“

Онъ потянулся и зѣвнулъ, глядя на Марѣиньку, любясь нѣжной бѣлизной ея лба, мягкостью и здоровымъ цвѣтомъ щекъ и рукъ.

Какъ онъ ни разглядывалъ ее, какъ ни пыталъ, съ какой стороны ни заходилъ, а все видѣлъ пока только, что Марѣинька была свѣжая, бѣлокурая, здоровая, склонная къ полнотѣ дѣвushка, живая и веселая.

Она прилежна, любить шить, рисуетъ. Если сидеть за шитье, то углубится серьезно и молча, долго можетъ просидѣть; сидеть за фортепіано, непременно проиграетъ все

до конца, что предположить; книгу прочесть всю и долго рассказывает о томъ, что читала, если ей понравится. Поётъ, ходитъ за цвѣтами, за птичками, любить домашнія заботы, охотница до лакомствъ.

У ней есть шкапикъ, гдѣ всегда спрятанъ изюмъ, черносливъ, конфекты. Она разливаетъ чай, и вообще присматриваетъ за хозяйствомъ.

Она любитъ воздухъ; ей нужды нѣтъ загорѣть: она любить, какъ ящерица, зной.

Желанія у ней возвращаются въ кругу ея быта: она любить, чтобы святая недѣля была сухая, любить святки, сильный морозъ, чтобы сани скрипѣли и за носъ щипало. Любитъ катанье и танцы, толпу, праздники, пріѣздъ гостей и выѣзды съ визитами—до страсти. Охотница до нарядовъ, украшеній, мелкихъ бездѣлокъ на столѣ, на этажеркахъ.

Но не смотря на страсть къ танцамъ, ждетъ съ нетерпѣніемъ лѣта, поры плодовъ, любить, чтобы много вишенъ уродилось и арбузы вышли большіе, а яблоковъ народилось бы столько, какъ ни у кого въ садахъ.

Марейнюку всегда слышно и видно въ домѣ. Она то смѣется, то говорить громко. Голосъ у ней пріятный, грудной, звонкій, въ саду слышно, какъ она пѣсенку поетъ наверху, а черезъ минуту слышишь ужъ ея говоръ на другомъ концѣ двора, или раздается смѣхъ по всему саду.

Еще въ дѣтствѣ, бывало, узнаетъ она, что у мужика пала корова или лошадь, она влѣзетъ на колѣни къ бабушкѣ и выпроситъ лошадь и корову. Изба ветха, или строеніе на дворѣ, она попроситъ лѣску.

Умеръ у бабы сынъ, мать отстала отъ работы, сидѣла въ углу, какъ убитая, Марейнюка каждый день ходила къ ней и сидѣла часа по два, глядя на нее, и приходила домой съ распухшими отъ слезъ глазами.

Если мужикъ заболѣвалъ трудно, она приласкается къ

Ивану Богдановичу, лекарю, и сама вскочить къ нему на дрожки и повезеть въ деревню.

То и дѣло просить у бабушки чего-нибудь: холста, коленкору, сахару, чаю, мыла. Дѣвкамъ даетъ старыя платья, велить держать себя чисто. Къ слѣпому старику носить чего-нибудь лакомаго поѣсть, или дать немного денегъ. Знаетъ всѣхъ бабъ, даже ребятишекъ по именамъ, послѣднимъ покупаетъ башмаки, шьетъ рубашонки и крестить почти всѣхъ новорожденныхъ.

Если случится свадьба, Марейинька не знаетъ предѣла щедрости: съ трудомъ ее ограничиваетъ бабушка. Она даетъ бѣлье, обувь, придумаетъ какой-нибудь затѣйливый сарафанъ, истратитъ всѣ свои карманныя деньги и долго послѣ того экономничаетъ.

Только пьяницъ, какъ бабушка же, не любила, и однажды даже замахнулась зонтикомъ на мужика, когда онъ, пьяный, хотѣлъ ударить при ней жену.

Когда идетъ по деревнѣ, дѣти отъ нея безъ ума: они, завидя ее, бѣгутъ къ ней толпой, она раздаетъ имъ пряники, орѣхи, иного приведетъ къ себѣ, умоетъ, возится съ ними.

Всѣ собаки въ деревнѣ знаютъ и любятъ ее; у ней есть любимыя коровы и овцы.

Она никогда не задумывалась, а смотрѣла на все бодро, зорко.

Когда не было никого въ комнатѣ, ей становилось скучно, и она шла туда, гдѣ кто-нибудь есть. Если разговоръ на минуту смолкнетъ, ей ужъ не ловко станетъ, она зѣвнетъ и уйдетъ, или сама заговоритъ.

Въ будни она ходила въ простомъ шерстяномъ или холстинковомъ платьѣ, въ простыхъ воротничкахъ, а въ воскресенье непременно нарядится, зимой въ шерстяное или шелковое, лѣтомъ въ кисейное платье, и держитъ себя немного

важнѣе, особенно до обѣдни, не сядетъ гдѣ попало, не примется ни за домашнее дѣло, ни за рисованіе, развѣ послѣ обѣдни поиграетъ на фортепіано.

„Счастливецъ дитя!“ думалъ Райскій, любуясь ею: — „проснешься-ли ты, или проиграешь и пропоешь жизнь подъ защитой бабушкиной „судьбы“? Попробовать разбудить этотъ сонъ... что будетъ?..“

— Пойдемъ, Марейка, гулять, сказалъ онъ однажды вскорѣ послѣ приѣзда. — Покажи мнѣ свою комнату и комнату Вѣрочки, потомъ хозяйство, познакомъ съ дворней. Я еще не оглядѣлся.

Онъ ничѣмъ не могъ сдѣлать ей больше удовольствія. Она весело побѣжала впередъ, отворяя ему двери, обращающая его вниманіе на каждую мелочь, болтая, прыгая, напѣвая.

Въ ея комнатѣ было все уютно, миниатюрно и весело. Цвѣты на окнахъ, птицы, маленькій кіотъ надъ постелью, множество разныхъ коробочекъ, ларчиковъ, гдѣ напрядано было всякаго добра, лоскутковъ, нитокъ, шелковъ, вышиванья: она славно шила шелкомъ и шерстью по канвѣ.

Въ ящикахъ лежали ладонки, двойныя сросшіеся орѣшки, восковые огарочки, въ папкахъ засушено было множество цвѣтовъ, на окнахъ лежали найденные на Волгѣ въ пескѣ цвѣтные камешки, раковинки.

Стѣну занималъ большой шкафъ съ платьями—и все въ порядкѣ, все чисто прибрано, уложено, завѣшано. Постель была маленькая, но заваленная подушками, съ узорчатымъ шелковымъ на ватѣ одѣяломъ, обшитымъ кисейной бахромой.

По стѣнамъ висѣли англійскія и французскія гравюры, взятые изъ стараго дома и изображающія семейныя сцены: то старика, уснувшаго у камина, и старушку, читающую біблію, то мать и кучу дѣтей около стола, то сним-



ки съ Теньеровскихъ картинъ, наконецъ голову собаки и множество вырѣзанныхъ изъ книжекъ картинъ, съ животными, даже нѣсколько картинокъ модъ.

Она отворила шкафъ, откуда пахнуло запахомъ сластей.

— Не хотите ли миндалю? спросила она.

— Нѣтъ, не хочу.

— Ну, изюму? Это кишмишъ, мелкій, сладкій такой.

Она разгрызла орѣхъ и взяла въ ротъ двѣ изюминки.

— Пойдемъ въ комнату Вѣры: я хочу видѣть! сказалъ Райскій.

— Надо сходить за ключемъ отъ стараго дома.

Райскій подождалъ на дворѣ. Яковъ принесъ ключъ, и Марейнка съ братомъ поднялись на лѣстницу, прошли большую переднюю, корридоръ, взойшли во второй этажъ и остановились у двери комнаты Вѣры.

Райскій уже нарисовалъ себѣ мысленно эту комнату: представилъ себѣ мебель, убранство, гравюры, мелочи, почему-то все не такъ, какъ у Марейнки, а иначе.

Онъ съ любопытствомъ переступилъ порогъ, оглядѣлъ комнату и — обманулся въ ожиданіи; тамъ ничего не было!

„Вотъ бабушка сказала бы,“ подумалъ онъ: — „что судьба подшутила: ожидаешь одного, не оглянешься, не усумнишься, забудешься — и обманетъ“.

Простая кровать съ большимъ занавѣсомъ, тонкое бумажное одѣяло и одна подушка. Потомъ диванъ, коверъ на полу, круглый столъ передъ диваномъ, другой маленькій письменный у окна, покрытый клеенкой, на которомъ однако же не было признаковъ письма, небольшое старинное зеркало и простой шкафъ съ платьями.

И все тутъ. Ни гравюры, ни книги, ни какой мелочи, почему бы можно было узнать вкусъ и склонности хозяйки.

— Гдѣ же у ней все? спросилъ Райскій.

— У ней ничего нѣтъ.

— Какъ ничего? Гдѣ чернильница, бумаги?...

— Это все въ столѣ—и ключъ у ней.

Райскій подошелъ сначала къ одному, потомъ къ другому окну. Изъ оконъ открывались виды на поля, деревню съ одной стороны, на садъ, обрывъ и новый домъ съ другой.

— Пойдемте, братецъ, отсюда: здѣсь пустотой пахнетъ, сказала Марѣинька:—какъ ей не страшно одной: я бы умерла! А она еще не любить, когда къ ней сюда придешь. Безстрашная такая! Пожалуй, на кладбище одна ночью пойдетъ, вонъ туда: видите?

Она указала ему изъ окна на кучу крестовъ, сжавшихся тѣсно на холмѣ, поодаль отъ крестьянскихъ дворовъ.

— А ты не ходишь? спросилъ онъ.

— Я днемъ хожу туда, и то съ Агафьей, или мальчишку изъ деревни возьму. А то такъ на похороны, если мужичекъ умереть. У насъ, слава Богу, рѣдко мрутъ.

Райскій опять поглядѣлъ на пустую комнату, старался припомнить черты маленькой Вѣры и припоминалъ только тоненькую, черненькую дѣвочку, съ темно карими глазками, съ бѣленькими зубками, и часто съ замаранными ручонками.

„Какая же она теперь? Хорошенькая, говоритъ Марѣинька и бабушка тоже: увидимъ!“ думалъ онъ, а теперь пока шелъ слѣдомъ за Марѣинькой.

## ХП.

Они вышли на другой дворъ, гдѣ были разныя службы, кладовыя, людскія, погреба и конюшни.

На дворѣ все суетилось, въ кухнѣ трещалъ огонь, въ людской обѣдали люди, въ сараѣ Тарасъ возился около экипажей, Прохоръ велъ поить лошадей.

За столомъ въ людской слышался разговоръ. До Райскаго и Марѣиньки долеталъ грубый говоръ, грубый смѣхъ,

смѣшанные голоса, внезапно пріутихшіе, какъ скоро люди изъ оконъ замѣтили барина и барышню.

Однако до нихъ успѣлъ долетѣть маленькій отрывокъ изъ дружелюбной бесѣды.

— А что, Мотья: вѣдь ты скоро умрешь! говорилъ, не то Егорка, не то Васька.

— Полно тебѣ, не грѣши! унималъ его задумчивый и набожный Яковъ.

— Право, ребята, помяните мое слово, продолжалъ первый голосъ: — у кого грудь ввалилась, волосы изъ дымчатыхъ сдѣлались красными, глаза ушли въ лобъ, — тотъ безпремѣнно умереть... Прощай, Мотинька: мы тебѣ гробокъ сколотимъ, да полѣнцо въ голову положимъ...

— Нѣтъ, погоди: я тебя еще вздую... отозвался голосъ, должно быть Мотьки.

— На ладонь дышешь, а задоришься! Поцѣлуйте его, Матрена Ѡаддеевна: вонъ онъ какой красавецъ: лучше покойника не найдешь!.. И пятна желтыя на щекахъ: прощай Мотя...

— Полно Бога гнѣвить! строго унималъ Яковъ.

Дѣвки тоже вступились за больного и напали на озорника.

Вдругъ этотъ разговоръ нарушенъ былъ чѣмъ-то вполемъ съ другой стороны. Изъ дверей другой людской вырвалась Марина и быстро, почти не перебирая ногами, промчалась черезъ дворъ. За ней вслѣдъ вылетѣло полѣно, очевидно направленное въ нее, но, благодаря ея увертливости, пролетѣвшее мимо. У ней однакожь были растрепаны волосы, въ рукѣ она держала гребенку и выла.

— Чтò такое? не успѣлъ спросить Райскій, какъ она очутилась возлѣ нихъ.

— Что это, баринъ! вопила она съ плачущимъ, искаженнымъ лицомъ, остановясь передъ нимъ и указывая на

дверь, изъ которой выбѣжала. — Что это такое, барышня! обратилась она увидѣвши Марѣиньку:—житья нѣтъ!

Тутъ же, увидѣвъ выглядывавшія на нее изъ кухни лица дворни, она вдругъ сквозь слезы засмѣялась и показала рядъ бѣлыхъ, блестящихъ зубовъ, потомъ опять быстро смѣхъ смѣнился плачущей миной.

— Я къ барынѣ пойду: онъ убьетъ меня! — говорила она и пронеслась въ домъ.

— Что такое? спрашивалъ Райскій у людей.

Егорка скалилъ зубы, у иныхъ женщинъ былъ тоже смѣхъ на лицѣ, прочія опустили головы и молчали.

— Что такое? повторилъ Райскій, обращаясь къ Марѣинькѣ!

Изъ дома слышались жалобы Марины, прерываемыя выговорами Татьяны Марковны.

Райскій вошелъ въ комнату.

— Вотъ посмотри, каково ее мужъ отдѣлалъ! обратилась бабушка къ Райскому.—А за дѣло, негодяйка, за дѣло!

— Понапрасну, барыня, все понапрасну. Пѣсь его знаетъ, что померещилось ему, чтобъ сгинуть ему, проклятому! Я ходила въ кусты, сучьевъ наломать, тутъ встрѣтился графскій садовникъ: дай, говорить—я тебѣ помогу, и дотащилъ сучья до калитки, а Савелій выдумалъ...

— Врешь, врешь, негодяйка! строго говорила барыня:— не даромъ, не даромъ!

— Вотъ сквозь землю провалиться! Дай Богъ до утра не дожить...

— Перестань клясться! На той недѣлѣ ты выпросилась ко всенощной, а тебя видѣли въ слободкѣ съ фельдшеромъ...

— Не я, барыня, дай Богъ околѣтъ мнѣ на этомъ мѣстѣ...



— Какъ же Яковъ тебя видѣлъ? Онъ лгать не станетъ!

— Не я, барыня, должно быть, чортъ былъ во образѣ моемъ...

— Прочь съ глазъ моихъ! Позвать ко мнѣ Савелья! заключила бабушка.

— Борисъ Павлычъ, ты баринъ, разбери ихъ!

— Я ничего не понимаю!—сказалъ онъ.

Савелій встрѣтился съ Мариной на дворѣ. До ушей Райскаго долетѣлъ звукъ глухого удара, какъ будто кулакомъ по спинѣ, или по шеѣ, потомъ опять визгъ, плачь.

Марина рванулась, быстро пробѣжала черезъ дворъ и скрылась въ людскую, гдѣ ее встрѣтилъ хохоть, на который и она, отирая передникомъ слезы и втыкая гребень въ растрепанные волосы, отвѣчала хохотомъ же. Потомъ опять боль напомнила о себѣ:

— Дьяволъ, лѣшій, чтобъ ему издохнуть! говорила она то плача, то отвѣчая на злой хохоть дворни хохотомъ.

Савелій, съ опущенными глазами, неловко и тяжело переступилъ порогъ комнаты и сталъ въ углу.

— Что это ты не уймешься, Савелій? начала бабушка выговаривать ему. — Долго ли до грѣха? Вѣдь ты такъ когда-нибудь ударишь, что и духъ вонъ, а проку все не будетъ.

— Собакѣ собачья и смерть! мрачно проговорилъ Савелій, глядя въ землю.

На лбу у него собрались крупныя складки; онъ былъ блѣденъ.

— Ну, какъ хочешь, а я держать тебя не стану, я не хочу уголовного дѣла въ домѣ. Шутка ли, что попадется подъ руку, тѣмъ съ плеча и бьетъ! Вѣдь я говорила тебѣ: не женись, а ты все свое, не послушалъ—и вотъ!

— Это точно что... проговорилъ онъ тихо, опуская голову.

— Это въ послѣдній разъ! замѣтила бабушка. — Если еще разъ случится, я ее отправлю въ Новоселово.

— Чтожъ съ ней дѣлать? тихо спросилъ Савелій.

— А что ты сдѣлаешь дракой? Уймется что ли она?

— Все-таки... острастка... сказалъ Савелій, глядя въ землю.

— Ступай, да чтобъ этого не было, слышишь?

Онъ медленно взглянулъ изподлобья, сначала на барыню, потомъ на Райскаго, и, медленно обернувшись, задумчиво прошелъ дворъ, отворилъ дверь и бокомъ перешагнулъ порогъ своей комнаты. А Егорка, пока Савелій шелъ по двору, скаля зубы, показывалъ на него сзади пальцемъ дворнѣ и толкалъ Марину къ окну, чтобы она взглянула на своего супруга.

— Отстань ты, чортъ этакой!

И она съ досадою замахнулась на него, потомъ широко улыбнулась, показывая зубы.

— Что это такое, бабушка? спросилъ Райскій.

Бабушка объяснила ему это явленіе. Въ дворню изъ деревни была взята Марина дѣвчонкой шестнадцати лѣтъ. Проворствомъ и способностями она превзошла всѣхъ и cadaго, и превзошла ожиданія бабушки.

Не было дѣла, котораго бы она не разумѣла; гдѣ другому надо часъ, ей не нужно и пяти минутъ.

Другой только еще выслушаетъ приказаніе, почешетъ голову, спину, а она ужъ на другомъ концѣ двора, ужъ сдѣлала дѣло, и всегда отлично, и воротилась.

— Позовутъ ли ее одѣть барышень, гладить, сбѣгать куда-нибудь, убрать, приготовить, купить, на кухнѣ ли помочь: въ нее всю какъ-будто вложена какая-то молнія, рукамъ дана цѣпкость, глазу вѣрность. Она все замѣтитъ, угадаетъ, сообразитъ и сдѣлаетъ въ одну и ту же минуту.

Она вѣчно двигалась, дѣлала что-нибудь, и когда остановится безъ дѣла, то руки хранятъ пріемъ, по которому видно, что она только-что дѣлала что-нибудь или собираетъ дѣлать.

И чиста она была на руку: ничего не стащить, не спрятеть, не присвоить, не корыстна и не жадна: не съѣсть тихонько. Даже немного ѣла, все на ходу; моетъ посуду и съѣсть что-нибудь съ собранныхъ съ господскаго стола тарелокъ, какой-нибудь огурецъ, или хлебнетъ стоя щей ложки двѣ, отщипнетъ кусочекъ хлѣба и ужъ опять бѣжить.

Татьяна Марковна не знала ей цѣны, и сначала взяла ее въ комнаты, потомъ, по просьбѣ Вѣрочки, отдала ей въ горничныя. Въ этомъ званіи Маринѣ мало было дѣла, и она продолжала дѣлать все и за всѣхъ въ домѣ. Вѣрочка какъ-то полюбила ее, и она полюбила Вѣрочку и умѣла угадывать по глазамъ, что ей нужно, что нравилось, что нѣтъ.

Но... несмотря на все это, бабушка разжаловала ее изъ камерфрейлинъ въ дворовыя дѣвки, потомъ обрекла на черную работу, мыть посуду, бѣлье, полы и т. п.

Только ради ея проворства и способностей, она оставлена была при старомъ домѣ и продолжала пользоваться довѣренностью Вѣры, и та употребляла ее по своимъ особымъ порученіямъ.

Марина потеряла милости барыни за то, что познала „любовь и ея тревоги“, въ лицѣ Никиты, потомъ Петра, потомъ Терентья, и такъ далѣе, и такъ далѣе.

Не было лакея въ дворнѣ, виднаго парня въ деревнѣ, на которомъ бы она не остановила благосклоннаго взгляда. Границъ и предѣловъ ея любвямъ не было.

Будь она въ Москвѣ, въ Петербургѣ, или другомъ городѣ и положеніи, — тамъ опасеніе, страхъ лишиться хлѣба, мѣста, положили бы какую-нибудь узду на ея склонности.

Но въ ея обезпеченномъ состояніи крѣпостной дворовой дѣвки, узды не существовало.

Ее не прогоняютъ, куса хлѣба не лишаютъ, а къ стыду можно притерпѣться, какъ скоро однажды навсегда узнаетъ все тѣсный кружокъ лицъ, съ которыми она болѣе или менѣе состояла въ родствѣ, кумовствѣ, или нѣжныхъ отношеніяхъ.

Марина была не то что хороша собой, а было въ ней что-то втягивающее, раздражающее, нельзя назвать, что именно, что привлекало къ ней многочисленныхъ поклонниковъ: не то скользящій быстро по предметамъ, ни на чемъ не останавливающийся взглядъ этихъ, изъ желта-сѣрыхъ, лукавыхъ и безстыжихъ глазъ, не то какая-то нервная дрожь плечъ и бедръ, и подвижность, игра во всей фигурѣ, въ щекахъ, и въ губахъ, въ рукахъ; легкій, будто летучій шагъ, широкая ли, внезапно все лицо и рядъ бѣлыхъ зубовъ освѣщавшая улыбка, какъ-будто къ нему вдругъ поднесутъ въ темнотѣ фонарь, также внезапно исчезающая и уступающая мѣсто слезамъ, даже, когда нужно, воплямъ—Богъ знаетъ что!

Только кто съ ней поговорить, поглядить на нее, а она на него, даже кто просто встрѣтитъ ее, тотъ поворотитъ съ своей дороги и пойдетъ за ней.

Она даже не радѣла слишкомъ о своемъ туалетѣ, особенно когда разжаловали ее въ чернорабочія: платье на ней толстое, рукава засучены, шея и руки по локоть грубы отъ загара и отъ работы; но сейчасъ же, за чертой загара, начиналась бѣлая, мягкая кожа.

Сложена она была хорошо: талія ея, безъ корсета и кринолина, тонко и стройно покачивалась надъ грязной юбкой, когда она неслась по двору, будто летѣла.

Съ Савельемъ случилось тоже, что съ другими: т. е. онъ поглядѣлъ на нее раза два изподлѣбья, и хотя былъ не красивъ, но удостоился ея благосклоннаго вниманія, ни болѣе



ни менѣе, какъ прочіе. Потомъ пошелъ къ барынѣ просить позволенія жениться на Маринѣ.

— Ты съ ума сошелъ! въ изумленіи сказала Татьяна Марковна.

— Я выкупъ дамъ, произнесъ въ отвѣтъ на это Савелій.

— Не надо мнѣ выкупа, а ты знаешь ее: какъ же ты будешь жить?..

— Это мое дѣло, промолвилъ Савелій.

Бережкова дала ему сроку двѣ недѣли, и черезъ двѣ недѣли ровно онъ пришелъ въ комнаты и сталъ въ углу.

— Что ты?

— Позвольте повѣнчаться, былъ отвѣтъ.

— Да вѣдь она не уймется!

— Уймется, не будетъ!

— Ну, смотри, пеняй на себя! Я напишу къ Борису Павловичу, Марина не моя, а его,—какъ онъ хочетъ.

Бабушка написала, Райскій ничего не отвѣчалъ, и Савелій женился.

Марина не думала мѣняться, и о супружествѣ имѣла темное понятіе. Не прошло двухъ недѣль, какъ Савелій засталъ у себя въ гостяхъ гарнизоннаго унтеръ-офицера, который быстро ускользнулъ изъ дверей и перелѣзъ черезъ заборъ.

Савелій поблѣднѣлъ и вопросительно взглянулъ на жену; та истощила весь запасъ клятвъ: ничего не помогло.

Онъ подумалъ немного, потупившись, крупныя складки показались у него на лбу, потомъ заперъ дверь, медленно засучилъ рукава и, взявъ старую возжу, изъ висѣвшихъ на гвоздѣ, началъ отвѣшивать медленные, но тяжелые удары по чему ни попало.

Марина выказала всю данную ей природой ловкость, извиваясь какъ змѣя, бросаясь изъ угла въ уголъ, прыгая на лавки, на столы, металась къ окнамъ, на печь, даже

пробовала въ печь: возжа слѣдовала за ней и доставала повсюду, пока, наконецъ, Марина не попала случайно на дверь.

Она откинула крючекъ съ петли и, избитая, растрепанная, съ плачемъ и воплемъ, вырвалась на дворъ.

Дворня съ ужасомъ внимала этому истязанію, вопли дошли до слуха барыни. Она съ тревогой вышла на балконъ: тутъ жертва супружескаго гнѣва предстала передъ ней съ тѣми же воплями, жалобами и клятвами, какихъ былъ свидѣтелемъ Райскій.

Но этотъ урокъ не повелъ ни къ чему. Марина была все та же, опять претерпѣвала истязаніе и бѣжала къ барынѣ, или ускользала отъ мужа и пряталась дня три на чердакахъ, по сараямъ, пока не проходилъ первый пылъ.

Она была живуча, какъ кошка, и быстро оправлялась отъ побоевъ, сама дружно и безстыдно раздѣляла смѣхъ дворни надъ ревностью мужа, надъ его стараніями исправить ее, и даже надъ побоями.

Но Савелій мѣнялся, сталъ худѣть, рѣже показывался въ людской, среди дворни, и сильно задумывался.

На жену онъ и прежде смотрѣлъ изподлобья, а потомъ почти вовсе не глядѣлъ, но всегда зналъ, въ какую минуту гдѣ она, что дѣлаетъ.

Этому она сама надивиться не могла: ужъ она ли не проворна, она-ли не мастерица скользнуть какъ тѣнь изъ одной двери въ другую, изъ переулка въ слободку, изъ сада въ лѣсъ—нѣтъ, увидить, узнать, точно чутьемъ, и явится, какъ тутъ, и почти всегда съ возжей! Это составляло зрѣлище, потѣху дворни.

Савелій падалъ духомъ, молился Богу, сидѣлъ молча, какъ бирюкъ, у себя въ клѣтушкѣ, тяжело покрывая.

Между тѣмъ онъ же впадалъ въ странное противорѣчіе: на ярмаркѣ онъ всѣ деньги истратитъ на жену, купить

ей платье, платковъ, башмаковъ, серьги какія-нибудь. На святую недѣлю, молча, поведетъ ее подъ качели и столько накупить, и молча же, насуетъ ей въ руки орѣховъ, пряниковъ, черныхъ стручьевъ, моченыхъ грушъ, что она употребуетъ всю дворню.

— Чтò ты скажешь? спросила Татьяна Марковна, сообщивъ всѣ эти подробности внуку.

— Это прелесть! сказалъ онъ. — Это цѣлая драма!

И сейчасъ въ головѣ у него быстро возникъ очеркъ народной драмы. Какъ этотъ угрюмый, сосредоточенный характеръ мужика могъ сложиться въ цѣльную, оригинальную и сильную фигуру? Какъ устояла страсть среди этого омута разврата?

Онъ надивиться не могъ и далъ себѣ слово глубже вникнуть въ источникъ этого характера. И Марина улыбалась ему въ художественномъ очеркѣ. Онъ видѣлъ въ ней не просто распущенную дворовую женщину, въ родѣ горькихъ, безнадежныхъ пьяницъ между мужчинами, а безкорыстную жрицу культа, „матерь наслажденій“...

— Что же съ ними дѣлать? спросила бабушка: — надулся-ли ты? Не сослать ли ихъ?..

— Ахъ, нѣтъ, не трогайте, не мѣшайте! съ испугомъ вступился онъ. — Вы мнѣ испортите эту живую натуральную драму...

— Ну, скажите на милость: не трогать! Онъ убьетъ ее.

— Такъ что-же! У насъ нѣтъ жизни, нѣтъ драмъ во все: убиваютъ въ дракѣ, пьяные, какъ дикари! А тутъ, въ кои-то вѣки завязался настоящій человѣческій интересъ, сложился въ драму, а вы—мѣшать!... Оставьте, ради Бога! Посмотримъ, чѣмъ разрѣшится... кровью, или...

— Вотъ чтò я сдѣлаю, сказала Татьяна Марковна: — попрошу священника, чтобъ онъ поговорилъ съ Савельемъ: да кстати, Борюшка, и тебя надо отчитать. Радуется, что бѣда надъ головой!

— Скажите, бабушка: Марина одна такая у насъ, или...  
Бабушка сердито махнула рукой на дворню.

— Всѣ въ родствѣ! съ омерзѣніемъ сказала она:—Матрѣшка неразлучна съ Егоркой, Машка, — помнишь, за дѣтми ходила дѣвчонка?—у Прохора въ сараѣ живмя живеть. Акулина съ Никиткой, Танька съ Васькой... Только Василиса да Яковъ и есть порядочные! Но тѣ всѣ прячутся, стыдъ еще есть: а Марина!..

Она плюнула, а Райскій засмѣялся.

— Сейчасъ же пойду, непременно набросаю очеркъ...  
сказаль онъ:—слава Богу, страсть! Прошу покорно — Савелій!

— Опять „непременно!“ замѣтила бабушка.

Онъ живо вскочилъ, и только хотѣлъ бѣжать къ себѣ, какъ и бабушка, и онъ, оба увидали Полину Карповну Крицкую, которая входила на крыльцо и уже отворяла дверь. Спрятаться и отказать не было возможности: поздно.

— Вотъ тебѣ и „непременно!“ шепнула Татьяна Марковна:—видишь! Теперь пойдетъ таскаться, не отучишь ее! Принесла нелегкая! Стоить Марины! Чтó это, по твоему: тоже драма?

— Нѣтъ, это, кажется... комедія! сказалъ Райскій и поневолѣ сталъ всматриваться въ это явленіе.

— Вон-жиг, вон-жиг! нѣжно пришепetyвала Полина Карповна: — какъ я рада, что вы дома; вы не хотите посѣтить меня, я сама опять пришла. Здравствуйте Татьяна Марковна!

— Здравствуйте, Полина Карповна! живо заговорила бабушка, переходя внезапно въ радушный тонъ:—милости просимъ, садитесь сюда, на диванъ! Василиса, кофе, завтракъ чтобъ былъ готовъ!

— Нѣтъ, мерсі, я пила.

— Помилуйте, какъ можно, теперь рано: до обѣда долго.



— Нѣтъ, я ничего не хочу, благодарю васъ.

— Нельзя же: отъ васъ далеко...

И бабушка настояла, чтобъ подали кофе. Райскій съ любопытствомъ глядѣлъ на барыню, набѣленную пудрой, въ локонахъ, съ розовыми лентами на шляпкѣ и на груди, значительно открытой, и въ ботинкѣ пятилѣтняго ребенка, такъ что кровь отъ этого прилила ей въ голову. Перчатки были новыя, желтыя, лайковыя, но онѣ лопнули по швамъ, потому что были меньше руки.

За ней шелъ только-что выпущенный кадетъ, съ чуть-чуть пробивающимся пушкомъ на бородѣ. Онъ держалъ на рукѣ шаль Полины Карповны, зонтикъ и вѣеръ. Онъ, вытянувъ шею, стоялъ, почти не дыша, за нею.

— Вотъ, позвольте познакомить васъ: Michel Раминъ, въ отпуску здѣсь... Татьяна Марковна уже знакома съ нимъ.

Юноша, вмѣсто поклона, болтнулся всей фигурой, густо покраснѣлъ, и опять окованъ на мѣстѣ.

— Dites quelque chose, Michel! сказала вполголоса Крицкая.

Но Мишель покраснѣлъ еще гуще и остался на мѣстѣ.

— Asseyez-vous donc, сказала она и сама сѣла.

— Нынче *жярко*: très cheux! продолжала она: гдѣ мой вѣеръ? Дайте его сюда, Michel!

Она начала обмахиваться, глядя на Райскаго.

— Не хотѣли посѣтить меня! повторила она.

— Я нигдѣ не былъ, сказалъ Райскій.

— Не говорите, не оправдывайтесь; я знаю причину: боялись...

— Чего?

— Ah, le monde est si méchant!

— Чортъ знаетъ, что такое! думалъ Райскій, глядя на нее во все глаза.

— Такъ? Угадала? говорила она. — Я еще въ первый

разъ замѣтила, que nous nous entendons! Эти два взгляда —помните? Voilà, voilà, tenez... этотъ самый! о, я угадываю его...

Онъ засмѣялся.

— Да, да: правда? Oh, nous nous convenons! Что касается до меня, я умѣю презирать свѣтъ и его мнѣнія. Не правда ли, это заслуживаетъ презрѣнія? Тамъ, гдѣ есть искренность, симпатія, гдѣ люди понимаютъ другъ друга, иногда безъ словъ, по одному такому взгляду...

— Кофейку, Полина Карповна! прервала ее Татьяна Марковна, подвигая къ ней чашку.—Не слушай ее! шепнула она, косясь на полуоткрытую грудь Крицкой: — все вретъ, безстыжая!—Возьмите вашу чашку, прибавила она, обратясь къ юношѣ:—вотъ и булки!

— Débarassez-vous de tout cela, сказала ему Крицкая, и взяла у него зонтикъ изъ рукъ.

— Я, признаться, ужъ пилъ... подъ носъ себѣ произнесъ кадетъ, однако взялъ чашку, выбралъ побольше булку и откусилъ половину ея, точно отрѣзаль, опять густо покраснѣвъ.

Полина Карповна вдова. Она все вздыхаетъ, вспоминая „несчастное супружество“, хотя всѣ говорятъ, что мужъ у ней былъ добрый, смирный человѣкъ и въ ея дѣла никогда не вмѣшивался. А она называетъ его „тираномъ“, говоритъ, что молодость ея прошла безплодно, что она не жила любовью и счастьемъ, и вѣрить, что „часъ ея пробьетъ, что она полюбитъ и будетъ любить идеально“.

Татьяна Марковна не совсѣмъ была права, сравнивъ ее съ Мариной. Полина Карповна была покойнаго темперамента: она не искала такъ-называемаго „паденія“, и измѣны своимъ обязанностямъ на совѣсти не имѣла.

Не была она тоже сентиментальна, и если вздыхала, возводила глаза къ небу, разливалась въ нѣжныхъ рѣчахъ,

то дѣлала это притворно, прибѣгая къ этому, какъ къ условнымъ приѣмамъ кокетства.

Но ей до смерти хотѣлось, чтобъ кто-нибудь былъ всегда въ нее влюбленъ, чтобы объ этомъ знали и говорили всѣ въ городѣ, въ домахъ, на улицѣ, въ церкви, т. е. что кто-нибудь по ней „страдаетъ“, плачетъ, не спитъ, не ѣстъ, пусть бы даже это была неправда.

Въ городѣ ее уже знаютъ, и она теперь старается заманивать новичковъ, заѣзжихъ студентовъ, прапорщиковъ, молодыхъ чиновниковъ.

Она ласкаетъ ихъ, кормить, лакомить, раздражаетъ ихъ самолюбіе. Они адски ѣдятъ, пьютъ, накурятъ и уйдутъ. А она подъ рукой распускаетъ слухъ, что тотъ или другой „страдаетъ“ по ней.

— *Pauvre garçon!* говоритъ она съ жалостью.

Теперь при ней состоялъ заѣзжій юноша, Michel Раминъ, пріѣхавшій прямо съ школьной скамьи въ отпускъ. Онъ держалъ себя прямо, мундиръ у него съ иголки: онъ всегда застегнутъ на всѣ пуговицы, густо краснѣетъ, на вопросы, силымъ, робкимъ басомъ, говоритъ *да-съ* или *нѣтъ-съ*.

У него были такія большія руки, съ такими длинными и красными пальцами, что ни въ какія перчатки, кромѣ замшевыхъ, не входили. Онъ былъ одержимъ кадетскимъ аппетитомъ и институтскою робостью.

Полина Карповна стала-было угощать и его конфектами, но онъ съѣдалъ фунта по три въ одинъ присѣстъ. Теперь онъ сопровождаетъ барыню вездѣ, таская шаль, мантилью и вѣеръ за ней.

— *Je veux former le jeune homme, ce pauvre enfant!* такъ объясняетъ она оффиціально свои отношенія къ нему.

— Что вы намѣрены сегодня дѣлать? Я обѣдаю у васъ: *ce projet vous sourit-il?* обратилась она къ Райскому.

У бабушки внутри прошла судорога, но она и вида не подавала, даже выказала радость.

— Милости просимъ. Марейнька! Марейнька!

Вошла Марейнька. Крицкая весело поздоровалась съ ней, а юноша густо покраснѣлъ. Марейнька, поглядѣвъ на туалетъ Полины Карповны, хотѣла засмѣяться, но удержалась. При взглядѣ на ея спутника, лицо у ней наполнилось еще больше смѣхомъ.

— Марѳа Васильевна! неожиданно, басомъ, сказали юноша:—у васъ коза въ огородъ зашла — я видѣлъ! Какъ бы въ садъ не забралась!

— Покорно благодарю, я сейчасъ велю выгнать. Это Машка, замѣтила Марейнька:—она меня ищетъ. Я хлѣбца ей дамъ.

Бабушка пошептала ей на ухо, что приготовить для неожиданныхъ гостей къ обѣду, и Марейнька вышла.

— Въ городѣ всѣ говорятъ о васъ и всѣ въ претензіи, что вы до сихъ поръ ни у кого не были, ни у губернатора, ни у архіерея, ни у предводителя, обратилась Крицкая къ Райскому.

— И я ему тоже говорила! замѣтила Татьяна Марковна: — да нынче бабушекъ не слушаютъ. Не хорошо, Борисъ Павловичъ; ты бы съѣздилъ хоть къ Нилу Андреичу: уважилъ бы старика. А то онъ не проститъ. Я велю вычистить и вымыть коляску...

— Я не поѣду ни къ кому, бабушка, зѣвая сказалъ Райскій.

— А ко мнѣ? спросила Крицкая.

Онъ, глядя на нее, учтиво молчалъ.

— Не принуждайте себя: *de grâce, faites ce qu'il vous plaira*. Теперь я знаю вашъ образъ мыслей, я увѣрена (она сдѣлала удареніе на этихъ словахъ), что вы хотите... и только свѣтъ... и злые языки...



Онъ засмѣялся.

—Ну, да—да. Я вижу, я угадала! О, мы будемъ счастливы! Enfin!... будто про себя шепнула она, но такъ, что онъ слышалъ.

„Ужели она часто будетъ душить меня?“ думалъ Райскій, съ ужасомъ глядя на нее. „Куда спастись отъ нея? А она не годится и въ романъ: слишкомъ каррикатурна! Никто не повѣритъ“...

### ХІІІ.

Тихо тянулись дни, тихо вставало горячее солнце и обтекало синее небо, распростершееся надъ Волгой и ея побережьемъ. Медленно ползли снѣгообразныя облака въ полдень, и иногда, сжавшись въ кучу, потемняли лазурь и рассыпались веселымъ дождемъ на поля и сады, охлаждаючи воздухъ и уходили дальше, давъ просторъ тихому и теплому вечеру.

Если же вдругъ останавливалась надъ городомъ и Малиновкой (такъ звали деревушку Райскаго) черная туча и разрѣшалась продолжительной, почти тропической грозой—все робѣло, смущалось, весь домъ принималъ, какъ-будто передъ нашествіемъ непріятеля, оборонительное положеніе. Татьяна Марковна походила на капитана корабля во время шторма.

— Гасить огни, закрывать трубы, окна, запирайте двери! слышалась ея команда.—Поди Василиса, посмотри, не курятъ-ли трубокъ? Нѣтъ-ли гдѣ сквозного вѣтра? Отойди, Марѳинька, отъ окна!

Пока вѣтеръ качалъ и гнулъ къ землѣ деревья, столбами несъ пыль, метая поля, пока молніи жгли воздухъ и громъ тяжело, какъ хохотъ, катался въ небѣ, бабушка не смыкала глазъ, не раздѣвалась, ходила изъ комнаты въ ком-

нату, заглядывала, что дѣлають Марейнька и Вѣрочка, крестила ихъ и крестилась сама, и тогда только успокоивалась, когда туча, истративъ весь пламень и трескъ, блѣднѣла и уходила въ даль.

Утромъ восходило опять радостное солнце и играло въ каждой повисшей на листьяхъ капелькѣ, въ каждой лужѣ, заглядывало въ каждое окно и било въ стекла и щели счастливаго пріюта.

Такимъ же монотоннымъ узоромъ тянулась и жизнь въ Малиновкѣ. Райскій почти не чувствовалъ, что живетъ.

Онъ кончилъ портретъ Марейньки и исправилъ литературный эскизъ Наташи, предполагая вставить его въ романъ впослѣдствіи, когда раскинется и округлится у него въ головѣ весь романъ, когда явится „цѣль и необходимость“ созданія, когда всѣ лица выльются каждое въ свою форму, какъ живыя,дохнуть, окрасятся колоритомъ жизни и всѣ свяжутся между собою этою „необходимостью и цѣлью“, — такъ что, читая романъ, всякій скажетъ, что онъ былъ нуженъ, что его недоставало въ литературѣ.

Онъ рѣшилъ писать его эпизодами, набрасывая фигуру, какая его займетъ, сцену, которая его увлечетъ или поразитъ, вставляя себя вездѣ, куда его повлечетъ ощущеніе, впечатлѣніе, наконецъ чувство и страсть, особенно страсть!

— Ахъ, дай Богъ, страсть! молилъ онъ иногда, томимый скукой.

Онъ бы уже соскучился въ своей Малиновкѣ, уѣхалъ бы искать въ другомъ мѣстѣ „жизни“, радостно захлебываться ею подъ дыханіемъ страсти, или не находить по обыкновенію ни въ чемъ примиренія съ своими идеалами, страдать отъ уродливостей и томиться мертвымъ равнодушіемъ ко всему на свѣтѣ.

Все это часто повторялось съ нимъ, повторилось бы и

теперь: онъ ждалъ и боялся этого. Но еще въ немъ не изжили пока свой срокъ впечатлѣнія наивной среды, куда онъ попалъ. Ему еще пока пріятенъ былъ ласковый лучъ солнца, добрый взглядъ бабушки, радушная услужливость дворни, рождающаяся нѣжная симпатія Марѣиньки—особенно послѣднее.

Онъ по утрамъ съ удовольствіемъ ждалъ, когда она, въ холстинковой блузѣ, безъ воротничковъ и нарукавниковъ, еще съ томными, не совсѣмъ прозрѣвшими глазами, не остывшая отъ сна, привставши на цыпочки, положить ему руку на плечо, чтобъ размѣняться поцѣлуемъ, и угощаетъ его чаемъ, глядя ему въ глаза, угадывая желанія и бросаясь исполнять ихъ. А потомъ надѣнетъ соломенную шляпу съ широкими полями, ходитъ около него, или подъ руку съ нимъ, по полю, по садамъ—и у него кровь бѣжитъ быстрѣе, ему пока не скучно.

Ему любо было пока возиться и съ бабушкой: отдавать свою волю въ ея опеку и съ улыбкой смотрѣть и слушать, какъ она учила его уму-разуму, порядку, остерегала отъ пороковъ и соблазновъ, старалась свести его съ его „цыганскихъ“ понятій о жизни на свою крѣпкую, житейскую мудрость.

Правился ему и Титъ Никонычъ, остатокъ прошлаго вѣка, живущій подъ знаменемъ вѣчной учтивости, приличнаго тона, уклончивости, изящнаго смиренія и таковыхъ же манеръ, все всѣмъ прощающій, ничѣмъ не оскорбляющійся и берегущій свое драгоцѣнное здоровье, всѣми любимый и всѣхъ любящій.

Иногда, въ добрую минуту, его даже забавляла эксцентрическая барыня, Полина Карповна. Она умѣла заманить его къ себѣ обѣдать и увѣряла, что „онъ, или не равнодушенъ къ ней, но скрываетъ, или *sur le point de l'être*, но противится и немного остерегается, *mais que tôt ou tard*

cela finira par là et comme elle sera contente, heureuse! etc.

Онъ убаюкивался этою тихой жизнью, по временамъ записывая кое-что въ романъ: черту, сцену, лицо, записаль бабушку, Марѣиньку, Леонтя съ женой, Савелья и Марину, потомъ смотрѣлъ на Волгу, на ея теченіе, слушалъ тишину и глядѣлъ на сонъ этихъ разсыпанныхъ по побережью селъ и деревень, ловилъ въ этомъ океанѣ молчанія какіе-то, одному ему слышимые звуки, и шелъ играть и пѣть ихъ, и упивался, прислушиваясь къ созданнымъ имъ мотивамъ, бросалъ ихъ на бумагу и пряталъ въ портфель, чтобъ „со временемъ“ обработать—вѣдь времени много впереди, а дѣлъ у него нѣтъ.

Глядѣлъ и на ту картину, которую до того вѣрно нарисовалъ Бѣловодовой, что она, по ея словамъ, „дурно спала ночь“: на тупую задумчивость мужика, на грубую, медленную и тяжелую его работу—какъ онъ тянетъ ременную лямку, таща барку, или, затерявшись въ бороздахъ нивы, шагаетъ медленно, весь въ поту, будто несетъ на рукахъ и соху и лошадь вмѣстѣ — или какъ беременная баба, спаленная зноемъ, возится съ серпомъ во ржи.

Онъ рисуетъ эти загорѣлыя лица, ихъ избы, утварь, ловить воздухъ, т. е. набросаетъ слегка эскизъ и спрячетъ въ портфель, опять до „времени“.

„Ну, что жъ я выражу этимъ, если изображу эту природу, этихъ людей: гдѣ же смыслъ, ключъ къ этому созданію?“

„Въ самомъ созданіи!“ говорилъ художническій инстинктъ: и онъ оставлялъ перо и шелъ на Волгу обдумывать, что такое созданіе, почему оно само по себѣ имѣетъ смыслъ, если оно — созданіе, и когда именно оно созданіе?

Потомъ передъ нимъ выросли трудности: постепен-



ность развитія, полнота и законченность характеровъ, связь между ними, а тамъ, сквозь художественную форму, пробивался анализъ и охлаждать...

— Une mer à boire, говорилъ онъ со вздохомъ, складывалъ листки въ портфель и звалъ Марѳиньку въ садъ.

Онъ далъ себѣ слово объяснить, при первомъ удобномъ случаѣ, окончательно вопросъ, не о томъ, что такое Марѳинька: это было слишкомъ очевидно, а что изъ нея будетъ, — и потомъ уже поступить въ отношеніи къ ней, смотря по тому, что окажется послѣ объясненія. Способна ли она къ дальнѣйшему развитію, или уже дошла до своихъ геркулесовыхъ столповъ?

И если, „паче чаянія“, въ ней откроется ему внезапный золотиносный приискъ, съ богатыми залогами, — въ женщинахъ не рѣдки такія неожиданности, — тогда конечно онъ поставитъ здѣсь свой домашній жертвенникъ и посвятитъ себя развитію милаго существа: она и искусство будутъ его кумирами. Тогда и эти эпизоды, эскизы, сцены — все пойдетъ въ дѣло. Ему не надъ чѣмъ будетъ разбрасываться, жизнь его сосредоточится и опредѣлится.

Но опыты надъ Марѳинькой пока еще не подвигались впередъ, и не будь она такая хорошенькая, онъ бы усталъ давно отъ бесплодной работы надъ ея развитіемъ.

Какъ онъ ни затрогиваетъ ея умъ, самолюбіе, ту или другую сторону сердца — никакъ не можетъ вывести ее изъ круга раннихъ, дѣвическихъ понятій, теплыхъ, домашнихъ чувствъ, логики преданій и преподаваемыхъ бабушкой уроковъ.

Она все дѣвочка, и ни разу не высказалась въ ней даже дѣвица. Быть „дѣвой“, по своей здоровой натурѣ и по простому, почти животному, воспитанію, она рѣшительно не общала.

Но вѣдь все-таки она грядущая женщина: какая же она будетъ, какою быть должна?

Онъ смотрѣлъ мысленно и на себя, какъ это у него дѣлалось невольно, само собой, безъ его вѣдома („и какъ дѣлалось у всѣхъ, думалъ онъ, непремѣнно, только эти всѣ не наблюдаютъ за собой, или не сознаются въ этой, врожденной человѣку, чертѣ: одни — только казаться, а другіе и быть и казаться какъ можно лучше—одни, натуры мелкія—только наружно, т. е. рисоваться, натуры глубокія, серьезныя, искреннія — и внутренно, что въ сущности и значить работать надъ собой, улучшаться“) и вдумывался, какая роль достается ему въ этой встрѣчѣ: таковъ ли онъ, каковъ долженъ быть, и каковъ именно долженъ онъ быть? Братъ, нѣжный покровитель и руководитель ея юности—или въ самомъ дѣлѣ будущій ея мужъ?

Едва онъ остановился на этой послѣдней роли, какъ вздохнулъ глубоко, заранѣе предвидя, что, или онъ, или она, не продержатся до свадьбы на высотѣ идеала, поэзія улетучится, или разсыплется въ мелкій дождь мѣщанской комедіи! И онъ холодѣетъ, зѣваетъ, чувствуетъ уже симптомы скуки.

Волноваться такъ, безъ цѣли, и волновать ее—безнравственно. Что же дѣлать: какъ держать себя съ ней?

Просто быть братомъ невозможно, надо бѣжать: она слишкомъ мила, тепла, нѣжна, прикосновеніе ея грѣетъ, жжетъ, шевелить нервы. Онъ же приходится ей братъ въ третьемъ колѣнѣ, т. е. не братъ, и близость такой сестры опасна...

А между тѣмъ онъ поддавался нѣгѣ ея ласкъ, и отвѣтныя его ласки были не ласки брата, а нѣжныя; въ поцѣлуй прокрадывался какой-то страстный змѣй...

„Еще опытъ“, думалъ онъ: одинъ разговоръ, и я буду ея мужемъ, или... Диогенъ искалъ съ фонаремъ „человѣка“

—я ищу женщины: вотъ ключъ къ моимъ поискамъ! А если не найду въ ней, и боюсь что не найду, я, разумѣется, не затушу фонаря, пойду дальше... Но Боже мой! гдѣ кончится это мое странствіе?“

Онъ зѣвнулъ.

„Уѣду отсюда и напишу романъ: картину вялаго сна, вялой жизни...“

Онъ еще пуще зѣвнулъ.

— Скажи, Марѣинька, началъ онъ однажды, сидя съ нею въ сумерки на дерновомъ диванѣ, подъ акаціями:—не скучно тебѣ здѣсь? Не надоѣли тебѣ: бабушка, Титъ Никоничъ, садъ, цвѣты, пѣсенки, книжки съ веселымъ окончаніемъ?..

— Нѣтъ, сказала она, удивляясь этимъ вопросамъ: — чего же мнѣ еще нужно?

— Не кажется тебѣ иногда это... однообразно, пошло, скучно?

— Пошло, скучно! повторяла она задумчиво, — нѣтъ! Развѣ здѣсь скучно?

— Все это ребячество, Марѣинька: цвѣты, пѣсенки, а ты ужъ взрослая дѣвушка, онъ бросилъ бѣглый взглядъ на ея плечи и бюстъ: — ужели тебѣ не приходитъ въ голову чтò-нибудь другое, серьезное? Развѣ тебя ничто больше не занимаетъ?

Она задумалась, потупивъ глаза. Ей было немного стыдно и не ловко, что ее считаютъ еще ребенкомъ.

„А вѣдь я давно не ребенокъ: мнѣ идетъ четырнадцать аршинъ матеріи на платье: столько-же, сколько бабушкѣ—нѣтъ больше: бабушка не носитъ широкихъ юбокъ“, успѣла она въ это время подумать. „Но Боже мой! что это за вздоръ у меня въ головѣ? Что я ему скажу? Пусть бы Вѣрочка поскорѣй пріѣхала на подмогу“...

Она не знала, что ей надо дѣлать, чтобъ быть не ребенкомъ, чтобъ на нее смотрѣли, какъ на взрослую, уважали, боялись ее. Она безпокойно оглядывалась вокругъ, тиранила пальцами кончикъ передника, смотрѣла себѣ подъ ноги.

У ней многое проносилось въ головѣ, росли мысли, являлись вопросы, но такъ туманно, блѣдно, что она не успѣвала вслушиваться въ нихъ, какъ они исчезали, и не умѣла высказать.

— Послушайте, братецъ, отвѣчала она:—вы не думайте, что я дитя, потому что люблю птицъ, цвѣты: я и дѣло дѣлаю. Бабушка часто велитъ мнѣ записывать приходъ и расходъ. Я знаю, сколько засѣвается ржи, овса, когда что поспѣваетъ, куда и когда сплавляютъ хлѣбъ, знаю, сколько лѣсу надо мужику, чтобъ избу построить... Она смѣлѣе поглядѣла на него.—Я бы могла и за полевыми работами смотрѣть, да бабушка не пускаетъ. Что же еще? прибавила она, глядя на него во всѣ глаза и думая, выросла-ли она хоть немного въ его глазахъ?

— Да, это все конечно хорошо, и со временемъ изъ тебя можетъ выйти такая же бабушка. Развѣ ты хотѣла бы быть такою?

— Ахъ, дай Богъ: да гдѣ мнѣ!

— А другою тебѣ не хочется быть?

— Зачѣмъ? Вѣдь еслибъ я была другою, я бы здѣсь была не на мѣстѣ...

— Такъ, умно сказано, Марѣинька: да зачѣмъ же здѣсь? Ты слыхала про Москву, про Петербургъ, про Парижъ, Лондонъ: развѣ тебѣ не хотѣлось бы побывать вездѣ?

— Зачѣмъ мнѣ?

— Какъ зачѣмъ! Ты читаешь книги, тамъ говорится, какъ живутъ другія женщины: вонъ хоть бы эта Елена, у миссъ Эджевортъ. Развѣ тебя не тянетъ, не хочется тебѣ испытать этой другой жизни?..



Она медленно и задумчиво качала головой.

— Нѣтъ, сказала она:—чего не знаешь: такъ и не хочется. Вонъ Вѣрочка, той все скучно, она часто грустить, сидитъ, какъ каменная, все ей будто чужое здѣсь! Ей бы надо куда-нибудь уѣхать, она не здѣшняя. А я—ахъ, какъ мнѣ здѣсь хорошо: въ полѣ, съ цвѣтами, съ птицами, какъ дышется легко! Какъ весело, когда съѣдутся знакомые!.. Нѣтъ, нѣтъ, я здѣшняя, я вся вотъ изъ этого песочку, изъ этой травки! не хочу никуда. Что бы я одна дѣлала тамъ въ Петербургѣ, за границей? Я бы умерла съ тоски...

— Ты бы не одна была.

— Съ кѣмъ же? Бабушка никогда не выѣдетъ изъ деревни.

— За чѣмъ тебѣ бабушка? Со мной... съ мужемъ. Поѣхала бы со мной?

Она покачала отрицательно головой.

— Отъ чего?

— Я боялась бы, что вамъ скучно со мной...

— Ты привыкла бы ко мнѣ.

— Нѣтъ, не привыкла бы... Вотъ другая недѣля, какъ вы здѣсь... а я боюсь васъ.

— Чего же? кажется, я такой простой: сижу, гуляю, рисую съ тобой...

— Нѣтъ, вы не простой. Иногда у васъ что-то такое въ глазахъ... Нѣтъ, я не привыкну къ вамъ...

— Но вѣдь это скучно: вѣкъ свой съ бабушкой и ни шагу безъ нея...

— Да я сама бы ничего не выдумала: что бы я стала дѣлать безъ нея?

Она безпокойно глядѣла по сторонамъ, и опять встревожилась тѣмъ, что нѣчего ей больше сказать въ отвѣтъ.

„Ахъ, Боже мой! Онъ сочтетъ меня дурочкой... Что бы

сказать мнѣ ему такое... самое умное?.. Господи помоги!“ молилась она про себя.

Но ничего „умнаго“ не приходило ей въ голову, и она въ тоскѣ тиранила свои пальцы.

— Не мучаешься ты ничѣмъ внутренно? Нѣтъ ничего у тебя на душѣ?.. приставай онъ.

Она глубоко вздохнула.

„Бабушка велѣла, чтобъ ужинъ былъ хорошій — вотъ что у меня на душѣ: какъ я ему скажу это!..“ подумала она.

— Какъ не быть? Я взрослая, не дѣвочка! съ печальной важностью сказала она, помолчавъ.

— А! грѣшки есть: ну, слава Богу! А я уже было отчаявался въ тебѣ! Говори же, говори что?

Онъ подвинулся къ ней, взявъ ее за руки.

— Чтó! повторила она задумчиво, не отнимая руки:— а совѣсть?

— Совѣсть! О-го! это большими грѣхами пахнетъ!

Онъ засмѣялся - было, а потомъ вдругъ подумаль, не кроется ли подъ этой наивностью какой - нибудь крупный грѣшокъ, не притворная ли она смиренница?

— Что же можетъ быть у тебя на совѣсти? Довѣрься мнѣ и разберемъ вмѣстѣ. Не пригожусь ли я тебѣ на какую-нибудь услугу?

— То, что я думаю, у всякаго есть...

— Напримѣръ?

— Послушайте-ка проповѣди отца Василья о томъ, какъ надо жить, чтó надо дѣлать! А какъ мы живемъ: дѣлаемъ ли хоть половину того, что онъ велитъ? внушительно говорила она. — Хотя бы одинъ день прожить такъ... и то не удастся! Отречься отъ себя, быть всѣмъ слугой, отдавать все бѣднымъ, любить всѣхъ больше себя, даже тѣхъ, кто насъ обижаетъ, не сердиться, трудиться, не думать слиш-

комъ о нарядахъ и о пустякахъ, не болтать... ужась, ужась! Всего не вспомнишь! Я какъ стану думать, такъ и растеряюсь: страшно станеть. Не достанеть всей жизни, чтобъ сдѣлать это! Вонъ бабушка: есть ли умнѣе и добрѣе ея на свѣтѣ! а и она... грѣшить... шепотомъ произнесла Марейнька:—сердится напрасно, терпѣть не можетъ Анну Петровну Токееву: даже не похристосовалась съ ней! По-лину Карповну не любить. На людей часто сердится; не все прощаетъ имъ; бабъ притворщицами считаетъ, когда онѣ жалуются на нужду... Деньги очень бережетъ... еще тише шепнула Марейнька.—А когда ошибѣтся въ чемъ-нибудь, никогда не сознается: гордая бабушка! Она лучше всѣхъ здѣсь: какія же мы съ Вѣрочкой! и какой надо быть, чтобъ...

— Такой, какъ ты есть, сказалъ Райскій.

— Нѣтъ... Она задумчиво покачала головой. — Я много не понимаю, и отъ того не знаю, какъ мнѣ иногда надо поступить. Вонъ Вѣрочка знаетъ, и если не дѣлаетъ, такъ не хочетъ, а я не умѣю...

— И ты часто мучаешься этимъ?

— Нѣтъ: иногда, какъ заговаряютъ объ этомъ, бабушка побранить... Заплачу, и пройдетъ, и опять дѣлаюсь веселой, и все что говоритъ отецъ Василій—будто не мое дѣло! Вотъ что худо!

— И больше нѣтъ у тебя заботы, счастливое дитя?

— Какъ будто этого мало! Развѣ вы никогда не думаете объ этомъ? съ удивленіемъ спросила она.

— Нѣтъ, душенька: вѣдь я не слыхала отца Василья.

— Какъ же вы живете: вѣдь есть и у васъ что-нибудь на душѣ?

— Вотъ теперь ты!

— Я! Обо мнѣ бабушка заботится, пока жива...

— А какъ она умретъ?

— Бабушка? Боже сохрани! торопливо прибавила она, крестясь.

— Должно же это случиться...

— Богъ съ вами: что за мысли, что за разговоръ у васъ такой!..

Она старалась не слушать его.

— Неужели ты думаешь, что она вѣчно будетъ жить?..

— Перестаньте, ради Бога: я и слушать не хочу!

— Ну, а если?

— Тогда и мы съ Вѣрочкой умремъ, потому что безъ бабушки...

Она тяжело вздохнула.

— Отъ этого и надо думать, что птичекъ, цвѣтовъ и всей этой мелочи не станетъ, чтобъ прожить ею цѣлую жизнь. Нужны другіе интересы, другія связи, симпатіи...

— Что же мнѣ дѣлать? почти въ отчаяніи сказала она.

— Надо любить кого-нибудь, мужчину... помолчавъ говорилъ онъ, наклоня ея лобъ къ своимъ губамъ.

— Выйти замужъ? Да, вы мнѣ говорили, и бабушка часто намекаетъ на то же, но...

— Но... что-же?

— Гдѣ его взять? стыдливо сказала она.

— Развѣ тебѣ не нравится никто? Не замѣтила ты между молодыми людьми...

— Ужъ хороши здѣсь молодые люди! Вонъ у Бочкова три сына: все собираютъ мужчинъ къ себѣ по вечерамъ, такихъ же какъ сами, пьютъ, да въ карты играютъ. А на утро глаза у всѣхъ красные. У Чеченина сынъ пріѣхалъ въ отпускъ и съ самаго начала объявилъ, что ему надо приданое во сто тысячъ, а самъ хуже Мотьки: маленькій, кривоногій и все курить! Нѣтъ, нѣтъ... Вотъ Николай Андреичъ — хорошенькій, веселый и добрый, да...

— Да что?



— Молодъ: ему всего двадцать три года!

— Кто это такой?

— Викентьевъ: ихъ усадьба за Волгой, недалеко отсюда. Колчино—ихъ деревня, тутъ только сто душъ. У нихъ въ Казани еще триста душъ. Маменька его звала насъ съ Вѣрочкой гостить, да бабушка однѣхъ не пускаетъ. Мы однажды только на одинъ день ѣздили... А Николай Андреичъ одинъ сынъ у нея—больше дѣтей нѣтъ. Онъ учился въ Казани, въ университетѣ, служить здѣсь у губернатора, по особымъ порученіямъ.

Она проговорила это живо, съ веселымъ лицомъ и скороговоркой.

— А! такъ вотъ кто тебѣ нравится: Викентьевъ! говорилъ онъ и прижавъ ея руку къ лѣвому своему боку, сидѣлъ, не шевелясь, любовался, какъ безопасно Марѣинька принимала и возвращала ласки, почти не замѣчала ихъ, и ничего, кажется, не чувствовала.

„Можетъ быть, одна искра“, думалъ онъ:—„одно жаркое пожатіе руки вдругъ пробудятъ ее отъ дѣтскаго сна, откроютъ ей глаза и она внезапно вступитъ въ другую пору жизни“...

А она щебетала безопасно, какъ птичка.

— Чтѣ вы: Викентьевъ! сказала она задумчиво, какъ будто справляясь сама съ собою, нравится ли онъ ей.

— Теперь темно, а то вѣрно ты покраснѣла! поддразнивалъ ее Райскій, глядя ей въ лицо и пожимая руку.

— Вовсе нѣтъ! Отъ чего мнѣ краснѣть? Вотъ его двѣ недѣли не видать совсѣмъ, мнѣ и нужды нѣтъ...

— Скажи, онъ нравится тебѣ?

Она молчала.

— Чтѣ: угадалъ?

— Что вы! Я только говорю, что онъ лучше всѣхъ здѣсь: это всѣ скажутъ... Губернаторъ его очень любить и никог-

да не посылаетъ на слѣдствія: „что, говорить, ему грязниться тамъ, разбирать убійства да воровства—нравственность испортится! Пусть, говорить, побудетъ при мнѣ!“ Онъ теперь при немъ, и когда не у насъ, тамъ обѣдаетъ, танцуетъ, играетъ...

— Однимъ словомъ, служить! сказалъ Райскій.

— У него ужъ крестикъ есть! Маленькій такой! съ удовольствіемъ прибавила Мароинька.

— Бываетъ онъ здѣсь?

— Очень часто: вотъ что-то теперь прональ. Не уѣхалъ ли въ Колчино, къ татамъ? Надо его побранить, что, не сказавшись, уѣхалъ. Бабушка выговоръ ему сдѣлаетъ: онъ боится ея... А когда онъ здѣсь—не посидитъ смирно: бѣгаетъ, поетъ. Ахъ, какой онъ шалунъ! И какъ много кушаетъ! Недавно большую, пребольшую сковороду грибовъ съѣлъ! Сколько булочекъ скушаетъ за чаемъ! Что ни дай, все скушаетъ. Бабушка очень любитъ его за это. Я тоже его...

— Любишь? живо спросилъ Райскій, наклоняясь и глядя ей въ глаза.

— Нѣтъ, нѣтъ!—Она закачала головой: — Нѣтъ, не люблю, а только онъ... славный! Лучше всѣхъ здѣсь: держитъ себя хорошо, не ходитъ по трактирамъ, не играетъ на бильярдѣ, вина никакого не пьетъ...

— Славный! повторилъ Райскій, приглаживая ей волосы на вискахъ:—и ты славная! Какъ жаль, что я старъ, Мароинька: какъ бы я любилъ тебя! тихо прибавилъ онъ, притянувъ ее немного къ себѣ.

— Что вы за стары: нѣтъ еще! снисходительно замѣтила она, поддаваясь его ласкѣ.—Вотъ только у васъ въ бородѣ есть немного бѣлыхъ волосъ, а то вѣдь вы иногда бываете прехорошенькій... когда смѣтаетесь, или что-нибудь живо рассказываете. А вотъ, когда нахмуритесь, или смо-

трите какъ-то особенно... тогда вамъ точно восемьдесятъ лѣтъ...

— Въ самомъ дѣлѣ, я тебѣ не кажусь страшнѣй и старѣй?

— Вовсе нѣтъ.

— И тебѣ пріятно... поцѣловать меня?

— Очень.

— Ну, поцѣлуй.

Она привстала немного, оперлась колѣнкой на его ногу и звучно поцѣловала его; и хотѣла сѣсть, но онъ удержалъ ее.

Она попробовала освободиться, ей было неловко такъ стоять, наконецъ сѣла, раскраснѣвшись отъ усилія, и стала поправлять сдвинувшуюся съ мѣста косу.

Онъ, напротивъ, былъ блѣденъ, сидѣлъ, закинувъ голову назадъ, опираясь затылкомъ о дерево, съ закрытыми глазами, и почти безсознательно держалъ ее крѣпко за руку.

Она хотѣла привстать, чтобъ половчѣе сѣсть, но онъ держалъ крѣпко, такъ что она должна была опираться рукойъ ему на плечо.

— Пустите, вамъ тяжело, сказала она:—я вѣдь толстая—вонъ какая рука—троньте!

— Нѣтъ, не тяжело... тихо отвѣчалъ онъ, наклоня опять ея голову къ своему лицу и оставаясь такъ неподвижно.

— Тебѣ хорошо такъ?

— Хорошо, только жарко, у меня щеки и уши горять, посмотрите: я думаю, красныя! У меня много крови: дотроньтесь пальцемъ до руки, сейчасъ бѣлое пятно выступитъ и пропадетъ.

Онъ молчалъ и все сидѣлъ съ закрытыми глазами. А она продолжала говорить обо всемъ, что приходило въ голову, глядѣла по сторонамъ, чертила носкомъ ботинки по песку.

— Обрѣйте бороду! сказала она:— вы будете еще лучше. Кто это выдумалъ такую нелѣпую моду—бороды носить? У мужиковъ переняли! Ужели въ Петербургѣ всѣ съ бородами ходятъ?

Онъ машинально кивнулъ головой.

— Вы обрѣтесъ, да? А то Нилъ Андреичъ увидить — разсердится. Онъ терпѣть не можетъ бороды: говоритъ, что только революціонеры носятъ ее.

— Все сдѣлаю, что хочешь, нѣжно сказалъ онъ.—Зачѣмъ только ты любишь Викентьева?

— Опять! Вотъ вы какіе: сами затѣяли разговоръ, а теперь выдумали, что люблю. Ужъ и люблю! Онъ и мечтать не смѣетъ! Любить—какъ это можно! Что еще бабушка скажетъ? прибавила она, разсѣянно играя бородой Райскаго и не подозрѣвая, что пальцы ея, какъ змѣи, ползали по его нервамъ, поднимали въ немъ тревогу, зажигали огонь въ крови, туманили разсудокъ. Онъ пьянѣлъ съ каждымъ движеніемъ пальцевъ.

— Люби меня, Марѣнька: другъ мой, сестра!.. бредилъ онъ, сжимая крѣпко ея талію.

— Охъ, больно, братецъ, пустите, ей-богу, задохнусь! говорила она, невольно падая ему на грудь.

Онъ опять прижалъ ея щеку къ своей и опять шепталъ:

— Хорошо тебѣ?

— Неловко ногамъ.

Онъ отпустилъ ее, она поправила ноги и сѣла подлѣ него.

— Зачѣмъ ты любишь цвѣты, котятъ, птицъ?

— Кого же мнѣ любить?

— Меня, меня!

— Вѣдь я люблю.

— Не такъ, иначе! говорилъ онъ, положивъ ей руки на плеча.

— Вонъ одна звѣздочка, вонъ другая, вонъ третья: какъ



много! говорила Марейинька, глядя на небо. — Ужели эта правда, что тамъ, на звѣздахъ, тоже живутъ люди? Можетъ быть, не такіе, какъ мы... Ахъ, молнія! Нѣтъ, это зарница играетъ за Волгой: я боюсь грозы... Вѣрочка отворить окно и сидеть смотрѣть грозу, а я всегда спрячусь въ постель, задерну занавѣски, и если молнія очень блестить, то положу большую подушку на голову, а уши заткну, и ничего не вижу, не слышу... Вонъ звѣздочка покатила! Скоро ужинать! прибавила потомъ, помолчавъ. — Еслибъ васъ не было, мы бы рано ужинали, а въ одиннадцать часовъ спать; когда гостей нѣтъ, мы рано ложимся.

Онъ молчалъ, положилъ щеку ей на плечо.

— Вы спите? спросила она.

Онъ отрицательно покачалъ головой.

— Ну, дремлете: вонъ у васъ и глаза закрыты. Я тоже, какъ лягу, сейчасъ засну, даже иногда не успѣю чулокъ снять, такъ и повалюсь. Вѣрочка долго не спитъ: бабушка бранить ее, называетъ полунощницей. А въ Петербургѣ рано ложатся?

Онъ молчалъ.

— Братецъ!

Онъ все молчалъ.

— Что вы молчите?

Онъ пошевелился было и опять онѣмѣлъ, мечтая о возможности постоянного счастья, держа это счастье въ рукахъ, и не желая выпустить.

Она зѣвнула до слезъ.

— Какъ тепло! сказала она. — Я прошусь иногда у бабушки спать въ бесѣдку—не пускаетъ. Даже и въ комнатѣ велить окошко запереть.

Онъ ни слова.

„Все молчить: какъ привыкнешь къ нему?“ подумала она, и безпечно опять склонилась головой къ его головѣ,

разсѣянно пробѣгая усталымъ взглядомъ по небу, по сверкавшимъ сквозь вѣтви звѣздамъ, глядѣла на темную массу лѣса, слушала шумъ листьевъ, и задумалась, наблюдая, отъ нечего дѣлать, какъ подъ рукой у нея бьется въ лѣвомъ боку у Райскаго.

„Какъ странно!“ думала она:— „отъ чего это у него такъ бьется? А у меня?“ и приложила руку къ своему боку:— „нѣтъ, не бьется!“

Потомъ хотѣла встать, но почувствовала, что онъ держать ее крѣпко. Ей стало неловко.

— Пустите, братецъ! шепотомъ, будто стыдливо, сказала она.—Пора домой!

Ему все жаль было выпустить ее, какъ-будто онъ разставался съ ней навсегда.

— Больно, пустите... говорила Марѣинька, съ возрастающей тоской, напрасно порываясь прочь: — ахъ, какъ неловко!

Наконецъ она наклонилась и вынырнула изъ-подъ рукъ. Онъ тяжело вздохнулъ.

— Что съ вами? раздался ея дѣтскій, покойный голосъ надъ нимъ.

Онъ поглядѣлъ на нее, вокругъ себя и опять вздохнулъ, какъ-будто просыпаясь.

— Что съ вами? повторила она:—какіе вы странные!

Онъ вдругъ отрезвился, взглянулъ съ удивленіемъ на Марѣиньку, что она тутъ, осмотрѣлся кругомъ и быстро всталъ со скамейки. У него вырвался отчаянный:—Ахъ!

Она положила было руку ему на плечо, другой рукой поправила ему всклокочившіеся волосы и хотѣла опять сѣсть рядомъ.

— Нѣтъ, пойдемъ отсюда, Марѣинька! въ волненіи сказалъ онъ, устранивая ее.

— Какіе вы странные: на себя не похожи! Не болитъ ли голова?

Она дотронулась рукой до его лба.

— Не подходи близко, не ласкай меня! Милая сестра! сказалъ онъ, цѣлуя у нея руку.

— Какъ же не ласкать, когда вы сами такъ ласковы! Вы такой добрый, такъ любите насъ. Домъ, садикъ подарили, а я что за статуя такая!...

— И будь статуей! Не отвѣчай никогда на мои ласки, какъ сегодня...

— Отчего?

— Такъ; у меня иногда бываютъ припадки... тогда уйди отъ меня.

— Не дать ли вамъ чего-нибудь выпить? У бабушки гофманскія капли есть. Я бы сбѣгала: хотите?

— Нѣтъ, не надо. Но ради Бога, если я когда-нибудь буду слишкомъ ласковъ, или другой также, этотъ Викентьевъ, напримѣръ...

— Смѣлъ бы онъ! съ удивленіемъ сказала Марейнька. — Когда мы въ горѣлки играемъ, такъ онъ не смѣетъ взять меня за руку, а ловить всегда за рукавъ! Что выдумали: Викентьевъ! Позволила бы я ему!

— Ни ему, ни мнѣ, никому на свѣтѣ... Помни, Марейнька, это: люби, кто понравится, но прячь это глубоко въ душѣ своей, не давай воли, ни себѣ, ни ему, пока... позволить бабушка и отецъ Василій. Помни проповѣдь его...

Она, молча, слушала и задумчиво шла подлѣ него, удивляясь его припадку, вспоминая, что онъ передъ тѣмъ за часъ говорилъ другое, и не знала, что подумать.

— Вотъ видите, а вы говорили... что... начала она.

— Я ошибся: не про тебя то, что говорилъ я. Да, Марейнька, ты права: грѣхъ хотѣть того, чего не дано, желать жить, какъ живутъ эти барыни, о которыхъ въ книгахъ пи-

путь. Боже тебя сохрани мѣняться, быть другою! Люби цвѣты, птицъ, занимайся хозяйствомъ, ищи веселаго окончанія и въ книжкахъ, и въ своей жизни...

— Это не глупо... любить птицъ: вы не смѣтаетесь, вы это правду говорите? робко спрашивала она.

— Нѣтъ, нѣтъ, ты перлъ, ангель чистоты... ты свѣтла, чиста, прозрачна...

— Прозрачна? смѣялась она:—насквозь видно!

— Ты... ты...

Онъ въ припадкѣ восторга не зналъ, какъ назвать ее.

— Ты вся—солнечный лучъ! сказалъ онъ:—и пусть будетъ проклять, кто захочетъ бросить нечистое зерно въ твою душу! Прощай! Никогда не подходи близко ко мнѣ, а если я подойду—уйди!

Онъ подошелъ къ обрыву.

— Куда же вы? Пойдемте ужинать! Скоро и спать...

— Я не хочу, ни ужинать, ни спать.

— Опять вы отъ ужина уходите: смотрите, бабушка...

Она не кончила фразы, какъ Райскій бросился съ обрыва и исчезъ въ кустахъ.

„Боже мой!“ думалъ онъ, внутренно содрогаясь:—„полчаса назадъ, я былъ честенъ, чистъ, гордъ; полчаса позже, тотъ святой ребенокъ превратился бы въ жалкое созданіе, а „честный и гордый“ человѣкъ въ величайшаго негодяя! Гордый духъ уступилъ бы всемогущей плоти; кровь и нервы посмѣялись бы надъ философіей, нравственностью, развитіемъ! Однако духъ устоялъ, кровь и нервы не одолѣли: честь, честность спасены“...

„Чѣмъ?“ спросилъ онъ себя, останавливаясь надъ рытиной. „Прежде всего... силой моей воли, сознаниемъ безобразія“... началъ-было онъ говорить, выпрямляясь, „нѣтъ, нѣтъ“, долженъ былъ сейчасъ же сознаться:—„это пришло послѣ всего, а прежде чѣмъ? Ангель-хранитель невидимо



ограждалъ? бабушкина судьба берегла ее? или... что? "Что бы ни было, а онъ этому загадочному „или“ обязанъ тѣмъ, что остался честнымъ человѣкомъ. Таилось ли это „или“ въ ея святомъ, стыдливомъ невѣдѣніи, въ послушаніи проповѣди отца Василья, или, наконецъ, въ лимфатическомъ темпераментѣ—все же оно было въ ней, а не въ немъ...

— О, какъ скверно! какъ скверно! твердилъ онъ, перескочивъ рытвину и продираясь между кустовъ на приволжскій песокъ.

Марейника долго смотрѣла вслѣдъ ему, потомъ тихо, задумчиво пошла домой, срывая машинально листья съ кустовъ и трогая по временамъ себя за щеки и уши.

— Какъ разгорѣлись, я думаю, красныя! шептала она. —Отчего онъ не велѣлъ подходить близко, вѣдь онъ не чужой? А самъ такъ ласковъ... Вонъ какъ горять щеки!

Она прикладывала руку, то къ одной, то къ другой щекѣ.

Бабушка начала ворчать, что Райскій ушелъ отъ ужина. Молча, втроемъ, съ Титомъ Никоничемъ, отъужинали и разошлись.

Марейника, обыкновенно все рассказывавшая бабушкѣ, колебалась, рассказать ли ей, или нѣтъ, о томъ, что братъ навсегда отказался отъ ея ласкъ, и кончила тѣмъ, что ушла спать, не рассказавши. Собиралась не разъ, да не знала, съ чего начать. Не сказала также ничего и о припадкѣ „братца“, легла пораньше, но не могла заснуть скоро: щеки и уши все горѣли.

Наконецъ, пролежавъ напрасно, безъ сна, съ часъ въ постели, она встала, вытерла лицо огуречнымъ рассоломъ, что дѣлала обыкновенно отъ загара, потомъ перекрестилась и заснула.

#### XIV.

Райскій нижнимъ берегомъ выбрался на гору и дошелъ до домика Козлова. Завидя свѣтъ въ окнѣ, онъ пошелъ-было къ калиткѣ, какъ вдругъ замѣтилъ, что кто-то перелѣзаетъ черезъ заборъ, съ переулка въ садикъ.

Райскій подождалъ въ тѣни забора, пока тотъ перескочилъ совсѣмъ. Онъ колебался, на что ему рѣшиться, потому что не зналъ, воръ ли это, или обожатель Ульяны Андреевны, какойнибудь М-г Шарль,—и потому боялся поднять тревогу.

Подумавъ, онъ однако счелъ нужнымъ слѣдить за незнакомецъ: для этого послѣдовалъ его примѣру и также тихо перелѣзъ черезъ заборъ.

Тотъ прокрадывался къ окнамъ, Райскій шелъ за нимъ и остановился въ нѣсколькихъ шагахъ. Незнакомецъ приподнялся до окна Леонтья и вдругъ забарабанилъ, что есть мочи, въ стекло.

„Это не воръ... это должно быть — Маркъ!“ подумалъ Райскій и не ошибся.

— Философъ! отворяй! Слышишь ли ты, Платонъ? говорилъ голосъ. —Отворяй же скорѣй!

— Обойди съ крыльца! глухо, изъ-за стекла, отозвался голосъ Козлова.

— Куда еще пойду я на крыльцо, собакъ будить? Отворяй!

— Ну, постой; экой какой! говорилъ Леонтій, отворяя окно.

Маркъ влѣзъ въ комнату.

— Это кто еще за тобой лѣзетъ? Кого ты привелъ? съ испугомъ спросилъ Козловъ, пятясь отъ окна.

— Никого я не привелъ—что тебѣ чудится... Ахъ, въ самомъ дѣлѣ, лѣзетъ кто-то...

Райскій въ это время вскочилъ въ комнату.

— Борисъ, и ты? сказалъ съ изумленіемъ Леонтій.—  
Какъ вы это вмѣстѣ сошлись?

Маркъ мелькомъ взглянулъ на Райскаго и обратился къ Леонтью.

— Дай мнѣ скорѣе другіе панталоны, да нѣтъ ли вина? сказалъ онъ.

— Что это, откуда ты? съ изумленіемъ говорилъ Леонтій, теперь только замѣтившій, что Маркъ почти по-поясъ былъ выпачканъ въ грязи, сапоги и панталоны промокли насквозь.

— Ну, давай скорѣй, нечего разговаривать! нетерпѣливо отозвался Маркъ.

— Вина нѣтъ; у насъ Шарль обѣдалъ, мы все выпили: водка, я думаю, есть...

— Ну, гдѣ твое платье лежитъ?

— Жена спитъ, а я не знаю гдѣ: надо у Авдотьи спросить...

— Уродъ! Пусти, я самъ найду.

Онъ взялъ свѣчу и скрылся въ другую комнату.

— Вотъ — видишь какой! сказалъ Леонтій Райскому.

Черезъ десять минутъ Маркъ пришелъ съ панталонами въ рукахъ.

— Гдѣ это ты вымочился такъ? спросилъ Леонтій.

— Черезъ Волгу переѣзжалъ въ рыбацкѣй лодкѣ, да у острова дурачина рыбакъ со-слѣпа въ тину попалъ: надо было выскочить и стащить лодку.

Онъ, не обращая на Райскаго вниманія, перемѣнилъ панталоны и сѣлъ въ большомъ креслѣ, съ ногами, такъ что колѣнки припились въ ровень съ лицомъ. Онъ положилъ на нихъ бороду.

Райскій молча разсматривалъ его. Маркъ былъ лѣтъ двадцати семи, сложенный крѣпко, точно изъ металла, и

пропорціонально. Онъ былъ не блондинъ, а блѣдный лицомъ, и волосы, блѣдно-русые, закинутые густой гривой на уши и на затылокъ, открывали большой выпуклый лобъ. Усы и борода жидкіе, свѣтлѣе волосъ на головѣ.

Открытое, какъ будто дерзкое лицо, далеко выходило впередъ. Черты лица не совсѣмъ правильныя, довольно крупныя, лицо скорѣе худощавое, нежели полное. Улыбка мелькавшая, по временамъ на лицѣ, выражала, не то досаду, не то насмѣшку, но не удовольствіе.

Руки у него длинныя, кисти рукъ большія, правильныя и цѣпкія. Взглядъ сѣрыхъ глазъ былъ или смѣлый, вызывающій, или по большей части холодный, и ко всему небрежный.

Скавшись въ комокъ, онъ сидѣлъ неподвиженъ: ноги, руки не шевелились, точно замерли, глаза смотрѣли на все покойно или холодно.

Но подъ этой неподвижностью таилась зоркость, чуткость и тревожность, какая замѣтна иногда въ лежащей, повидимому, покойно и беззаботно, собакѣ. Лапы сложены вмѣстѣ, на лапахъ покоится спящая морда, хребетъ согнулся въ тяжелое, лѣнивое кольцо: спитъ совсѣмъ, только одно вѣко все дрожить, и изъ-за него чуть-чуть сквозитъ черный глазъ. А пошевелись кто-нибудь около, дунь вѣтерокъ, хлопни дверь, покажись чужое лицо—эти безпечно разбросанные члены мгновенно сжимаются, вся фигура полна огня, бодрости, лаетъ, скачетъ...

Посидѣвъ немного съ зажмуренными глазами, онъ вдругъ открылъ ихъ и обратился къ Райскому.

— Вы вѣрно привезли хорошихъ сигаръ изъ Петербурга: дайте мнѣ одну, сказалъ онъ безъ церемоніи.

Райскій подаль ему сигарочницу.

— Леонтій! Ты насъ и не представилъ другъ другу! упрекнулъ его Райскій.



— Да чего представлять: вы оба пришли одной дорогой и оба знаете, кто вы! отвѣчалъ тотъ.

— Какъ это ты обмолвился умнымъ словомъ, а еще ученый! сказалъ Маркъ.

— Это тотъ самый... Маркъ... чтó... Я писалъ тебѣ: помнишь... началъ-было Козловъ.

— Постой! Я самъ представляюсь! сказалъ Маркъ, вскочилъ съ кресель и ставъ въ церемонную позу, расшаркался передъ Райскимъ.

— Честь имѣю рекомендоваться: Маркъ Волоховъ, пятнадцатаго класса, состоящій подъ надзоромъ полиціи чиновникъ, невольный здѣшняго города гражданинъ!

Потомъ откусилъ кончикъ сигары, закурилъ ее и опять свернулся въ комокъ на креслахъ.

— Чтó же вы здѣсь дѣлаете? спросилъ Райскій.

— Да то же, я думаю, что и вы...

— Развѣ вы... любите искусство: артистъ, можетъ быть?

— А вы... артистъ?

— Какъ же! вмѣшался Леонтій: — я тебѣ говорилъ: живописецъ, музыкантъ... Теперь романъ пишеть: смотри, братъ, какъ разъ тебя туда упечеть.—Чтó ты: ужъ далеко? обратился онъ къ Райскому.

Райскій сдѣлалъ ему знакъ рукой молчать.

— Да, я артистъ, отвѣчалъ Маркъ на вопросъ Райскаго.—Только въ другомъ родѣ. Я такой артистъ, чтó купцы называютъ „художникъ“. Бабушка ваша, я думаю, вамъ говорила о моихъ произведеніяхъ!

— Она слышать о васъ не можетъ.

— Ну, вотъ видите! А я у ней пока всего сотню какую-нибудь яблокъ сорвалъ черезъ заборъ!

— Яблоки мои: я вамъ позволяю, сколько хотите...

— Благодарю: не надо; привыкъ ужъ все въ жизни безъ

позволенія дѣлать, такъ и яблоки буду брать безъ спросу: слаще такъ!

— Я очень хотѣлъ видѣть васъ: мнѣ такъ много со всѣхъ сторонъ наговорили... сказалъ Райскій.

— Что же вамъ наговорили?

— Мало хорошаго...

— Вѣроятно, вамъ сказали, что я разбойникъ, извергъ, ужасъ здѣшнихъ мѣстъ!

— Почти...

— Чтó же васъ такъ позывало видѣть меня послѣ этихъ отзывовъ? Вамъ надо тоже пристать къ общему хору: я у васъ книги рвалъ. Вотъ онъ, я думаю, сказывалъ...

— Да, да: вотъ онъ на лицо: я радъ, что онъ самъ заговорилъ! вмѣшался Леонтій. — Такъ бы и надо было сначала отрекомендовать тебя...

— Дѣлайте съ книгами чтó хотите, я позволяю! сказалъ Райскій.

— Опять! Кто проситъ вашего позволенія? Теперь не стану брать и рвать: можешь Леонтій спать покойно.

— А вѣдь въ сущности предобрый! замѣтилъ Леонтій про Марка:—когда прихворнешь, ходитъ какъ нянька, за лекарствомъ бѣгаетъ въ аптеку... И чего не знаетъ? Все! Только ничего не дѣлаетъ, да вотъ покою никому не даетъ: шалунище непроходимый...

— Полно врать, Козловъ! перебилъ Маркъ.

— Впрочемъ, не всѣ бранять васъ, вмѣшался Райскій: —Ватутинъ отзывается, или, по крайней мѣрѣ, старается отзываться хорошо.

— Неужели! Этотъ сахарный маркизь! Кажется, я ему оставилъ кое-какіе сувениры: ночью будилъ не разъ, окна отворялъ у него въ спальнѣ. Онъ все, видите, нездоровъ, а какъ пріѣхалъ сюда, лѣтъ сорокъ назадъ, никто не помнитъ,

чтобъ онъ былъ боленъ. Деньги, что занялъ у него, не отдамъ никогда. Что же ему еще? А хвалить!

— Такъ вотъ вы какой артистъ! весело замѣтилъ Райскій.

— А вы какой? Разскажите теперь! просилъ Маркъ.

— Я... такъ себѣ, художникъ—плохой конечно: люблю красоту и поклоняюсь ей; люблю искусство, рисую, играю... Вотъ хочу писать—большую вещь, романъ...

— Да, да, вижу: такой же художникъ, какъ всѣ у насъ...

— Всѣ?

— Вѣдь у насъ все артисты: одни лѣпятъ, рисуютъ, бряncать, сочиняютъ — какъ вы и подобные вамъ. Другіе ѣздятъ въ палаты, въ правленія—по утрамъ, третьи сидятъ у своихъ лавокъ и играютъ въ шашки, четвертые живутъ по помѣстьямъ и продѣлываютъ другія штуки — вездѣ искусство!

— У васъ нѣтъ охоты пристать къ которому-нибудь разряду? улыбаясь, спросилъ Райскій.

— Пробовалъ, да не умѣю. А вы зачѣмъ сюда пріѣхали? спросилъ онъ въ свою очередь.

— Самъ не знаю, сказалъ Райскій: — мнѣ все равно, куда ни ѣхать... Подвернулось письмо бабушки, она звала сюда, я и пріѣхалъ.

Маркъ погрузился въ себя и не занимался больше Райскимъ, а Райскій, напротивъ, вглядывался въ него, изучалъ выраженіе лица, слѣдилъ за движеніями, стараясь помочь фантазій, которая, по обыкновенію, рисовала портретъ за портретомъ съ этой новой личности.

„Слава Богу!“ думалъ онъ:—„кажется, не я одинъ такой праздный, не опредѣлившійся, ни на чемъ не остановившійся человѣкъ. Вотъ что-то похожее: бродить, не примирается съ судьбой, ничего не дѣлаетъ (я хоть рисую и

хочу писать романъ), по лицу видно, что ничѣмъ и никѣмъ не доволенъ... Что же онъ такое? Такая же жертва разлада, какъ я? Вѣчно въ борьбѣ, между двухъ огней? Съ одной стороны фантазія ободряетъ, возводитъ все въ идеаль: людей, природу, всю жизнь, всѣ явленія, а съ другой—холодный анализъ разрушаетъ все—и не даетъ забываться, жить: оттуда вѣчное недовольство, холодъ... Тó ли онъ, или другое что-нибудь?..“

Онъ вглядывался въ дремлющаго Марка, у Леонтья тоже слипались глаза.

— Пора домой, сказалъ Райскій.—Прощай, Леонтій!

— Куда же я его дѣну? спросилъ Козловъ, указывая на Марка.

— Оставь его тутъ.

— Да, оставь козла въ огородѣ! А книги-то? Еслибъ можно было передвинуть его съ кресломъ сюда, въ темненькую комнату, да запереть! мечталъ Козловъ, но тотчасъ же отказался отъ этой мечты.

— Съ нимъ послѣ и не раздѣлаешься! сказалъ онъ: — да еще, пожалуй, проснется ночью, кровлю съ дома снесть!

Маркъ вдругъ засмѣялся, услыхавъ послѣднія слова, и быстро вскочилъ на ноги.

— И я съ вами пойду, сказалъ онъ Райскому, и надѣвши фуражку, въ одно мгновеніе выскочилъ изъ окна, но прежде задулъ свѣчку у Леонтья, сказавъ: — Тебѣ спать пора: не сиди по ночамъ. Смотри, у тебя опять рожа желтая и глаза ввалились!

Райскій послѣдовалъ, хотя не такъ проворно, его пригнѣру, и оба тѣмъ же путемъ, черезъ садикъ, и перелѣзши опять черезъ заборъ, вышли на улицу.

— Послушайте, сказалъ Маркъ:—мнѣ ѣсть хочется: у Леонтья ничего нѣтъ. Не можете ли вы мнѣ осадить какой-нибудь трактиръ?



— Пожалуй, но это можно сдѣлать и безъ осады...

— Нѣтъ, теперь поздно, такъ не дадутъ—особенно когда узнають, что я тутъ: надо взять съ бою. Закричимъ: „пожаръ!“, тогда отворять, а мы и войдемъ.

— Потомъ выгонять.

— Нѣтъ, уже это напрасно: не впустить меня еще можно, а когда я войду, такъ ужъ не выгонишь!

— Осадить! Ночной шумъ — какъ это можно? сказалъ Райскій.

— А! испугались полиціи: что сдѣлаетъ губернаторъ, что скажетъ Нилъ Андреичъ, какъ приметъ это общество, дамы? смѣялся Маркъ. — Ну, прощайте, я ѣсть хочу и одинъ сдѣлаю приступъ...

— Пойдите, у меня другая мысль, забавнѣе этой. Моя бабушка — я говорилъ вамъ, не можетъ слышать вашего имени, и еще недавно сперила, что ни за что и никогда не накормить васъ...

— Ну, такъ что-же?

— Пойдемъ-те ужинать къ ней: да кетати ужъ и почуйте у меня! Я не знаю, что она сдѣлаетъ и скажетъ, знаю только, что будетъ смѣшно.

— Идея не дурна: пойдемте. Да только увѣрены ли вы, что мы достанемъ у ней ужинъ? Я очень голоденъ.

— Достанемъ ли ужинъ у Татьяны Марковны? Навѣрное можно накормить роту солдатъ.

Они молча шли дорогой. Маркъ курилъ сигару и шель, уткнувши носъ въ бороду, глядя подъ ноги и поплеывая.

Они пришли въ Малиновку и продолжали молча идти мимо забора, почти оцупью въ темнотѣ прошли ворота и подошли къ плетню, чтобъ перелѣзть черезъ него въ огородъ.

— Вонъ тамъ подальше лучше бы: отъ фруктоваго сада, или съ обрыва, сказалъ Маркъ.—Тамъ деревья, не видать,

а здѣсь, пожалуй, собакъ встревожишь, да далеко обходить! Я все тамъ хожу...

— Вы ходите... сюда, въ садъ? За чѣмъ?

— А за яблоками! Я вонъ ихъ тамъ въ прошломъ году рвалъ, съ поля, близъ стараго дома. И въ нынѣшнемъ августѣ надѣюсь, если... вы позволите...

— Съ удовольствіемъ: лишь бы не поймала Татьяна Марковна!

— Нѣтъ, не поймаешь. А вотъ не поймаемъ-ли мы кого-нибудь? Смотрите, кто-то перескочилъ черезъ плетень: по нашему! Э, э, стой, не спрячешься. Кто тутъ? Стой! Райскій, спѣшите сюда, на помощь!

Онъ бросился впередъ шаговъ на десять и схватилъ кого-то.

— Что за кошачьи глаза у васъ: я ничего не вижу! говорилъ Райскій и поспѣшилъ на голосъ.

Маркъ уже держалъ кого-то: этотъ кто-то барахтался у него въ рукахъ, наконецъ упалъ на земь, прижавшись къ плетню.

— Ловите, держите тамъ: кто-то еще черезъ плетень пробирается въ огородъ! кричалъ опять Маркъ.

Райскій увидѣлъ еще фигуру, которая уже влѣзла на плетень и вытянула ноги, чтобъ соскочить въ огородъ. Онъ крѣпко схватилъ ее за руку.

— Кто тутъ? Кто ты? Зачѣмъ? Говори! спрашивалъ онъ.

— Баринъ! пустите, не губите меня! жалобно шепталъ женскій голосъ.

— Это ты, Марина! сказалъ Райскій, узнавъ ее по голосу:—зачѣмъ ты здѣсь?

— Тише, баринъ, не зовите меня по имени: Савелій узнаетъ, больно прибѣтъ!

— Ну, ступай, иди же скорѣй... Нѣтъ, стой! кстати

попалась: не можешь-ли ты принести ко мнѣ въ комнату поужинать что-нибудь?

— Все могу, баринъ: только не губите, Христа ради!

— Не бойся, не погублю! Есть-ли что нибудь на кухнѣ?

— Все есть: какъ не быть! цѣлый ужинъ! Безъ васъ не хотѣли кушать, мало кушали. Заливные стерляди есть, индѣйка, я все убрала на ледникъ...

— Ну, неси. А вино есть-ли?

— Осталась бутылка въ буфетѣ, и наливка у Мары Васильевны въ комнатѣ...

— Какъ же достать: разбудишь ее?

— Нѣтъ, Марѳа Васильевна не проснется: люта спать!

Пустите баринъ—мужъ услышитъ...

— Ну, бѣги-же, „Земфира“, да не понадишь ему, смотри!

— Нѣтъ, теперь ничего не возьметъ, если и встрѣтитъ: скажу на васъ, что вы велѣли...

Она засмѣялась своей широкой улыбкой во весь ротъ, глаза блеснули какъ у кошки, и она, далеко вскинувъ ноги, перескочила черезъ плетень, юбка задѣла за сучекъ. Она рванула ее, засмѣялась опять и, нагнувшись, по кошачьи, промчалась между двумя рядами капусты.

А Маркъ въ это время все допытывался, кто прячется подъ плетнемъ. Онъ вытащилъ оттуда незнакомца, поставилъ на ноги и всматривался въ него, тотъ прятался и не давался узнавать себя.

— Савелій Ильичъ! заискивающимъ голосомъ говорилъ онъ:—ничего такого... вы не деритесь; я самъ сдачи дамъ...

— Что-то лицо твое мнѣ знакомо! сказала Маркъ:—какая темнота!

— Ахъ, — это не Савелій Ильичъ, ну, слава-те Господи! радостно сказалъ, отряхиваясь, незнакомый. — Я, сударь, садовникъ! Вонъ оттуда...

Онъ показалъ на садъ вдали.

— Что ты тутъ дѣлаешь?

— Да... пришелъ послушать, какъ соборный колоколъ ударить... а не то чтобъ пустымъ дѣломъ заниматься... У насъ часы остановились...

— Ну, тебя къ чорту! сказалъ Маркъ, оттолкнувъ его.

Тотъ перескочилъ чрезъ канаву и пропалъ въ темнотѣ.

Райскій между тѣмъ воротился къ главнымъ воротамъ: онъ старался отворить калитку, но не хотѣлъ стучаться, чтобъ не разбудить бабушку.

Онъ слышала чьи-то шаги по двору.

— Марина, Марина! звать онъ вполголоса, думая, что она несетъ ему ужинъ:—отвори!

Съ той стороны отодвинули задвижку; Райскій толкнулъ калитку ногой, и она отворилась. Передъ нимъ стоялъ Савелій: онъ бросился на Райскаго и схватилъ его за грудь...

— А, постой, голубчикъ, я поквитаюсь съ тобой—вмѣсто Марины! злобно говорилъ онъ: — смотри, пожалуй, въ калитку лѣзетъ: а я тамъ, какъ пень, караюлю у плетня!..

Онъ приперъ спиной калитку, чтобъ посѣтитель не ушелъ.

— Это я, Савелій! сказалъ Райскій.—Пусти.

— Кто это?—никакъ баринъ! въ недоумѣніи произнесъ Савелій и остановился, какъ вкопанный.

— Какъ-же вы изволили звать Марину! медленно произнесъ онъ, помолчавъ:—нешто вы ее видѣли?

— Да, я еще съ вечера просилъ ее оставить мнѣ ужинать, солгалъ онъ въ пользу преступной жены,—и отпереть калитку. Она ужъ слышала, что я пришелъ... Пропусти гостя за мной, запри калитку и ступай спать.

— Слушаю-съ! медленно сказалъ онъ. Потомъ долго стоялъ на мѣстѣ, глядя вслѣдъ Райскому и Марку. — Вотъ что! разстановисто произнесъ онъ и тихо пошелъ домой.



На дорогѣ онъ встрѣтилъ Марину.

— Что тебѣ, лѣшій, не спится? сказала она и, согнувъ одно бедро, скользнула проворно мимо его:—бродить по ночамъ! Ты бы хоть лошадамъ гривы заплеталъ, благо нѣтъ домового! Срамить меня только передъ господами!.. ворчала она, несясь, какъ сѣльфъ, мимо его, съ тарелками, блюдами, салфетками и хлѣбами въ обѣихъ рукахъ, выше головы, но такъ, что ни одна тарелка не звенѣла, ни ложка, ни стаканъ не шевелились у ней.

Савелій, не глядя на нее, въ отвѣтъ на ея воззваніе, молча погрозилъ ей возжей.

## XV.

Маркъ въ самомъ дѣлѣ былъ голодень: въ пять, шесть пріемовъ ножомъ и вилкой, стерлядей какъ не бывало; но и Райскій не отставалъ отъ него. Марина пришла убрать и унесла остовъ индѣйки.

— Хорошо бы чего-нибудь сладкаго! сказалъ Борисъ Павловичъ.

— Пирожного не осталось, отвѣчала Марина: — есть варенье, да ключи отъ подвала у Василисы.

— Чтó за пирожное! отозвался Маркъ:—нельзя-ли сдѣлать жжѣнку? Есть-ли ромъ?

Райскій вопросительно взглянулъ на Марину.

— Должно быть, есть: барышня на „пудень“ выдавали повару на завтра: я посмотрю въ буфетѣ...

— А сахаръ есть?

— У барышни въ комнатѣ: я достану, сказала Марина и исчезла.

— И лимонъ! крикнулъ ей вслѣдъ Маркъ.

Марина принесла бутылку рому, лимонъ, сахаръ, и жжѣнка запылала. Свѣчи потушили, и синее пламя зловѣщимъ блескомъ озарило комнату. Маркъ изрѣдка мѣшалъ

ложкой ромъ; растопленный на двухъ вилкахъ сахаръ, шипя, капалъ въ чашку. Маркъ время отъ времени пробовалъ, готова-ли жжѣнка, и опять мѣшалъ ложкой.

— И такъ... сказалъ, помолчавъ, Райскій и остановился.

— И такъ?... повторилъ Маркъ вопросительно.

— Давно-ли вы здѣсь въ городѣ?

— Года два...

— Вѣрно скучаете.

— Я стараюсь развлекаться...

— Извините... я...

— Пожалуйста, безъ извиненій! спрашивайте на прямикъ. Въ чемъ вы извиняетесь?

— Въ томъ, что не вѣрю вамъ...

— Въ чемъ?

— Въ этихъ развлеченіяхъ... въ этой роли, которую вы... или виновать...

— Опять „виновать“?

— Которую вамъ приписываютъ.

— У меня нѣтъ никакой роли: вотъ мнѣ и приписываютъ какую-то.

Онъ налилъ рюмку жжѣнки и выпилъ.

— Выпейте: готова! сказалъ онъ, наливая рюмку и подвигая къ Райскому. Тотъ выпилъ ее медленно, безъ удовольствія, чтобъ только сдѣлать компанію собесѣднику.

— Приписываютъ, началъ Райскій:—стало быть это не настоящая ваша роль?

— Экіе вы? я вамъ говорю, что у меня нѣтъ роли: уже-ли нельзя безъ роли прожить?...

— Но вѣдь въ насъ есть потребность что-нибудь дѣлать: а вы, кажется, ничего...

— А вы что дѣлаете?

— Я... говорилъ вамъ, что я художникъ...

— Покажите же мнѣ образчики вашего искусства...

— Теперь ничего нѣтъ: вотъ впрочемъ—бездѣлка: еще не совсѣмъ кончено...

Онъ всталъ съ дивана, снялъ холстинку съ портрета Марѣиньки и зажегъ свѣчу.

— Да, похожъ! сказалъ Маркъ — хорошо!... „У него талантъ!“ сверкнуло у Марка въ головѣ.—Очень хорошо бы... да... голова велика, плечи немного широки...

„У него вѣренъ глазъ!“ подумалъ Райскій.

— Лучше всего этотъ свѣтлый фонъ въ воздухѣ и въ аксесуарахъ. Вся фигура отъ этого легка, воздушна, прозрачна: вы поймали тайну фигуры Марѣиньки. Къ цвѣту ея лица и волосъ идетъ этотъ легкій колоритъ...

„У него есть и вкусъ, и пониманіе!“ думалъ опять Райскій:—„ужъ не артистъ-ли онъ, да притаился?“

— А вы знаете Марѣиньку? спросилъ онъ.

— Знаю.

— А Вѣру?

— И Вѣру знаю.

— Гдѣ же вы ихъ видали? Вы въ домѣ не бываете.

— Въ церкви.

— Въ церкви? Какъ-же говорятъ, что вы не заглядываете въ церковь?

— Не помню, впрочемъ, гдѣ видѣлъ: въ деревнѣ, въ полѣ встрѣчалъ...

Онъ выпилъ еще рюмку жжѣнки.

— Не хотите-ли? прибавилъ онъ, наливая Райскому.

— Нѣтъ—я не пью почти: это такъ только, для компаніи. У меня и такъ въ голову бросилось.

— И у меня тоже, да ничего: выпейте. Еслибъ въ голову не бросалось, такъ и пить не нужно.

— Зачѣмъ же, если не хочется?

— И то правда, ну, такъ я за васъ!

Онъ выпилъ и его рюмку.

„Не пьяница-ли онъ?“ подумаль Райскій, боязливо глядя, съ какимъ удовольствіемъ онъ выпилъ еще рюмку.

— Вамъ странно смотрѣть, что я пью: сказалъ Маркъ, угадавшій его мысли: — это отъ скуки и праздности... дѣлать нечего!

Онъ опять налилъ, но поставилъ рюмку подлѣ себя и попросилъ сигару. Райскій подвинулъ ему ящикъ.

„У него глаза покраснѣли“, думаль онъ: „напрасно я зазваль его—видно бабушка правду говорить: какъ бы онъ чего-нибудь...“

— Праздность! вѣдь это...

— Мать всѣхъ пороковъ, хотите вы сказать, перебилъ Маркъ: — запишите это въ свой романъ и продайте... И ново, и умно...

— Я хочу сказать, продолжалъ Райскій,—что отъ насъ зависить быть празднымъ и не быть...

— Когда вы давеча перелѣзли черезъ заборъ къ Леонтью, перебилъ опять Маркъ,—я думаль, что вы порядочный человѣкъ, а вы, кажется, въ полку Нила Андреича служите, читаете мораль...

— Вотъ видите, я и правъ, что извинялся передъ вами: надо быть осторожнымъ на словахъ... замѣтилъ Райскій.

— Зачѣмъ? Не надо. Говорите, что вздумается, и мнѣ не мѣшайте отвѣчать, какъ вздумаю. Вѣдь я не спросилъ у васъ позволенія обругать васъ Ниломъ Андреичемъ—а ужъ чего хуже?

— Правда-ли, что вы стрѣляли по немъ? спросилъ Райскій съ любопытствомъ.

— Вздоръ: я стрѣляль вонъ тамъ на выѣздѣ по голубямъ, чтобъ ружье разрядить: я возвращался съ охоты. А онъ тамъ гуляль: увидалъ, что я стрѣляю, и началъ кричать, чтобъ я пересталь, что это грѣхъ, и тому подобныя глупости. Еслибъ только одно это, я бы назвалъ его дура-



комъ и дѣло съ концомъ, а онъ затопалъ ногами, грозилъ пальцомъ, стучалъ палкой: „я тебя, говоритъ, мальчишку, въ острогъ: я тебя туда, куда воронъ костей не заносилъ; въ 24 часа въ мелкій порошокъ изотру, въ бараний рогъ согну, на поселеніе сошлю!“ Я далъ ему истощить весь словарь этихъ нѣжностей, выслушалъ хладнокровно, а потомъ прицѣлился въ него.

— Что же онъ?

— Ну, началъ присѣдать, растерялъ палку, калоши, потомъ сѣлъ на земь и попросилъ извиненія. А я выстрѣлилъ въ воздухъ и опустилъ ружье—вотъ и все.

— Это... развлеченіе? спросилъ съ мягкой ироніей Райскій.

— Нѣтъ, серьезно отвѣчалъ Маркъ: — важное дѣло, урокъ старому ребенку.

— Что же послѣ?

— Ничего: онъ ѣздилъ къ губернатору жаловаться и солгалъ, что я стрѣлялъ въ него, да не попалъ. Еслибъ я былъ мирный гражданинъ города, меня бы сейчасъ на съѣзжую посадили, а такъ какъ я внѣ закона, на особенномъ счету, то губернаторъ разузналъ, какъ было дѣло, и посоветовалъ Нилу Андреичу умолчать, „чтобъ до Петербурга никакихъ исторій не доходило“: этого онъ, какъ огня, боится.

„Кажется, онъ хвастается удалью!“ подумалъ Райскій, взглядываясь въ него. „Не провинціальныи-ли это фанфаронъ низшаго разряда?“

— Я не хотѣлъ читать вамъ морали, сказалъ онъ вслухъ: —говоря о праздности, я только удивился, что съ вашимъ умомъ, образованіемъ и способностями...

— Почему вы знаете мой умъ, образованіе и способности?

— Я вижу...

— Чтѣ же вы видите? Чтѣ я умѣю лазить черезъ заборы, стрѣляю въ дураковъ, ѣмъ много, пью... видите!..

Онѣ еще выпилъ. Райскій съ безпокойствомъ смотрѣлъ на эти возліянія и подумывалъ, чѣмъ это все кончится. Онѣ внутренне раскаявался въ своей затѣѣ подразнить бабушку.

— Вы морщитесь: не бойтесь, сказалъ Маркъ:—я не сожгу дома и не зарѣжу никого. Сегодня я особенно пью, потому что усталъ и озябъ. Я не пьяница.

Онѣ вылилъ остатки рома изъ бутылки въ чашку и зажегъ опять ромъ. Потомъ, положивъ оба локтя на столъ, небрежно глядѣлъ на Райскаго.

Въ манерахъ его, и безъ того развязныхъ, стала появляться и та обыкновенная за бутылкой свобода, отъ которой всегда неловко становится трезвому собесѣднику.

Разговоръ тоже принималъ оборотъ фамиллярности. Райскаго, несмотря на увѣреніе собесѣдника, не покидало безпокойство, что это перейдетъ границы.

— Вы тоже, можетъ быть, умны... говорилъ Маркъ, не то серьезно, не то иронически, и безцеремонно глядя на Райскаго: — я еще не знаю, а можетъ быть, и нѣтъ, а что способны, даже талантливы —это я вижу, — слѣдовательно больше васъ имѣю права спросить, отчего же вы ничего не дѣлаете?

— Я... все-таки...

— Портретъ написали? перебилъ онѣ. — Да вы портретистъ, что ли?

— Да, я писалъ иногда...

— Ну, *иногда* — это не дѣло. Иногда и я дѣлалъ кое-что.

Онѣ помѣшалъ новую жжѣнку и хлебнулъ. Райскій и желалъ, и боялся наводить его на дальнѣйшій разговоръ, чтобъ вино не оказало полнаго дѣйствія.

— Вы говорите, началъ однако онѣ, — что у меня есть талантъ: и другіе тоже говорятъ, даже находятъ во мнѣ та-

ланты. И, можетъ быть, и художникъ въ душѣ, искренній художникъ,—но я не готовился къ этому поприщу...

— Почему же?

— Да какъ вамъ сказать: у насъ нѣтъ этой арены, отъ того нѣтъ и приготовленія къ ней.

— Вотъ видите, замѣтилъ Маркъ:—однако васъ учили, нельзя прямо сѣсть за фортепіано, да заиграть. Плечо у васъ на портретѣ и криво, голова велика, а все же надо учиться держать кисть въ рукѣ.

— Да, если хотите, учили, „чтобъ имѣть въ обществѣ пріятные таланты“, какъ говаривалъ мой опекунъ: рисовать въ альбомы, пѣть романсы, въ салонѣ. Я и достигъ этого умѣнья очень быстро. А когда подросъ, узналъ, чтó значить призваніе—хотѣлъ одного искусства и больше ничего—мнѣ показали, въ какихъ черныхъ рукахъ оно держится. Заѣзжіе пѣвцы и пѣвицы давали концерты, на нихъ смотрѣли свысока. Учитель рисованья сидѣлъ безъ хлѣба. Бабушка руками всплеснула, когда узнала, какое поприще выбираю себѣ. У меня вонъ предки есть: съ историческими именами, въ мундирахъ, лентахъ и звѣздахъ: ну, и меня толкали въ камеръ-юнкеры, соблазняли гусарскимъ мундиромъ. Я былъ мальчикъ, соблазнился и пошелъ въ гусары.

— Ну, а потомъ? Тамъ въ Петербургѣ есть академія...

— Потомъ...

— Чтò потомъ? перебилъ Маркъ и засмѣялся.

— Извѣстно чтò... поздно было: какая академія послѣ чада петербургской жизни! съ досадой говорилъ Райскій, ходя изъ угла въ уголъ:—у меня, видите есть имѣніе, есть родство, свѣтъ... Надо бы было все это отдать нищимъ, взять крестъ и идти... какъ говорить одинъ художникъ, мой пріятель. Меня отняли отъ искусства, какъ дитя отъ груди... Онъ вздохнулъ. — Но я ворочусь и дойду! сказалъ онъ рѣшительно. — Время не ушло, я еще не старъ...

Маркъ опять засмѣялся.

— Нѣтъ, говорилъ онъ, — не сдѣлаете: куда вамъ!

— Отъ чего нѣтъ? почему вы знаете? горячо приступилъ къ нему Райскій: — вы видите, у меня есть воля и терпѣніе...

— Вижу, вижу: и лицо у васъ пылаетъ, и глаза горятъ — и всего отъ одной рюмки: то ли будетъ какъ выпьете еще! Тогда тутъ же что-нибудь сочините или нарисуете. Выпейте, не хотите-ли?

— Да почему вы знаете? Вы не вѣрите въ намѣренія?..

— Какъ не вѣрить: ими, говорятъ, вымощенъ адъ. Нѣтъ, вы ничего не сдѣлаете, и не выйдете изъ васъ ничего, кромѣ того, что вышло, т. е. очень мало. Много этакихъ у насъ было и есть: всѣ пропали, или спились съ кругу. Я еще удивляюсь, что вы не пьете: наши художники обыкновенно кончаютъ этимъ. Это все неудачники!

Онъ, съ усмѣшкой, подвинулъ ему рюмку и выпилъ самъ.

„Онъ холодный, злой, безъ сердца!“ заключилъ Райскій. Между прочимъ его поразило послѣднее замѣчаніе. „Много у насъ этакихъ!“ шепталъ онъ и задумался. „Ужели я изъ тѣхъ: съ печатью таланта, но грубыхъ, грязныхъ, утопившихъ даръ въ винѣ... „одна нога въ калошѣ, другая въ туфлѣ“ мелькнуло у него бабушкино живописное сравненіе. „Ужели я... неудачникъ? А это упорство, эта одна вѣчная цѣль, что это значить? Вреть онъ!“

— Вы увидите, что не всѣ такіе... возразилъ онъ горячо: — увидите, я непременно...

И остановился, вспомнивъ бабушкину мудрость о заносчивомъ „непременно“.

— Сами же видите, что я не топлю даръ въ винѣ... прибавилъ онъ.

— Да, не пьете: это правда: это улучшение, прогрессъ!



Свѣтъ, перчатки, танцы и духи спасли васъ отъ этого. Впрочемъ, чадъ бываетъ различный: у кого пары бросаются въ голову, у другого... Не влюбчивы-ли вы?

Райскій слегка покраснѣлъ.

— Что, кажется, попалъ?

— Почему вы знаете?

— Да потому, что это тоже входитъ въ натуру художника: она не чуждается ничего человѣческаго: *nihil humanum*... и такъ далѣе! Кто вино, кто женщинъ, кто карты, а художники взяли себѣ все.

— Вино, женщины, карты! повторилъ Райскій озлобленно: — когда перестанутъ считать женщину какимъ-то наркотическимъ снадобьемъ и ставить рядомъ съ виномъ и картами! — Почему вы думаете, что я влюбчивъ? спросилъ онъ, помолчавъ.

— Вы давеча сами сказали, что любите красоту, поклоняетесь ей...

— Ну, такъ что же: поклоняюсь — видите...

— Вѣрно влюблены въ Марейнюку: не даромъ портретъ пишете! Художники, какъ лекаря и попы, даромъ не любить ничего дѣлать. Пожалуй, не прочь и того... увлечь дѣвочку, сыграть какой-нибудь романчикъ, даже драму...

Онъ глядѣлъ безцеремонно на Райскаго и засмѣялся злымъ смѣхомъ.

— Милостивый государь! сказалъ Райскій запальчиво: — кто вамъ далъ право думать и говорить такъ...

И вдругъ остановился, вспомнивъ сцену съ Марейнюкой въ саду, и сильно почесалъ свои густые волосы.

— Тихе, бабушка услышитъ! небрежно сказалъ Маркъ.

— Послушайте!... сдвинувъ брови, началъ опять Райскій...

— ... если я васъ до сихъ поръ не выбросилъ за окошко, договорилъ за него Маркъ: — то вы обязаны этимъ тому,

что вы у меня подь кровомъ! Такъ, что-ли, слѣдуетъ дальше? Ха, ха, ха!

Райскій прошелся по комнатѣ.

— Нѣтъ, вы обязаны тому, что вы пьяны! сказалъ онъ покойно, сѣлъ въ кресло и задумался.

Ему вдругъ скучно стало съ своимъ гостемъ, какъ трезвому бываетъ съ пьянымъ.

— О чемъ вы думаете? спросилъ Маркъ.

— Угадайте, вы мастеръ угадывать.

— Вы раскаяваетесь, что зазвали меня къ себѣ.

— Почти... отвѣчалъ Райскій нерѣшительно. Остатокъ вѣжливости мѣшалъ ему быть вполне откровеннымъ.

— Говорите смѣлѣе—какъ я: скажите все, что думаете обо мнѣ. Вы давеча интересовались мною, а теперь...

— Теперь, признаюсь, мало.

— Я вамъ надоѣлъ?

— Не то что надоѣли, а перестали занимать меня, быть новостью. Я васъ вижу и знаю.

— Скажите-же, что я такое?

— Что вы такое? повторилъ Райскій, остановясь передъ нимъ и глядя на него также безцеремонно, почти дерзко, какъ и Маркъ на него. — Вы не загадка: „свихнулись въ ранней молодости“—говорить Титъ Никонычъ: а я думаю, вы просто не получили никакого воспитанія, иначе бы не свихнулись: отъ того ничего и не дѣлаете... Я не извиняюсь въ своей откровенности: вы этого не любите; притомъ слѣдую вашему примѣру...

— Пожалуйста, пожалуйста, продолжайте, безъ оговорокъ! оживляясь, сказалъ Маркъ: — вы растете въ моемъ мнѣніи: я думалъ, что вы такъ себѣ, дряблый, приторный, вѣжливый господинъ, какъ всѣ тамъ... А въ васъ есть спиртъ... хорошо! продолжайте!

Райскій небрежно молчалъ.

— Чтò такое воспитаніе? заговорилъ Маркъ.—Возьмите всю вашу родню и знакомыхъ: воспитанныхъ, умытыхъ, причесанныхъ, не пьющихъ, опрятныхъ, съ *belles manières*... Согласитесь, что они не больше моего дѣлаютъ? А вы сами тоже съ воспитаніемъ — вотъ не пьете: а за исключеніемъ портрета Марѣиньки, да романа въ программѣ...

Райскій сдѣлалъ движеніе нетерпѣнія, а Маркъ кончилъ свою фразу смѣхомъ. Смѣхъ этотъ раздражалъ нервы Райскаго. Ему хотѣлось вполне заплатить Марку за откровенность откровенностью.

— Да, вы правы: ни ихъ, ни меня къ дѣлу не готовили: мы были обезпечены... сказалъ онъ.

— Какъ не готовили? Учили верхомъ ѣздить для военной службы, дали хорошій почеркъ для гражданской. А въ университетѣ: и права, и греческую, и латынскую мудрость, и государственныя науки, чего не было? А все прaxомъ пошло. Ну-съ, продолжайте, чтò-же я такое?

— Вы замѣтили, сказалъ Райскій, — что наши художники перестали пить, и справедливо видите въ этомъ прогрессъ, т. е. воспитаніе. Артисты вашего сорта — еще не улучшились... все тѣ же, какъ я вижу...

— Какіе же это артисты — скажите, только, пожалуйста, напрямикъ?

— Артисты—*sans façons*, которые напиваются при первомъ знакомствѣ, бьютъ стекла по ночамъ, осаждаютъ трактиры, травятъ собаками дамъ, стрѣляютъ въ людей, занимаютъ вездѣ деньги...

— И не отдають! прибавилъ Маркъ.—Браво! Славный очеркъ: вы его помѣстите въ романъ...

— Можетъ быть, помѣщу.

— А прогoрoс о деньгахъ: для полноты и вѣрности вашего очерка, дайте мнѣ рублей сто въ займы: я вамъ... никогда не отдамъ, развѣ что будете въ моемъ положеніи, а я въ вашемъ...

— Что это, шутка?

— Какая шутка! Огородникъ, у котораго нанимаю квартиру, пристаётъ: онъ-же и кормить меня. У него ничего нѣтъ. Мы оба въ затрудненіи...

Райскій пожалъ плечами, потомъ порылся въ платьяхъ, наконецъ отыскалъ бумажникъ и, вынувъ оттуда нѣсколько ассигнацій, положилъ ихъ на столъ.

— Тутъ только восемьдесятъ: вы меня обсчитываете, сказалъ Маркъ, сосчитавъ.

— Больше нѣтъ: деньги спрятаны у бабушки, завтра пришлю.

— Не забудьте. Пока довольно съ меня. Ну-съ, что же дальше: „занимають деньги и не отдають?“ говорилъ Маркъ, пряча ассигнаціи въ карманъ.

— Праздные повѣсы, которымъ противенъ трудъ и всякій порядокъ, продолжалъ Райскій: — бродячая жизнь, житье на распашку, на чужой счетъ — вотъ все, что имъ остается, какъ скоро они однажды выскочатъ изъ колеи. Они часто грубы, грязны; есть между ними фаты, которые еще гордятся своимъ цинизмомъ и лохмотьями...

Маркъ засмѣялся.

— Не въ бровь, а прямо въ глазъ: хорошо, хорошо! говорилъ онъ.

— Да, если много такихъ художниковъ, какъ я, сказалъ Райскій, — то такихъ артистовъ, какъ вы, еще больше: имя имъ легіонъ!

— Еще немножко, и вы заплатите мнѣ вполнѣ, замѣтилъ Маркъ, — но прибавьте: легіонъ, пущенный въ стадо...

Онъ опять засмѣялся. За нимъ усмѣхнулся и Райскій.

— Что-жъ, это не правда? добавилъ Райскій: — скажите по совѣсти! Я согласенъ съ вами, что я принадлежу къ числу тѣхъ художниковъ, которыхъ вы назвали... какъ?

— Неудачниками.



— Ну, очень хорошо, и слово хорошее, мѣткое.

— Здѣшняго издѣлія: чѣмъ богаты, тѣмъ и рады! ска-  
заль, кланаясь, Маркъ.—Вамъ угодно, чтобъ я согласился  
съ вѣрностью вашего очерка: еслибъ я даже былъ стыдливъ,  
обидчивъ, какъ вы, еслибъ и не хотѣлъ согласиться, то при-  
нужденъ бы былъ сдѣлать это. Поэтому поздравляю васъ:  
наружно очеркъ вѣренъ—почти совершенно...

— Вы соглашаетесь и...

— И остаюсь все тѣмъ-же? досказаль Маркъ:—васъ это  
удивляетъ? Вы вѣдь тоже видите себя хорошо въ зеркалѣ:  
согласились даже благосклонно принять прозвище неудач-  
ника,—а все-таки ничего не дѣлаете?

— Но я хочу... дѣлать — и буду! съ азартомъ сказалъ  
Райскій.

— И я смертельно хочу дѣлать, но — я думаю — не  
буду.

Райскій пожалъ плечами.

— Отъ чего-же?

— Поприща, „арены“ для меня нѣтъ... какъ вы гово-  
рите.

— Есть же у васъ какія-нибудь цѣли?

— Вы скажите мнѣ прежде, отъ чего я такой? спро-  
силъ Маркъ:—вы такъ хорошо сдѣлали очеркъ: замокъ пе-  
редъ вами, приберите и ключъ. Что вы видите еще подъ  
этимъ очеркомъ? Тогда, можетъ быть, и я скажу вамъ, отъ  
чего я не буду ничего дѣлать.

Райскій началъ ходить по комнатѣ, вдумываясь въ этотъ  
новый вопросъ.

— Отъ чего вы такой? повторилъ онъ въ раздумьи, оста-  
навливаясь передъ Маркомъ:—я думаю вотъ отъ чего: отъ  
природы вы были пылкій, живой мальчикъ. Дома, мать  
няньки избаловали васъ.

Маркъ усмѣхнулся.

— Все это баловство повело къ деспотизму: а когда дядьки и няньки кончились, чужіе люди стали ограничивать дикую волю, вамъ не понравилось; вы сдѣлали эксцентрическій подвигъ, васъ прогнали изъ одного мѣста. Тогда ужъ стали мстить обществу: благоразуміе, тишина, чужое благосостояніе показались грѣхомъ и порокомъ, порядокъ противенъ, люди нелѣпы... И давай тревожить покой смиренныхъ людей!..

Маркъ покачалъ головой.

— Одни изъ этихъ артистовъ просто утопаютъ въ картахъ, въ винѣ, продолжалъ Райскій, — другіе ищутъ роли. Есть и донъ-кихоты между ними: они хватаются за какую-нибудь невозможную идею, преслѣдуютъ ее иногда искренно; вообразить себя пророками и апостольствуютъ въ кружкахъ слабыхъ головъ, по трактирамъ. Это легче, чѣмъ работать. Проврутъ что-нибудь дерзко про власть, ихъ переводятъ, пересылаютъ съ мѣста на мѣсто. Они всѣмъ въ тягость, вездѣ надоѣли. Кончаютъ они, различно, смотря по характеру: кто угодитъ, вотъ какъ вы, на смиреніе...

— Да я еще не кончилъ: я начинаю только, что вы! перебилъ Маркъ.

— Другихъ запираютъ въ сумасшедшій домъ за ихъ идеи...

— Это еще не доказательство сумасшествія. Помните, что и того, у кого у перваго родилась идея о силѣ пара, тоже посадили за нее въ сумасшедшій домъ, замѣтилъ Маркъ.

— А! такъ вотъ вы что! У васъ претензія есть выражать собой и преслѣдовать великую идею!

— Да-съ, вотъ что! съ комической важностью подтвердилъ Маркъ.

— Какую же?

— Какіе вы нескромные! Угадайте! сказалъ, зѣвая Маркъ и, положивъ голову на подушку, закрылъ глаза.

— Спать хочется! прибавилъ онъ.

— Ложитесь здѣсь, на мою постель: а я лягу на диванъ —приглашалъ Райскій: вы гость...

— Хуже татарина... сквозь сонъ бормоталъ Маркъ;— вы ложитесь на постель, а я... мнѣ все равно...

„Что онъ такое?“ думалъ Райскій, тоже зѣвая: — „витаеть, какъ птица, или бездомная, безпріютная собака, безъ хозяина, т. е. безъ цѣли! Праздный ли это, затерявшійся повѣса, заблудшая овца, или“...

— Прощайте, неудачникъ! сказалъ Маркъ.

— Прощайте, русскій... Карлъ Моръ! насмѣшливо отвѣчалъ Райскій и задумался.

А когда очнулся отъ задумчивости, Маркъ спалъ уже всею сладостью сна, какой дается крѣпко озябшему, уставшему, наѣвшемуся и выпившему человѣку.

Райскій подошелъ къ окну, откинулъ занавѣску, смотрѣлъ на темную звѣздную ночь.

Кое-гдѣ стучали въ доску, лѣниво раздавалось откуда-то протяжное:—слушай! Только отъ собачьяго лая стоялъ глухой гулъ надъ городомъ. Но все превозмогала тишина, темнота и невозмутимый покой.

Въ комнатѣ, въ недопитой Маркомъ чашкѣ съ ромомъ, ползалъ чуть мерцающій синій огонёкъ, и изрѣдка вспыхивая, озарялъ на секунду комнату и опять горѣлъ тускло, готовый ежеминутно потухнуть.

Кто-то легонько постучалъ въ дверь.

— Кто тамъ? тихо спросилъ Райскій.

— Это я, Борюшка, отвори скорѣе! Что у тебя дѣлается? слышался испуганный голосъ Татьяны Марковны.

Райскій отперъ. Дверь отворилась, и бабушка, какъ при видѣніе, вся въ бѣломъ, явилась на порогѣ.

— Батюшки мои! что это за свѣтъ? съ тревогой произнесла она, глядя на мерцающій огонь.

Райскій отвѣчалъ смѣхомъ.

— Что такое у тебя? Я въ окно увидала свѣтъ, испугалась, думала, ты спишь... Что это горить въ чашкѣ?

— Ромъ.

— Ты по ночамъ пьешь пуншъ! шепотомъ, въ ужасѣ сказала она и съ изумленіемъ глядѣла, то на него, то на чашку.

— Грѣшенъ, бабушка, иногда люблю выпить...

— А это кто спить? съ новымъ изумленіемъ спросила она, вдругъ увидѣвъ спящаго Марка.

— Тише, бабушка, не разбудите: это Маркъ.

— Маркъ! Не послать ли за полиціей? Гдѣ ты взялъ его? Какъ ты съ нимъ связался? шептала она въ изумленіи:— По ночамъ съ Маркомъ пьетъ пуншъ! Да что съ тобой сдѣлалось, Борисъ Павловичъ?

— Я у Леонтія встрѣтился съ нимъ, говорилъ онъ, наслаждаясь ея ужасомъ.—Намъ обоимъ захотѣлось ѣсть: онъ звалъ-было въ трактиръ...

— Въ трактиръ! Этого еще не доставало!

— А я привелъ его къ себѣ—и мы поужинали...

— Отъ чего же ты не разбудилъ меня! Кто вамъ подавалъ? Что подавали?

— Стерляди, индѣйку: Марина все нашла!

— Все холодное! Какъ же не разбудить меня! Дома есть мясо, цыплята... Ахъ, Борюшка, срамишь ты меня!

— Мы сыты и такъ.

— А пирожное? спохватилась она:—вѣдь его не осталось! Что же вы ѣли?

— Ничего: вонъ Маркъ пуншъ сдѣлалъ. Мы сыты.

— Сыты! ужинали безъ горячаго, безъ пирожнаго! Я сейчасъ пришлю варенья...

— Нѣтъ, нѣтъ, не надо! Если хотите, я разбужу Марка, спрошу...



— Что ты, Богъ съ тобой: я въ кофѣ! съ испугомъ отговаривалась Татьяна Марковна, прячась въ корридорѣ.— Богъ съ нимъ: пусть его спитъ! Да какъ онъ спитъ-то: свернулся точно собачонка! косясь на Марка говорила она.—Стыдъ, Борисъ Павловичъ, стыдъ: развѣ перинъ нѣтъ въ домѣ? Ахъ, ты Боже мой! Да потуши ты этотъ проклятый огонь! Безъ пирожного!

Райскій задулъ синій огонь и обнялъ бабушку. Она перекрестила его и, покосясь еще на Марка, на цыпочкахъ пошла къ себѣ.

Онъ уже ложился спать, какъ опять постучали въ дверь.

— Кто еще тамъ? спросилъ Райскій и отперъ дверь.

Марина поставила прежде на столъ банку варенья, потомъ втащила пуховикъ и двѣ подушки.

— Барыня прислала: не покушаете-ли варенья? сказала она. — А вотъ и перина: если Маркъ Иванычъ проснутся, такъ вотъ легли бы на перинѣ?

Райскій еще разъ разсмѣялся искренно отъ души, и въ тоже время почти до слезъ былъ тронутъ добротой бабушки, нѣжностью этого женскаго сердца, вѣрностью своимъ правиламъ гостепріимства и простымъ, указываемымъ сердцемъ, добродѣтелямъ.

## XVI.

Рано утромъ легкій стукъ въ окно разбудилъ Райскаго. Это Маркъ выпрыгнулъ въ окошко.

„Не любитъ прямой дороги!“... думалъ Райскій глядя, какъ Маркъ прокрадывался черезъ цвѣтникъ, черезъ садъ, и скрылся въ чащѣ деревьевъ, у самаго обрыва.

Борису не спалось, и онъ, въ легкомъ утреннемъ пальто, вышелъ въ садъ, хотѣлъ-было догнать Марка, но увидѣвъ его уже далеко идущаго низомъ по волжскому побережью.

Райскій постоялъ надъ обрывомъ: было еще рано; солнце не вышло изъ за горъ, но лучи его уже золотили верхушки деревьевъ, вдали сіяли поля, облитыя росой, утренній вѣтерокъ вѣялъ мягкой прохладой. Воздухъ быстро нагрѣвался и общалъ теплый день.

Райскій походилъ по саду. Тамъ уже началась жизнь; птицы пѣли дружно, суетились во всѣ стороны, отыскивая завтракъ; пчелы, шмели жужжали около цвѣтовъ.

Издали, съ поля, доносилось мычанье коровъ, по полю валило облако пыли, поднимаемое стадомъ овецъ; въ деревнѣ скрипѣли ворота, слышался стукъ телѣгъ; во ржи щелкали перепела.

На дворѣ тоже начиналась забота дня. Прохоръ поилъ и чистилъ лошадей въ сараѣ, Кузьма или Степанъ рубилъ дрова, Матрена прошла съ корытцомъ муки въ кухню, Марина раза четыре пронеслась по двору, бережно неся и держа далеко отъ себя выглаженные юбки барышни.

Егорка дѣлалъ туалетъ, умываясь у колодца, въ углу двора; онъ полоскался, сморкался, плевалъ и уже скалилъ зубы надъ Мариной. Яковъ съ крыльца молился на крестъ собора, поднимавшійся изъ-за домовъ слободки.

По двору, подъ ногами людей и около людскихъ, у корыта съ какой-то кашей, толпились куры и утки, да нахально вездѣ бѣгали собаки, лаявшія на-тощакъ безъ толку на всякаго прохожаго, даже иногда на своихъ, наконецъ другъ на друга.

— Все тоже, чтó вчера, чтó будетъ завтра! прошенталъ Райскій.

Онъ постоялъ по срединѣ двора, лѣниво оглянувшись во всѣ стороны, почесался, зѣвнулъ и вдругъ почувствовалъ симптомы болѣзни, мучившей его въ Петербургѣ.

Ему стало скучно. Передъ нимъ, въ перспективѣ, стоялъ длинный день, съ вчерашними, третьягоднишними

впечатлѣніями, ощущеніями. Кругомъ все таже наивно улыбающаяся природа, тотъ же лѣсъ, та же задумчивая Волга, обвѣвалъ его тотъ же воздухъ.

Тѣже все представленія, лишь онъ проснется, какъ неподвижная кулиса, вставали передъ нимъ; двигались тѣ же лица, разные твари.

Его и влекла, и отталкивала отъ нихъ центробѣжная сила: его тянуло къ Леонтью, котораго онъ цѣнилъ и любилъ, но лишь только онъ приходилъ къ нему, его уже толкало вонъ.

Леонтій, какъ изваяніе, вылился весь окончательно въ назначенный ему образъ, угадалъ свою задачу и окаменѣлъ навсегда. Райскій искалъ чего-нибудь другаго, гдѣ бы онъ могъ не каменѣть, не слыша и не чувствуя себя.

Онъ шелъ къ бабушкѣ, и у ней въ комнатѣ, на кожаномъ канане, за рѣшетчатымъ окномъ, находилъ еще какое-то колыханье жизни, тамъ еще была ему какая-нибудь работа, ломать старый вѣкъ.

Жизнь между ею и имъ становилась не иначе, какъ спорнымъ пунктомъ, и разрѣшалась иногда, послѣ нелегкой работы ума, кипѣнія крови, діалектикой, въ которой Райскій добывалъ какое-нибудь оригинальное наблюденіе надъ правами этого быта, или практическую, вѣрную замѣтку жизни, или слѣдилъ, какъ отправлялась жизнь подъ наитіемъ наивной вѣры и подъ ферулой грубаго суевѣрія.

Его все-таки чтѣ-нибудь да волновало: досада, смѣхъ, иногда пробивалось умиленіе. Но какъ скоро споръ кончался, интересъ падалъ, Райскому являлись только простыя формы одной и той же, невѣдомо куда и зачѣмъ, текущей жизни.

Марейнка со вчерашняго вечера окончательно стала для него сестрой: другимъ ничѣмъ она быть не могла, и при томъ сестрой, къ которой онъ не чувствовалъ братской нѣжности.

Онъ уже не счелъ нужнымъ передѣлывать ее: другое воспитаніе, другое возрѣніе, даже дальнѣйшее развитіе нарушило бы строгую опредѣленность этой натуры, хотя, можетъ быть, оно вынуло бы наивность, унесло бы дѣтство, всѣ эти ребяческія понятія, бабочкино порханье, но что дало бы въ замѣнь?

Страстей, широкихъ движеній, какой-нибудь дальней и трудной цѣли — не могло дать: не по натурѣ ей! А дало бы хаосъ, повело бы къ недоумѣніямъ — и много-много, еслибъ разрѣшилось претензіей съѣздить въ Москву, побывать на балѣ въ дворянскомъ собраніи, привезти платье съ Кузнецкаго моста, и потомъ хвастаться этимъ до глубокой старости передъ мелкими губернскими чиновниками.

Тить Никонычъ и прочія немногія лица примелькались ему, какъ примелькались старинные кожаные канапе, шкафы, саксонскія чашки и богемскіе хрустали.

Оставался Маркъ, да еще Вѣра, какъ туманные пятна.

Марка онъ видѣлъ, и какъ ни прятался тотъ въ діогеновскую бочку, а Райскій успѣлъ уловить главныя черты фізіономіи.

Идти дальше, стараться объяснить его окончательно, значить напиваться съ нимъ пьянымъ, давать ему денегъ займы, и потомъ выслушивать незанимательныя повѣсти о томъ, какъ онъ въ полку нагрубилъ командиру, или побилъ жида, не заплатилъ въ трактирѣ денегъ, поднялъ знамя бунта противъ уѣздной или земской полиціи, и какъ за то выключенъ изъ полка, или посланъ въ такой-то городъ подъ надзоръ.

Райскій повѣсилъ голову и шелъ по двору, не замѣчая поклоновъ дворни, не отвѣчая на привѣтливое вилянье собакъ; набрелъ на утятъ и чуть не раздавилъ ихъ.

— Что за существованіе, размышлялъ онъ: — остановить взглядъ на явленіи, принять образъ въ себя, вспыхнуть



на минуту и потомъ холодѣть, скучать и насильственно или искусственно подновлять въ себѣ періодическую охоту къ жизни, какъ ежедневный аппетитъ! Тайна умѣнья жить— только тайна длить эти періоды, или лучше сказать не тайна, а даръ, невольный, безсознательный. Надо жить какъ-то закрывши глаза и уши — и живется долго и прочно. И тѣ и правы, у кого нѣтъ жала въ мозгу, кто близорукъ, у кого туго обоняніе, кто идетъ, какъ въ туманѣ, не теряя иллюзій! А какъ удержатъ краски на предметахъ, никогда не взглянуть на нихъ простыми глазами и не увидѣть, что зелень не зелена, небо не сине, что Маркъ не заманчивый герой, а мелкій либераль, Марѣинька сахарная куколка, а Вѣра...

„Что такое Вѣра?“ сдѣлалъ онъ себѣ вопросъ и зѣвнулъ.

Онъ пожималъ плечами, какъ будто ознобъ пробѣгалъ у него по спинѣ, морщился и, заложивъ руки въ карманы, ходилъ по огороду, по саду, не замѣчая красокъ утра, горячаго воздуха, такъ нѣжно ласкавшаго его нервы, не смотрѣлъ на Волгу, и только тупая скука грызла его. Онъ съ ужасомъ видѣлъ впереди рядъ длинныхъ, безцѣльныхъ дней.

Ему пришла въ голову прежняя мысль „писать скуку“: вѣдь жизнь многосторонняя и многообразна, и если, думалъ онъ, и эта широкая и голая, какъ степь, скука лежитъ въ самой жизни, какъ лежатъ въ природѣ безбрежные пески, нагота и скудость пустынь, то и скука можетъ и должна быть предметомъ мысли, анализа, пера или кисти, какъ одна изъ сторонъ жизни: „что-жъ, пойду, и среди моего романа вставлю широкую и туманную страницу скуки: этотъ холодъ, отвращеніе и злоба, которые вторглись въ меня, будутъ красками и колоритомъ... картина будетъ вѣрна“...

Райскій хотѣлъ-было пойти сѣсть за свои тетради „за-

писывать скуку“, какъ увидѣлъ, что дверь въ старый домъ не заперта. Онъ заглянулъ въ него только мелькомъ, по приѣздѣ, съ Марѣинькой, осматривая комнату Вѣры. Теперь вздумалось ему осмотрѣть его поподробнѣе, онъ вступилъ въ сѣни и поднялся на лѣстницу.

Онъ уже не по прежнему, съ стѣсненнымъ сердцемъ, а вяло прошелъ сумрачную залу съ колонадой, гостинныя съ статуями, бронзовыми часами, шкафами рококо, и ни на что не глядя, добрался до верхнихъ комнатъ; припомнилъ гдѣ была дѣтская и его спальня, гдѣ стояла его кровать, гдѣ сиживала его мать.

У него лѣнливо стали тѣсниться блѣдныя воспоминанія о ея ласкахъ, шепотѣ, о томъ, какъ она клала дѣтскіе его пальцы на клавиши и старалась наигрывать пѣсенку, какъ потомъ подолгу играла сама, забывъ о немъ, а онъ слушалъ, присмирѣвъ у ней на колѣняхъ, потомъ вела его въ угловую комнату, смотрѣть на Волгу и Заволжье.

Заглянувъ въ свою бывшую спальню, въ двѣ, три другія комнаты, онъ вошелъ въ угловую комнату, чтобъ взглянуть на Волгу. Погрузясь въ себя, тихо и задумчиво отворилъ онъ ногой дверь, взглянулъ и... остолбенѣлъ.

Въ комнатѣ было живое существо.

Глядя съ напряженнымъ любопытствомъ въ даль, на берегъ Волги, бокомъ къ нему, стояла дѣвушка лѣтъ двадцати двухъ, можетъ быть, трехъ, опершись рукой на окно. Бѣлое, даже блѣдное лицо, темные волосы, бархатный черный взглядъ и длинныя рѣсницы — вотъ все, что бросилось ему въ глаза и ослѣпило его.

Дѣвушка неподвижно и напряженно смотрѣла въ даль, какъ будто провожая кого-то глазами. Потомъ лицо ея приняло равнодушное выраженіе; она бѣгло окинула взглядомъ окрестность, потомъ дворъ, обернулась—и сильно вздрогнула, увидѣвъ его.

На лицѣ мелькнуло изумленіе и уступило мѣсто недоумѣнію, потомъ, какъ тѣнь, прошло даже, кажется, неудовольствіе, и все разрѣшилось въ строгое ожиданіе.

— Сестра Вѣра! произнесъ Райскій.

У ней лицо прояснилось и взглядъ остановился на немъ съ выраженіемъ сдержаннаго любопытства и скромности.

Онъ подошелъ, взявъ ее за руку и поцѣловалъ. Она немного подалась назадъ и чуть-чуть повернула лицо въ сторону, такъ что губы его встрѣтили щеку, а не ротъ.

Они оба сѣли у окна другъ противъ друга.

— Какъ я ждалъ васъ: вы загостились за Волгой! сказалъ онъ и съ нетерпѣніемъ ждалъ отвѣта, чтобъ слышать ея голосъ.

„Голоса, голоса!“ прежде всего просило воображеніе, въ добавокъ къ этому ослѣпительному образу.

— Я вчера только отъ Марины узнала, что вы здѣсь— отвѣчала она.

Голосъ у ней не былъ звонокъ, какъ у Марѣиньки: онъ былъ свѣжъ, молодъ, но тихъ, съ примѣсью груднаго шепота, хотя она говорила вслухъ.

— Бабушка хотѣла посылать за вами, но я просилъ не давать знать о моемъ пріѣздѣ. Когда же вы возвратились? Мнѣ никто ничего не сказалъ.

— Я вчера послѣ ужина пріѣхала: бабушка и сестра еще не знаютъ. Только одна Марина видѣла меня.

Она сидѣла, откинувшись на стулъ спиной, положивъ одинъ локоть на окно и смотрѣла на Райскаго не прямо, а какъ-будто случайно, когда доходила очередь взглянуть между прочимъ и на него.

А онъ глядѣлъ всею силою любопытства, долго сдерживаемаго. Отъ его жаднаго взгляда не ускользало ни одно ея движеніе.

На него, по обыкновенію, уже дѣлала впечатлѣніе эта

новая красота, или, лучше сказать, новый родъ красоты, не похожій на красоту ни Бѣловодовой, ни Марѣиньки.

Нѣтъ въ ней строгости линій, бѣлизны лба, блеска красокъ и печати чистосердечія въ чертахъ, и вмѣстѣ холоднаго сіянія, какъ у Софьи. Нѣтъ и дѣтскаго, херувимскаго дыханія свѣжести, какъ у Марѣиньки: но есть какая-то тайна, мелькаетъ невысказывающаяся сразу прелесть, въ лучѣ взгляда, въ внезапномъ поворотѣ головы, въ сдержанной граціи движеній, что-то неудержимо прокрадывающееся въ душу во всей фигурѣ.

Глаза темные, точно бархатные, взглядъ бездонный. Бѣлизна лица матовая, съ мягкими около глазъ и на шеѣ тѣнями. Волосы темные, съ каштановымъ отливомъ, густой массой лежали на лбу и на вискахъ ослѣпительной бѣлизны, съ тонкими, синими венами.

Она не стыдливо, а больше съ досадою, взяла и выбросила въ другую комнату кучу бѣлыхъ юбокъ, принесенныхъ Мариной, потомъ проворно прибрала со стульевъ узелокъ, брошенный, вѣроятно, наканунѣ вечеромъ, и подвинула къ окну маленькій столикъ. Все это въ двѣ, три минуты, и опять сѣла передъ нимъ на стулѣ свободно и небрежно, какъ будто его не было.

— Я велѣла кофе сварить, хотите пить со мной? спросила она. — Дома еще долго не дадутъ: Марѣинька поздно встаетъ.

— Да, да, съ удовольствіемъ, говорилъ Райскій, продолжая изучать ея фізіономію, движенія, каждый взглядъ, улыбку.

Взглядъ ея то манилъ, втягивалъ въ себя, какъ въ глубину, то смотрѣлъ зорко и проникающе. Онъ замѣтилъ еще появляющуюся по временамъ въ одну и ту же минуту двойную мину на лицѣ, дрожащій отъ улыбки подбородокъ, потомъ не слишкомъ тонкій, но стройный, при походкѣ вол-



нующийся станъ, наконецъ мягкій, неслышимый, будто ко-  
шачій, шагъ.

„Что это за нѣжное, неуловимое созданіе!“ думалъ  
Райскій:—„какая противоположность съ сестрой: та лучъ,  
тепло и свѣтъ; эта вся—мерцаніе и тайна, какъ ночь—пол-  
ная мглы и искръ, прелести и чудесь!..“

Онъ съ любовью артиста отдавался новому и неожидан-  
ному впечатлѣнію. И Софья, и Марѣинька, будто по вол-  
шебству, удалились на далекій планъ, и скуки какъ не бы-  
вало: опять повѣяло на него тепломъ, опять природа стала  
нарядна, все ожило.

Онъ торопливо уже зажигалъ діогеновскій фонарь и ос-  
вѣщалъ имъ эту новую, неожиданно-возникшую передъ  
нимъ фигуру.

— Вы, я думаю, забыли меня, Вѣра? спросилъ онъ.

Онъ самъ слышалъ, что голосъ его, безъ намѣренія, былъ  
нѣженъ, взглядъ не отрывался отъ нея.

— Нѣтъ, говорила она, наливая кофе:—я все помню.

— Все, но не меня?

— И васъ.

— Что же вы помните обо мнѣ?

— Да все.

— Я, признаюсь вамъ, слабо помню васъ обѣихъ: пом-  
ню только, что Марѣинька все плакала, а вы нѣтъ; вы были  
лукавы, изподтишка шалили, тихонько ѣли смородину, убѣ-  
гали однѣ въ садъ и сюда, въ домъ.

Она улыбнулась въ отвѣтъ.

— Вы сладко любите? спросила она, готовясь класть са-  
харъ въ чашку.

„Какъ она холодна и... свободна, не дичится совсѣмъ!“  
подумалъ онъ.

— Да. Скажите, Вѣра, вспоминали вы иногда обо мнѣ?  
спросилъ онъ.

— Очень часто: бабушка намъ уши прожужжала про васъ.

— Бабушка! А вы сами?

— А вы о насъ? спросила она, слѣдя пристально, какъ кофе льется въ чашку и мелькомъ взглянувъ на него!

Онъ молчалъ, она подала ему чашку и подвинула хлѣбъ. А сама начала ложечкой пить кофе, кладя иногда на ложку маленькіе кусочки мякиша.

Ему хотѣлось бы закидать ее вопросами, которые кипѣли въ головѣ, но такъ безпорядочно, что онъ не зналъ, съ котораго начать.

— Я ужъ былъ у васъ въ комнатѣ... Извините за нескромность... сказалъ онъ.

— Здѣсь ничего нѣтъ, замѣтила она, оглядываясь внимательно, какъ-будто спрашивая глазами, не оставила ли она чтó-нибудь.

— Да, ничего... Чтò это за книга? спросилъ онъ и хотѣлъ взять книгу у ней изъ-подъ руки.

Она отодвинула ее и переложила сзади себя, на этажерку. Онъ засмѣялся.

— Спрятали, какъ бывало, смородину въ ротъ! Покажите!

Она сдѣлала отрицательный знакъ головой.

— Вотъ какъ: читаете такія книги, что и показать нельзя! шутилъ онъ.

Она спрятала книгу въ шкафъ и сѣла противъ него, сложивъ руки на груди и разсѣянно глядя по сторонамъ, иногда взглядывая въ окно и, казалось, забывала, что онъ тутъ. Только когда онъ будилъ ея вниманіе вопросомъ, она обращала на него простой взглядъ.

— Хотите еще кофе? спросила она.

— Да, пожалуйста. Послушайте, Вѣра, мнѣ хотѣлось бы такъ много сказать вамъ...

Онъ всталъ и прошелся по комнатѣ, затрудняясь завязать съ нею непрерывный и продолжительный разговоръ.

Онъ вспомнилъ, что и съ Марѣинькой сначала не вязался разговоръ. Но тамъ это было отъ ея ребяческой застѣнчивости, а здѣсь не то. Вѣра не застѣнчива: это видно сразу, а какъ-будто холодна, какъ-будто вовсе не интересовалась имъ.

„Что̀ это значить: не научилась, что ли, она еще бояться и стыдиться, по природному невѣдѣнію, или хитрить, притворяется?“ думалъ онъ, стараясь угадать ее: — „вѣдь я все-таки новость для нея. Ужъ не бродить ли у ней въ головѣ: „Не хорошо, глупо не совладѣть съ впечатлѣніемъ, отдаться ему, разинуть ротъ и уставить глаза!“ Нѣтъ, быть не можетъ, это было бы слишкомъ тонко, изыскано для нея: не по-деревенски! Но во всякомъ случаѣ, что̀ бы она ни была, она—не Марѣинька. А какъ хороша, Боже мой! Вотъ куда запряталась такая красота!“

Ему хотѣлось скорѣй вывести ее на свѣжую воду, затронуть какую-нибудь живую струну, вызвать на объясненіе. Но чѣмъ онъ больше торопился, чѣмъ больше раздражался, тѣмъ она становилась холоднѣе. А онъ бросался отъ вопроса къ вопросу.

— У васъ была моя библіотека въ рукахъ? спросилъ онъ.

— Да, потомъ ее взялъ Леонтій Ивановичъ. Я была рада, что избавилась отъ заботы.

— Надѣюсь, онъ не всѣ книги взялъ? Вѣрно вы оставили какія-нибудь для себя?

— Нѣтъ, всѣ... кажется: Марѣинька какія-то взяла.

— А вы?.. развѣ вамъ не нужно было?

— Нѣтъ. Я прочла, что̀ мнѣ нравилось, и отдала.

— А что̀ вамъ нравилось?

Она молчала.

— Вѣра?

— Очень многое; теперь я забыла что именно, сказала она, поглядывая въ окно.

— Тамъ есть нѣсколько историческихъ увражей. Позія... читали вы ихъ?

— Иныя, да.

— Какія же?

— Право, не помню! нѣхотя прибавила она, какъ-будто утомляясь этими распросами.

— Вы любите музыку? спросилъ онъ.

Она вопросительно поглядѣла на него при этомъ новомъ вопросѣ.

— Какъ „люблю-ли?“ то-есть, играю ли сама, или слушать люблю?

— И то и другое.

— Нѣтъ, я не играю, а слушать... Гдѣ же здѣсь музыка?

— Что вы любите вообще?

Она опять вопросительно поглядѣла на него.

— Любите хозяйство, или рукодѣля, вышиваете?

— Нѣтъ, не умѣю. Вонъ Марѣинька любить и умѣть.

Райскій поглядѣлъ на нее, прошелся по комнатѣ и остановился передъ ней.

— Послушайте, Вѣра, вы.... боитесь меня? спросилъ онъ.

Она не поняла его вопроса и глядѣла на него во все глаза, почти допростодушія, несвойственнаго ея умному и проницательному взгляду.

— Отъ чего вы не высказываетесь, скрываетесь? началъ онъ:—вы думаете, можетъ быть, что я способенъ... пошутить, или небрежно обойтись... Словомъ, вамъ, можетъ быть, дико: вы конфузитесь, робѣете...

Она смотрѣла на него съ явительнымъ удивленіемъ, такъ,



что онъ въ одно мгновеніе понялъ, что она не конфузится, не дичится и не робѣетъ.

Вопросъ былъ глупъ. Ему стало еще досаднѣе.

— Вотъ Марейнька боится, сказалъ онъ, желая поправиться:—и сама не знаетъ почему...

— А я не знаю, чего надо бояться, и потому, можетъ быть, не боюсь, отвѣчала она съ улыбкой.

— Но что же вы любите? вдругъ кинулся онъ опять къ вопросу.—Книга васъ не занимаетъ; вы говорите, что вы не работаете... Есть же что-нибудь: цвѣты, можетъ быть, любите...

— Цвѣты? да, люблю ихъ вонъ тамъ, въ саду а не въ комнатѣ, гдѣ надо за ними ходить.

— И природу вообще?

— Да, этотъ уголокъ, Волгу, обрывъ — вонъ этотъ лѣсъ и садъ—я очень люблю! произнесла она, и взгляды ея покоились съ очевиднымъ удовольствіемъ на всей лежавшей передъ окнами мѣстности.

— Что же васъ такъ привязываетъ къ этому уголку?

Она молчала, продолжая съ наслажденіемъ останавливать ласковый взглядъ на каждомъ деревѣ, на бугрѣ, и, наконецъ, на Волгѣ.

— Все, сказала она равнодушно.

— Да, это прекрасно, но однако этого мало: одинъ видъ, одинъ берегъ, горы, лѣсъ — все это прискучило бы, еслибъ это не было населено чѣмъ-нибудь живымъ, что вызывало и дѣлило бы эту симпатію.

— Да, это правда: прискучило бы! подтвердила и она.

— Стало быть, у васъ есть кто-нибудь здѣсь, съ кѣмъ вы дѣлитесь сочувствіемъ, мѣняетесь мыслями?

Она молчала и будто не слушала его.

— Вѣра?

— А? Я не одна живу, вы знаете! сказала она, вслушавшись въ его вопросъ:—Бабушка, Марейнька...

— Будто вы съ ними дѣлитесь сочувствіемъ, мѣняетесь мыслями?

Она взглянула на него, и въ глазахъ ея стоялъ вопросъ: почему же нѣтъ?

— Нѣтъ, началъ онъ:—есть ли-кто нибудь, съ кѣмъ бы вы могли стать вонъ тамъ, на краю утеса, или сѣсть въ чащѣ этихъ кустовъ—тамъ и скамья есть — и просидѣть утро, или вечеръ, или всю ночь, и не замѣтить времени, проговорить безъ умолку, или промолчать полдня, только чувствуя счастье — понимать другъ друга, и понимать не только слова, но знать о чемъ молчить другой, и чтобъ онъ умѣлъ читать въ этомъ вашемъ бездонномъ взглядѣ вашу душу, шепотъ сердца... вотъ что!

Она съ опущенными рѣсницами будто заснула въ задумчивости.

— Есть-ли такой вашъ двойникъ, продолжалъ онъ, глядя на нее пылливо,—который бы невидимо ходилъ тутъ около васъ, хотя бы самъ былъ далеко, чтобы вы чувствовали, что онъ близко, что въ немъ носится частица вашего существованія, и что вы сами носите въ себѣ будто часть чужаго сердца, чужихъ мыслей, чужую долю на плечахъ, и что не одними только своими глазами смотрите на эти горы и лѣсъ, не одними своими ушами слушаете этотъ шумъ и пьете жадно воздухъ теплой и темной ночи, а вмѣстѣ...

Она взглянула на него, сдѣлала какое-то движеніе, и въ одно время съ этимъ быстрымъ взглядомъ блеснулъ какой-то, будто внезапный свѣтъ отъ ея лица, отъ этой улыбки, отъ этого живаго движенія. Райскій остановился на минуту, но блескъ пропалъ и она неподвижно слушала.

— Тогда только, продолжалъ онъ, стараясь объяснить себѣ смыслъ ея лица, — въ этомъ во всемъ и есть значеніе,

тогда это и роскошь, и счастье. Боже мой, какое счастье! Есть-ли у васъ здѣсь такой двойникъ,—это другое сердце, другой умъ, другая душа, и подѣлились-ли вы съ нимъ, взаимнѣ взятаго у него, своей душой и своими мыслями?... Есть ли?

— Есть! съ примѣсю грудного шепота произнесла она.

— Есть! Кто же это счастливое существо? съ завистью, почти съ испугомъ, даже ревностью, спросилъ онъ.

Она помолчала немного.

— А... попадья, у которой я гостила: вамъ вѣрно сказали о ней! отвѣчала Вѣра и, вставъ со стула, стряхнула съ передника крошки отъ сухарей.

— Попадья! недовѣрчиво повторилъ Райскій.

— Да, она—мой двойникъ: когда она гостить у меня, мы часто и долго любимся съ ней Волгой и не наговоримся, сидимъ вонъ тамъ на скамьѣ, какъ вы угадали... Вы не будете больше пить кофе? Я велю убрать...

— Попадья! повторилъ онъ задумчиво, не слушая ее и не замѣтивъ, что она улыбнулась, что у ней отъ улыбки задрожалъ подбородокъ.

А у него на лицѣ повисло облако недоумѣнія, недовѣрчивости, какой-то безпричинной и безцѣльной грусти. Онъ разбиралъ себя и наконецъ разобралъ, что онъ допрашивался у Вѣры о томъ, населялъ-ли кто-нибудь для нея этотъ уголь живымъ присутствіемъ, не изъ участія, а частію за тѣмъ, чтобъ испытать ее, частію чтобы какъ будто отрекомендоваться ей, заявить свой взглядъ, чувства...

Онъ долженъ былъ сознаться, что втайнѣ надѣялся найти въ ней ту же свѣжую, молодую, непочатую жизнь, какъ въ Марѣинькѣ, и что, пока безсознательно, онъ самъ просился начать ее, населить эти мѣста для нея собою, быть ея двойникомъ.

Словомъ, тѣ же желанія и стремленія, какъ при встрѣ-

чѣ съ Бѣловодовой, съ Марѣинькой, заговорили и теперь, но только сильнѣе, непобѣдимѣе, потому что Вѣра была заманчиво, таинственно-прекрасна, потому что въ ней вся прелесть не являлась съ разу, какъ въ тѣхъ двухъ, и въ многихъ другихъ, а пряталась и раздражала воображеніе, и это еще при первомъ шагѣ!

Чтѣ-же было еще дальше, впереди: кто она, что она? Лукавая кокетка, тонкая актриса, или глубокая и тонкая женская натура, одна изъ тѣхъ, которыя, по волѣ своей, играютъ жизнью человѣка, топчуть ее, заставляя влачить жалкое существованіе, или даютъ уже такое счастье, лучше, жарче, живѣе какого не дается человѣку.

— Хотите еще кофе? повторила она.

— Нѣтъ, не хочу.—А бабушка, Марѣинька: вы любите ихъ? задумчиво перешелъ онъ къ новому вопросу.

— Кого же мнѣ любить, какъ не ихъ?

— А меня? вдругъ сказалъ онъ, переходя въ шутливый тонъ.

— Пожалуй, я и васъ буду любить, сказала она, глядя на него веселымъ взглядомъ:—если... заслужите.

— Вотъ какъ! вѣдь я вамъ братъ: вы и такъ должны меня любить.

— Я никому ничего не должна.

— Хвастунья! „Я никому не обязана, никому не кланяюсь, никого не боюсь: я горда!..“ такъ что-ли?

— Нѣтъ, не такъ!

„Еще не выросла, не выбилась изъ этихъ общихъ мѣстъ жизни. Провинція!“ думалъ Райскій сердито, ходя по комнатѣ.

— Какъ же заслужить это счастье? спросилъ онъ съ ироніей:—позвольте спросить.

— Какое счастье?

— Счастье пріобрѣсти вашу любовь.



— Любовь, говорятъ, дается безъ всякой заслуги, такъ. Вѣдь она слѣпая!.. Я не знаю впрочемъ...

— А иногда приходитъ и сознательно, замѣтилъ Райскій: — путемъ довѣренности, уваженія, дружбы. Я бы хотѣлъ начать съ этого и окончить первымъ. Такъ что же надо сдѣлать, чтобъ заслужить ваше вниманіе, милая сестра?

— Не обращать на меня вниманія, сказала она, помолчавъ.

— Какъ, не замѣчать васъ, не...

— Не дѣлать такихъ большихъ глазъ, вотъ какъ теперь! подсказала она:—не ходить безъ меня въ мою комнату, не допытываться, что я люблю, что нѣтъ...

— Гордость! А скажите, сестра, вы... извините, я откровененъ: вы не рисуетесь этой гордостью?

Она молчала.

— Не хочется вамъ похвастаться независимостью характера? Вы можете быть стремитесь къ selfgovernment и хотите щегольнуть эмансипаціей отъ здѣшнихъ авторитетовъ, бабушки, Никола Андреевича, да?

— Вы, кажется, начинаете „заслуживать мое довѣріе и дружбу!“ смѣясь замѣтила она, потомъ сдѣлалась серьезна и казалась утомленной или скучной.—Я не совсѣмъ понимаю, что вы сказали, прибавила она.

— Я потому это говорю, оправдывался онъ, — что бабушка сказывала мнѣ, что вы горды.

— Бабушка? какая, право! Вездѣ ее спрашиваютъ! Я совсѣмъ не горда. И по какому случаю она говорила вамъ это?

— Потому что я вамъ съ Марейничкой подарилъ вотъ это все, оба дома, сады, огороды. Она говорила, что вы не примете. Правда-ли?

— Мнѣ все равно, ваше-ли это, мое-ли, лишь бы я была здѣсь.

— Да она не хотѣла оставаться здѣсь: она хотѣла уѣхать въ Новоселово...

— Ну? отрывисто, грудью спросила она, будто съ тревогой.

— Ну, я все удалилъ: куда переѣзжать? Марейнъка приняла подарокъ, но только съ тѣмъ, чтобы и вы приняли. И бабушка поколебалась, но окончательно не рѣшилась, ждетъ—кажется, что скажете вы. А вы что скажете? Примете, да? какъ сестра отъ брата?

— Да, я приму, поспѣшно сказала она. — Нѣтъ, зачѣмъ принимать: я куплю. Продайте мнѣ: у меня деньги есть. Я вамъ пятьдесятъ тысячъ дамъ.

— Нѣтъ, такъ я не хочу.

Она остановилась, подумала, бросила взглядъ на Волгу, на обрывъ, на садъ.

— Хорошо, какъ хотите — я на все согласна, только чтобъ намъ остаться здѣсь.

— Такъ я велю бумагу написать?

— Да... благодарю, говорила она, подойдя къ нему и протянувъ ему обѣ руки. Онъ взялъ ихъ, пожалъ и поцѣловалъ ее въ щеку. Она отвѣчала ему крѣпкимъ пожатіемъ и поцѣлуемъ на воздухъ.

— Видно вы въ самомъ дѣлѣ любите этотъ уголокъ и старый домъ?

— Да, очень...

— Послушайте, Вѣра: дайте мнѣ комнату здѣсь въ домѣ—мы будемъ вмѣстѣ читать, учиться... хотите учиться?

— Чему учиться? съ удивленіемъ спросила она.

— Вотъ видите: мнѣ хочется пройти съ Марейнъкой практически исторію литературы и искусства. Не пугайтесь, поспѣшилъ онъ прибавить, замѣтивъ, что у ней на лицѣ по-

казался какой-то туманъ: — курсъ весь будетъ состоятъ въ чтеніи и разговорахъ... Мы будемъ читать все, старое и новое, свое и чужое, — передавать другъ другу впечатлѣнія, спорить... Это займетъ меня, можетъ быть, и васъ. Вы любите искусство?

Она тихонько зѣвнула въ руку: онъ замѣтилъ.

„Кажется, ее нельзя учить, да и нечему: она, или уже все знаетъ, или не хочетъ знать!“ рѣшилъ онъ про себя.

— А вы... долго останетесь здѣсь? спросила она, не отвѣчая на его вопросъ.

— Не знаю: это зависитъ отъ обстоятельствъ и... отъ васъ.

— Отъ меня? повторила она и задумалась, глядя въ сторону.

— Пойдемте туда, въ тотъ домъ. Я покажу вамъ свои альбомы, рисунки... мы поговоримъ... предлагалъ онъ.

— Хорошо, подите впередъ, а я приду: мнѣ надо тутъ вынуть свои вещи, я еще не разобралась...

Онъ медлилъ. Она, держась за дверь, ждала, чтобъ онъ ушелъ.

„Какъ она хороша, Боже мой! И какая язвительная красота!“ думалъ онъ, идучи къ себѣ и оглядываясь на ея окна.

— Вѣра Васильевна пріѣхала! съ живостью сказалъ онъ Якову въ передней.

— Бабушка, Вѣра пріѣхала! крикнулъ онъ, проходя мимо бабушкинаго кабинета и постучавъ въ дверь.

— Марѣинька! закричалъ онъ у лѣстницы, ведущей въ Марѣинькину комнату:—Вѣрочка пріѣхала!

Крикъ, шумъ, восклицанія, звонъ ключей, шинѣе самоуара, бѣготня — были отвѣтомъ на принесенную имъ вѣсть.

Онъ проворно раскопалъ свои папки, бумаги, вынесъ въ

залу, разложили на столѣ и съ нетерпѣніемъ ждалъ, когда Вѣра отдѣлается отъ объятій, ласкъ и распросовъ бабушки и Марейники и прибѣжить къ нему продолжать начатый разговоръ, которому онъ не хотѣлъ предвидѣть конца. И самъ удивлялся своей прыти, стыдился этой торопливости, какъ-будто въ самомъ дѣлѣ „хотѣлъ заслужить вниманіе, довѣріе и дружбу...“

„Постой-же,“ думалъ онъ, я „докажу, что ты больше ничего, какъ дѣвочка передо мной!..“

Онъ съ нетерпѣніемъ ждалъ. Но Вѣра не приходила. Онъ располагалъ увлечь ее въ бездонный разговоръ объ искусствѣ, откуда шагнулъ бы къ красотѣ, къ чувствамъ и т. д.

„Не все-же открыла ей попададя!“ думалъ онъ:— „не всѣ стороны ума и чувства извѣдала она: не успѣла, некогда! Посмотримъ, будешь ли ты владѣть собою, когда...“

Но она все нейдетъ. Его взяло зло, онъ собралъ рисунки и только хотѣлъ унести опять къ себѣ на верхъ, какъ распахнулась дверь и предъ нимъ предстала... Полина Карповна, закутанная, какъ въ облака, въ кисейную блузу, съ голубыми бантами на шеѣ, на груди, на желудкѣ, на плечахъ, въ прозрачной шляпкѣ съ колосьями и незабудками. Сзади шелъ тотъ же кадетъ, съ вѣеромъ и складнымъ стуломъ.

— Боже мой! болѣзненно произнесъ Райскій.

— *Bonjour!* сказала она:— не ждали? вижю, вижю! *Du courage!* Я все понимаю. А мы съ Мишелемъ были въ рошѣ и зашли къ вамъ.—*Michel! Saluez donc monsieur et mettez tout cela de côté!*—Что это у васъ? ахъ, альбомы, рисунки, произведенія вашей музы! Я заранѣе безъ ума отъ нихъ: покажите, покажите, ради Бога! Садитесь сюда, ближе, ближе...

Она осѣнила диванъ и нѣсколько креселъ своей юбкой.



Райскому страхъ какъ хотѣлось пустить въ нее панками и тетрадами. Онъ стоялъ, не зная, уйти-ли ему внезапно, оставивъ ее тутъ, или покориться своей участи и показать рисунки.

— Не конфузьтесь, будьте смѣлѣе, говорила она. — Michel? allez vous promener un peu au le jardin! Садитесь, сюда, ближе! продолжала она, когда юноша ушелъ.

Райскій внезапно разразился нервнымъ хохотомъ и сѣлъ подлѣ нея.

— Вотъ такъ! Я вижу, что вы угадали меня... прибавила она шепотомъ.

Райскій окончательно развеселился:

„Эта, по крайней мѣрѣ, играетъ наивно комедію, не скрывается и не окружаетъ себя туманомъ, какъ та...“ думалъ онъ.

— Ахъ, какъ это мило! charmant, ce paysage! говорила между тѣмъ Крицкая, разсматривая рисунки. — Qu'est-ce que c'est que cette belle figure? спрашивала она, останавливаясь надъ портретомъ Бѣловодовой, сдѣланнымъ акварелью. — Ah, que c'est beau! Это ваша пассія — да? признайтесь.

— Да.

— Я знала — oh, vous êtes terrible, allez! прибавила она, ударивъ его легонько вѣеромъ по плечу.

Онъ засмѣялся.

— N'est-ce pas? Много вздыхаютъ по васъ? признайтесь. А здѣсь еще чтó будетъ!

Она остановила на немъ плутовскій взглядъ.

— Monstre! произнесла она лукаво.

„Боже мой! Какая противная: ее прибить можно!“ со скрежетомъ думалъ онъ, опять впадая въ ярость.

— У меня есть просьба къ вамъ, M-r Boris... надѣюсь, я уже могу называть васъ такъ... Faites mon portrait.

Онъ молчалъ.

— *Ma figure y prête, j'espère?*

Онъ молчалъ.

— Вы молчите, слѣдовательно это рѣшено: когда я могу придти? Какъ мнѣ одѣться? Скажите, я отдаюсь на вашу волю—я вся ваша покорная раба... говорила она шепелявымъ шепотомъ, нѣжно глядя на него и готовясь какъ-будто склонить голову къ его плечу.

— Пустите меня, ради Бога: я на свѣжій воздухъ хочу!.. сказалъ онъ въ тоскѣ, вставая и выпутывая ноги изъ ея юбокъ.

— Ахъ, вы въ ажитации: это натурально—да, да, я этого хотѣла и добила! говорила она, торжествуя и обмахиваясь вѣеромъ.—А когда портретъ?

Онъ молча выпутывалъ ноги изъ юбокъ.

— Вы въ плѣну, не выпутаетесь! шаловливо дразнила она, не пуская его.

— Пустите меня: не то закричу!

Въ это время отворилась тихонько дверь и на порогѣ показалась Вѣра. Она постояла нѣсколько минутъ, прежде нежели они ее замѣтили. Наконецъ Крицкая первая увидѣла ее.

— Вѣра Васильевна: вы воротились, ахъ, какое счастье! *Vous nous manquiez!* Посмотрите, вашъ cousin въ плѣну, неправда-ли, какъ левъ въ сѣтяхъ! Здоровы-ли вы, моя милая, какъ поправились, пополнѣли...

И Крицкая шла цѣловаться съ Вѣрой. Вѣра глядѣла на эту сцену молча, только подбородокъ дрожалъ у ней отъ улыбки.

— Я васъ давно ждалъ! замѣтилъ ей Райскій сухо.

— Я хорошо сдѣлала, что замѣшкала, съ вѣжливой ироніей сказала Вѣра, поздоровавшись съ Крицкой. — Полина Карповна подоспѣла кстати...

— N'est-ce pas? подтвердила Крицкая.

— Она вѣрно лучше меня пойметъ: я безтолкова очень, у меня вкуса нѣтъ, продолжала Вѣра, и взявъ два, три рисунка, небрежно поглядѣла съ минутой на каждый, потомъ, положивъ ихъ, подошла къ зеркалу и внимательно смотрѣлась въ него.

— Какая я блѣдная сегодня! У меня немного голова болитъ: я худо спала эту ночь. Пойду отдохну. До свиданія, cousin! Извините, Полина Карповна! прибавила она и скользнула въ дверь.

Шаговъ ея не слышно было за дверью, только скрипъ ступеней давалъ знать, что она поднималась по лѣстницѣ въ комнату Марѣиньки.

— Теперь мы опять одни! сказала Полина Карповна, осѣняя диванъ и половину круглаго стола юбкой:—давайте смотреть! Садитесь сюда, поближе!..

Райскій молча, однимъ движеніемъ руки, сгребъ всѣ рисунки и тетради въ кучу, тиснулъ все въ самую большую папку, сильно захлопнулъ ее и, не оглядываясь, сердитыми шагами вышелъ вонъ.

## XVII.

Райскій рѣшилъ платить Вѣрѣ равнодушіемъ, не обращать на нее никакого вниманія, но вмѣсто того дулся дня три. При встрѣчѣ съ ней, скажетъ ей вскользь слова два, и въ этихъ двухъ словахъ проглядываетъ досада.

Онъ запирался у себя, писалъ программу романа и внесъ уже на страницы ея замѣтку „о ядовитости скуки“. Страдая этимъ, уже не новѣйшимъ недугомъ, онъ подвергалъ его психологическому анализу, вынимая данныя изъ себя.

Ему хотѣлось ухватить куда-нибудь еще подальше и поглуше, хоть въ бабушкино Новоселово, чтобъ наединѣ и въ

тишинѣ вдуматься въ ткань своего романа, уловить эту сѣть жизненныхъ сплетеній, дать одну точку всей картинѣ, осмыслить ее и возвести въ художественное созданіе.

Здѣсь все мѣшается ему. Вонъ издали доносится до него пѣсенка Марѣиньки:—Ненаглядный ты мой, какъ люблю я тебя! поетъ она звонко, чисто, и никакого звука любви не слышно въ этомъ голосѣ, который вольно раздается среди тишины въ огородѣ и саду; потомъ слышно, какъ она безпечно прервала пѣніе, и тѣмъ же тономъ, какимъ пѣла, приказываетъ изъ окна Матренѣ собрать съ грядъ салату, потомъ черезъ минуту ужъ звонко смѣется въ толпѣ сосѣднихъ дѣтей.

Вотъ нѣсколько крестьянскихъ подводъ въѣхали на дворъ, съ овсомъ, съ мукой; скрипъ телѣгъ, говоръ дворни, хлопанье дверей—все мѣшается.

Дальше изъ окна видно, какъ золотится рожь, бѣлѣетъ гречиха, маковый цвѣтъ да кашка, красными и розовыми пятнами, пестрятъ поля и отвлекаютъ глаза и мысль отъ традѣй.

Райскій долго боролся, чтобъ не глядѣть, наконецъ украдкой отъ самого себя взглянулъ на окно Вѣры: тамъ тихо, не видать ея самой, только лиловая занавѣска чуть-чуть колыхнется отъ вѣтра.

Вчера она досидѣла до конца вечера въ кабинетѣ Татьяны Марковны: всѣ были тамъ и Марѣинька, и Титъ Никоничъ. Марѣинька работала, разливала чай, потомъ играла на фортепіано. Вѣра молчала, и если ее спросятъ о чемъ-нибудь, то отвѣчала, но сама не заговаривала.

Она чаю не пила, за ужиномъ раскопала два-три блюда вилкой, взяла что-то въ ротъ, потомъ съѣла ложку варенья и тотчасъ послѣ стола ушла спать.

Чѣмъ менѣе Райскій замѣчалъ ее, тѣмъ она была съ нимъ ласковѣе, хотя, не смотря на требованіе бабушки, не



поцѣловала его, звала не братомъ, а кузеномъ, и все еще не переходила на „ты“, а онъ уже перешелъ, и бабушка приказывала и ей перейти. А чуть лишь онъ открывалъ на нее большіе глаза, пускался въ распросы, она становилась чутка, осторожна и уходила къ себѣ.

Райскому досадно было на себя, что онъ дуется на нее. Если ужъ Вѣра едва замѣтила его появленіе, то ему и недавно хотѣлось бы закутаться въ мантію совершенной недоступности, небрежности и равнодушія, забывать, что она тутъ, подлѣ него,—не съ цѣлію порисоваться тѣмъ передъ нею, а искренно стать въ такое отношеніе къ ней.

Чѣмъ онъ больше старался объ этомъ, тѣмъ сильнѣе, къ досадѣ его, проглядывало мелочное и настойчивое наблюденіе за каждымъ ея шагомъ, движеніемъ и словомъ. Иногда онъ и выдержитъ себя минуты на двѣ, но любопытство мало по малу раздражитъ его и онъ броситъ быстрый полу-взглядъ изъ подлѣбья—все и пропало. Онъ ужъ и не отводитъ потомъ глазъ отъ нея.

Она столько вносила перемѣны съ собой, что съ ея приходомъ, какъ-будто падалъ другой свѣтъ на предметы; простая комната превращалась въ какой-то храмъ, и Вѣра, какъ бы ни запрятывалась въ уголъ, всегда была на первомъ планѣ, точно поставленная на пьедесталъ и освѣщенная огнями или луннымъ свѣтомъ.

Идетъ-ли она по дорожкѣ сада, а онъ сидитъ у себя за занавѣской и пишетъ, ему бы сидѣть, не поднимать головы и писать; а онъ, при своемъ желаніи до боли не показать, что замѣчаетъ ее, тихонько, какъ шалунъ, украдкой, подниметъ уголокъ занавѣски и слѣдитъ, какъ она идетъ, какая мина у ней, на что она смотритъ, угадываетъ ея мысль. А она ужъ конечно замѣтитъ, что уголокъ занавѣски приподнялся, и угадаетъ, зачѣмъ приподнялся.

Если самъ онъ идетъ по двору или по саду, то пройти

бы ему до конца, не взглянувъ вверхъ; а онъ начнетъ маневрировать, посмотреть въ противоположную отъ ея оконъ сторону, оборотится къ нимъ будто невзначай, и встрѣтитъ ея взглядъ, иногда съ затаенной насмѣшкой надъ его маневромъ. Или спросить о ней Марину, гдѣ она, что дѣлаетъ, а если потеряетъ ее изъ вида, то бѣгаетъ, отыскивая точно потерянную булавку, и увидѣвши ее, начинаетъ разыгрывать небрежнаго.

Иногда онъ дня по два не говорилъ, почти не встрѣчался съ Вѣрой, но во всякую минуту зналъ, гдѣ она, что дѣлаетъ. Вообще способности его, устремленные на одинъ, занимающій его предметъ, изоцрѣлись до невѣроятной тонкости, а теперь, въ этомъ безмолвномъ наблюденіи за Вѣрой, онъ достигли степени ясновидѣнія.

Онъ за стѣнами какъ будто слышалъ ея голосъ, и безсознательно соображалъ и предвидѣлъ ея слова и поступки. Онъ въ нѣсколько дней изучилъ ея привычки, вкусы, нѣкоторыя склонности, но все это относилось пока къ ея внѣшней и домашней жизни.

Онъ успѣлъ опредѣлить ея отношенія къ бабушкѣ, къ Марѣинкѣ, положеніе ея въ этомъ уголкѣ и все что относится къ образу жизни и быта.

Но нравственная фигура самой Вѣры оставалась для него еще въ тѣни.

Въ разговорѣ она не увлекалась въ слѣдъ за его пылкой фантазіей, на шутку отвѣчала легкой усмѣшкой, и если удавалось ему окончательно разсмѣшить ее, у ней отъ смѣха дрожали подбородокъ.

Отъ смѣха она переходила къ небрежному молчанію, или просто задумывалась, забывая, что онъ тутъ, и потомъ просыпалась, почти содрогаясь, отъ этой задумчивости, когда онъ будилъ ее движеніемъ, или вопросомъ.

Она не любила, чтобы къ ней приходили въ старый

домъ. Даже бабушка не тревожила ее тамъ, а Марейнюку она безъ церемоніи удаляла, да та и сама боялась ходить туда.

А когда Райскій заставлялъ ее тамъ, она очевидно переживала, не уйдетъ ли онъ, и если онъ располагался подлѣ нея, она, посидѣвши изъ учтивости минутъ десять, уходила.

Привязанностей у ней, повидимому, не было никакихъ, хотя это было и неестественно въ дѣвушкѣ: но такъ казалось наружно, а проникать въ душу къ себѣ она не допускала. Она о бабушкѣ и о Марейнкѣ говорила покойно, почти равнодушно.

Занятій у нея постоянныхъ не было. Читала, какъ и шила она, мимоходомъ, и о прочитанномъ мало говорила, на фортепіано не играла, а иногда брала неопредѣленные, безсвязные аккорды и къ нѣкоторымъ долго прислушивалась, или когда принесутъ Марейнкѣ кучу нотъ, она брала то тѣ, то другія:—Сыграй вотъ это, говорила она: — Теперь вотъ это, потомъ это, слушала, глядѣла пристально въ окно и болѣе къ проигранной музыкѣ не возвращалась.

Райскій замѣтилъ, что бабушка, надѣлая щедро Марейнюку замѣчаніями и предостереженіями на каждомъ шагу, обходила Вѣру съ какой-то осторожностью, не то щадила ее, не то не надѣялась, что эти сѣмена не пропадутъ даромъ.

Но бывали случаи, и Райскій, по мелочности ихъ, не могъ еще наблюсти, какіе именно, какъ вдругъ Вѣра охватывалась какой-то лихорадочною дѣятельностью, и тогда она кипѣла изумительной быстротой и обнаруживала тьму мелкихъ способностей, какихъ въ ней нельзя было подозревать—въ хозяйствѣ, въ туалетѣ, въ разныхъ мелочахъ.

Такъ она однажды изъ куска кисеи часа въ полтора сдѣлала два чепца, одинъ бабушкѣ, другой—Крицкой, съ тончайшимъ вкусомъ, работая надъ ними со страстью, съ ад-

скимъ проворствомъ и одушевленіемъ, потомъ черезъ пять минутъ забыла объ этомъ и сидѣла опять праздно.

Иногда она какъ-будто прочтетъ упрекъ въ глазахъ бабушки, и тогда особенно одолѣетъ ея дикая, порывистая дѣятельность. Она примется помогать Марѣинкѣ по хозяйству, и въ пять, десять минутъ, все порывами, передѣлаетъ бездну, возьметъ что-нибудь въ руки, быстро сдѣлаетъ, оставитъ, забудетъ, примется за другое, опять сдѣлаетъ и выйдетъ изъ этого также внезапно, какъ войдетъ.

Бабушка иногда жалуется, что не управится съ гостями, ропщетъ на Вѣру за дикость, за то, что не хочетъ помочь.

Вѣра хмурится и очевидно страдаетъ, что не можетъ перемочь себя, и наконецъ неожиданно явится среди гостей — и съ такимъ веселымъ лицомъ, глаза теплятся такимъ радушіемъ, она принесетъ столько тонкаго ума, граціи, что бабушка теряется до испуга.

Ее ставало на цѣлый вечеръ, иногда на цѣлый день, а завтра, точно оборвется: опять уйдетъ въ себя — и никто не знаетъ, что у ней на умѣ или на сердцѣ.

Вотъ все, что пока могъ наблюсти Райскій, т. е. все, что видѣли и знали другіе. Но чѣмъ меньше было у него положительныхъ данныхъ, тѣмъ дружнѣ работала его фантазія, въ союзѣ съ анализомъ, подбирая ключъ къ этой замкнутой двери.

Съ тѣхъ поръ, какъ у Райскаго явилась новая задача — Вѣра, онъ рѣже и холоднѣе спорилъ съ бабушкой и почти не занимался Марѣинкой, особенно послѣ вечера въ саду, когда она не подала никакихъ надеждъ на превращеніе изъ наивнаго, подлѣ чаю ограниченнаго, ребенка въ женщину.

Между тѣмъ они трое почти были неразлучны — т. е. Райскій, бабушка и Марѣинка. Послѣ чаю онъ съ часъ си-



дѣлъ у Татьяны Марковны въ кабинетѣ, послѣ обѣда такъ же, а въ дурную погоду—и по вечерамъ.

Вѣра являлась не на долго, здоровалась съ бабушкой-сестрой, потомъ уходила въ старый домъ, и не слышать было, что она тамъ дѣлаетъ. Иногда она вовсе не приходила, а присылала Марину принести ей кофе туда.

Бабушка немного хмурилась, шептала про себя:—Привередница, дикарка! но на своемъ не настаивала.

Равнодушный ко всему на свѣтѣ, кромѣ красоты, Райскій покорялся ей до рабства, былъ холоденъ ко всему, гдѣ не находилъ ея, и грубъ, даже жестокъ, ко всякому безобразію.

Не только отъ міра внѣшняго, отъ формы, онъ настоятельно требовалъ красоты, но и на міръ нравственный смотрѣлъ онъ, не какъ онъ есть, въ его наружно-дикий, суровой разладицѣ, не какъ на початую отъ рожденія міра и неконченную работу, а какъ на гармоническое цѣлое, какъ на готовый уже парадный строй созданныхъ имъ самимъ идеаловъ, съ dokonченными въ его умѣ чувствами и стремленіями, огнемъ, жизнью и красками.

У него не ставало терпѣнія купаться въ этой вознѣ, суетѣ, въ черновой работѣ, терпѣливо и мучительно укладывать силы въ приготовленіе къ тому праздничному моменту, когда человѣчество почувствуетъ, что оно готово, что достигло своего апогея, когда насталъ бы и понесся въ вѣчность, какъ рѣка, одинъ безошибочный на вѣчныя времена установившійся потокъ жизни.

Онъ только оскорблялся ежеминутнымъ и повсюднымъ разладомъ дѣйствительности съ красотой своихъ идеаловъ, и страдалъ за себя и за весь міръ.

Онъ вѣрилъ въ идеальный прогрессъ—въ совершенствованіе, какъ формы, такъ и духа, сильнѣе, нежели матеріалисты вѣрятъ въ утилитарный прогрессъ; но страдалъ за его

черепаший шагъ и впадалъ въ глубокую хандру, не вынося даже мелкихъ царапинъ близкаго ему безобразія.

Тогда всё люди казались ему евангельскими гробами, полными праха и костей. Бабушкина старческая красота, т. е. красота ея характера, склада ума, старыхъ цѣльныхъ правовъ, доброты и проч., начала блѣднѣть. Кое-гдѣ мелькнетъ въ глаза неразумное упорство, кое-гдѣ эгоизмъ; феодалныя замашки ея казались ему животнымъ тиранствомъ, и въ минуты унынія, онъ не хотѣлъ даже извинить ее, ни вѣкомъ, ни воспитаніемъ.

Тить Никоновичъ былъ старый, отжившій баринъ, ни на что не нужный, Леонтій—школьный педантъ, жена его —развратная дура, вся дворня въ Малиновкѣ — жадная стая дикихъ, не осмысленная никакой человѣческой чертой.

Весь этотъ уголокъ, хозяйство съ избами, мужиками, скотиной и живностью, терялъ колоритъ веселаго и счастливаго гнѣзда, а казался просто хлѣвомъ, и онъ бы давно уѣхалъ оттуда, еслибъ... не Вѣра!

Въ одинъ такой часъ хандры, онъ лежалъ съ сигарой на кушеткѣ въ комнатѣ Татьяны Марковны. Бабушка, не сидѣвшая никогда безъ дѣла, съ карандашемъ повѣряла какіе-то, принесенные ей Савельемъ, счеты.

Передъ ней лежали на бумажкахъ кучки овса, ржи. Марейника царапала иглой клочекъ кружева, нашитаго на бумажкѣ, такъ пристально, что сжала губы, и около носа и лба у ней набѣжали морщинки. Вѣры, по обыкновенію, не было.

Райскій случайно поглядѣлъ на Марейнику и засмѣялся. Она покраснѣла и поглядѣла на него вопросительно.

— Какую ты смѣшную рожицу сдѣлала, сказалъ онъ.

— Ну, слава Богу, улыбнулось красное солнышко! замѣтила Татьяна Марковна.—А то смотрѣть тошно.

Онъ вздохнулъ.

— Чтѣ́ вздыхаешь-то: на свѣтѣ́, что ли, тяжело жить!

— И такъ тяжело, бабушка. Ужели вамъ легко?

— Полно Бога гнѣвить! Видно въ самомъ дѣлѣ́ рожна захотѣ́ль.

— Хотя бы и рожна, да чтобъ шевелилось чтѣ́-нибудь въ жизни, а то—настоящій гробъ!

— Прости ему, Господи: самъ не знаетъ, чтѣ́ говорить! Эй, Борюшка, не накликай бѣ́ду! Не сладко покажется, какъ бревно ударить по головѣ́. Да, да, помолчавши, съ тихимъ вздохомъ, прибавила она:—это такъ ужъ въ судьбѣ́ человѣ́ческой написано—заснаваться. Пришла и твоя очередь зазнаться: видно наука нужна. Образумить тебя судьба, помянешь меня!

— Чѣ́мъ же, бабушка: рожномъ? Я не боюсь. У меня—никого и ничего: какого же мнѣ́ рожна ждать.

— А вотъ узнаешь: всякому свой! Иному даетъ на всю жизнь — и несетъ его, тянетъ точно лямку. Вонъ Кирила Кирилычъ... бабушка сейчасъ бросилась къ любимому своему способу, къ примѣ́ру: — богатъ, здоровехонекъ, весь вѣ́къ хи-хи-хи, да ха-ха-ха, да жена вдругъ ушла: съ тѣ́хъ поръ и повѣ́силъ голову, — шестой годъ ходитъ, какъ тѣ́нь... А у Егора Ильича...

— У меня нѣ́тъ жены, стало быть и опасности нѣ́тъ...

— А ты женись!..

— Зачѣ́мъ: чтобъ жена ушла?

— Не всѣ́ жены уходятъ: хочешь, я тебѣ́ посватаю?

— Нѣ́тъ, благодарю; придумайте для меня другой рожонъ.

— Судьба придумаетъ! Да сохрани тебя, Господи, полно накликать на себя! А лучше вотъ что: поѣ́демъ со мной въ городъ съ визитами. Мнѣ́ проходу не даютъ, будто я не пускаю тебя. Вице-губернаторша, Ниль Андреевичъ, княгиня: вотъ бы къ ней! Да ужъ и къ безстыжей надо заѣ́хать,

къ Полинѣ Карповнѣ, чтобъ не шипѣла! А потомъ къ откупщику...

— Это зачѣмъ?

— Послѣ скажу.

— Зачѣмъ, Марѣинька, бабушка везетъ меня къ откупщику—не знаешь ли?

— У него дочь невѣста — помните, бабушка говорила однажды? такъ вѣрно хочетъ сватать вамъ ее...

— Вотъ она сейчасъ и догадалась! Спрашиваютъ тебя: вездѣ поспѣешь! сказала бабушка.—Языкъ-то сталъ у тебя востеръ: сама я не умѣю, что-ли, сказать?

— Э, вотъ что! Хорошо... зѣвая сказалъ Райскій, — я поѣду съ визитами, только съ тѣмъ, чтобъ и вы со мной заѣхали къ Марку: надо же ему визитъ отдать.

Татьяна Марковна молчала.

— Что же вы, бабушка, молчите: заѣдемъ?

— Полно пустяки говорить: напрасно ты связался съ нимъ,—добра не будетъ, съ толку тебя собьешь! О чемъ онъ съ тобой разговаривалъ?

— Онъ почти не разговаривалъ: мы поужинали и легли.

— А денегъ еще не просилъ займы?

— Просилъ.

— Ну, такъ и есть: ты смотри не давай!

— Да ужъ я далъ.

— Далъ!—жалостно воскликнула она.

— Вы кстати напомнили о деньгахъ: онъ просилъ сто рублей, а у меня было восемьдесятъ. Гдѣ мои деньги? Дайте, пожалуйста, надо послать ему...

— Борисъ Павловичъ! Не я ли говорила тебѣ, что онъ только и дѣлаетъ, что деньги занимаетъ! Боже мой! Когда же отдастъ?

— Онъ сказалъ, что не отдастъ.



Она заволновалась, зашевелилась, такъ что кресло заходило подъ ней.

— Что жь это такое, говори не говори, онъ все свое дѣлаетъ! сказала она:—изъ рукъ вонъ!

— Дайте же денегъ.

— Ты оброкъ, что-ли, ему платишь?

— Ему ѣсть нечего!

— А ты кормить его взялся? Ёсть нечего! Цыгане и бродяги всегда чужое ѣдятъ: всѣхъ не накормишь! Восемдесятъ рублей!

Татьяна Марковна нахмурилась.

— Нѣту денегъ! коротко сказала она.— Не дамъ: если не добромъ, такъ неволей послушаешься бабушки!

— Вотъ деспотизмъ-то! замѣтилъ Райскій.

— Что жь, велѣтъ, что-ли, закладывать коляску? спросила, помолчавши, бабушка.

— Зачѣмъ?

— А съ визитами ѣхать?

— Вы не дѣлаете по моему, и я не стану дѣлать по вашему.

— Сравнилъ себя со мной! Когда же курицу яйца учать? Грѣхъ, грѣхъ, сударь! Станный человѣкъ, необыкновенный: все свое!

— Не я, а вотъ вы такъ необыкновенная женщина!

— Чѣмъ это, батюшка, скажи на милость?

— Какъ чѣмъ? Не велите знакомиться, съ кѣмъ я хочу, деньгами мѣшаєте распоряжаться, какъ вздумаю, везете куда мнѣ не хочется, а куда хочется сами не ѣдете. Ну, къ Марку не хотите, я и не приневоливаю васъ, и вы меня не приневоливайте.

— Я тебя въ хорошіе люди везу.

— По мнѣ, они не хорошіе.

— Что жь, Маркушка хорошъ?

— Да, онъ мнѣ нравится. Живой, свободный умъ, самостоятельная воля, юморъ...

— Да ну его! съ досадой прибавила она: — Ыдешь, что ли, со мной къ Мамыкину?

— Это еще что за Мамыкинъ?

— А откупщикъ, у котораго дочь невѣста, вмѣшалась Марейника. — Поѣзжайте, братецъ: на той недѣлѣ у нихъ большой вечеръ, будутъ звать насъ, тише прибавила она: — бабушка не поѣдетъ, намъ безъ нея нельзя, а съ вами пу-  
стятъ...

— Сдѣлай бабушкѣ удовольствіе, поѣзжай! прибавила Татьяна Марковна.

— А вы сдѣлайте мнѣ удовольствіе, не зовите меня.

— Чудный, необыкновенный человѣкъ! Я ему сдѣлай удовольствіе, а онъ мнѣ нѣтъ.

— Вѣдь подъ этимъ удовольствіемъ, кроется замыселъ женить меня—такъ ли?

— Ну, хоть бы и такъ: что же за бѣда:—я вѣдь счастья тебѣ хочу!

— Почему вы знаете, что для меня счастье—жениться на дочери какого-то Мамыкина?

— Она красавица, воспитана въ самомъ дорогомъ пансіонѣ въ Москвѣ. Однихъ брильянтовъ тысячъ на восемьдесятъ... Тебѣ полезно жениться... Взялъ бы богатое приданое, зажилъ бы большимъ домомъ, у тебя бы весь городъ бывалъ, всѣ бы раболѣпствовали передъ тобой, поддержалъ бы свой родъ, связи... И въ Петербургѣ не ударилъ бы себя въ грязь... мечтала почти про себя бабушка.

— А вотъ я и не хочу раболѣпства: — это гадость! Бабушка! я думалъ, вы любите меня —пожелаете чего-нибудь лучше, поразумнѣе...

— Чего тебѣ: рожна, что ли, въ самомъ дѣлѣ? Я тебѣ добра желаю, а ты...

— Хорошо добро: ни съ того, ни съ сего, взять чужія деньги, брилліанты, да еще какую-нибудь Голендуху Парамоновну въ придачу!

— Нѣтъ, не Голендуху, а богатую и хорошенькую не-вѣсту! Вотъ что, необыкновенный человѣкъ!

— Толкать человѣка жениться, на комъ не знаешь, на комъ не хочешь: необыкновенная женщина!

— Ну, Борюшка: не думала я, что изъ тебя такое чудище выйдетъ!

— Да не я, бабушка, а вы чудище...

— Ахъ! почти въ ужасъ закричала Марѣинька: — какъ это вы смѣете такъ называть бабушку!

— А она меня такъ назвала.

— Она постарше васъ, она вамъ бабушка!

— А что, бабушка, вдругъ обратился онъ къ ней: — еслибъ я сталъ уговаривать васъ выйти замужъ?

— Марѣинька! перекрести его: ты тамъ поближе сидишь, замѣтила бабушка сердито.

Марѣинька засмѣялась.

— Право... шутилъ Райскій.

— Ты буфонишь, а я дѣло тебѣ говорила, добра хотѣла.

— И я добра вамъ хочу. Вотъ находятъ на васъ такія минуты, что вы скучаете, ропщете; иногда я подкарауливалъ и слезы. „Вѣкъ свой одна, не съ кѣмъ слова перемолвить“, жалуетесь вы: „внучки разбѣгутся, маюсь, маюсь весь свой вѣкъ—хоть бы Богъ прибралъ меня! Выйдутъ дѣвочки замужъ, останусь какъ перстъ“ и т. д. А тутъ бы подлѣ васъ сидѣлъ почтенный человѣкъ, цѣловалъ бы у васъ руки, вмѣсто васъ ходилъ бы по полямъ, подъ руку водилъ бы въ садъ, въ пикетъ съ вами игралъ бы... Право, бабушка, чтобы вамъ...

— Полно, Борисъ Павловичъ, вздоръ молоть, печально,

со вздохомъ, сказала бабушка.—Ты моложе былъ поумнѣе, вздору не молоть.

Она черезъ очки посмотрѣла на него.

— А Титъ Никонычъ такъ и увивается около васъ, чуть на васъ не молится—всегда у вашихъ ногъ! Только подайте знакъ—и онъ будетъ счастливѣйшій смертный!

Марейника не унималась отъ смѣху. Бабушка немного покраснѣла.

— Вотъ какъ: и жениха нашель! сказала она небрежно.

— Что жъ, продолжалъ шутить Райскій: — вы живете домкомъ, у васъ водятся деньжонки, а онъ бездомный... вотъ бы и кстати...

— Такъ это за то, что у меня деньжонки водятся, да домъ есть, и надо замужъ выходить: богадѣльня, что ли, ему достался мой домъ? И домъ не мой, а твой. И онъ самъ не бѣденъ...

— А это на чтò похоже, что вы хотите женить меня изъ-за денегъ?

— Ты можешь понравиться дѣвушкѣ и она тебѣ тоже: она миленькая...

— Вы съ Титомъ Никонычемъ тоже другъ другу правитесь, вы тоже миленькая...

— Отвяжись ты со своимъ Титомъ Никонычемъ! вспылчиво перебила Татьяна Марковна: — я тебѣ добра хотѣла.

— И я вамъ тоже!

— Пустомеля, право, пустомеля: слушать тошно! Не хочешь угодить бабушкѣ,—такъ какъ хочешь!

— А вы мнѣ отчего не хотите угодить? Я еще не видалъ дочери Мамыкина и не знаю, какая она, а Титъ Никонычъ вамъ нравится, и вы сами на него смотрите какъ-то любовно...

— А вотъ еще, перебила Марейника: — я вамъ скажу, братецъ: когда Титъ Никонычъ захвораетъ, бабушка сама...



— Ты, сударыня, что, крикнула бабушка сердито:— молода шутить надъ бабушкой! Я тебя и за ухо, да въ лап-ти: нужды нѣтъ что большая! Онъ отъ рукъ отбился, вы-шелъ изъ повиновенія: съ Маркушкой связался—послѣднее дѣло! Я на него рукой махнула, а ты еще погоди, я тебя уйму! А ты, Борисъ Павлычъ, женись, не женись—мнѣ все равно, только отстань и вздору не мели. Я вотъ Тита Нико-ныча принимать не велю. .

— Бѣдный Титъ Никонычъ! комически, со вздохомъ, произнесъ Райскій, и лукаво взглянулъ на Мароиньку.

— Ну, вотъ бабушка, наконецъ вы договорились до дѣ-ла, до правды: „женись, не женись—какъ хочешь!“ Давно бы такъ! Стало быть, и ваша, и моя свадьба откладываются на неопредѣленное время.

— „Дѣло, правда!“ ворчала бабушка: вотъ посмотримъ, какъ ты проживешь!

— По-своему, бабушка.

— Хорошо ли это?

— А какъ же: ужели по чужому?

— Какъ люди живутъ.

— Какіе люди? Развѣ здѣсь есть люди?

Въ это время Василиса вошла и доложила, что гости пришли:—Колчинскій барченокъ...

— Это Николай Андреевичъ Викентьевъ: проси! „Ка-кіе люди!“ хоть бы вотъ человѣкъ: Господи, не клиномъ міръ сошелся! сказала Бережкова.

Мароинька немного покраснѣла и поправила платье, косынку и мелькомъ бросила взглядъ въ зеркало. Райскій тихонько погрозилъ ей пальцемъ; она покраснѣла еще сильнѣе.

— Что вы, братецъ... вы... опять... начала она и не кончила.

Василиса пошла было и воротилась поспѣшно.

— Еще пришелъ этотъ... что ночеваль здѣсь, сказала она Райскому:—спрашиваетъ васъ!

— Ужъ не Маркушка ли опять? съ ужасомъ спросила бабушка.

— Онъ и есть! подтвердила Василиса.

— Вотъ это люди, такъ люди! сказалъ Райскій и поспѣшилъ къ себѣ.

— Какъ обрадовался, какъ бросился! Нашелъ человѣка! Деньги-то не забудь взять съ него назадъ! Да не хочеть ли онъ трескать? я бы прислала... крикнула ему вслѣдъ бабушка.

### XVIII.

Въ комнату вошелъ или вѣрнѣе, вскочилъ — средняго роста, свѣжій, цвѣтуцій, красиво и крѣпко сложенный молодой человѣкъ, лѣтъ двадцати трехъ, съ темнорусыми, почти каштановыми волосами, съ румяными щеками и съ сѣро-голубыми острыми глазами, съ улыбкой, показывавшей рядъ бѣлыхъ, крѣпкихъ зубовъ. Въ рукахъ у него былъ пучекъ васильковъ и еще что-то бережно завернутое въ носовой платокъ. Онъ все это вмѣстѣ со шляпой положилъ на стулъ.

— Здравствуйте, Татьяна Марковна, здравствуйте Марѳа Васильевна! заговорилъ онъ, цѣлуя руку у старушки, потомъ у Марѳиньки, хотя Марѳинька отдернула свою, но вышло такъ, что онъ успѣлъ дать летучій поцѣлуй. — Опять нельзя—какія вы!.. сказалъ онъ. — Вотъ я принесъ вамъ...

— Что это вы пропали: васъ совсѣмъ невидать? съ удивленіемъ, даже строго, спросила Бережкова. — Шутка-ли, почти три недѣли!

— Мнѣ никакъ нельзя было, губернаторъ не выпускалъ никуда; велѣли дѣла канцеляріи приводить въ порядокъ...го-

ворилъ Викентьевъ такъ торопливо, что нѣкоторые слова даже не договаривалъ.

— Пустяки, пустяки! не слушайте, бабушка: у него никакихъ дѣлъ нѣтъ... самъ сказывалъ! вмѣшалась Марѣинька.

— Ей-Богу, ахъ, какія вы: дѣла по горло было! У насъ новый правитель канцеляріи поступаетъ—мы дѣла скрѣпляли, описи дѣлали... Я пятьсотъ дѣлъ по листамъ скрѣпилъ. Даже по ночамъ сидѣли... ей-Богу...

— Да не божитесь! что это у васъ за привычка божиться по пустякамъ: грѣхъ какой! строго остановила его Бережкова.

— Какъ по пустякамъ: вонъ Марѣа Васильевна не вѣрятъ! а я ей-Богу...

— Опять!

— Правда ли, Татьяна Марковна, правда ли, Марѣа Васильевна, что у васъ гость: Борисъ Павловичъ пріѣхалъ? Не онъ ли это, я встрѣтилъ сейчасъ, прошелъ по корридору? Я нарочно пришелъ...

— Вотъ видите, бабушка? перебила Марѣинька:—онъ пришелъ братца посмотрѣть, а безъ этого долго бы пропалъ! Что?

— Ахъ, Марѣа Васильевна, какія вы! Я лишь только вырвался, такъ и прибѣжалъ! Я просился, просился у губернатора—не пускаетъ: говорить, не пушу до тѣхъ поръ, пока не кончите дѣла! У маменьки не былъ: хотѣлъ къ ней пообѣдать въ Колчино съѣздить—и то пустилъ только вчера, ей-Богу...

— Здорова ли маменька? Что, у ней лишаи прошли?

— Проходятъ, покорно благодарю. Маменька кланяется вамъ, проситъ васъ не забыть день ея именинъ...

— Покорно благодарю! Ужъ не знаю, соберусь ли я

сама стара, да и черезъ Волгу боюсь ѣхать. А дѣвочки мои...

— Мы безъ васъ, бабушка, не поѣдемъ, сказала Марѣинька:—я тоже боюсь переѣзжать Волгу.

— Не стыдно ли трусить? говорилъ Викентьевъ.—Чего вы боитесь? Я за вами самъ приѣду на нашемъ катерѣ... Гребцы у меня всѣ пѣсенники...

— Съ вами ни за что и не поѣду, вы не посидите ни минуты покойно въ лодкѣ... Что это шевелится у васъ въ бумагахъ? вдругъ спросила она:—Посмотрите бабушка... ахъ, не змѣя ли?

— Это я вамъ принесъ живаго сазана, Татьяна Марковна: сейчасъ выудилъ самъ. Ёхалъ къ вамъ, а тамъ на рѣчкѣ, въ осокѣ, вижу сидитъ въ лодкѣ Иванъ Матвѣичъ. Я попросился къ нему, онъ подѣхалъ, взялъ меня, я и четверти часа не сидѣлъ — вотъ какого выудилъ! А это вамъ, Марѣа Васильевна, дорогой, вонъ тутъ во ржи нарвалъ васильковъ...

— Не надо, вы обѣщали безъ меня не рвать—а вотъ теперь слишкомъ двѣ недѣли не были, васильки всѣ посохли: вонъ какая дрянь!

— Пойдемте сейчасъ нарвемъ свѣжихъ!...

— Дайте срокъ! остановила Бережкова.—Что это вамъ не сидится? Не успѣли носа показать, вонъ еще и лобъ не простылъ, а ужъ въ ногахъ у васъ такъ и зудитъ? Чего вы хотите позавтракать: кофе что ли, или битаго мяса? А ты Марѣинька, поди узнай, не хочетъ ли тотъ... Маркушка... чегонибудь? Только сама не показывайся, а Егорку пошли узнать...

— Нѣтъ, нѣтъ, ничего не хочу, заторопился Викентьевъ:—я съѣлъ цѣлый пирогъ передъ тѣмъ, какъ ѣхать сюда...

— Видите, какой онъ, бабушка! сказала Марѣинька:—пирогъ съѣлъ!



И сама пошла исполнить порученіе бабушки, потомъ воротилась, сказавъ, что ничего не надо и что гость скоро собирается уйти.

— А здѣсь не накормили бы васъ! упрекнула Татьяна Марковна, что вы назавтракались да пришли?

Викентьевъ сунулся было къ Марѣинкѣ.—Заступитесь за меня! сказалъ онъ.

— Не подходите, не подходите, не трогайте! сердито говорила Марѣинька.

Онъ не сидѣлъ, не стоялъ на мѣстѣ, то совался къ бабушкѣ, то бѣжалъ къ Марѣинкѣ и силился переговорить обѣихъ. Почти въ одну и ту же минуту лицо его принимало серьезное выраженіе и вдругъ разливался по немъ смѣхъ и показывались крупные бѣлые зубы, на которыхъ отъ торопливости его говора, или отъ смѣха, иногда вскакивалъ и пропадалъ пузырь.

— Я вѣдь съѣлъ пирогъ отъ того, что подъ руку повернулся. Кузьма отворилъ шкафъ, а я шелъ мимо—вижу пирогъ, одинъ только и былъ....

— Вамъ стало жаль сироту, вы и съѣли? договорила бабушка. Всѣ трое засмѣялись.

— Нѣтъ ли варенья, Марѣа Васильевна: я бы поѣлъ...

— Вели принести—какъ не быть? А битаго мяса не станете? Вчерашнее жаркое есть, цыплята...

— Вотъ бы цыпленка хорошо...

— Не давайте ему, бабушка: чтó его баловать? не стоитъ... Но сама пошла—было изъ комнаты.

— Нѣтъ, нѣтъ, Марѣа Васильевна, и точно не надо, вы только не уходите: я лучше обѣдать буду. Можно мнѣ пообѣдать у васъ, Татьяна Марковна?

— Нѣтъ, нельзя, сказала Марѣинька.

— А ты не шути этимъ, остановила ее бабушка:—онъ, пожалуй, и убѣжить. И видно, что вы давно не были, об-

ратилась она къ Викентьеву:—стали спрашивать позволенія отобѣдать!

— Покорно-благодарю-сь!.. Марѳа Васильевна! куда вы? Пойдите, пойдите, и я съ вами!..

— Не надо, не надо, не хочу! говорила она.—Я велю вамъ зажарить вашего сазана и больше ничего не дамъ къ обѣду.

Она двумя пальцами взяла за голову рыбу, а когда та стала хлестать хвостомъ взадъ и впередъ, она, съ крикомъ:— Ай, ай! выронила ее на полъ и побѣжала по корридору.

Онъ бросился за ней, и черезъ минуту оба уже гдѣ-то хохотали, а еще черезъ минуту слышались вверху звуки рѣзваго вальса на фортепіано, съ топотомъ ногъ надъ головой Татьяны Марковны, а потомъ кто-то точно скатился съ лѣстницы, а дальше промчались по двору и бросились въ садъ, сначала Марѳинька, за ней Викентьевъ, и звонко изъ саду доносились ихъ говоръ, пѣніе и смѣхъ.

Бабушка поглядѣла въ окно и покачала головой. На дворѣ куры, пѣтухи, утки, съ крикомъ бросились въ стороны, собаки съ лаемъ поскакали за бѣгущими, изъ людскихъ выглянули головы лакеевъ, женщинъ и кучеровъ, въ саду цвѣты и кусты зашевелились точно живые, и не на одной грядѣ или клумбѣ остался слѣдъ вдавленнаго каблукъ, или маленькой женской ноги, два-три горшка съ цвѣтами опрокинулись, вершины тоненькихъ деревъ, за которыя хваталась рука, закачались и птицы всѣ до одной отъ испуга улетѣли въ рощу.

А черезъ четверть часа уже оба смирно сидѣли, какъ ни въ чемъ не бывало, около бабушки, и весело смотрѣли кругомъ и другъ на друга: онъ, отирая потъ съ лица, она, обмахивая себѣ платкомъ лобъ и щеки.

— Хороши оба: на что похожи! упрекала бабушка.

— Это все онъ, жаловалась Марѣинька:—погнался за мной! Прикажете ему сидѣть на мѣстѣ.

— Нѣтъ, не я, Татьяна Марковна: онѣ велѣли мнѣ уйти въ садъ, а сами прежде меня побѣждали: я хотѣлъ догнать, а онѣ...

— Онѣ мужчина, а тебѣ стыдно, ты не маленькая! журила бабушка.

— Вотъ видите, чтó я изъ-за васъ терплю! сказала Марѣинька.

— Ничего, Марѣа Васильевна, бабушки всегда немного ворчатъ—это ихъ священная обязанность...

Бабушка услышала,

— Чтò, чтò, сударь? полусерьезно остановила его Татьяна Марковна:—подойдите-ка сюда, я, вмѣсто маменьки, уши надеру, благо ее здѣсь нѣтъ, за этакія слова!

— Извольте, извольте, Татьяна Марковна, ахъ, надерите пожалуйста! Вы только грозите, а никогда не выдерете...

Онѣ подскочилъ къ старушкѣ и наклонилъ голову.

— Надерите, бабушка, побольнѣе, чтобъ недѣлю красныя были! учила Марѣинька.

— Ну, вы надерите! сказалъ онѣ ей, подставляя голову.

— Когда вы провинитесь передо мной, тогда надеру.

— Постойте еще, я Нилу Андреевичу пожалуюсь, перескажу, что вы сказали теперь... А еще любимецъ его! говорила Татьяна Марковна.

Викентьевъ сдѣлалъ важную мину, сталъ посреди комнаты, опустилъ бороду въ галстухъ, сморщился, поднялъ палецъ вверхъ и дряблымъ голосомъ произнесъ:—Молодой человѣкъ! твои слова потрясають авторитетъ старшихъ!...

Должно быть, очень было похоже на Нила Андреевича, потому что Марѣинька закатилась смѣхомъ, а бабушка нахмурила-было брови, но вдругъ добродушно засмѣялась и стала трепать его по плечу.

— Въ кого это ты, батюшка, уродился такой живчикъ, да на все гораздый? ласково говорила она.—Батюшка твой, царство ему небесное, былъ такой серьезный, слова на вѣтеръ не скажетъ, и маменьку отбучилъ смѣяться.

— Ахъ, Марѳа Васильевна, заговорилъ Викентьевъ:—я досталъ вамъ новый романъ и еще журналъ, повѣсть отличная... забылъ совсѣмъ...

— Гдѣ же они?

— Въ лодкѣ у Ивана Матвѣича оставилъ, все изъ-за того сазана! Онъ у меня трепетался въ рукахъ—я книгу и ноты забылъ... Я побѣгу сейчасъ—можетъ быть, онъ еще на рѣчкѣ сидитъ—и принесу...

Онъ побѣжалъ—было и опять воротился.

— Я дамское сѣдло досталъ, Марѳа Васильевна: вамъ верхомъ ѣздить; графскій берейторъ беретъ въ мѣсяцъ васъ выучить—хотите, я сейчасъ привезу...

— Ахъ, какой вы милый, какой вы добрый! не вспомнѣясь отъ удовольствія, сказала Марѳинька.—Какъ весело будетъ... ахъ, бабушка!

— Кто тебѣ позволить такъ проказничать? строго замѣтила бабушка.—А вы что это, въ своемъ ли умѣ: дѣвушка на лошади ѣздить!

— А Марья Васильевна, а Анна Николаевна—какъ-же ѣздить онѣ?..

— Ну, имъ и отдайте ваше сѣдло! Сюда не заносите этихъ затѣй: пока жива, не позволю. Этакъ, пожалуй, и грѣха недолго: курить станетъ.

Марѳинька надулась, а Викентьевъ постоялъ минуты двѣ въ недоумѣніи, почесывая то затылокъ, то брови, потомъ вмѣсто того, чтобъ погладить волосы, какъ дѣлаютъ другіе, поерошилъ ихъ, разстегнулъ и застегнулъ пуговицу у жилета, вскинулъ легонько фуражку вверхъ и, поймавъ



ее, выпрыгнувъ изъ комнаты, сказавши: — Я за нотами и за книгой—сейчасъ прибѣгу... и исчезъ.

Марѣинька хотѣла тоже идти, но бабушка удержала ее.

— Послушай, душечка, поди сюда, что я тебѣ скажу, заговорила она ласково, и немного медлила, какъ будто не рѣшалась говорить.

Марѣинька подошла, и бабушка поправляла ей волосы, растрепавшіеся немного отъ бѣготни по саду, и глядѣла на нее, какъ мать, любуясь ею.

— Что вы, бабушка? вдругъ спросила Марѣинька, съ удивленіемъ вскинувши на старушку глаза и ожидая, къ чему ведетъ это предисловіе.

— Ты у меня добрая дѣвочка, уважаешь каждое слово бабушки... не то что Вѣрочка...

— Вѣрочка тоже уважаетъ васъ: напрасно вы на нее...

— Ну, ты ея заступница! Уважаешь, это правда, а думаетъ свое, значить не вѣритъ мнѣ: бабушка-де стара, глупа, а мы, молоды,—лучше понимаемъ, много учились, все знаемъ, все читаемъ. Какъ бы она не ошиблась... Не все въ книгахъ написано!

Бережкова задумчиво вздохнула.

— Что-же вы хотѣли сказать мнѣ? съ любопытствомъ спросила Марѣинька.

— А вотъ что: ты взрослая дѣвушка, давно невѣста: такъ ты будь немножко пооглядчивѣе...

— Какъ это пооглядчивѣе, бабушка?

— Погоди, не перебивай меня. Ты вотъ рѣзвись, бѣгаешь, точно дитя, съ ребятишками возишься...

— Развѣ я все бѣгаю? Вѣдь я работаю, шью, вышиваю, разливаю чай, хозяйствомъ занимаюсь...

— Опять перебила! Знаю, что ты умница,—ты кладъ, дай Богъ тебѣ здоровья,—и бабушки слушаешься! повторила свой любимый припѣвъ старушка.

— Такъ за что же вы браните меня?

— Погоди, дай сказать слово! Гдѣ-же я браню? Я говорю только, чтобъ ты была посерьезнѣе...

— Какъ, ужъ и бѣгать нельзя: это развѣ грѣхъ? А вонъ братецъ говорить...

— Что онъ говорить?

— Что я слишкомъ ужъ... послушная, безъ бабушки ни на шагъ...

— А ты не слушай его: онъ тамъ посмотрѣлся на какихъ-нибудь англичанокъ да полячекъ! тѣ еще въ дѣвкахъ однѣ ходять по улицамъ, переписку ведутъ съ мужчинами, и верхомъ скачутъ на лошадяхъ. Этого, что-ли, братецъ хочетъ? Вотъ стой, я поговорю съ нимъ...

— Нѣтъ, бабушка, не говорите, — онъ разсердится, что я пересказала вамъ...

— И хорошо сдѣлала, и всегда такъ дѣлай! Мало-ли что онъ наговорить, братецъ твой! Видишь что: смущать вздумать дѣвочку!

— Развѣ я дѣвочка? обидчиво замѣтила Марейнька. — Мнѣ четырнадцать аршинъ на платьѣ идетъ... Сами говорите, что я невѣста!

— Правда, ты выросла, да сердце у тебя дѣтское, и дай Богъ, чтобъ долго такимъ осталось! А поумнѣть немного не мѣшаетъ.

— А зачѣмъ, бабушка: развѣ я дура? Братецъ говорить, что я проста, мила... что я хороша и умна какъ есть, что я... Она остановилась.

— Ну, что еще!

— Что я „естественная!..“

Татьяна Марковна помолчала, повидимому, толкуя себѣ значеніе этого слова. Но оно почему-то ей не понравилось.

— Братецъ твой пустяки говорить, сказала она.

— Вѣдь онъ умный—преумный, бабушка.

— Ну, да—умнѣ всѣхъ въ городѣ. И бабушка у него глупа: воспитывать меня хочетъ! Нѣтъ, ты старайся поумнѣть мимо его, живи своимъ умомъ.

— Господи! ужели я дура такая?

— Нѣтъ, нѣтъ, ты можетъ быть поумнѣ многихъ умницъ... бабушка взглянула по направленію къ старому дому, гдѣ была Вѣра:—да умъ-то у тебя въ скорлупѣ, а пора смекать...

— Зачѣмъ-же бабушка?

— А хоть бы за тѣмъ, внушка, чтобъ съумѣть понять рѣчи братца и отвѣтить на нихъ порядкомъ. Онъ, конечно, худого тебѣ не пожелаетъ; съ молоду быть честенъ и любилъ васъ обѣихъ: вонъ имѣніе отдаетъ, да много болтаетъ пустого...

— Не все-же онъ пустое болтаетъ: иногда такъ умно и хорошо говорить...

— И Полина Карповна не дура: тоже хорошо говорить. Я не сравниваю Борюшку съ этой козой, а хочу только сказать,—острота остротой, а умъ умомъ! Вотъ ты и поумнѣй на столько, чтобъ знать, когда твой братецъ говоритъ съ остротой, когда съ умомъ. На остроту смѣйся, отвѣчай остротой, а умную рѣчь принимай къ сердцу. Острота фальшива, принарядится краснымъ словцомъ, смѣхомъ, ползетъ, какъ змѣй, въ уши, наровить подкрасться къ уму и помрачить его, а когда умъ помраченъ, такъ и сердце не въ порядкѣ. Глаза смотрять, да не видять, или видять не то...

— За что же вы, бабушка, браните меня? съ нетерпѣніемъ спросила Марѣинька.

У ней даже навернулись слезы.

— Вы говорите: не хорошо бѣгать, возиться съ дѣтьми, пѣть—ну, не стану...

— Боже тебя сохрани! Бѣгать, пользоваться воздухомъ

—здорово. Ты весела, какъ птичка, и дай Богъ тебѣ отстать ся такой всегда, люби дѣтей, пой, играй...

— Такъ за что же браните?

— Не браню, а говорю только: знай всему мѣру и пору. Вотъ ты давеча побѣжала съ Николаемъ Андреевичемъ...

Марѣинька вдругъ покраснѣла, отошла и сѣла въ уголь. Бабушка пристально поглядѣла на нее и начала опять, тономъ ниже и медленнѣе.

— Это не бѣда: Николай Андреичъ прекрасный, добрый —и шалунъ, такой же рѣзвый, какъ ты, а ты у меня скромница, лишняго, ни себѣ, ни ему, не позволишь. Куда бы вы ни забѣжали вдвоемъ, что бы ни затѣяли, я знаю, что онъ тебѣ не скажетъ непутнаго, а ты и слушать не станешь...

— Не прикажите ему приходить! сердито замѣтила Марѣинька.—Я съ нимъ теперь слова не скажу...

— Это хуже: и онъ, и люди, Богъ знаетъ, что подумаютъ. А ты только будь пооглядчивѣе,—не бѣгай по двору да по саду, чтобы люди не стали осуждать: „вонъ, скажутъ, дѣвушка ужъ невѣста, а повѣсничаетъ, какъ мальчикъ, да еще съ постороннимъ“...

Марѣинька вспыхнула.

— Ты не краснѣй: не отъ чего! Я тебѣ говорю, что ты дурного не сдѣлаешь, а только для людей надо быть пооглядчивѣе! Ну, что надулась: поди сюда, я тебя поцѣлую!

Бережкова поцѣловала Марѣиньку, опять поправила ей волосы, все любуясь ею, и ласково взяла ее за ухо.

— Николай Андреичъ сейчасъ придетъ, сказала Марѣинька:—а я не знаю, какъ теперь мнѣ быть съ нимъ. Станетъ звать въ садъ, я не пойду, въ поле—тоже не пойду и бѣгать не стану. Это я все могу. А если станетъ смѣшнить меня—я ужъ не утерплю, бабушка,—засмѣюсь, воля ваша! Или запоетъ, попроситъ сыграть: что я ему скажу?

Бабушка хотѣла отвѣчать, но въ эту минуту ворвался



въ комнату Викентьевъ, весь въ поту, въ пыли, съ книгой и нотами въ рукахъ. Онъ положилъ и то и другое на столъ передъ Марѣинькой.

— Вотъ теперь ужъ... торопился онъ сказать, отирая лобъ и смахивая платкомъ пыль съ платья, — пожалуйста ручку! Какъ бѣжалъ—собаки по переулку за мной, чуть не съѣли...

Онъ хотѣлъ взять Марѣиньку за руку, но она спрятала ее назадъ, потомъ встала со стула, сдѣлала реверансъ и серьезно, съ большимъ достоинствомъ произнесла:

— Je vous remercie, M-g Викентьевъ: Vous êtes bien aimable.

Онъ вытаращилъ глаза на нее, потомъ на бабушку, потомъ опять на нее, поерошилъ волосы, взглянулъ мелькомъ въ окно, вдругъ сѣлъ, и въ ту же минуту вскочилъ.

— Марѣа Васильевна, заговорилъ онъ, — пойдѣте въ залу, къ террасѣ—смотри́ть: сейчасъ молодые проѣдутъ...

— Нѣтъ, важно сказала она: —merci, я не пойду: дѣвицѣ неприлично высовываться на балконъ и глазѣть...

— Ну, пойдѣте же разбирать новый романсъ...

— Нѣтъ, благодарю: я ужó попробую одна, или при бабушкѣ...

— Пойдѣте къ рощѣ — сядѣмъ тамъ: я почитаю вамъ новую повѣсть.

Онъ взялъ книгу.

— Какъ это можно! строго сказала Марѣинька и взглянула на бабушку:—дитя, что ли, я?...

— Что это такое, Татьяна Марковна? говорилъ растерянный Викентьевъ: —житья нѣтъ отъ Марѣы Васильевны!

Викентьевъ посмотрѣлъ на нихъ обѣихъ пристально, потомъ вдругъ вышелъ на середину комнаты, сдѣлалъ сладкую мину, корпусъ наклонилъ немного впередъ, руки округлилъ, шляпу взялъ подъ мышку.

— Mille pardons, mademoiselle, de vous avoir dérangée — говорилъ онъ, сѣлая надѣть перчатки, но большія, влажныя отъ жару руки не шли въ нихъ.

— Sacrebleu! ça n'entre pas—oh, mille pardons, mademoiselle...

— Полно вамъ, проказникъ, принеси ему варенья, Марѣинька!

— Oh! Madame, je suis bien reconnaissant. Mademoiselle, je vous prie, restez de grâce, бросился онъ, почти-тельно устремляя руки впередъ, чтобъ загородить дорогу Марѣинькѣ, которая пошла было къ дверямъ.

— Vraiment, je ne puis pas: j'ai des visites à faire... Ah, diable, ça n'entre pas...

Марѣинька крѣпилась, кусала губы, но смѣхъ про-рвался.

— Вотъ онъ какой, бабушка, жаловалась она:—теперь М-г Шарля представляетъ: какъ тутъ утерпѣть!

— А чтó, похоже? спросилъ Викентьевъ.

— Полно вамъ, божьи младенцы! сказала Татьяна Марковна, у которой морщины превратились въ лучи, и улыбка озарила лицо.—Подите, Богъ съ вами, дѣлайте чтó хотите!

## XIX.

На Марѣиньку и на Викентьева точно живой водой брызнули. Она схватила ноты, книгу, а онъ шляпу, и только было-бросились къ дверямъ, какъ вдругъ снаружи, со стороны проѣзжей дороги, раздался и разнесся по всему дому чей-то дребезжащій голосъ.

— Татьяна Марковна! высокая и сановитая владычица сихъ мѣсть! Прости дерзновенному, ищущему предстать предъ твои очи и облобызать прахъ твоихъ ногъ! Прими подъ гостепріимный кровъ твой странника, притекша изда-леча вкусить отъ твоея трапезы и укрыться отъ зноя пол-

дневнаго! Дома ли, Богомъ хранимая хозяйка сей обители?.. Да тутъ никого нѣтъ!

Голова показалась съ улицы въ окно столовой. Всѣ трое, Татьяна Марковна, Марѣинька и Викентьевъ, замерли, какъ были, каждый въ своемъ положеніи.

— Боже мой, Опенкинъ! воскликнула бабушка почти въ ужасѣ:—Дома нѣтъ, дома нѣтъ! на цѣлый день за Волгу уѣхала! шепотомъ диктовала она Викентьеву.

— Дома нѣтъ, на цѣлый день за Волгу уѣхала!—громко повторилъ Викентьевъ, подходя къ окну столовой.

— А! нашему Николаю Андреевичу, любвеобильному и надеждами чреватому, села Колчина и многихъ иныхъ обладателю! говорилъ голосъ.—Да прильпнетъ языкъ твой къ гортани, зане ложъ изрыгаетъ! И возница, и колесница дома, а стало быть и хозяйка въ семь мѣстѣ или окрестъ обрѣтается. Посмотримъ и поищемъ, либо пождемъ, дондеже изъ весей и пастбищъ, и изъ вертограда въ храмину паки вступить.

— Что дѣлать, Татьяна Марковна? торопливо и шепотомъ спрашивалъ Викентьевъ:—Опенкинъ пошелъ на крыльцо, сюда идетъ.

— Нечего дѣлать, съ тоской сказала бабушка: — надо пустить. Чай, голоднехонекъ, бѣдный! Куда онъ теперь въ этакую жару потащится? За то ужъ на цѣлый мѣсяцъ отдѣлаюсь! Теперь его до вечера не выживешь!

— Ничего, Татьяна Марковна, онъ напьется живо и потомъ уйдетъ на сѣноваль спать. А послѣ прикажите Кузьмѣ отвезти его въ телѣгѣ домой...

— Матушка, матушка! нѣжнымъ, но сирымъ голосомъ говорилъ, уже входя въ кабинетъ, Опенкинъ.—Зачѣмъ сей быстроногій повергъ меня въ печаль и страхъ! Дай ручку, другую! Марѣа Васильевна! Рахиль прекрасная, ручку, ручку...

— Полно, Акимъ Акимычъ, не тронь ее! Садись, садись—ну, будеть тебѣ! Что, усталъ—не хочешь ли кофе?

— Давно не видалъ тебя, наше красное солнышко: въ тоску впаль! говорилъ Опенкинъ, вытирая клѣтчатымъ бу-  
мажнымъ платкомъ лобъ.—Шель, шель—и зной палить, и  
отъ жажды и голода изнемогъ, а тутъ вдругъ: „за Волгу  
уѣхала!“ Испужался, матушка, ей-Богу, испужался: экой  
какой!—набросился онъ на Викентьева:—невѣсту тебѣ за  
это рябую! Красавица вы, птичка садовая, бабочка цвѣт-  
ная! — обратился онъ опять къ Марѣинкѣ:—изгоните вы  
его съ ясныхъ глазъ долой, злодѣя безжалостнаго—охъ, охъ,  
Господи, Господи! Что, матушка, за кофе: не къ рожѣ мнѣ!  
А вотъ еслибъ ангелъ сей небесный изъ сахарной ручки удо-  
стоилъ поднести...

— Водки? живо перебилъ Викентьевъ.

— Водки! передразнилъ Опенкинъ: — съ мѣсяцъ ее не  
видалъ, забылъ, чѣмъ пахнетъ. Ей-Богу, матушка! обра-  
тился онъ къ бабушкѣ:—вчера у Горошкина насильно за-  
ставляли: бросилъ все, безъ шапки ушелъ!

— Чего же хочешь, Акимъ Акимычъ?

— Вотъ еслибъ изъ ангельскихъ ручекъ мадерцы рю-  
мочку-другую...

— Вели, Марѣинька, подать: тамъ вчера только что по-  
чали бутылку отъ итальянца...

— Нѣтъ, нѣтъ, постой, ангелъ, не улетай! остановилъ  
онъ Марѣиньку, когда та направилась-было къ двери:—не  
надо отъ итальянца, не въ коня кормъ! не пройметъ, не  
почувствую: чтó мадера отъ итальянца, чтó вода—все одно!  
Она десять рублей стоитъ: не къ рожѣ! Удостой, матушка,  
отъ Ватрухина, отъ Ватрухина—въ два съ полтиной мѣдью!

— Какая же это мадера: онъ самъ ее дѣлаеть, замѣтилъ  
Викентьевъ.



— То и ладно, то и ладно: значить, приспособился къ потребностямъ государства, вкусъ угадалъ, городъ успокоиваетъ. Теперь война, напимѣрь, съ врагами: всѣ двери въ отечествѣ на запорѣ. Ни человѣкъ не пройдетъ, ни птица не пролетитъ, ни амбре никакого не получишь, ни кургузаго одѣянія, ни марго, ни бургонь—заговѣйся! А въ семь богоспасаемомъ градѣ, источникъ мадеры не изсякнетъ у Ватрухина! Да здравствуетъ Ватрухинъ! Пожалуйте, сударыня, Татьяна Марковна, ручку!

Онъ схватилъ старушку за руку, изъ которой выскочилъ и покатился по полу серебряный рубль, приготовленный бабушкой, чтобъ послать къ Ватрухину за мадерой.

— Да ну, Богъ съ тобой, какой ты безпокойный: сидѣлъ бы смирно! съ досадой сказала бабушка.—Марѣинька, вели сходить къ Ватрухину, да постой, нѣ вотъ еще денегъ, вели взять двѣ бутылки: одной, я думаю, мало будетъ...

— Мудрость, мудрость глаголетъ твоими устами: ручку... говорилъ Опенкинъ.

— Гдѣ побывалъ это время, Акимъ Акимычъ, что подѣлывалъ, горемычный?

— Гдѣ! со вздохомъ повторилъ Опенкинъ:—вездѣ и нигдѣ, витаю, какъ птица небесная! Три дня у Горошкиныхъ, передъ тѣмъ у Пестовыхъ, а передъ тѣмъ и не помню!

Онъ вздохнулъ опять и махнулъ рукой.

— Что дома не сидишь?

— Эхъ, матушка, радъ бы душой, да вѣдь ты знаешь сама: ангельскаго терпѣнія не станетъ.

— Знаю, знаю, да не самъ ли ты виноватъ тоже: не все же жена?

— Ну, иной разъ и самъ: правда, святая правда! Гдѣ бы помолчать, пожалуй, и пронесло бы, а тутъ зло возметъ, не вытерпишь, и пошло! Сама посуди: сидешь въ

уголъ, молчишь: „зачѣмъ сидишь какъ чурбанъ, безъ дѣла?“ Возьмешь дѣло въ руки: „не трогай, не суйся, гдѣ не спрашиваютъ!“ Ляжешь: „что все валяешься?“ Возьмешь кусокъ въ ротъ: „только жрешь!“ Заговоришь: „молчи лучше?“ Книжку возьмешь: вырвать изъ рукъ, да швырнуть на полъ! Вотъ мое житіе — какъ передъ Господомъ Богомъ! Только и свѣта, что въ Палатѣ, да по добрымъ людямъ.

Принесли вино. Марейнька налила рюмку и подала Опенкину.

Онъ, съ жадностью, одной дрожащей рукой, осторожно и плотно прижалъ ее къ нижней губѣ, а другую руку держалъ въ видѣ подноса подъ рюмкой, чтобъ не пролить ни капли, и залпомъ опрокинулъ рюмку въ ротъ, потомъ отеръ губы и потянулся къ ручкѣ Марейньки, но она ушла и сѣла въ свой уголъ.

Опенкинъ въ нѣсколькихъ словахъ самъ разсказалъ исторію своей жизни. Никто никогда не давалъ себѣ труда, да и не нужно никому было разбирать, кто правъ, кто виноватъ былъ въ домашнемъ разладѣ, онъ или жена.

Онъ ли пьянствомъ сначала вывелъ ее изъ терпѣнія, она ли характеромъ довела его до пьянства? Но дѣло въ томъ, что онъ дома былъ, какъ чужой человѣкъ, приходившій туда только ночевать, а иногда пропадавшій по нѣскольку дней.

Онъ предоставилъ женѣ получать за него жалованье въ Палатѣ и содержать себя и двоихъ дѣтей, какъ она знаетъ, а самъ изъ Палаты прямо шелъ куда-нибудь обѣдать и оставался тамъ до ночи, или на ночь, и на другой день, какъ ни въ чемъ не бывало, шелъ въ Палату и скрипѣлъ перомъ, трезвый, до трехъ часовъ. И такъ проживалъ свою жизнь по людямъ.

Къ нему всё привыкли въ городѣ, и почти вездѣ, кромѣ чопорныхъ домовъ, принимали его, ради его безобиднаго нрава, домашнихъ его несогласій и ради провинціальнаго гостепріимства. Бабушка не принимала его только, когда ждала „хорошихъ гостей“, т. е. людей поважнѣе въ городѣ.

Она никогда бы не пустила его къ себѣ ради пьянства, котораго терпѣть не могла, но онъ былъ несчастливъ, и притомъ, когда онъ становился неудобенъ въ комнатѣ, его безъ церемоніи уводили на сѣноваль или отводили домой.

Запереть ему совсѣмъ двери было не въ нравахъ провинціи вообще, и не въ характерѣ Татьяны Марковны въ особенности, какъ ни тяготило ее присутствіе пьянаго въ комнатѣ, его жалобы и вздохи.

Райскій помнилъ, когда Опенкинъ хаживалъ-бывало въ домъ его отца съ бумагами изъ Палаты.

Тогда у него не было ни лысины, ни лиловаго носа. Это былъ скромный и тихій человѣкъ изъ семинаристовъ, отвлеченный отъ духовнаго званія женитьбой по любви на дочери какого-то ассесора, не желавшей быть ни дьяконницей, ни даже попадѣй.

Но Райскій не счелъ нужнымъ припоминать стараго знакомства, потому что не любилъ, какъ и бабушка, пьяныхъ, однако онъ со стороны наблюдалъ за нимъ и тутъ же карандашомъ начертилъ его карриатуру.

Опенкинъ, за обѣдомъ, пока еще не опьянѣлъ, продолжалъ чествовать бабушку похвалами, называлъ Вѣрочку съ Марейнкой небесными горлицами, потомъ, опьянѣвши, вздыхалъ, сопѣлъ, а послѣ обѣда ушелъ на сѣноваль спать.

Чай онъ пилъ съ ромомъ, за ужиномъ опять пилъ мадеру, и когда все гости ушли домой, а Вѣра съ Марейнкой по своимъ комнатамъ, Опенкинъ все еще томилъ Бережкову разказами о прежнемъ житьѣ-бытѣ въ городѣ, о

многихъ старикахъ, которыхъ всѣ забыли, кромѣ его, о разныхъ событіяхъ добраго стараго времени, наконецъ о своихъ домашнихъ несчастіяхъ, и все прихлебываль холодный чай съ ромомъ, или просилъ рюмочку мадеры.

Снисходительная старушка не рѣшалась напомнить ему о позднемъ часѣ, ожидая, что онъ догадается. Но онъ не догадывался.

Она нѣсколько разъ уходила и наконецъ совсѣмъ ушла и подсылала, то Марину, то Якова, потушить свѣчи, кромѣ одной, закрыть ставни: все не дѣйствовало.

Онъ заговаривалъ и съ Яковымъ, и съ Мариной.

— А, ну чтó Маринушка: скоро ли позовешь въ кухню? Я все жду, вотъ бы выпилъ на радостяхъ...

— Будетъ съ васъ: и такъ глаза-то налили! Барыня почивать хочетъ, говорить, пора вамъ домой... ворчала Марина, убирая посуду.

— Хулу глаголешь, нечестивая. Татьяна Марковна не изгоняетъ гостей: гость—священная особа... Татьяна Марковна! заораль онъ во все горло:—ручку пожалуйста недостойному...

— Что это за срамъ, какъ орете: разбудите барышень! сказала ему Василиса, посланная барыней унять его.

— Голубочки небесныя! сладенькимъ голосомъ началъ Опенкинъ:—почиваютъ, спрятавъ головки подъ крылышко! Маринушка! поди, дай, обниму тебя...

— Ну, васъ, подите, говорить вамъ: вотъ дать вамъ знать жена, какъ придете домой...

— Избѣтъ, избѣтъ, яко младенца, Маринушка!

Онъ началъ хныкать и всхлипывать.

— Дай мадерцы: выпилъ бы изъ твоихъ золотыхъ ручекъ! плача говорилъ онъ.

— Нѣту: видите, бутылка пустая! выкатили всю на лобъ себѣ!



— Ну, ромцу, сударушка: ты мнѣ ни разу не поднесла...

— Вотъ еще! пойду въ буфетъ рому доставать! Ключи у барышни...

— Давай, шельма! закричалъ опять во все горло Опенкинъ.

Вскорѣ изъ спальни вышла Татьяна Марковна, въ ночномъ чепцѣ и салопѣ.

— Что это, въ умѣ ли ты, Акимъ Акимычъ? строго сказала она.

— Матушка, матушка! завонить Опенкинъ, опускаясь на колѣни и хватая ее за ноги:—дай ножку, благодѣтельница, прости...

— Пора домой: здѣсь не кабакъ — что это за срамъ! Впередъ не велю принимать...

— Матушка! кабакъ! кабакъ! Кто говорить кабакъ? Это храмъ мудрости и добродѣтели. Я честный человѣкъ, матушка: да, или нѣтъ? Ты только изреки—честный я, или нѣтъ? Обманулъ я, уязвилъ, налгалъ, наклеветалъ, насплетничалъ на ближняго? изрыгалъ хулу, злобу? Николи! гордо произнесъ онъ, стараясь выпрямиться. — Нарушилъ ли присягу въ вѣрности царю и отечеству? производилъ поборы, извращалъ смыслъ закона, посягалъ на интересъ казны? Николи! Мухи не обидѣлъ, матушка: безвреденъ, яко червь пресмыкающійся...

— Ну, вставай, вставай, и ступай домой! Я устала, спать хочу...

— Да почіеть благословеніе Божіе надъ тобою, праведница!

— Яковъ, вели Кузьмѣ проводить домой Акима Акимыча! приказывала бабушка.—И проводи его самъ, чтобъ онъ не ушибся! Ну, прощай, Богъ съ тобой: не кричи, ступай, дѣвочекъ разбудишь!

— Матушка, ручку, ручку! горлицы, горлицы небесныя...

Бережкова ушла, нисколько не смущаясь этимъ явленіемъ, которое повторялось ежемѣсячно и сопровождалось все однѣми и тѣми же сценами. Яковъ сталъ звать Опенкина, стараясь, съ помощью Марины, приподнять его съ пола.

— А! богобоязненный Іаковъ! продолжалъ Опенкинъ: —пріими на лоно свое недостойнаго Іоакима и поднеси изъ благочестивыхъ рукъ своихъ рюмочку ямайскаго...

— Пойдемте, не шумите: барыню опять разбудите, пора домой!

— Ну, ну... ну... твердилъ Опенкинъ, кое-какъ барахтаясь и поднимаясь съ пола: — пойдемъ, пойдемъ. За чѣмъ домой, дабы змѣя лютая язвила меня до утрія? Нѣтъ, пойдемъ къ тебѣ, человѣче: я повѣдаю ти, како Іаковъ боролся съ Богомъ...

Яковъ любилъ поговорить о „божественномъ“, и выпить тоже любилъ, и потому поколебался.

— Ну, ладно, пойдемте ко мнѣ, а здѣсь не пригоже оставаться, сказалъ онъ.

Опенкинъ часа два сидѣлъ у Якова въ прихожей. Яковъ тупо и углубленно слушалъ эпизоды изъ священной исторіи; даже досталъ въ людской и принесъ бутылку пива, чтобы заохотить собесѣдника къ разсказу. Наконецъ Опенкинъ, кончивъ пиво, сталъ поминутно терять нить исторіи и перепуталъ до того, что Самсонъ у него проглотилъ кита и носилъ его три дня во чревѣ.

— Какъ...позвольте, задумчиво остановилъ его Яковъ: — кто кого проглотилъ?

— Человѣкъ, тебѣ говорятъ: Самсонъ, то бишь—Іона!

— Да вѣдь китъ большущая рыба: сказываютъ, въ Волгѣ не уляжется...

— А чудо-то на что?

— Не другую ли какую рыбу проглотилъ человѣкъ?  
изъявилъ Яковъ сомнѣніе.

Но Опенкинъ успѣлъ захрапѣть.

— Проглотилъ, ей-Богу, право, проглотилъ! бормоталъ онъ несвязно въ просонѣ.

— Да кто кого: фу, ты, Боже мой, — скажете ли вы? допытывался Яковъ.

— Поднеси изъ благочестивыхъ рукъ... чуть внятно говорилъ Опенкинъ, засыпая.

— Ну, теперь ничего не добьешься! Пойдемте.

Онъ старался растолкать гостя, но тотъ храпѣлъ. Яковъ сходилъ за Кузьмой и вдвоемъ часа четыре употребили на то, чтобъ довести Опенкина домой, на противоположный конецъ города. Тамъ, сдавъ его на руки кухаркѣ, они сами на другой день къ обѣду только вернулись домой.

Яковъ съ Кузьмой провели утро въ слободѣ, подъ гостепріимнымъ кровомъ кабака. Когда они выходили изъ кабака, то Кузьма принималъ чрезвычайно дѣловое выраженіе лица, и чѣмъ ближе подходилъ къ дому, тѣмъ строже и внимательнѣе смотрѣлъ вокругъ, нѣтъ ли безпорядка какого-нибудь, не валяется ли что-нибудь лишнее, зря, около дома, трогалъ замокъ у воротъ, цѣлъ ли онъ. А Яковъ все искалъ по сторонамъ глазами, не покажется ли церковный крестъ вдалекѣ, чтобъ помолиться на него.

## XX.

Терпѣніе Райскаго разбилось о равнодушіе Вѣры, и онъ впалъ въ уныніе, сталъ опять терзаться тупой и безплодной скукой. Отъ скуки онъ пробовалъ чертить разныя деревенскія сцены карандашомъ, набросалъ въ альбомъ почти всѣ пейзажи Волги, какіе видѣлъ изъ дома и съ обрыва, писалъ замѣтки въ свои тетради, записалъ даже Опенкина,

и положивъ перо, спросилъ себя: „Зачѣмъ онъ записалъ его? Вѣдь въ романъ онъ не годится: нѣтъ ему роли тамъ. Опенкинъ—старый, выродившійся провинціальный типъ, гость, котораго не знаютъ какъ выжить: чтожъ тутъ интереснаго? И какой это романъ! И какъ пишутъ эти романисты? Какъ у нихъ выходитъ все слито, связано между собой, такъ что ничего тронуть и пошевелить нельзя? А я какъ будто въ зеркалѣ вижу только себя! Какъ это глупо! Не умѣю! Неудачникъ я!“

Онъ сталъ припоминать свои уроки въ академіи, студіи, гдѣ рисуютъ съ бюстовъ. Наконецъ упрямо привязался къ воспоминанію о Бѣлодовой, вынулъ ея акварельный портретъ, стараясь привести на память послѣдній разговоръ съ нею, и кончилъ тѣмъ, что написалъ къ Аянову цѣлый рядъ писемъ—литературныхъ произведеній въ своемъ родѣ, требуя отъ него подробнѣйшихъ свѣдѣній обо всемъ, что касалось Софьи: гдѣ, что она, на дачѣ, или въ деревнѣ? Посѣщаетъ ли онъ ея домъ? Вспоминаетъ ли она о немъ? Бываетъ ли тамъ графъ Милари—и прочее и прочее,—все, все.

Всѣмъ этимъ онъ надѣялся отдѣлаться отъ навязчивой мысли о Вѣрѣ.

Отославъ пять, шесть писемъ, онъ опять погрузился въ свой недугъ—скуку. Это не была скука, какую испытываетъ человѣкъ за нелюбимымъ дѣломъ, которое навязала на него обязанность и которой онъ предвидитъ конецъ.

Это тоже не случайная скука, постигающая кого-нибудь въ случайномъ положеніи: въ болѣзни, въ утомительной дороге, въ карантинѣ; тамъ впереди опять видѣнъ конецъ.

Могъ бы онъ заняться дѣломъ: за дѣломъ скуки не бываетъ.

„Но дѣла у насъ, русскихъ, нѣтъ,“ рѣшилъ Райскій, — „а есть миражъ дѣла. А если и бываетъ, то въ сферѣ рабочаго человѣка, въ приспособленіи къ дѣлу грубой силы или гру-



баго умѣнья, слѣдовательно, дѣло рукъ, плечей, спины: и то дѣло вяжется плохо, плетется кое-какъ; поэтому, рабочий людъ, какъ рабочий скоть, дѣлаетъ все изъ-подъ палки и норовитъ только отбыть свою работу, чтобы скорѣе добраться до животнаго покоя. Никто не чувствуетъ себя человѣкомъ за этимъ дѣломъ и никто не вкладываетъ въ свой трудъ человѣческаго, сознательнаго умѣнья, а все везетъ свой возъ, какъ лошадь, отмахиваясь хвостомъ отъ какого-нибудь кнута. И если кнутъ пересталъ свистать—перестала и сила двигаться и ложится тамъ, гдѣ остановился кнутъ. Весь домъ около него, да и весь городъ, и всѣ города въ пространномъ царствѣ, движутся этимъ отрицательнымъ движеніемъ. А не въ рабочей сферѣ—повыше, гдѣ у насъ дѣло, которое бы каждый дѣлалъ, такъ сказать, облизываясь отъ удовольствія, какъ будто-бы ѣлъ любимое блюдо? А вѣдь только за такимъ дѣломъ и не бываетъ скуки! Отъ этого всѣ у насъ ищутъ однихъ удовольствій, и все внѣ дѣла“.

— А дѣла нѣтъ, одинъ миражъ! злобно твердилъ онъ, одолѣваемый хандрой, доведившей его иногда до свирѣпости, несвойственной его мягкой натурѣ.

Его самого готовили—къ чему — никто не зналъ. Вся женская родня прочила его въ военную службу, мужская—въ гражданскую, а рожденіе само по себѣ представляло еще третье призваніе—сельское хозяйство. У насъ легко погнаться за всѣми тремя зайцами и поспѣть къ тремъ — миражамъ.

И только одинъ онъ выдался уродъ въ семьѣ и не поспѣлъ ни къ одному, а выдумалъ свой миражъ—искусство!

Сколько насмѣшекъ, пожиманія плечъ, холодныхъ и строгихъ взглядовъ перенесъ онъ на пути къ своему идеалу! И еслибъ онъ вышелъ побѣдителемъ, вынесъ на плечахъ свою задачу и доказалъ „серьезнымъ людямъ“, что они стремятся къ миражу, а онъ къ дѣлу—онъ бы и былъ правъ.

А онъ тоже не дѣлаетъ дѣла, и его дѣло передъ ихъ дѣ-

ломъ— есть самый пустой изъ всѣхъ миражей. Правъ Маркъ, этотъ циническій мудрецъ, такъ храбро презрѣвшій всѣ миражи и отыскивающій... миража поновѣе!

— Нѣтъ и у меня дѣла, не умѣю я его дѣлать, какъ дѣлають художники, погружаясь въ задачу, умирая для нея! въ отчаяніи рѣшилъ онъ.—А какія сокровища передъ глазами: то картинки жанра, Теньеръ, Остадъ—для кисти, то быть и нравы—для пера: всѣ эти Опенкины и... вонъ, вонъ...

Онъ смотрѣлъ на дворъ, гдѣ все копошилось ежедневною заботой, видѣлъ какъ Улита убирала погреба и подвалы. Онъ сталъ наблюдать Улиту.

Улита была какимъ-то гномомъ: она гнѣздилась вѣчно въ подземельномъ царствѣ, въ погребахъ и подвалахъ, такъ что сама вся пропиталась подвальной сыростью.

Платье ея было влажно, носъ и щеки постоянно озябшія, волосы всклокочены и покрыты безпорядочно смятымъ бумажнымъ платкомъ. Около пояса грязный фартукъ, рукава засучены.

Ее всегда увидишь, что она, или возникаетъ, какъ изъ могилы, изъ погреба, съ кринкой, горшкомъ, корытцемъ, или съ полдюжиной бутылокъ между пальцами въ обѣихъ рукахъ, или опускается внизъ, въ подвалы и погреба, прятать провизію, вино, фрукты и зелень.

На солнышкѣ ее почти не видать, и все она таится во тьмѣ своихъ холодниковъ: видно въ глубинѣ подвала только ея лицо съ синевато-краснымъ румянцемъ, все прочее сливается съ мракомъ домашнихъ пещеръ.

Она и не подозрѣвала, что Райскій болѣе, нежели кто-нибудь въ домѣ, занимался ею, больше даже родныхъ ея, жившихъ въ селѣ, которые по мѣсяцамъ не видались съ ней.

Онъ срисовалъ ее, показалъ Марейнкѣ и Вѣрѣ: первая руками всплеснула отъ удовольствія, а Вѣра одобрительно кивнула головой.

Героемъ дворни все-таки оставался Егорка: это былъ живой пульсъ ея. Онъ своего дѣла, котораго собственно и не было, не дѣлалъ,—„какъ всѣ у насъ“, упрямо мысленно добавлялъ Райскій,—но за то совался поминутно въ чужія дѣла. Смотришь, дугу натягиваетъ, и сила есть: онъ коренастый, мускулистый, длиннорукій, какъ орангъ-утангъ, но хорошо сложенный малый. То сѣно примется помогать складывать на сѣноваль: бросить охапки три и кинетъ вилы, начнетъ болтать и мѣшать другимъ.

Но главное его призваніе и страсть — дразнить дворовыхъ дѣвокъ, трепать ихъ, дѣлать имъ всякія шутки. Онъ смѣется надъ ними, свищетъ имъ въ слѣдъ, схватить изъ-за угла длинной рукой за плечо, или за шею такъ, что бѣдная дѣвка не вспомнится, гребенка выскочить у ней, и коса упадетъ на спину.

— Чортъ, озорникъ! кричить дѣвка, и съ ея крикомъ послышится ворчанье какой-нибудь старой бабы.

Но ему неймется: онъ подмигиваетъ на проходящую дѣвку глазами кучеру, или Якову, или кто тутъ случится близко, и опять засвищетъ, захихикаетъ, или начнетъ выдѣлывать такую мимику, что дѣвка бросится бѣжать, а онъ вслѣдъ оскалитъ зубы или свиснетъ.

Какую бы, кажется, ненависть долженъ былъ возбудить къ себѣ во всей женской половинѣ дворни такой озорникъ, какъ этотъ Егорка? А именно этого и не было.

Онъ вызывалъ только временныя вспышки въ этихъ дѣвицахъ, а потомъ онѣ же лѣзли къ нему, лишь только онъ назоветъ которую-нибудь Марьей Петровной или Пелагеей Сергѣевной и дружелюбно заговорить съ ней.

Онѣ гурьбой толпились около него, когда онъ въ воскресенье съ гитарой сидѣлъ у воротъ и ласково, но всегда съ насмѣшкой, балагурилъ съ ними. И только тогда бросались отъ него врозь, когда онъ запѣвалъ черезъ-чуръ нецензур-

ную пѣсню, или вдругъ принимался за неудобную для ихъ стыдливости мимику.

Но наединѣ и порознь, смотришь, то та, то другая стоять, дружески обнявшись съ нимъ, гдѣ-нибудь въ уголкѣ, и вечеркомъ, особенно по зимамъ, кому была охота, могъ видѣть, какъ бѣгали женскія тѣни черезъ дворъ и какъ затворялась и отворялась дверь его маленькаго чуланчика, рядомъ съ комнатами кучеровъ.

Не подозрѣвалъ и Егорка, и красныя дѣвицы, что Райскому, лучше нежели кому-нибудь въ дворнѣ, видны были всѣ шашни ихъ и вся эта игра домашнихъ страстей.

Обращаясь отъ двора къ дому, Райскій въ сотый разъ усмотрѣлъ тамъ, въ маленькой горенкѣ, рядомъ съ бабушкинымъ кабинетомъ, неизмѣнную картину: молчаливая, вѣчно-шепчущая про себя Василиса, со впалыми глазами, сидѣла у окна, вѣкъ свой на одномъ мѣстѣ, на одномъ стулѣ, съ высокой спинкой и кожанымъ, глубоко продавленнымъ сидѣньемъ, глядя на дрова, да на копавшихся въ курчѣ сора куръ.

Она не уставала отъ этого вѣчнаго сидѣнья, отъ этой одной и той же картины изъ окна. Она даже не охотно разставалась со своимъ стуломъ, и подавъ барынѣ кофе, убравши ея платье въ шкафъ, спѣшила на стулъ, за свой чулокъ, глядѣть задумчиво въ окно на дрова, на куръ, и шептать.

Изъ дома выходитъ для нея было наказаніемъ; только въ церковь ходила она, и то стараясь робко, какъ-то стыдливо, пройти черезъ улицу, какъ-будто боялась людскихъ глазъ. Когда ее спрашивали, отъ чего она не выходитъ, она говорила, что любить „домовничать“.

Она казалась полною, потому что разбухла отъ сидѣнья и затворничества, и иногда жаловалась на одышку. Она и Яковъ были большіе постники, и оба набожные.

Когда кто приходилъ посторонній въ домъ и когда въ



прихожей не было ни Якова, ни Егорки, что почти постоянно случалось, и Василиса отворяла двери, она никогда не могла потомъ сказать, кто приходилъ. Ни имени, ни фамиліи приходившаго она передать никогда не могла, хотя со-старѣлась въ городѣ и знала въ лицо послѣдняго мальчишку.

Если лекаръ приходилъ, священникъ, она скажетъ, что былъ лекаръ или священникъ, но имени не помнить.

— Былъ вотъ этотъ... начнетъ она.

— Кто такой? спросить Татьяна Марковна.

— Да вонъ тотъ, что чуть Марѳеу Васильевну не убилъ, а этому ужъ пятнадцать лѣтъ прошло, какъ гость уронилъ маленькую ее съ рукъ.

— Да кто?

— Вотъ что послѣ обѣда не кофе, а чаю просить, или: — тотъ, что диванъ въ гостиной трубкой прожегъ, или: — что на страстной скоромное жретъ и т. п.

Она, какъ тѣнь, неслышно „домовничаетъ“ въ своемъ уголку, перебирая спицы чулка. Передъ ней, черезъ сосновый крапешный столъ, на высокомъ деревянномъ табуретѣ сидѣла дѣвочка отъ 8 до 10-ти лѣтъ, и тоже вязала чулокъ, держа его высоко, такъ что спицы поминутно высывались выше головы.

Такія дѣвочки не переводились у Бережковой. Если дѣвочка выростала, ее употребляли на другую, серьезную работу, а на ея мѣсто брали изъ деревни другую, на побѣ-гушки, для мелкихъ приказаній.

Обязанность ея, когда Татьяна Марковна сидѣла въ своей комнатѣ, стоять плотно прижавшись въ уголкѣ у двери и вязать чулокъ, держа клубокъ подъ мышкой, но стоять смирно, не шевелясь, чуть дыша, и по возможности не спускающая съ барыни глазъ, чтобъ тотчасъ броситься, если барыня укажетъ ей пальцемъ, подать платокъ, затворить или отворить дверь, или велить позвать кого-нибудь.

— Утри носъ! слышалось иногда, и дѣвочка утирала носъ передникомъ, или пальцемъ, и продолжала вязать.

А когда Бережкова уходила или уѣзжала изъ дома, дѣвочка шла къ Василисѣ, влѣзала на высокій табуретъ, и молча, не спуская глазъ съ Василисы, продолжала вязать чулокъ, насилу одолѣвая пальцами длинныя стальные спицы. Часто клубокъ вываливался изъ-подъ мышки и катился по комнатѣ.

— Что зѣваешь, подними! слышался шепотъ.

Иногда на окно приходилъ къ нимъ погрѣться на солнцѣ, между двумя бутылками наливки, котъ Сѣрко; и если Василиса отлучалась изъ комнаты, дѣвчонка, не могла отказать себѣ въ удовольствіи поиграть съ нимъ, поднималась возня, смѣхъ дѣвчонки, игра кота съ клубкомъ: тутъ часто клубокъ, и самъ котъ, летѣли на полъ, иногда опрокидывался и табуретъ съ дѣвчонкой.

Дѣвочку, которую засталъ Райскій, звали Пашуткой.

Ей стригутъ волосы коротко и одѣваютъ въ платье, сдѣланное изъ старой юбки, но такъ, что не разберешь, задомъ или на передъ сидѣло оно на ней; ноги обуты въ большіе не по лѣтамъ башмаки.

У ней изъ маленькаго, плутовскаго, нѣсколько приподнятаго къ верху носа часто свѣтитсѣ капля. Пробовали ей давать носовыя платки, но она изъ нихъ все свивала подобіе куколь, и даже углемъ помѣчала, гдѣ быть глазамъ, гдѣ носу. Ихъ отобрали у нея, и она оставалась съ каплей, которая издали свѣтилась какъ искра.

Райскій заглянулъ къ нимъ. Пашутка, быстро взглянувъ на него изъ-за чулка, усмѣхнулась-было, потому что онъ, то ласково погладить ее, то дать ложку варенья или яблоко, и еще быстрѣе потупила глаза подъ суровымъ взглядомъ Василисы. А Василиса, увидѣвъ его, перестала шептать и углубилась въ чулокъ.

Онъ заглянулъ къ бабушкѣ: ея не было, и онъ, взявъ фуражку, вышелъ изъ дома, пошелъ по слободѣ и добрелъ незамѣтно до города, продолжая съ любопытствомъ вглядываться въ каждаго прохожаго, изучалъ дома, улицы.

Тамъ кое-гдѣ двигался народъ. Купецъ, т. е. шляпа, борода, крутое брюхо и сапоги, смотрѣли, какъ рабочіе, кряхтя, складывали мѣшки хлѣба въ амбаръ; тамъ толпились какія-то неопредѣленные личности у кабака, а тамъ проѣхала длинная и глубокая телѣга, съ насаженнымъ туда невѣроятнымъ числомъ рослаго, здороваго мужичья, въ порыжѣвшихъ шапкахъ безъ полей, въ рубашкахъ съ синими заплатами, и въ бурыхъ армякахъ, и въ лаптяхъ и въ громадныхъ сапожищахъ, съ рыжими, сѣдыми и разношерстными бородами, то клиномъ, то лопатой, то раздвоенными, то козлинообразными.

Телѣга ѣхала съ грохотомъ, прискакивая; прискакивали и мужики; иной сидѣлъ прямо, держась обѣими руками за края, другой лежалъ положивъ голову на третьяго, а третій, опершись рукой на локоть, лежалъ въ глубинѣ, а ноги висѣли черезъ край телѣги.

Правиль большой мужикъ, стоя, въ буромъ длинномъ до полу армякѣ, въ нахлобученной на уши шляпѣ безъ полей, и медленно крутилъ возжей около головы.

Лицо у него отъ загара и пыли было совсѣмъ черное, глаза ушли подъ шапку, только усы и борода, точно изъ овечьей, бѣло-золотистой, жесткой шерсти, рѣзко отдѣлялись отъ темнаго кафтана.

Лошадь рослая, здоровая, вся въ кисточкахъ изъ ремней по бокамъ, выбивалась изъ силъ и неслась скачками.

Все это прискакало къ кабаку, соскочило, отряхиваясь, и убралось въ двери, а лошадь уже одна доѣхала до изгороди, въ которую всаженъ былъ клокъ сѣна, и отфыркавшись, принялась ѣсть.

Встрѣчались Райскому дальше въ городѣ лица, очевидно бродившія безъ дѣла, или „съ миражемъ дѣла“. Купцы, томящіеся бездѣльемъ у своихъ лавокъ, проѣдетъ совѣтникъ на дрожкахъ; пройдетъ, важно выступая, духовное лицо, съ длинной тростью.

А тамъ въ пустой улицѣ, по срединѣ, взрывая нетрезвыми ногами облака пыли, шель разгульный малый, въ красной рубашкѣ, въ шапкѣ на-бокъ, и размахивая руками, въ одиночку оралъ пѣсню, и время отъ времени показывалъ рѣдкому прохожему грозный кулакъ.

Райскій пробрался до Козлова, и узнавъ, что онъ въ школѣ, спросилъ про жену. Баба, отворившая ему калитку, стороною посмотрѣла на него, потомъ высморкалась въ фартукъ, отерла пальцемъ носъ и ушла въ домъ. Она не возвращалась.

Райскій постучалъ опять, собаки залаяли, вышла дѣвочка, поглядѣла на него, розиня ротъ, и тоже ушла. Райскій обошелъ съ переулка и услышалъ за заборомъ голоса въ садикѣ Козлова: одинъ говорилъ по-французски, съ парижскимъ акцентомъ, другой голосъ былъ женскій. Слышенъ былъ смѣхъ, и даже будто раздался поцѣлуй...

— Бѣдный Леонтій! прошептала Райскій: — или, пожалуй, тупой, недогадливый Леонтій!

Онъ стоялъ въ нерѣшимости—войти или нѣтъ.

„А вѣдь я другъ Леонты:—старый товарищъ—и терплю, глядя, какъ эта честная, любящая душа награждена за свою симпатію! Ужели я останусь равнодушнымъ?.. Но что дѣлать: открыть ему глаза, будить его отъ этого, когда онъ такъ вѣрить, поклоняется чистотѣ этого... „римскаго профиля“, такъ сладко спать въ лонѣ домашнего счастья — плохая услуга! Что же дѣлать? Вотъ дилемма!“ раздумывалъ онъ, ходя взадъ и впередъ по переулку. „Вотъ что развѣ: броситься, забить тревогу и смутить это преступное tête-à-tête?..“



Онъ пошелъ было въ двери, но тотчасъ же одумался и воротился.

„Это исторія, скандалъ“, думалъ онъ: „огласить позоръ товарища, нѣтъ, нѣтъ!—не такъ! Ахъ! счастливая мысль“ рѣшить онъ вдругъ: „дать Ульянѣ Андреевнѣ урокъ наединѣ: бросить ей громы на голову, плеснуть на нее волной чистыхъ, невѣдомыхъ ей понятій и нравовъ! Она обманывается доброго, любящаго мужа и прячется отъ страха: сдѣлаю, что она будетъ прятаться отъ стыда. Да, пробудить стыдъ въ огрубѣломъ сердцѣ—это долгъ и заслуга—и въ отношеніи къ ней, а болѣе къ Леонтью!“

Это замѣтно оживило его.

„Это уже не миражъ, а истинно честное, даже святое дѣло!“ думалось ему.

Затѣмъ его поглотилъ процессъ его исполненія. Онъ глубоко и серьезно вникалъ въ предстоящій ему долгъ: какъ, безъ огласки, безъ всякаго шума и сценъ, кротко и разумно уговорить эту женщину побережъ мужа, обратиться на другой, честный путь и начать заглаживать прошлое...

Онъ съ полчаса ходилъ по переулку, выжидая, когда уйдетъ М-г Шарль, чтобы упасть на горячій слѣдъ и „бросить громы“, или вліяніемъ стараго знакомства... — Это рѣшить минута, заключилъ онъ.

Подумавши, онъ отложилъ исполненіе до удобнаго случая—и отдавшись этой новой, сильно охватившей его задачѣ, прибавилъ шагу и пошелъ отыскивать Марка, чтобы заплатить ему визитъ, хотя это было не только не нужно, въ отношеніи послѣдняго, но даже не совсѣмъ осторожно со стороны Райскаго.

Райскій и не намѣревался выдать свое посѣщеніе за визитъ: онъ просто искалъ какого-нибудь развлеченія, чтобъ не чувствовать тупой скуки, и вмѣстѣ также, чтобъ не сосредоточиваться на мысли о Вѣрѣ.

Онъ правильно заключилъ, что тѣсная сфера, куда его занесла судьба, по неволѣ держала его подолгу на какомъ-нибудь одномъ впечатлѣніи, а такъ какъ Вѣра, „по дикой неразвитости“, по непривычкѣ къ людямъ, или наконецъ, онъ не знаетъ еще почему, не только не спѣшила съ нимъ сблизиться, но все отдалялась, то онъ и рѣшилъ не давать въ себѣ развиваться ни любопытству, ни воображенію, и показать ей, что она блѣдная, ничтожная деревенская дѣвочка, и больше ничего. Отъ этого онъ хватался за всякій случай дать своей впечатлительности другую пищу.

Онъ прошелъ мимо многихъ, покривившихся на бокъ, домишекъ, вышелъ изъ города и пошелъ между двумя плетнями, за которыми съ обѣихъ сторонъ разстилались огороды, посматривая на шалаши огородниковъ, на распяленный кое-гдѣ старый, дырявый кафтанъ, или на вздѣтую на палку шапку—пугать воробьевъ.

—Гдѣ тутъ огородникъ Ефремъ живетъ? спросилъ онъ одну бабу черезъ плетень, копавшуюся между двухъ грядъ.

Она, не отрываясь отъ работы, молча указала локтемъ вдаль, на одиноко-стоявшую избушку въ полѣ. Потомъ, когда Райскій ушелъ отъ нея шаговъ на сорокъ, она, прикрывъ рукой глаза отъ солнца, звонко спросила его вслѣдъ:

— Не огурцы ли покупаешь? Вотъ у насъ какіе ядреные да зеленые!

— Нѣтъ, отвѣчалъ Райскій:—я ничего не покупаю.

— Почто-жъ тебѣ Ефрема?

— Да у него живетъ мой знакомый Маркъ, не знаешь-ли?

— Нешто: у Ефрема стоитъ какой-то поповичъ, либо приказный изъ города, кто его знаетъ!

Райскій пошелъ къ избушкѣ, и только перелѣзъ черезъ плетень, какъ на встрѣчу ему помчались двѣ шавки съ яростнымъ лаемъ. Въ дверяхъ избушки показалась, съ ре-

бенкомъ на рукахъ, здоровая, молодая, съ загорѣлыми голыми руками и босикомъ, баба.

— Цыцъ, цыцъ, цы, проклятыя, чтобъ васъ! унимала она собакъ.—Кого вамъ? спросила она Райскаго, который оглядывался во все стороны, недоумѣвая, гдѣ тутъ могъ гнѣздиться кто-нибудь другой, кромѣ мужика съ семьей.

Около избушки не было ни дворика, ни загородки. Два окна выходили къ огородамъ, а два въ поле. Избушка почти вся была заставлена и покрыта лопатами, кирками, граблями, грудями корзинъ, въ углу навалены были драпицы, ведра и всякій хламъ.

Подъ навѣсомъ стояли двѣ лошади, тутъ же хрюкала свинья съ поросенкомъ и бродила насѣдка съ цыплятами. Поодаль стояло нѣсколько тачекъ и большая телѣга.

— Гдѣ тутъ живетъ Маркъ Волоховъ? спросилъ Райскій.

Баба молча указала на телѣгу. Райскій поглядѣлъ туда: тамъ, кромѣ большой рогожи, ничего не видать.

— Развѣ онъ въ телѣгѣ живетъ? спросилъ онъ.

— Вонъ его горница, сказала баба, показывая на одно изъ оконъ, выходившихъ въ поле.—А тутъ онъ спитъ.

— Объ эту пору спитъ?

— Да онъ на зарѣ пришелъ, должно быть, хмѣльной, вотъ и спитъ!

Райскій подошелъ къ телѣгѣ.

— Почто вамъ его? спросила баба.

— Такъ: повидаться хотѣлъ!

— А вы не замайте его!

— А что?

— Да онъ благой такой: пуцай лучше спитъ! Мужа-то вотъ дома нѣтъ, такъ мнѣ и жутко съ нимъ одной. Пуцай спитъ!

— Развѣ онъ обижаетъ тебя?

— Нѣтъ, грѣхъ сказать: почто обижать? Только чудной такой: я нешто его боюсь!

Баба стала качать ребенка, а Райскій съ любопытствомъ заглянулъ подъ рогожу.

— Экая дура! не умѣетъ гостей принять! вдругъ слышалось изъ-подъ рогожи, которая потомъ приподнялась, и изъ-подъ нея показалась всклокоченная голова Марка.

Баба тотчасъ скрылась.

— Здравствуйте, сказалъ Маркъ:—какъ это васъ занесло сюда?

Онъ вылѣзъ изъ телѣги и сталъ потягиваться.

— Съ визитомъ, должно быть?

— Нѣтъ, я такъ: пошелъ отъ скуки погулять...

— Отъ скуки? Чтò такъ: двѣ красавицы въ домѣ, а вы бѣжите отъ скуки; а еще художникъ! Или амуры нейдутъ на ладъ?

Онъ насмѣшливо мигнулъ Райскому.

— А вѣдь красавицы: Вѣра-то, Вѣра какова!

— Вы почему ее знаете и что вамъ до нихъ за дѣло? сухо замѣтилъ Райскій.

— Это правда, отвѣчалъ Маркъ.—Ну, не сердитесь: поидемте въ мой салонъ.

— Вы лучше скажите, отчего въ телѣгѣ спите: или Дюгена разыгрываете?

— Да, по неволѣ, сказалъ Маркъ.

Они прошли черезъ сѣни, черезъ жилую избу хозяевъ, и вошли въ заднюю комнатку, въ которой стояла кровать Марка. На ней лежалъ тоненькій старый тюфякъ, тощее ваточное одѣяло, маленькая подушка. На полкѣ и на столѣ лежало десятка два книгъ, на стѣнѣ висѣли два ружья, а на единственномъ стулѣ въ безпорядкѣ валялось нѣсколько бѣлья и платья.



— Вотъ мой салонъ: садитесь на постель, а я на стулъ, приглашалъ Маркъ.— Скинемте сюртуки: здѣсь адская духота. Не церемоньтесь, тутъ нѣтъ дамъ: скидайте, вотъ такъ. Да не хотите-ли чего-нибудь? У меня впрочемъ ничего нѣтъ. А если не хотите вы, такъ дайте мнѣ сигару. Одно молоко есть, яйца...

— Нѣтъ, благодарю, я завтракалъ, а теперь скоро и обѣдать.

— И то правда, вѣдь вы у бабушки живете. Ну, что она: не выгнала васъ за то, что вы дали мнѣ ночлегъ?

— Нѣтъ, упрекала, зачѣмъ безъ пирожнаго спать уложилъ и пуховика не потребовалъ.

— И въ то же время бранила меня?

— По обыкновенію, но...

— Знаю, не говорите—не отъ сердца, а по привычкѣ. Она старуха хоть куда: лучше ихъ всѣхъ тутъ, бойкая, съ характеромъ, и былъ когда-то здравый смыслъ въ головѣ. Теперь ужъ, я думаю, мозги-то размягчились!

— Вотъ какъ: нашелся же кто-нибудь, кому и вы симпатизируете! сказалъ Райскій.

— Да, особенно въ одномъ: она терпѣть не можетъ губернатора, и я тоже.

— За что?

— Бабушка ваша—не знаю за что, а я за то, что онъ — губернаторъ. И полицію тоже мы съ ней не любимъ, притѣсняетъ насъ. Ее заставляетъ чинить мосты, а обо мнѣ ужъ очень печется: освѣдомляется, гдѣ я живу, далеко ли отъ города отлучаюсь, у кого бываю.

Оба молчали.

— Вотъ и говорить намъ больше не о чемъ! сказалъ Маркъ.—Зачѣмъ вы пришли?

— Да скучно!

— А вы влюбитесь.

Райскій молчалъ.

— Въ Вѣру, продолжалъ Маркъ:—славная дѣвочка. Вы же брать ей на восьмой водѣ, вамъ вполовину легче начать съ ней романъ...

Райскій сдѣлалъ движеніе досады, Маркъ холодно засмѣялся.

— Что же она? Или не поддается столичному дендизму? Да какъ она смѣетъ, ничтожная провинціалка! Ну, чтожъ, старинную науку въ ходъ: наружный холодъ и внутренній огонь, небрежность приемовъ, гордое пожиманіе плечъ и презрительныя улыбки—это дѣйствуетъ! Порисуйтесь передъ ней, это ваше дѣло...

— Почему мое?

— Я вижу.

— Не ваше-ли, полно, рисоваться эксцентричностью и распущенностью?

— А можетъ быть, равнодушно замѣтилъ Маркъ: — чтожъ, еслибъ это подѣйствовало, я бы постарался...

— Да, я думаю, вы не задумались бы! сказалъ Райскій.

— Это правда, замѣтилъ Маркъ.—Я пошелъ бы прямо къ дѣлу, да тѣмъ и кончилъ бы! А вотъ вы сдѣлаете тоже, да будете увѣрять себя и ее, что влѣзли на высоту и ее туда же затащили—идеалистъ вы этакій! Порисуйтесь, порисуйтесь! Можетъ быть и удастся. А то чтó томить себя вздохами, не спать, караулить, когда бѣленькая ручка откинетъ лиловую занавѣску... ждать по недѣлямъ отъ нея ласковаго взгляда...

Райскій вдругъ зорко на него взглянулъ.

— Чтó, видно правда!

Маркъ попадалъ не въ бровь, а въ глазъ. А Райскому нельзя было даже обнаружить досаду: это значило бы—признаться, что это правда.

— Радъ бы былъ влюбиться, да не могу, не по лѣтамъ,

сказаль Райскій, притворно зѣвая:—да и не вылечусь отъ скуки.

— Попробуйте, дразнилъ Маркъ. — Хотите пари, что черезъ недѣлю вы влюбитесь, какъ котенокъ, а черезъ двѣ, много черезъ мѣсяцъ, надѣласте глупостей, и не будете знать, какъ убраться отсюда?

— А если я приму пари и выиграю, чѣмъ вы заплатите? почти съ презрѣніемъ отвѣчалъ Райскій.

— Вонъ панталоны, или ружье отдамъ. У меня только двое панталонъ: были третьи, да портной назадъ взялъ за долгъ... Пойдите, я примѣрю вашъ сюртукъ. Ба! какъ разъ въ пору! сказалъ онъ, надѣвши легкое пальто Райскаго и сядясь въ немъ на кровать. А попробуйте мое!

— Зачѣмъ!

— Такъ хочется посмотрѣть, въ пору ли вамъ. Пожалуйста, надѣньте: ну, чего вамъ стоитъ?

Райскій снисходительно надѣлъ поношенное и небезупречное отъ пятенъ пальто Марка.

— Ну, что, въ пору?

— Да, ничего, сидитъ!

— Ну, такъ останьтесь такъ. Вы вѣдь не долго проносите свое пальто, а мнѣ оно года на два станетъ. Впрочемъ — рады вы, нѣтъ ли, а я его теперь съ плечъ не сниму, — развѣ украдете у меня.

Райскій пожалъ плечами.

— Ну, чтожъ, идетъ пари? спросилъ Маркъ.

— Что вы такъ привязались къ этой... извините... глупой идеѣ?

— Ничего, ничего, не извиняйтесь — идетъ?

— Пари не равно: у васъ ничего нѣтъ.

— Объ этомъ не беспокойтесь: мнѣ не придется платить.

— Какая увѣренность!

— Ей-богу, не придется. Ну, такъ, если мое пророче-

ство сбудется, вы мнѣ заплатите триста рублей... А мнѣ какъ-бы кстати ихъ выиграть!

— Какія глупости? почти про себя сказалъ Райскій, взявъ фуражку и тросточку.

— Да, отъ нынѣшняго дня, черезъ двѣ недѣли вы будете влюблены, черезъ мѣсяць будете стонать, бродить, какъ тѣнь, играть драму, пожалуй, если не побоитесь губернатора и Нила Андреевича, то и трагедію, и кончите пошлостью...

— Почему вы знаете?

— Кончите пошлостью, какъ всѣ подобные вамъ. Я знаю, вижу васъ.

— Ну, а если не я, а она бы влюбилась и стонала?

— Вѣра!.. въ васъ?

— Да, Вѣра, въ меня!

— Тогда... я достану закладъ вдвое и принесу вамъ.

— Вы сумасшедшій! сказалъ Райскій, уходя вонъ и не удостоивъ Марка взглядомъ.

— Черезъ мѣсяць у меня триста рублей въ карманѣ! кричалъ ему вслѣдъ Маркъ.

## XXI.

Райскій сердито шелъ домой.

„Гдѣ она, эта красавица теперь?“ думалъ онъ злобно: „вѣроятно на любимой скамьѣ зѣваетъ по сторонамъ — пойти посмотреть!“

Изучивъ ея привычки, онъ почти навѣрное зналъ, гдѣ она могла быть въ тотъ или другой часъ.

Поднявшись съ обрыва въ садъ, онъ увидѣлъ ее дѣйствительно сидящую на своей скамьѣ съ книгой.

Она не читала, а глядѣла, то на Волгу, то на кусты. Увидя Райскаго, она перемѣнила позу, взяла книгу, потомъ тихо встала и пошла по дорожкѣ къ старому дому.



Онъ сдѣлалъ ей знакъ подождать его, но она или не замѣтила, или притворилась, что не видитъ, и даже будто ускорила шагъ, проходя по двору, и скрылась въ дверь стараго дома. Его взяло зло.

„А тотъ болванъ думаетъ, что я влюблюсь въ нее: она даже не знаетъ простыхъ приличій, выросла въ дѣвичьей, среди этого народа, неразвита, подгородная красота! Ея романъ ждетъ тутъ гдѣ-нибудь въ Палатѣ...“

Онъ злобно флъ за обѣдомъ, посматривая изъ подлобья на всѣхъ, и не взглянулъ ни разу на Вѣру, даже, не отвѣчалъ на ея замѣчаніе, что „сегодня жарко“.

Ему казалось, что онъ уже ее ненавидѣлъ, или пренебрегалъ ею: онъ этого еще самъ не рѣшилъ, но только сознавалъ, что въ немъ бродитъ какое-то враждебное чувство къ ней.

Это особенно усилилось дня за два передъ тѣмъ, когда онъ пришелъ къ ней въ старый домъ, съ Гёте, Байрономъ, Гейне, да съ какимъ-то англійскимъ романомъ подъ мышкой, и расположился у ея окна рядомъ съ ней.

Она съ удивленіемъ глядѣла, какъ онъ раскладывалъ книги на столѣ, какъ привольно располагался самъ.

— Чтó это вы хотите дѣлать? спросила она съ любопытствомъ.

— А вотъ, отвѣчалъ онъ, указывая на книги:— „улетимъ куда-нибудь на крыльяхъ поэзіи“, будемъ читать, мечтать, унесемся вслѣдъ за поэтами...

Она весело засмѣялась.

— Сейчасъ дѣвушка придетъ: будемъ кофты кроить, сказала она.—Тутъ на столѣ и по стульямъ разложимъ пологно и „унесемся“ съ ней въ расчеты аршинъ и вершковъ...

— Фи, Вѣра: оставь это, въ дѣвичьей безъ тебя сдѣлають...

— Нѣтъ, нѣтъ: бабушка и такъ недовольна моею лѣнью.

Когда она ворчитъ, такъ я кое-какъ еще переносу, а когда она молчитъ, косо поглядываетъ на меня и жалко вздыхаетъ—это выше силъ... Да, вотъ и Наташа. До свиданія, cousin. Давай сюда, Наташа, клади на столъ: все-ли тутъ?

Она проворно переложилъ книги на стулъ, подвинула столъ на средину комнаты, достала аршинъ изъ комода и вся углубилась въ отмѣриванье полотна, рассчитывала полотнища, съ свойственнымъ ей нервнымъ проворствомъ, когда одолѣвала ее охота или необходимость работы, и на Райскаго ни взгляда не бросила, ни слова ему не сказала, какъ будто его тутъ не было.

Онъ почти со скрежетомъ зубовъ ушелъ отъ нея, оставивъ у ней книги. Но, обойдя домъ и воротясь къ себѣ въ комнату, онъ нашелъ уже книги на своемъ столѣ.

— Проворно! Значить, и впередъ прошу не жаловать! прошепталъ онъ злобно.—Чтожь это однако: что она такое? Это даже любопытно становится. Играетъ, шутить со мной?

Маркъ, предложеніемъ пари, еще больше растревожилъ въ немъ желчь, и онъ почти не глядѣлъ на Вѣру, сидя противъ нея за обѣдомъ, только когда случайно поднималъ глаза, его какъ будто молніей ослѣпило „язвительной“ красотой.

Она взглянула-было на него раза два просто, ласково, почти дружески. Но, замѣтя его свирѣпыя взгляды, она увидѣла, что онъ раздраженъ и что предметомъ этого раздраженія была она.

Она наклонилась надъ пустой тарелкою и задумчиво углубила въ нее взглядъ. Потомъ подняла голову и взглянула на него: взглядъ этотъ былъ сухъ и печаленъ.

— Я съ Марейной хочу поѣхать на сѣнокосъ сегодня, сказала бабушка Райскому: — твоя милость, хозяинъ, не удостоишь ли взглянуть на свои луга?

Онъ, глядя въ окно, отрицательно покачалъ головой.

— Купцы снимаютъ: даютъ семьсотъ рублей ассигнаціями, а я тысячу прошу.

Никто на это ничего не сказалъ.

— Чтò же ты, сударь, молчишь? Яковъ, обратилась она къ стоявшему за ея стуломъ Якову:—купцы завтра хотѣли побывать: какъ пріѣдутъ, проводи ихъ вотъ къ Борису Павловичу...

— Слушаю-съ.

— Выгони ихъ вонъ! равнодушно отозвался Райскій.

— Слушаю-съ! повторилъ Яковъ.

— Вотъ какъ: кто-жъ ему позволить выгнать! Чтò, если бы всѣ помѣщики походили на тебя!

Онъ молчалъ, глядя въ окно.

— Да чтò ты молчишь, Борисъ Павловичъ: ты хоть пальцемъ тычь! Хоть бы ѣлъ по крайней мѣрѣ! Подай ему жаркое, Яковъ, и грибы: смотри, какіе грибы!

— Не хочу! съ нетерпѣніемъ сказалъ Райскій, махнувъ Якову рукой.

Снова всѣ замолчали.

— Савелій опять прибилъ Марину, сказала бабушка.

Райскій едва замѣтно пожалъ плечами.

— Ты бы унялъ его, Борисъ Павловичъ!

— Что я за полицмейстеръ? сказалъ онъ нехотя. — Пусть хоть зарѣжутъ другъ друга!

— Господи избави и сохрани! Это все драму, что ли, хочется тебѣ сочинить?

— До того мнѣ! проворчалъ онъ небрежно: — своихъ драмъ не оберешься...

— Чтò: или тяжело жить на свѣтѣ? насмѣшливо продолжала бабушка: — шутка ли, сколько разъ въ сутки съ боку на бокъ придется перевалиться!

Онъ взглянулъ на Вѣру: она налила себѣ краснаго вина въ воду и выпивъ, встала, поцѣловала у бабушки руку и

ушла. Онъ всталъ изъ-за стола и ушелъ къ себѣ въ комнату.

Вскорѣ бабушка, съ Марѣинькой и подоспѣвшимъ Викентьевымъ, уѣхали смотрѣть дуга, и весь домъ утонулъ въ послѣбобѣденномъ снѣ. Кто ушелъ на сѣноваль, кто растянулся въ сѣняхъ, въ сараѣ; другіе, пользуясь отсутствіемъ хозяйки, ушли въ слободу, и въ домѣ воцарилась мертвая тишина. Двери и окна отворены настежъ, въ саду не шелхнется листь.

У Райскаго съ ума не шла Вѣра.

„Гдѣ она теперь, чтó дѣлаетъ одна? Отчего она не поѣхала съ бабушкой и отчего бабушка даже не позвала ее?“ задавалъ онъ себѣ вопросы.

Не смотря на данное себѣ слово не заниматься ею, не обращать на нее вниманія, а поступать съ ней, какъ съ „ничтожной дѣвочкой“, онъ не могъ отвязаться отъ мысли о ней.

Онъ нарочно станетъ думать о своихъ петербургскихъ связяхъ, о пріятеляхъ, о художникахъ, объ академіи, о Бѣловодовой—переберетъ два три случая въ памяти, два три лица, а четвертое лицо выйдетъ — Вѣра. Возьметъ бумагу, карандашъ, сдѣлаетъ два, три штриха—выходитъ ея лобъ, носъ, губы. Хочетъ выглянуть изъ окна въ садъ, въ поле, а глядитъ на ея окно: „поднимаетъ ли бѣлая ручка лиловую занавѣску“, какъ говоритъ справедливо Маркъ. И почему онъ знаетъ? Какъ будто кто-нибудь подглядѣлъ, да сказалъ ему!

Закипитъ ярость въ сердцѣ Райскаго, хочетъ онъ мысленно обратить проклятiе къ этому неотступному образу Вѣры, а губы не повинуются, языкъ шепчетъ страстно ея имя, колѣна гнутся и онъ закрываетъ глаза и шепчетъ:

— Вѣра, Вѣра—никакая красота никогда не жгла меня язвительнѣе, я жалкій рабъ твой...



— Вздоръ, нелѣпость, сентиментальность! скажетъ очнувшись потомъ.

— Пойду къ ней, надо объясниться. Гдѣ она? Вѣдь это любопытство—больше ничего: не любовь же въ самомъ дѣлѣ!.. рѣшилъ онъ.

Онъ взялъ фуражку и побѣждалъ по всему дому, хлопая дверями, заглядывая во всѣ углы. Вѣры не было, ни въ ея комнатѣ, ни въ старомъ домѣ, ни въ полѣ не видать ея, ни въ огородахъ. Онъ даже поглядѣлъ на задній дворъ, но тамъ только Улита мыла какую-то кадку, да въ сараѣ Прохоръ лежалъ на спинѣ плашмя и спалъ подъ тулупомъ, съ наивнымъ лицомъ и открытымъ ртомъ.

Онъ прошелъ окраины сада, полагая, что Вѣру нечего искать тамъ, гдѣ обыкновенно бываютъ другіе, а надо забираться въ глушь, къ обрыву, по скату берега, гдѣ она любила гулять. Но нигдѣ ея не было, и онъ пошелъ уже домой, чтобъ спросить кого-нибудь о ней, какъ вдругъ увидѣлъ ее сидящую въ саду, въ десяти саженьяхъ отъ дома.

— Ахъ! сказалъ онъ:—ты тутъ, а я ищу тебя по всѣмъ угламъ...

— А я васъ жду здѣсь... отвѣчала она.

На него вдругъ будто среди зимы пахнуло южнымъ вѣтромъ.

— Ты ждешь меня! произнесъ онъ не своимъ голосомъ, глядя на нее съ изумленіемъ и страстными до воспаленія глазами.—Можетъ ли это быть?

— Отчего же нѣтъ? вѣдь вы искали меня...

— Да, я хотѣлъ объяснитьсь съ тобой.

— И я съ вами.

— Чтó же ты хотѣла сказать мнѣ?

— А вы мнѣ чтó?

— Сначала скажи ты, а потомъ я...

— Нѣтъ, вы скажите, а потомъ я...

— Хорошо, сказалъ онъ, подумавши, и сѣлъ около нея:—я хотѣлъ спросить тебя, зачѣмъ ты бѣгаешь отъ меня?

— А я хотѣла спросить, зачѣмъ вы меня преслѣдуете? Райскій упаль съ облаковъ.

— И только? сказалъ онъ.

— Пока только: посмотрю, что вы скажете?

— Но я не преслѣдую тебя: скорѣе удаляюсь, даже мало говорю...

— Есть разные способы преслѣдовать, cousin: вы избрали самый неудобный для меня...

— Помилуй, я почти не говорю съ тобой...

— Правда, вы рѣдко говорите со мной, не глядите прямо, а бросаете на меня изъ подлѡбья злые взгляды — это тоже своего рода преслѣдованіе. Но еслибъ только это и было...

— А что же еще?

— А еще—вы слѣдите за мной изподтишка: вы раньше всѣхъ встаете и ждете моего пробужденія, когда я отдерну у себя занавѣску, открою окно. Потомъ, только лишь я перехожу къ бабушкѣ, вы избираете другой пунктъ наблюденія и слѣдите, куда я пойду, какую дорожку выберу въ саду, гдѣ сяду, какую книгу читаю, знаете каждое слово, какое кому скажу... Потомъ встрѣчаетесь со мною...

— Очень рѣдко, сказалъ онъ.

— Правда, въ недѣлю раза два, три: это не часто и не могло бы надѡсть: напротивъ,—еслибъ дѣлалось безъ намѣренія, а такъ само собой. Но это все дѣлается съ умысломъ: въ каждомъ вашемъ взглядѣ и шагѣ я вижу одно—неотступное желаніе не давать мнѣ покоя, посягать на каждый мой взглядъ, слово, даже на мои мысли... По какому праву, позвольте васъ спросить?

Онъ изумился смѣлости, независимости мысли, жела-

нія, и этой свободѣ рѣчи. Передъ нимъ была не дѣвочка, прячущаяся отъ него отъ робости, какъ казалось ему, отъ страха за свое самолюбіе при неравной встрѣчѣ умовъ, понятій, образованій. Это новое лицо, новая Вѣра!

— А если тебѣ такъ кажется... нерѣшительно замѣтилъ онъ, еще не придя въ себя отъ удивленія.

— Не лгите! перебила она. — Если вамъ удастся замѣчать каждый мой шагъ и движеніе, то и мнѣ позвольте чувствовать неловкость такого наблюденія: скажу вамъ откровенно—это тяготитъ меня. Это какая-то неволя, тюрьма. Я, слава Богу, не въ плѣну у турецкаго пашы...

— Чего же ты хочешь: что надо мнѣ сдѣлать?...

— Вотъ объ этомъ я и хотѣла поговорить съ вами теперь. Скажите прежде, чего вы хотите отъ меня?

— Нѣтъ, ты скажи, настаивалъ онъ, все еще озадаченный и совершенно покоренный этими новыми и неожиданными сторонами ума и характера, бросившими страшный блескъ на всю ея и безъ того сіяющую красоту.

Онъ чувствовалъ уже, что наслажденіе этой красотой переходитъ у него въ страданіе.

— Чего я хочу? повторила она:—свободы!

Съ новымъ изумленіемъ взглянулъ онъ на нее.

— Свободы! повторилъ онъ:—я первый партизанъ и рыцарь ея—и потому...

— И потому не даете свободно дышать бѣдной дѣвушкѣ...

— Ахъ, Вѣра, зачѣмъ такъ дурно заключать обо мнѣ? Между нами недоразумѣніе: мы не поняли другъ друга — объяснимся—и, можетъ быть, мы будемъ друзьями.

Она вдругъ взглянула на него испытующимъ взглядомъ.

— Можетъ ли это быть? сказала она:—я бы рада была ошибиться.

— Вотъ моя рука, что это такъ: буду другомъ, братомъ—чѣмъ хочешь, требуй жертвъ.

— Жертвъ не надо, сказала она:—вы не отвѣчали на мой вопросъ: чего вы хотите отъ меня?

— Какъ „чего хочу“: я не понимаю, что ты хочешь сказать.

— Зачѣмъ преслѣдуете меня, смотрите такими странными глазами? Что вамъ нужно?

— Мнѣ ничего не нужно: но ты сама должна знать, какими другими глазами, какъ не жадными, влюбленными, можетъ мужчина смотрѣть на твою поразительную красоту...

Она не дала ему договорить, вспыхнула и быстро встала съ мѣста.

— Какъ вы смѣете говорить это? сказала она, глядя на него съ ногъ до головы. И онъ глядѣлъ на нее съ изумленіемъ, большими глазами.

— Что ты, Богъ съ тобой, Вѣра: что я сказалъ?

— Вы, гордый, развитой умъ, „рыцарь свободы“, не стыдитесь признаться...

— Что красота вызываетъ поклоненіе и что я поклоняюсь тебѣ: какое преступленіе!

— Вы даже не понимаете, я вижу, какъ это оскорбительно! Осмѣлились бы вы глядѣть на меня этими „жадными“ глазами, еслибъ около меня былъ зоркій мужъ, заботливый отецъ, строгій братъ? Нѣтъ, вы не гонялись бы за мной, не дулись бы на меня по цѣлымъ днямъ безъ причины, не подсматривали бы, какъ шпионъ, и не посягали бы на мой покой и свободу! Скажите, чѣмъ я подала вамъ поводъ смотрѣть на меня иначе, нежели какъ бы смотрѣли вы на всякую другую, хорошо защищенную женщину?

— Красота возбуждаетъ удивленіе: это ея право...



— Красота, перебила она,—имѣть также право на уваженіе и свободу...

— Опять свобода!

— Да, и опять, и опять! „Красота, красота!“ Далась вамъ моя красота! Ну, хорошо, красота: такъ что-же? Развѣ это яблоки, которыя висятъ черезъ заборъ и которыя можетъ рвать каждый прохожій?

— Каково! съ изумленіемъ, совсѣмъ растерянный говорилъ Райскій.—Чего же ты хочешь отъ меня?

— Ничего: я жила здѣсь безъ васъ, уѣдете—и я буду опять также жить...

— Ты велишь мнѣ уѣхать: изволь—я готовъ...

— Вы у себя дома: я умѣю уважать „ваши права“ и не могу требовать этого...

— Ну, чего ты хочешь—я все сдѣлаю, скажи, не сердись! просиль онъ, взявъ ее за обѣ руки. — Я виноватъ передъ тобой: я артистъ, у меня впечатлительная натура, и я, можетъ быть, слишкомъ живо поддаюсь впечатлѣнію, выразилъ свое участіе—конечно потому, что я не совсѣмъ тебѣ чужой. Будь я посторонній тебѣ, разумѣется, я бы воздержался. Я бросился немного слѣпо, обжегся — ну, и не бѣда! Ты мнѣ дала хорошій урокъ. Помирился же: скажи мнѣ свои желанія, я исполню ихъ свято... и будемъ друзьями! Право, я не заслуживаю этихъ упрековъ, всей этой грозы... Можетъ быть, ты и не со всѣмъ поняла меня...

Она подала ему руку.

— И я вышла изъ себя по пустому. Я вижу, что вы очень умны, во-первыхъ, сказала она,—во-вторыхъ, кажется, добры и справедливы: это доказываетъ теперешнее ваше сознаніе... Посмотримъ — будете ли вы великодушны со мной...

— Буду, буду, твори свою волю надо мной и увидишь... опять съ увлеченіемъ заговорилъ онъ.

Она тихо отняла руку, которую было-положила на его руку.

— Нѣтъ, сказала она полусерьезно:—по этому восторженному языку я вижу, что мы отъ дружбы далеко.

— Ахъ, эти женщины съ своей дружбой! съ досадой отозвался Райскій:—точно куличъ въ именины подносятъ!

— Вотъ и эта досада не общается хорошаго!

Она было-встала.

— Нѣтъ, нѣтъ, не уходи: мнѣ такъ хорошо съ тобой! говорилъ онъ, удерживая ее: — мы еще не объяснились. Скажи, чтò тебѣ не нравится, чтò нравится—я все сдѣлаю, чтобъ заслужить твою дружбу...

— Я вамъ въ самомъ началѣ сказала, какъ заслужить ее: помните? Не наблюдать за мной, оставить въ покоѣ, даже не замѣчать меня—и я тогда сама приду въ вашу комнату, назначимъ часы проводить вмѣстѣ, читать, гулять... Однако вы ничего не сдѣлали...

— Ты требуешь, Вѣра, чтобъ я былъ къ тебѣ совершенно равнодушенъ?

— Да.

— Не замѣчалъ твоей красоты, смотрѣлъ бы на тебя, какъ на бабушку...

— Да.

— А ты по какому праву требуешь этого?

— По праву свободы!

— Но еслибъ я поклонялся молча, издали, ты бы не замѣчала и не знала этого... ты запретить этого не можешь. Что тебѣ за дѣло?

— Стыдитесь, cousin! Времена Вертеровъ и Шарлотъ прошли. Развѣ это возможно? Притомъ я замѣчу страстные взгляды, любовное шпионство—мнѣ опять надоѣстъ, будетъ противно...

— Ты вовсе не кокетка: хоть бы ты подала надежду, сказала бы, что упорная страсть может растопить ледъ, и со временемъ взаимность прокрадется въ сердце...

Онъ произносилъ эти слова медленно, ожидая, не вырвется ли у ней какой-нибудь знакъ отдаленной надежды, хоть неизвѣстности, чего-нибудь...

— Это правда, сказала она:—я ненавижу кокетство и не понимаю, какъ не скучно привлекать эти поклоненія, когда не намѣрена и не можешь отвѣчать на вызванное чувство?...

— А ты... не можешь?

— Не могу.

— Почему ты знаешь: можетъ быть, придетъ время...

— Не ждите, cousin, не придетъ.

„Что это онѣ—какъ будто сговорились съ Бѣловодовой: наладили одно и тоже!“ подумалъ онъ.

— Ты не свободна, любишь? съ испугомъ спросилъ онъ.

Она нахмурилась и стала упорно смотрѣть на Волгу.

— Ну, еслибъ и любила: что же, грѣхъ, нельзя, стыдно.... вы не позволите, братецъ? съ насмѣшкой сказала она.

— Я!

— „Рыцарь свободы!“ еще насмѣшливѣе повторила она.

— Не смѣйся Вѣра: да, я ея достойный рыцарь! Не позволить любить: Я тебѣ именно и несу проповѣдь этой свободы! Люби открыто, всенародно, не прячясь: не бойся ни бабушки, никого! Старый міръ разлагается, зазеленѣли новые всходы жизни—жизнь зоветъ къ себѣ, открываетъ всѣмъ свои объятія. Видишь: ты молода, отсюда никуда носа не показывала, а тебя уже обвѣялъ духъ свободы, у тебя ужъ явилось сознание своихъ правъ, здравыя идеи. Если заря свободы восходить для всѣхъ: ужели одна женщина останется

рабой? Ты любишь? Говори смѣло.... Страсть—это счастье. Дай хоть позавидовать тебѣ!

— Зачѣмъ я буду рассказывать, люблю я, или нѣтъ? До этого никому нѣтъ дѣла. Я знаю, что я свободна, и никто не въ правѣ требовать отчета отъ меня...

— А бабушка? Ты ее не боишься? Вонъ, Марѣинька...

— Я никого не боюсь, сказала она тихо:—и бабушка знаетъ это и уважаетъ мою свободу. Послѣдуйте и вы ея примѣру... Вотъ мое желаніе! Только это я и хотѣла сказать.

Она встала со скамьи.

— Да, Вѣра, теперь я нѣсколько вижу и понимаю тебя и обѣщаю: вотъ моя рука, сказалъ онъ, — что отнынѣ ты не услышишь и не замѣтишь меня въ домѣ: буду „умникъ“, прибавилъ онъ, — буду „справедливъ“, буду „уважать твою свободу“, и какъ рыцарь буду „великодушень“, буду просто—великъ! Я—grand coeur!

Оба засмѣялись.

— Ну, слава Богу, сказала она, подавая ему руку, которую онъ жадно прижалъ къ губамъ.

Она взяла руку назадъ.

— Посмотримъ, прибавила она. — А впрочемъ, если нѣтъ... Ну, да ничего, посмотримъ...

— Нѣтъ, доскажи ужъ что начала, не то я стану ломать голову!

— Если я не буду чувствовать себя свободной здѣсь, то какъ я ни люблю этотъ уголокъ (она съ любовью бросила взглядъ вокругъ себя), но тогда... уѣду отсюда! рѣшительно заключила она.

— Куда? спросилъ онъ, испугавшись.

— Божій міръ великъ. До свиданія, cousin.

Она пошла. Онъ глядѣлъ ей въ слѣдъ; она неслышными шагами неслась по травѣ, почти не касаясь ея, только линія



плечь и стана, съ каждымъ шагомъ ея, дѣлала волнующееся движеніе; локти плотно прижаты къ талии, голова мелькала между цвѣтовъ, кустовъ, наконецъ явленіе мелькнуло еще за рѣшеткою сада и исчезло въ дверяхъ стараго дома.

„Прошу покорно!“ съ изумленіемъ говорилъ про себя Райскій, провожая ее глазами: „а я собирался развивать ее, тревожить ея умъ и сердце новыми идеями о независимости, о любви, о другой невѣдомой ей жизни... А она ужъ эмансипирована! Да кто же это?...“

— Каково отдѣлала! А вотъ я бабушкѣ скажу! закричалъ онъ, грозя ей въ слѣдъ, потомъ самъ засмѣялся и пошелъ къ себѣ.

## XXII.

На другой день Райскій чувствовалъ себя веселымъ и свободнымъ отъ всякой злобы, отъ всякихъ претензій на взаимность Вѣры, даже не нашелъ въ себѣ никакихъ слѣдовъ зародыша любви.

„Такъ, впечатлѣніе: какъ всегда у меня! Вотъ теперь и прошло!“ думалъ онъ.

Онъ смѣялся надъ своимъ увлеченіемъ, грозившимъ ему, повидимому, серьезной страстью, упрекалъ себя въ настоящемъ преслѣдованіи Вѣры и стыдился, что даже посторонній свидѣтель, Маркъ, замѣтилъ облака на его лицѣ, нервную раздражительность въ словахъ и движеніяхъ, до того очевидную, что могъ предсказать ему страсть.

„Ошибется же онъ, когда увидитъ меня теперь — думалъ онъ: вотъ будетъ хорошо, если онъ заранѣе разсчитаетъ на триста рублей этого глупѣйшаго пари и сдѣлаетъ издержку!“

Ему страхъ какъ захотѣлось увидѣть Вѣру опять наединѣ, единственно за тѣмъ, чтобъ только „великодушно“ сознаться, какъ онъ былъ глупъ, невѣренъ своимъ прин-

ципамъ, чтобъ изгладить первое, невыгодное впечатлѣніе и занять по праву мѣсто друга — покорить ея гордый умишко, выиграть довѣріе.

Но при этомъ все ему хотѣлось вдругъ принести ей множество какихъ-нибудь неудобоисполнимыхъ жертвъ, сдѣлаться ей необходимымъ, стать исповѣдникомъ ея мыслей, желаній, совѣсти, показать ей всю свою силу, душу, умъ.

Онъ забылъ только, что вся ея просьба къ нему была—ничего этого не дѣлать, не показывать, и что ей ничего отъ него не нужно. А ему все казалось, что еслибъ она узнала его, то сама избрала бы его въ руководители, не только ума и совѣсти, но даже сердца.

На другой, на третій день, его—хотяи не раздражительно, какъ недавно еще, но все-таки занимала новая, неожиданная, поразительная Вѣра, его дальняя сестра и будущій другъ.

На него пахнуло и новое, свѣжее, почти никогда не испытанное имъ, какъ казалось ему, чувство—дружбы къ женщинѣ: онъ вкусилъ этого, по его выраженію, „имениннаго кулича“, помимо ея красоты, помимо всякихъ чувственныхъ движеній грубой натуры и всякого любовнаго сентиментализма.

Это, бодрое, трезвое и умное чувство: въ такомъ взаимномъ сближеніи—ни онъ, ни она, ничего не теряютъ и оба выигрываютъ, изучая, дополняя другъ друга, любя тонкою, умною, полною взаимнаго уваженія и довѣрія привязанностію.

„Вотъ и прекрасно“, думалъ онъ: „умница она, что пересаживала мое впечатлѣніе на прочную почву. Только за этимъ, чтобъ сказать это ей все, успокоить ее—и хотѣлъ бы я ее видѣть теперь!“

Но онъ не смѣлъ сдѣлать ни шагу, даже добросовѣстно отворачивался отъ ея окна, прятался въ простѣнокъ, когда

она проходила мимо его оконъ; молча, съ дружеской улыбкой пожалъ ей, одинаково, какъ и Марѣинькѣ, руку, когда онѣ обѣ пришли къ чаю, не пошевелинулся и не повернулъ головы, когда Вѣра взяла зонтикъ и скрылась тотчасъ послѣ чаю въ садъ, и цѣлый день не зналъ, гдѣ она и что дѣлаетъ.

Но все еще онъ не завоевалъ себѣ того спокойствія, какое налагала на него Вѣра: ему бы надо уйти на цѣлый день, поѣхать съ визитами, уѣхать гостить на недѣлю за Волгу, на охоту, и забыть о ней. А ему не хочется никуда: онъ цѣлый день сидитъ у себя, чтобъ не встрѣтить ее, но ему пріятно знать, что она тутъ же въ домѣ. А надо добиться, чтобъ ему это было все равно.

Но и то хорошо, и то уже побѣда, что онъ чувствовалъ себя покойнѣе. Онъ уже на пути къ новому чувству, хотя новая Вѣра не выходила у него изъ головы, но это новое чувство тихо и нѣжно волновало и покоило его, не терзая, какъ страсть, дурными мыслями и чувствами.

Когда она обращала къ нему простой вопросъ, онъ, едва взглянувъ на нее, дружески отвѣчалъ ей и затѣмъ продолжалъ свой разговоръ съ Марѣинькой, съ бабушкой, или молчалъ, рисовалъ, писалъ замѣтки въ романъ.

„Да вѣдь это лучше всякой страсти!“ приходило ему въ голову: „это довѣріе, эти тихія отношенія, это заглядыванье, не въ глаза красавицы, а въ глубину умной, нравственной дѣвической души!“

Онъ ждалъ только одного отъ нея: когда она сброситъ свою сдержанность, откроется передъ нимъ довѣрчиво вся, какъ она есть, и также забудетъ, что онъ тутъ, что онъ мѣшалъ ей еще недавно: жить, былъ бѣльмомъ на глазу.

Райскій дня три нянчился съ этимъ „новымъ чувствомъ“ и бабушка не нарадовалась, глядя на него.

— Ну, просвѣтлѣло ясное солнышко! сказала она: — можно и съ визитами съѣздить въ городъ.

— Богъ съ вамп, бабушка: мнѣ не до того! ласково говорилъ онъ.

— Ну, поѣдемъ посмотрѣть, какъ яровое выходить.

— Нѣтъ, нѣтъ, твердилъ онъ, и даже поцѣловалъ у ней руку.

— Ты что-то ластись ко мнѣ: не къ деньгамъ-ли подбираешься, чтобъ Маркушкѣ дать? Не дамъ!

Онъ засмѣялся и ушелъ отъ нея—думать о Вѣрѣ, съ которой онъ все еще не нашелъ случая объясниться „о новомъ чувствѣ“ и о томъ, сколько оно счастья и радости приносить ему.

Случай представлялся ему много разъ, когда она была одна: но онъ боялся шевельнуться, почти не дышалъ, когда завидитъ ее, чтобъ не испугать ея рождающагося довѣрія къ искренности его переменъ и не испортить себѣ этотъ новый рай.

Наконецъ, на четвертый или пятый день послѣ разговора съ ней, онъ всталъ часовъ въ пять утра. Солнце еще было на дальнемъ горизонтѣ, изъ сада несло здоровую свѣжестью, цвѣты разливали сильный запахъ, роса блистала на травѣ.

Онъ наскоро одѣлся и пошелъ въ садъ, прошелъ двѣ, три аллеи и — вдругъ наткнулся на Вѣру. Онъ задрожалъ отъ нечаянности и испуга.

— Не нарочно, ей-Богу, не нарочно! закричалъ онъ въ страхѣ, и оба засмѣялись.

Она сорвала цвѣтокъ и бросила въ него, потомъ ласково подала ему руку и поцѣловала его въ голову, въ отвѣтъ на его поцѣлуй руки.

— Ненарочно, Вѣра, твердилъ онъ:—ты видишь, да?

— Вижу, отвѣчала она и опять засмѣялась, вспомнивъ его испугъ.—Вы милый, добрый...

— Великодушный... подсказалъ онъ.



— До великодушія еще не дошло, посмотримъ, сказала она, взявъ его подъ руку.—Пойдемте гулять: какое утро! Сегодня будетъ очень жарко.

Онъ былъ на седьмомъ небѣ.

— Да, да, славное утро! подтвердилъ онъ, думая, что сказать еще, но такъ, чтобъ какъ-нибудь нечаянно не заговорить о ней, о ея красотѣ—и не находилъ ничего, а его такъ и подмывало опять заиграть на любимой струнѣ.

— Я вчера письмо получилъ изъ Петербурга... сказалъ онъ, не зная что сказать.

— Отъ кого? спросила она машинально.

— Отъ художниковъ; а вотъ отъ Аянова все нѣтъ: не отвѣчаетъ. Не знаю, что кузина Бѣловодова: гдѣ проводитъ лѣто, какъ...

— Она... очень хороша? спросила Вѣра.

— Да... правильныя черты лица, свѣжесть, много блеску... говорилъ онъ монотонно, и взглянувъ съ боку на Вѣру, страстно вздрогнулъ. Красота Бѣловодовой погасла въ его памяти.

— Еще не получили ли чего-нибудь: кажется, Савелій посылку съ почты привезъ? спросила она.

— Да, новыя книги получилъ изъ Петербурга... Маколея, томъ *Mémoires* Гизо...

Она молча слушала.

— Не хочешь ли почитать?

— Послѣ пришлите Маколея.

„Пришлите“, подумалъ онъ: отчего—не „принесите?“

Они шли молча.

— А Гизо? спросилъ онъ.

— Гизо не надо, скучно.

— Ты почему знаешь?

— Я читала его „Исторію цивилизаціи...“

— И тебѣ показалось скучно! Гдѣ ты брала?

Они шли дальше.

— Чье это на васъ пальто: это не ваше? вдругъ спросила она съ удивленіемъ, вглядываясь въ пальто.

— Ахъ, это Марка...

— Зачѣмъ оно у васъ: развѣ онъ здѣсь? спрашивала она въ тревогѣ.

— Нѣтъ, нѣтъ, смѣясь отвѣчалъ онъ:—чего ты испугалась? Весь домъ боится его, какъ огня.

Онъ разсказалъ ей, какъ досталось ему пальто. Она слегка выслушала. Потомъ они молча обошли главные дорожки сада: она—глядя въ землю, онъ—по сторонамъ. Но у него, противъ воли, обнаруживалось нетерпѣніе. Ему все хотѣлось высказаться.

— Мнѣ кажется, у васъ есть что-то на умѣ, сказала она,—да вы не хотите сказать...

— Хотѣть-то я хочу, да боюсь опять грозы.

— А развѣ опять о „красотѣ“ что-нибудь?

— Нѣтъ, нѣтъ, напротивъ—я хотѣлъ сказать, какъ меня мучаетъ эта глупая претензія на поклоненіе—стыдъ: у меня сѣдые волосы!

— Какъ я рада, еслибъ это была правда!

— А ты еще сомнѣваешься! Это вспышка, мгновенное впечатлѣніе: ты меня образумила. Какая однако ты... Но объ этомъ послѣ. Я хочу сказать, что именно я чувствую къ тебѣ, и кажется на этотъ разъ не ошибаюсь. Ты мнѣ отворила какую-то особую дверь въ свое сердце—и я вижу бездну счастья въ твоей дружбѣ. Она можетъ окрасить всю мою безцвѣтную жизнь въ такіе кроткіе и нѣжные тоны... Я даже, кажется, увѣрую въ то, чего не бываетъ и во что всѣ перестали вѣрить—въ дружбу между женщиной и женщиной. Ты вѣришь, что такая дружба возможна, Вѣра?

— Почему—нѣтъ, еслибы такіе два друга рѣшились быть взаимно справедливы?..

— То-есть—какъ?

— То-есть, уважать свободу другъ друга, не стѣснять взаимно одинъ другого: только это рѣдко, я думаю, можно исполнить. Съ чьей-нибудь стороны замѣшается корысть... кто-нибудь да покажетъ когти... А вы сами способны ли на такую дружбу?

— А вотъ увидишь: ты повелѣвай и посмотри, какого раба приобрѣтешь въ своемъ другѣ...

— Вотъ и нѣтъ справедливости: ни раба, ни повелителя не нужно. Дружба любить равенство.

— Bravo, Вѣра! Откуда у тебя эта мудрость?

— Какое смѣшное слово!

— Ну, такъ?

— Духъ Божій вѣетъ не на однихъ финскихъ болотахъ: повѣялъ и на нашъ уголокъ.

— Ну, такъ мнѣ теперь предстоитъ задача—не замѣчать твоей красоты, а напирать больше на дружбу? смѣясь, сказалъ онъ:—такъ и быть, постараюсь...

— Да, какое бы это было счастье, заговорила она вкрадчиво:—жить, не стѣсняя воли другого, не слѣдя за другимъ, не допытываясь, что у него на сердцѣ, отчего онъ веселъ, отчего печаленъ, задумчивъ? быть съ нимъ всегда одинаково, дорожить его покоемъ, даже уважать его тайны...

„Она диктуетъ мнѣ программу, какъ вести себя съ ней!“ подумалъ онъ.

— То-есть, не видать другъ друга, не знать, не слышать о существованіи... сказалъ онъ:—это какая-то новая, неслыханная дружба: такой нѣтъ, Вѣра—это ты выдумала!

Онъ взглянулъ на нее, она отвѣчала ему страннымъ взглядомъ, „русалочнымъ“, по его выраженію: глаза будто стеклянные, ничего не выражающіе. Въ нихъ блеснулъ какой-то торопливый свѣтъ и исчезъ.

„Странно, какъ мнѣ знакомъэтотъ прозрачный взглядъ!“

думалъ онъ: „таковъ бываетъ у всѣхъ женщинъ, когда онѣ обманываютъ! Она меня усыпляетъ... Чтобы это значило? Ужъ въ самомъ дѣлѣ не любить ли она? У ней только и рѣчи, чтобъ „не стѣснять воли“. Да нѣтъ... кого здѣсь?..“

— О чемъ вы задумались? спросила она.

— Ничего, ничего, продолжай!

— Я кончила.

— Хорошо, Вѣра, буду работать надъ собой, и если мнѣ не удастся достигнуть того, чтобъ не замѣчать тебя, забыть, что ты живешь въ домѣ, такъ я буду притворяться...

— Зачѣмъ притворяться: вы только откажитесь искренно, не на словахъ со мной, а въ душѣ передъ самимъ собой, отъ меня.

— Безжалостная!

— Убѣдите себя, что мой покой, мои досуги, моя комната, моя... „красота“ и любовь... если она есть или будетъ...—это все мое, и что посягнуть на то, или на другое—значить...

Она остановилась.

— Что?

— Посягнуть на чужую собственность или личность...

— О, о, о—вотъ какъ: т. е. украсть или прибить. Ай да, Вѣра! Да откуда у тебя такія ультра-юридическія понятія? Ну, а на дружбу такого строгаго клейма ты не положишь? Я могу посягнуть на нее, да, это мое? Постараюсь! дай мнѣ недѣли двѣ срока, это будетъ опытъ: если я одолѣю его, я приду къ тебѣ, какъ братъ, другъ, и будемъ жить по твоей программѣ. Если же... ну, если это любовь — я тогда уйду!

— Что-то опять блеснуло въ ея глазахъ. Онъ взглянулъ, но поздно: она опустила взглядъ, и когда подняла, въ немъ ничего не было.

— Экая сверкающая ночь! шепнулъ онъ.



— Аминь! сказала она, подавая ему руку.—Пойдемте къ бабушкѣ, пить чай. Вотъ она открыла окно, сейчасъ позоветь...

— Одно слово, Вѣра: скажи, отчего ты такая?

— Какая?

— Мудрая, сосредоточенная, рѣшительная...

— Еще, еще прибавьте! сказала она съ дрожащимъ отъ улыбки подбородкомъ.—Что значить мудрость?

— Мудрость.... это совокупность истинъ, добытыхъ умомъ, наблюденіемъ и опытомъ, и приложимыхъ къ жизни... опредѣлили Райскій:—это гармонія, идея съ жизнью!

— Опыта у меня не было почти никакого, сказала она задумчиво, — и добыть этихъ идей и истинъ мнѣ неоткуда...

— Ну, такъ у тебя зоркій отъ природы глазъ и мыслящій умъ...

— Чтожъ, это позволительно имѣть, или, можетъ быть, стыдно дѣвицѣ, неприлично?..

— Откуда эти здравыя идеи, этотъ выработанный языкъ? говорилъ, слушая ее, Райскій.

— Вы дивитесь, что на вашу бѣдную сестру брызнула капля деревенской мудрости! Вамъ бы хотѣлось видѣть дурачку на моемъ мѣстѣ—да? Вамъ досадно?..

— Ахъ, нѣтъ—я упиваюсь тобой. Ты сердишься, запрещаешь заикаться о красотѣ, но хочешь знать, какъ я разумѣю и отъ чего такъ высоко ставлю ее? Красота — и цѣль, и двигатель искусства, а я художникъ: дай же вы сказать разъ навсегда...

— Говорите, сказала она.

— Въ женской высокой, чистой красотѣ, началъ онъ съ жаромъ, обрадовавшись, что она развязала ему языкъ,— есть непременно умъ, въ твоей напримѣръ. Глупая красота — не красота. Вглядишься въ тупую красавицу, всмо-

трись глубоко въ каждую черту лица, въ улыбку ея, взглядъ—красота ея, мало по малу, превратится въ поразительное безобразіе. Воображеніе можетъ на минуту увлечься, но умъ и чувство не удовлетворятся такой красотой: ея мѣсто въ гаремѣ. Красота, исполненная ума — необычайная сила, она движетъ міромъ, она дѣлаетъ исторію, строитъ судьбы; она, явно или тайно, присутствуетъ въ каждомъ событіи. Красота и грація—это своего рода воплощеніе ума. Отъ этого дура никогда не можетъ быть красавицей, а дурная собой, но умная женщина часто блеситъ красотой. Красота, про которую я говорю, не матерія: она не палитъ только зноемъ страстныхъ желаній: она прежде всего будитъ въ человѣкѣ человѣка, шевелитъ мысль, поднимаетъ духъ, оплодотворяетъ творческую силу генія, если сама стоитъ на высотѣ своего достоинства, не тратитъ лучи свои на мелочь, не грязнитъ чистоту...

Онъ остановился задумчиво.

— Все это не ново: но истина должна повторяться. Да, красота—это всеобщее счастье! тихо, какъ въ бреду говорилъ онъ:—это тоже мудрость, но созданная не людьми. Люди только ловятъ ея признаки, слятся творить въ искусствѣ ея образы, и всѣ стремятся, одни сознательно, другіе слѣпо и грубо, къ красотѣ, къ красотѣ... къ красотѣ! Она и здѣсь—и тамъ! прибавилъ онъ, глядя на небо:—и какъ мужчина можетъ унижить, исказить умъ, упасть до грубости, до лжи, до растлѣнія, такъ и женщина можетъ извратить красоту и обратить ее, какъ модную тряпку, на нарядъ, и затаскать ее... Или, употребивъ мудро — быть солнцемъ той сферы, гдѣ поставлена, влить массу добра... Это женская мудрость! Ты поймешь, Вѣра, что я хочу сказать, ты женщина!... И... ужели твоя женская рука поднимется казнить за это поклоненіе и человѣка, и артиста!..

— Вашъ гимнъ красотѣ очень краснорѣчивъ, cousin, сказала Вѣра, выслушавъ съ улыбкой:—запишите его и отошлите Бѣловодовой. Вы говорите, что она „выше міра“. Можетъ быть, въ ея красотѣ есть мудрость. Въ моей нѣтъ. Если мудрость состоитъ, по вашимъ словамъ, въ томъ, чтобъ съ этими правилами и истинами проходить жизнь, то я...

— Что?

— Не мудрая дѣва! Нѣтъ у меня нѣтъ этого елѣя! произнесла она.

Что-то похожее на грусть блеснуло въ глазахъ, которые въ одно мгновеніе поднялись къ небу и быстро потупились. Она вздрогнула и ушла торопливо домой.

— Если не мудрая, такъ мудреная! На нее откуда-то повѣяло другимъ, не здѣшнимъ духомъ!.. Да откуда же: узнаю ли я? Непроницаема, какъ ночь! Ужели ея молодая жизнь успѣла уже омрачиться?.. въ страхѣ говорилъ Райскій, провожая ея глазами.





















PG  
3337  
G6  
1887  
t.4

Goncharov, Ivan Aleksandrovich  
Polnoe sobranie sochinenii

PLEASE DO NOT REMOVE  
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

---

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

---



